Санкт-Петербургский государственный университет



Белецкая В.К. «Тбилиси»

ГОРЫ И ВСТРЕЧИ. 1958–1976

Т.П. Знаменовская

Санкт-Петербург
2025



Т. П. Знамеровская. Тбилиси. Мтацминда. Конец 1950-х гг.

Санкт-Петербургский государственный университет

Т. П. Знаменовская

Горы и встречи. 1958–1976

Санкт-Петербург

2025

УДК 82-(94+14)
ББК
84(2Рос=Рус)6
З-72

Рецензенты:
д-р ист. наук *М. М. Магомедханов* (Дагестан. федер. исслед. центр РАН);
д-р искусствоведения, проф. *А. А. Дмитриева* (С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов)

Знамеровская Т. П.
Горы и встречи. 1958–1976 / Т. П. Знамеровская; сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., указатель А. В. Морозовой. — СПб.: «Свое издательство», 2025. — 460 с.

ISBN 978-5-4386-2438-7

Книга представляет собой публикацию рукописей крупного отечественного искусствоведа Т. П. Знамеровской (1912–1977). Это воспоминания о ее поездках на Кавказ, датирующиеся 1950– 1970-ми годами. Воспоминания состоят из трех частей. В первой части, представленной в предыдущем издании, описываются путешествия 1957 г. Во второй и третьей частях, публикующихся ныне, содержатся воспоминания о поездках 1958–1970 гг. Эпилог к рукописи был дописан автором в 1970, 1976 гг. Красочно описаны природа Кавказа, памятники искусства, люди, с которыми знакомилась Знамеровская, в том числе известные ученые, поэты, художники (Р. О. Шмерлинг, Л. С. Бретаницкий, Г. А. Стамболцян, А. С. Цибулевский, Т. Г. Аситашвили, З. П. Майсурадзе, П.М. Блеткин, В. К. Белецкая и др.). Описания сопровождаются фотографиями, сделанными автором во время поездок. Издание дополнено стихами Знамеровской, посвященными Кавказу. Воспоминания написаны живым, ярким литературным языком и отличаются высокой художественностью. Стихи являются замечательными образцами русской лирической поэтической традиции XIX–XX вв. Книга может быть интересна искусствоведам как материал к биографии Т. П. Знамеровской и как источник сведений и тонких замечаний специалиста о памятниках искусства и культуры Кавказа, историкам как настоящий кладезь информации по истории региона XIX — второй половины XX вв., а также этнографам, изучающим обычаи и традиции народов Кавказа, и всем интересующимся отечественной мемуарной литературой.

УДК 82-(94+14)

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4386-2438-7

Содержание

А. В. Морозова. Вступительная статья к изданию……..……..….6

Часть 2. 1959–1961 гг. Армения, Грузия, Чечено-Ингушетия, Дагестан…...10

VI. Июль–август 1958 г. Дагестан……..……10

VII. Июль 1959 г. Опять в Армению…….…….……19

§ Приезд в Тбилиси……..…..…...19

§ В Ереван. Занзегурский маршрут…….……40

§ Путешествие в монастыри Агарцин и Гош…….64

VIII. Август 1959 г. Опасные тропы и грозы…….…… 77

IX. Июль–август 1960 г. Опять по тропам и по мастерским Кавказа ……128

§ Конец января–начало февраля 1961 г. Тбилиси…….167

X. Июнь-июль 1961 г. Путешествие к абрекам. ……..182

XI. Август 1961 г. Зерехдераны – Златокузнецы. ……...…230

XII. Август 1961 г. От южных гор до Ленинграда. ……235

Часть 3. 1962–1976 гг. Грузия, Армения…….……262

XIII. Июль 1962. Хевсуретия – Пшавия…….……..263

§ Хевсуретия – Пшавия…….…….…..263

§ Пшавия……295

§ Тбилиси……..300

XIV. Июль 1963. Июль–август 1964. Тушетия – Пшавия – Тушетия. …...307

§ Сухуми.…..……..…..……...307

§ Тушетия……..……313

§ Пшавия–Тушетия..……..……..319

XV. Июль, август 1965. По западной Грузии……..……..337

§ Сванетия…….337

§ Имеретия…….……..…..360

§ Рачи…….…….380

XVI. Июль, август, сентябрь 1966. Последний раз с Ренэ……..387

§ Дербент……..…….……387

§ Баку…….387

§ Армения…….……....390

§ Ренэ в Ленинграде…….407
XVII. Июль 1968. По следам Шамиля. ……411
XVIII. 1970–1976. Эпилог……..411
Лирика из цикла «Кавказские тетради»……415
Список иллюстраций…….440
Комментарии……..……443
Список литературы по тематике публикации…….445
Указатели…….446
Указатель географический…….446
Указатель именной…….448
Примечания…….……452

А. В. Морозова. Вступительная статья к изданию

Содержащиеся в рукописи параграфы и Части воспоминаний Т. П. Знамеровской «Горы и встречи. 1958–1976» являются продолжением издания Части 1 этого труда, подготовленного в 2025 г (Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского университета). В предисловии к Части 1 дается подробная информация об авторе труда – крупном отечественном искусствоведе Татьяне Петровне Знамеровской (1912–1977), работавшей на кафедре истории искусства исторического факультета (ныне Институт истории) Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и являющейся автором значительного количества монографий об испанских и итальянских художниках Возрождения и XVII столетия. А также анализируется текст произведения как важный исторический, искусствоведческий и биографический источник. Поэтому в предисловии к новой публикации остановимся на перечисленных моментах кратко.

Знамеровская была талантлива не только как искусствовед, она обладала ярким самобытным литературным слогом, была заядлой путешественницей и умела описать увиденные края живо и образно. Книга «Горы и встречи. 1958–1976» посвящена поездкам автора на Кавказ в 1958–1970 гг. и воссоздает в воображении читателя красоту и суровость природы Кавказа и обаятельный образ населяющих Кавказские горы и предгорья людей. Эпилог к рукописи «Гор и встреч» был дописан автором в 1970, 1976 гг.

Книга Знамеровской обладает значительным объемом. Главы, посвященные Дагестану, готовит к публикации сын дагестанских друзей Знамеровской, выпускник исторического факультета ЛГУ, доктор исторических наук Магомедхан Магомедович Магомедханов. Соответственно, в данном издании эти главы опущены (сохранено только указание на их местоположение в общем объеме рукописи, отмеченное многоточием). Из них оставлены только те фрагменты, которые посвящены грузинским, армянским или азербайджанским друзьям и обстоятельствам поездок Знамеровской, без которых нарушалась бы связь повествования в целом.

Первая уже опубликованная книга воспоминаний Т.П. Знамеровской «Горы и встречи. 1957» посвящена ее поездкам 1957 г. В данное издание включены материалы о поездках Знамеровской на Кавказ в последующие десятилетия. В эти

годы она совершила и ряд долгожданных зарубежных поездок, ранее для нее недоступных – в 1961 в Италию, в 1965–1966 в ГДР и Австрию, в 1966–1967 в ГДР и Польшу, но даже красота изобразительного искусства, архитектуры, природы европейских городов и музеев не затмила милый ее сердцу облик Кавказа, вошедший в ее душу с детских и юношеских лет через стихи и прозу А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого. Не случайно в воображении автора постоянно воскресают образы Онегина, Печорина, Хаджи-Мурата! А строчки из произведений Пушкина, Лермонтова и Толстого появляются в качестве эпиграфов ко многим главам «Гор и встреч». Прекрасно знавшая биографии русских литераторов, Знамеровская, путешествуя по Кавказу, постоянно вспоминает события и обстановку кавказских странствий своих любимых писателей.

Знамеровская располагала немалым поэтическим даром, воспитанным ею в себе на стихах классиков отечественной поэзии – Пушкина и Лермонтова. Кавказу она посвятила отдельный цикл «Кавказские тетради», ряд произведений из которого мы приводим в данном издании. Их поэтические образы дополняют и оттеняют образы прозаические, встающие со страниц «Гор и встреч».

Книга Знамеровской обладает огромным воспитательным и патриотическим потенциалом. Несмотря на правдивое описание случаев межнациональной розни, главным образом спровоцированной неразумными или прямо ошибочными политическими решениями центральной или местной власти, в целом книга проникнута духом дружеского уважения друг к другу и к России различных народов и народностей Кавказа, духом пиетета перед национальными обычаями и традициями народов Кавказа, и содержит многообразие примеров дружбы и восхищения к другим народам как со стороны автора повествования, так и со стороны российских, грузинских, армянских и азербайджанских ученых и исследователей – к искусству и культуре соседних народов. В наше время поражает воображение то, что в те времена считалось само собой разумеющимся: грузинские искусствоведы многолетней работой завоевали доверие сванов и беспрепятственно жили в их селениях и изучали их искусство, ездили в аулы Дагестана, дагестанские старейшины приходили консультироваться к Ренэ Оскаровне Шмерлинг, уговорившей отдать на хранение в музей реликвию аула – старинное евангелие. Урожденная российская княгиня Т. С. Шевякова посвятила свою жизнь копированию и изучению грузинских росписей.

Знамеровская описывает ту ситуацию на Кавказе, которая была в конце 1950-х – 1970 гг., описывает как очевидец, бывавший и живший отнюдь не только в больших городах, но проникавший и в труднодоступные горные районы.

В книге Знамеровской содержится богатая информация как о безвестных жителях далеких аулов, так и о крупных ученых, художниках и деятелях культуры Грузии, Армении, Азербайджана, с которыми она встречалась и дружила. Это грузинский искусствовед, доктор искусствоведения Р. О. Шмерлинг, грузинская художница Т. Г. Аситашвили, грузинский художник-керамист З. П. Майсурадзе, азербайджанский искусствовед, доктор искусствоведения Л. С. Бретаницкий, поэт А. С. Цибулевский, грузинский художник П. М. Блеткин, российский искусствовед Э. П. Гомберг, грузинская художница В. К. Белецкая и многие другие. Через всю книгу проходит и незабвенный образ мужа Знамеровской – геолога, разносторонне талантливого и тонко чувствующего прекрасное – Павла Сигизмундовича Чахурского, по состоянию здоровья не имевшего возможности отправляться с женой на Кавказ в жаркие месяцы ее педагогических каникул, но служившего для нее оплотом и базисом всей ее жизни.

В книге содержится богатейший материал о памятниках искусства народов Кавказа. Это произведения архитектуры, скульптуры, живописи, прикладного искусства, описанные со знанием дела их художественной специфики, проанализированные искусствоведчески. А ведь многие из этих памятников не сохранились до наших дней…

Книга «Горы и встречи. 1958–1976» является важным источником к изучению творческой биографии и характера самого автора, черпавшего из своих поездок на Кавказ как физические силы, так и вдохновение в своей нелегкой исследовательской работе, в том числе о мастерах Возрождения и XVII столетия, в своем бунтарстве казавшихся ей, и бывших в чем-то, сродни горцам Кавказа.

Книга проиллюстрирована фотографиями, сделанными автором во время поездок по Кавказу в разные годы.

В рукописи дано деление на части и главы. Главы делятся на отдельные параграфы, однако, не имеющие самостоятельных наименований. Для удобства чтения мы позволили себе в Содержании дать этим параграфам названия, исходя из описываемых в них событий и регионов путешествий автора воспоминаний.

* * *

Выражаем сердечную признательность за помощь, содействие в издании рукописи и фотографии из домашнего архива семьи племяннице Т. П. Знамеровской — Наталии Борисовне Знамеровской; вдове хранившего доверенные ему автором рукописи и фотографии преподавателя кафедры истории искусства Валентина Александровича Булкина — Татьяне Николаевне Лариной, в свою очередь передавшей эти материалы нам для их опубликования; Татьяне Евгеньевне Сохор и Виктории Бередниковой за помощь в наборе текста и поддержку в деле издания рукописей Знамеровской, преподавателям кафедр истории западноевропейского искусства и истории русского искусства Института истории Санкт-Петербургского государственного университета за сочувствие и содействие, ученикам Знамеровской — за неподдельный интерес к ее творчеству! Моей семье — за терпение.

Часть 2. ГОРЫ И ВСТРЕЧИ. 1958–1961.

Июль-август 1958 г.

VI. Дагестан[1]

…хребты,
Причудливые, как мечты…
М. Ю. Лермонтов[1]

В начале июля я успела заехать в Тбилиси всего на один день до отъезда в Дагестан. Оставив вещи у Ханум, я нашла Ренэ[2] в Институте. Она встретила меня как старую знакомую и повела с собой обедать. В хорошей старинной квартире, принадлежавшей раньше ее отцу, она занимает теперь две комнаты, в одной из которых сильно разрушился потолок и она годами ждет ремонта. Хозяйке, конечно, не до того. В этой комнате только склад вещей и запираются пять кошек Ренэ, когда она уходит из дому. Живет она в другой, узенькой комнатке, сплошь заставленной старыми вещами и заполненной керамикой, деревянными и металлическими образцами народных изделий, картинами, гравюрами, книгами, среди которых в самых неожиданных местах высовывают свои венчики цветы в вазочках. А на окне — примерно десяток клеток с птицами. Ренэ берет на излечение увечных птиц и, если они не выздоравливают, оставляет их жить у себя. Все убирает, ведет хозяйство и во время отъездов Ренэ заботится о ее питомцах старая женщина. Все здесь связано с воспоминаниями, с путешествиями, с интересными историями, – каждая вещь. Но какой запах от птиц и кошек! Он чувствуется даже на лестнице. От него, конечно, страдают соседи и нельзя им не посочувствовать. Когда посидишь в комнате Ренэ, кажется, начинает пахнуть даже одежда. Что делать? Такова слабость и странность этой удивительной, но одинокой в своем доме женщины!

От нее я поспешила на турбазу. Хотя казалось, острота прошлогодних впечатлений и настроений притупилась временем, все-таки меня интриговала встреча с Элгуджей [3] и возможность, наконец, разгадать непонятность и противоречивость его поведения и его личности. Я готова была и на то, что он просто не подойдет ко мне, или, наоборот, дружески подойдет, и я спрошу его, почему он меня обидел, почему ничего не ответил на письма, нужны ли ему

[1] В Деле Т. П. Знаменовской, хранящемся в Рукописном отделе Российской Национальной библиотеки Глава VI включена в I Часть книги «Горы и встречи». В домашнем архиве В.А. Булкина VI глава начинает II Часть книги.

присланные стихи? С волнением переступила я порог турбазы и спросила дежурного, когда приедет Элгуджа.

– Он уехал в Орджоникидзе и вернется только послезавтра.

Я разочарованно вышла. Значит, до Дагестана никакие загадки не разрешатся.

К концу следующего дня Ренэ, художница Вера Константиновна Белецкая[4] и уже знакомая мне по Сванетии Теона Аситашвили[5] сели со мной в бакинский поезд. Было много провожающих и среди них Захарий Петрович (Закро или Шакро) Майсурадзе[6], художник-керамист, который сидел долго в нашем купе, наполняя его своей широкой, массивной фигурой, своим смехом и балагурством. У него была большая лысая голова, крупные черты широкого лица, выпуклые, блестящие, черные, то и дело щурящиеся от смеха глаза, полный шуток рот, – что-то во всем простецки-примитивное, но сочное, заразительно жизнелюбивое, жадное, здоровое. Он расцеловал Ренэ и Веру, отпустил мне много веселых комплиментов и последним выскочил из поезда. «Закрошка» называли его между собой мои спутницы.

Когда поезд тронулся, началось мое более близкое знакомство с Верой. Большая, массивная, могучая женщина, она сразу же производила впечатление чего-то очень положительного, прочного, устойчивого, уравновешенного и вместе с тем широкого. Чувствовалось, что на нее во всем можно положиться, что она далека от экстравагантности и эксцентричности Ренэ, нервной, изменчивой и увлекающейся, вечно находящейся в приподнятом тонусе. Тонус Веры был устойчив и жизнеутверждающе-спокоен. Художник-график, ученица Е. Е. Лансере[7], Вера была неустанным путешественником, а в прошлом альпинистом, мастером спорта. Сейчас ей немного больше 40 лет. Во время войны она была единственной женщиной инструктором альпинизма, вместе с группой, в которой состоял и Закро, обучавшей хевсуров военному альпинизму.

– Обучать горцев восхождению на вершины? – удивилась я. – Но разве они не умеют делать это лучше других альпинистов?

– Что вы? Они никогда не лазают на вершины. Ведь в этом нет жизненной необходимости. И попробовали бы вы разъяснить хевсуру или свану, зачем нужно лезть на снеговой пик. Это даже не укладывается в их головы.

Контакт с Верой установился сразу, а с Ренэ при всем их различии, они давно образуют своеобразное единство. Они много вместе путешествовали и

очень дополняют друг друга. По внешности и по грузинской речи Веру легко принять за грузинку. У нее крупный горбатый нос, чуть насмешливо, но с большой добротой улыбающийся рот, совершенно черные глаза, черные, гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором. Но дед ее был офицером, полтавским поляком, женившимся на грузинской княжне, в жилах которой текла также турецкая кровь. Отец был архитектор. Они имели маленькое поместье, в котором прошло еще и детство Веры и о котором она вспоминает с нежностью. Свобода карталинских предгорий, дом, сад, верховые лошади… Потом все это не только отняли, но и привели в запущенное состояние, хотя там и помещается детский дом. Сад вырубили, цветники пропали. А в 37-м году волной террора был унесен отец Веры. Замужем она никогда не была, но у нее были связи и романы, – как быстро мне посплетничала Теона, – особенно долго с каким-то писателем. Была и драма, – чувство к человеку, который за ней ухаживал настолько, что все, казалось, должно кончиться браком. И вдруг резкий поворот и женитьба этого человека на другой, а затем аресты его жены и ее родственников, выяснение, что Вера имела дело с доносчиком, для которого она в плане его профессии оказалась не интересной. Ровный, сильный характер помог Вере и это пережить со стойкостью и твердостью.

Утром мы прибыли в Баку, где я еще никогда не бывала и потому была полна любопытства. На вокзале нас встретила седая, удивительно милая и добродушная дама, Ольга Ивановна, и повезла в дом своего зятя Леонида Семеновича Бретаницкого[8], крупного специалиста по истории архитектуры Азербайджана. Ослепительное солнце, шум большого города, красивое, нового для меня типа лицо таксиста с гривой вьющихся волос, огромные черные глаза в сочетании с горбоносым профилем, – таковы были первые впечатления от народа. Типы лиц мне показались такими, какими я мыслила себе турок. А город после Тбилиси ассоциировался даже с Москвой по суете, движению, размаху, деловому темпу жизни.

Квартира в новом доме, где живут Бретаницкие, была пуста, хозяева уехали, и гостеприимная Ольга Петровна сразу предоставила нам душ и начала кормить нас всякими вкусностями с тем удовольствием, которое получает от приема гостей только хозяйка по призванию. Прием был так радушен, что это даже ошеломляло.

Вымытые, сытые, довольные, мы отправились в город, который Ренэ хотелось показать Теоне и мне. Солнце было ослепительным, оно буквально пылало на асфальте и на камнях домов, а тени лежали резкими, тяжелыми пятнами, тоже почти лишенными прохлады. Улицы и площади были широки, дома второй половины XIX и начала XX века велики и массивны и часто обращали на себя внимание не только красотой прекрасно отесанного горчичного по тону известняка, но и богатством резьбы по нему в стиле модерн. Часто это были просто роскошные гирлянды роз. Новые официальные здания построены в тех же крупных масштабах с использованием деталей и отделки мусульманской архитектуры. Огромная статуя Навои[9] на площади казалась тоже чрезмерной и была бы просто неуместна в гораздо более уютном, не таком большом и уж совсем не таком деловитом Тбилиси.

Ядро города составляет, однако, старый Баку, во многих местах еще окруженный зубчатыми стенами со средневековыми воротами и башнями. Совсем близко от моря стоит большая, ребристая Девичья башня — обычное название самых неприступных башен. Впрочем здесь есть еще и легенда, что при нападении на город в нее прятали девушек, стараясь обеспечить им безопасность от врага.

Как только мы нырнули в одни из ворот, мы оказались среди лабиринта узких кривых улиц с невысокими домами, то старыми, вероятно XVIII века, то относящимися к XIX веку, но во всяком случае уютными, тихими, все еще патриархальными. Среди этих домов высятся несколько мечетей с высокими минаретами. И самое интересное — архитектурный комплекс ханского дворца со зданием суда, мечетями, мавзолеями и чудесными внутренними двориками. Комплекс не велик и производит впечатление не монументальностью, но совершенством пригнанных друг к другу частей, красотой обработки все того же серо-табачного известняка, гладкие плиты которого сочетаются не с цветными изразцами, а с тончайшей геометрической и арабесковой резьбой по тому же камню то в айванах[10] порталов, то в переплете окон, то в капителях столбов. Земля устлана такими же плитами, из них же сложные бассейны расположенных на разной высоте двориков, их парапеты и лестницы. А в двориках густая, сверкающая на солнце зелень южных деревьев и яркие краски роскошных цветов. Особенно прекрасно посреди маленького, изолированного, низко расположенного дворика цветущее дерево в его центре, все покрытое крупными

сиреневыми, широко открытыми цветами. Весь этот комплекс относится к XIV веку, когда династия Ширваншахов[11] на время подняла значение этой части Азербайджана, вечно подвергавшегося нападениям, много раз разоренного, по большей части зависевшего от Ирана.

В ханском дворце теперь Институт и вместе с тем Музей археологии. Хорошенькая, похожая на турчанку аспирантка показала нам трофеи последних раскопок. Ее современный вид контрастировал с появлявшимися иногда перед нами черными фигурами старух в бесформенных длинных одеждах. Но, говорят, даже в среде начинающей формироваться местной интеллигенции быт, нравы, положение женщины все еще полны сильных пережитков восточных, мусульманских традиций. Эмансипация самых образованных женщин еще весьма относительная и не достигает такого, тоже по сравнению с Западом еще не полного уровня, как в Грузии и в Армении.

Конечно, мы осмотрели также исторический музей и музей имени Навои, находящийся в роскошном дворце богача-нефтяника Тагиева[12], который был патриотом своей страны, много средств отдававшим на повышение ее культуры и на благоустройство Баку. Он сам был выходцем из простого народа. В музеях доминирует впечатление величины помещений, их тяжеловатой, роскошной отделки. Для меня самым интересным было знакомство со старинной архитектурой Азербайджана, пока хотя бы по фотографиям, макетам, планам, зарисовкам. Еще один вариант мусульманского зодчества с присущей ему строгостью форм и несколько рационалистической декоративностью орнаментального убранства. Мне захотелось все это увидеть, поехать в Нуху[13]… Но это потом, потом. Как хорошо, что еще впереди остается так много интересного!

Обедали мы, вопреки настояниям Ольги Петровны, в обширном зале ресторана «Интурист». Из окон перед нами открывалась длинная и широкая, изогнувшаяся зеленая дуга набережной-бульвара, темная зелень которой обрамляла бледно-голубое в знойном мареве море.

– Ну, выбирайте столик, – сказал Ренэ.

Мы с Теоной, не сговариваясь, направились к одному из столов.

– Почему сюда?

– Но здесь особенно красивый официант, – засмеялась я.

– Конечно же, – подтвердила Теона.

– Что ж, вы хотите, кроме вкусного обеда, еще наслаждаться черными глазами этого красавца?

– Естественно!

– Правильная установка.

Ренэ развеселилась.

Склоняя перед нами длинные ресницы, официант принял заказ.

– Правда, интересный тип, – то ли турок, то ли перс.

– Татьяна, – Ренэ уже начала так называть меня без всякого отчества и велела так же звать себя и Веру. – Вы развратное существо, гурман. Можно ли так любоваться мужчинами?

– А почему нет? Все прекрасное стоит того, чтобы им любоваться.

– А женская скромность?

– Она чаще всего или аморфность по отношению к красоте и радостям жизни, или лицемерие и притворство.

– А ваш муж как на это смотрит?

– Он абсолютно не возражает, чтобы я любовалась всем, что мне доставляет удовольствие. Он знает, что все равно я люблю только его.

– Ну вы нашли себе редкостного мужа по уму и широте взглядов!

– Конечно! Не потому то я и люблю его всю жизнь с такой силой?

– Истинная правда?

Обед был вкусный, вино хорошее, – в ресторане было много иностранцев. Я с наслаждением уничтожала салат из ярких помидоров, еще не испробованных в это лето, фаршированные кабачки, мороженое. Вино немного ударило в голову и все мы были веселы.

– Татьяна, вы очень плотоядное существо, как я понимаю, – сказала Ренэ.

– А вам неужели не понравились обед и вино? Вы мало едите и пьете.

– Но ведь Ренэ это только дух, почти без плоти, – вмешалась Вера. – Вы сами это увидите в экспедиции. Она питается, как птица, а то и совсем не питается, а насыщает дух своей работой и искусством. Приходится только удивляться, что дух у нее умеет оставаться таким веселым и остроумным.

– Ну, Вера, не клевещите. Не такой уж я дух! А в подобной компании и совсем заразишься плотским началом.

Теона, бело-розовая, женственная, томно смотрела огромными зелеными глазами из-под темных ресниц и улыбалась.

К вечеру мы были у Ольги Петровны, где уже ждал нас ее муж, Михаил Васильевич. Старенький, сухонький, он был несколько церемонно вежлив и очень мил. Русский, выросший на Кавказе, он был лесным инженером. В 37-м году, как и тысячи других, он попал в концлагерь и только недавно вернулся, реабилитированный, но больной туберкулезом. Завтра он собирался ехать в Кисловодск и оказывался нам, таким образом, попутчиком.

– И как это вы не боитесь одни, без мужчин, ехать в Дагестан? – удивленно поднимал он брови. Какие времена пошли, какие времена! Настоящие амазонки!

Ночевать мы остались у Ольги Петровны, кроме Веры, которая ушла к своей приятельнице, происходящей по прямой линии из династии персидских шахов Каджаров[14], изгнанных из Ирана. Поистине подобная экзотика возможна только на Кавказе! Правда, и здесь не совсем: братья этой принцессы попали в 37-м году в концлагерь и только один из них вернулся после 53-го года.

На другой день мы взяли такси, Михаила Васильевича с вещами и отправились на вокзал. Билеты, переноска вещей, посадка, – всем командовала Вера. Михаил Васильевич не успел оглянуться, как его чемоданы исчезли, а он стоял около меня, растерянно повторяя:

– Что за женщина! Нет, в наши времена таких женщин, как Вера Константиновна, не было. Какая энергия, деловитость, быстрота!

Через минуту он был также водворен на свое место в купе мощной рукой Веры, как и его чемоданы.

Мы заняли купе в другом вагоне, но старик почти сразу же пришел к нам, с удовольствием разговаривал, с почтением, восхищением и даже некоторой опаской смотрел на Веру и явно чувствовал себя перед ней совсем маленьким и беспомощным. За окном мелькали выжженные, голые холмы, рыжие, горбатые, и между ними вереницы нефтяных вышек, пронизанных лучами немигающе упорного солнца. Они то приближались к нам, то убегали в даль, к синевшему в просветах морю. Что-то жгуче-тяжелое, знойно-жестокое и все-таки красивое было в этом безрадостном пейзаже. Потом заходящее красное солнце пронизало ажурные черные переплеты последних вышек, море загорелось огнем и как-то сразу, почти мгновенно наступила ночь. На одной из станций Михаил Васильевич вышел. Сухонький, маленький, он засеменил к торговкам фруктами и цветами и купил большой, пышный, яркий букет. Когда поезд тронулся, он вошел в купе и, чуть смущенно хмуря брови, протянул букет Вере. Он был побежден амазонкой,

женщиной, каких по его убеждению, не было в «его время». И когда он прощался с нами, потому что мы должны были на рассвете выйти из поезда в Махачкале[15], его было жалко, – он казался каким-то очень одиноким и очень беззащитным перед лицом старости, болезни, чужих людей, бывших его спутниками. В старости, как и в детстве, есть что-то щемяще трогательное, хотя я и люблю не ее, а возрасты человеческой полноценности.

На рассвете мы вышли в Махачкале[2].

……

[В Тбилиси, в августе 1958 г., после возвращения из Дагестана. – *А.М.*]

Кроме всех этих впечатлений и знакомств, конечно, прежде всего, я помчалась на почту. Письма от Павлуши! Ведь я не получала их полтора месяца. Правда, мы привыкли расставаться, – ведь мы были геологами. И Павлуша не любил писать писем, – обычно это были открыточки, написанные по моим настоятельным просьбам раз в неделю, в крайнем случае, раз в 10 дней. Но все равно, какая это радость после разлуки! Пусть ничего у него за это время не случилось, но каждая мелочь драгоценна…

Перечитав все сразу же, на почте, я успела еще только сходить на турбазу. Оказалось, что Элгуджа вывихнул ногу и лежит в Орджоникидзе. Я оставила ему только с надписью в знак своего внимания книгу дагестанских очерков, несмотря на то, что была в праве быть на него в глубокой обиде. Но он оставался для меня непонятным, загадочным, поэтому я не могла просто обижаться. Я не могла успокоиться, пока не разрешу загадку. Моя натура этого требовала… А пока мелькнула только мысль, что и он, как многие неосуществившиеся джигиты Дагестана, может быть, родился не во время. Несостоявшийся музыкант… Но и невозможный в наши дни Сильвио[16]. Ведь он даже не один раз сказал мне, что это его любимый герой и что он хотел бы жить в первой половине XIX века и быть подобным Сильвио. Как часто именно на Кавказе люди рождаются не в то время, для которого они созданы, потому что Кавказ еще очень связан и с феодальными

[2] Как указано в Предисловии к книге, части, посвященные Дагестану, готовятся к изданию отдельной книгой М. М. Магомедхановым. В данном издании сохранено только указание на место этих частей в общем объеме рукописи.

пережитками, и с романтикой прошлого. Сильвио… Не встретившись с ним и по-прежнему ничего не понимая в его поведении при прошлом расставании, я уехала в Сухуми. Но теперь я уже не снимала веранду у Ады, а жила как гостья. И я знала, что ни от этого, ни от еды в их семье я уже не могу отказаться, их не обидев. Это тоже было особенностью Кавказа, несмотря на то, что его оборотной нынешней стороне присуще столько наглой и хищной спекулятивности.

Июль 1959 г.

VII. Опять в Армению

«… и горный ветер освежил грудь
мою...»
М. Ю. Лермонтов[17]

Весной на меня обрушилось горе. Первого мая, в чудесный солнечный день, на скамейке бульвара скоропостижно умер отец. В минуту, когда это произошло, я стояла с Павлушей на пристани Невы, ожидая катера, который должен был отвезти нас на Охту, куда мы направлялись в гости. Что-то случилось и катер не пришел… Позже мое склонное к суевериям воображение невольно придало этому особое значение. Но тогда мы, досадуя, сделали большой крюк и все-таки попали в гости.

Когда мы вернулись домой поздно вечером и уже легли спать, раздался звонок по телефону. Мне не хотелось вставать. «Наверное, это не нам звонят», – подумала я лениво. Но все же встала. И услышала от брата неожиданную тяжелую весть. Ведь только утром я слышала по этому же телефону веселый и бодрый голос отца…

Я остро пережила горе. Это была первая в моей жизни потеря очень близкого человека. Она не укладывалась в сознание. Она вызывала массу поздних и напрасных сожалений о том, что я была недостаточно заботлива, недостаточно внимательна. Вспоминалось детство, которое сразу как-то отдалилось и потускнело с потерей того, с кем оно было неразрывно связано. Как будто умер какой-то большой кусок меня самой, моей собственной жизни. Мысли о смерти, о ее неизбежности, о непрочности личного «я», о жестоком законе исчезновения и о бессилии перед ним, все эти знакомые, но обычно отвлеченные представления приобрели осязаемую реальность, погружая в состояние болезненной подавленности.

В таком настроении я выехала на Кавказ в начале июля в прямом тбилисском вагоне. Остановка на день в Сухуми, море, в котором я успела выкупаться, солнце, яркие краски, обед у Ады Гулиа[18], милая, застенчивая улыбка Лоры[19], выросшей и похорошевшей, несколько отвлекли меня от грустных мыслей. Конечно, любимая мною южная природа, горы, впечатления, физическая усталость должны

были излечить и вернуть мне бодрость и жизнерадостность. Я не сомневалась в этом.

В Тбилиси меня встречали на вокзале Вера и Теона, и я сразу попала в атмосферу дружеской приветливости. У меня отняли рюкзак и препроводили меня к Аситашвили, в знакомую уже мне комнату, опять отданную Теоной в мое полное распоряжение. Ренэ не встречала меня, потому что была больна.

На меня нахлынули воспоминания о прежних впечатлениях и встречах. Поэтому я отправилась на турбазу узнать, когда приедет Элгуджа. Стихи, которые были написаны мною о Грузии, я посвятила ему и уже давно ему послала, ответом на что было его полное молчание за истекшие два года. Может быть, отсылка ему стихов была предосудительна для грузина, как и последний эпизод два года назад с Лео[20]? Во всяком случае по отношению к женщине, к которой он относился с уважением. Я не люблю оставлять в своей жизни что-то загадочным, непонятным. И потом мне так надо было что-то делать — слишком меня давила печаль. А вместе с тем это живое и естественное горе не было горем, которое убивает. Передо мной еще было столько жизни, позади оставался тот, кто был самым моим существом, и я хотела вернуться к нему нормальной и воспрянувшей.

На турбазе я увидела антипатичного мне и циничного Роена[21] и спросила его не только об Элгудже, но и Дерзибашеве[22]. Выяснилось, что Элгуджа приедет сегодня, а Дерзибашев здесь. Он вышел, услыхав мой голос, и мы довольно долго стояли, оживленно болтая о путешествиях и разнообразных впечатлениях, с ними связанных.

– Я его не видела в прошлом году, – сказала я, – А сегодня я должна быть у больной Рене.

– Но завтра у него выходной день. Он тоже будет здесь.

– А вы думаете, он придет на работу?

– Обязательно. Он всегда приходит.

Мимо прошел Лео, сумрачно на меня взглянув, и опять, как в прошлом году, не поздоровавшись. Мне стало неприятно. Попрощавшись с милым Михаилом Иосифовичем, я ушла. Заглянув к Ханум[23], я сказала ей, что в этот раз буду жить у знакомых и, посидев недолгое время, отправилась в город. Вечером я пошла к Ренэ. Разве не самое важное было навестить ее, никогда не желавшую признавать власти болезней, а тут лежавшую с сердечным недомоганием?

Она встретила меня, как обычно, шутливо-патетическими возгласами:

– Татьян! Все такой же красивый, яркий, в огненном платье! Как я рада вас видеть!

Я сидела у нее, весело болтая и терпеливо перенося кошачье-птичье благоухание ее комнаты, от которого, – мне казалось, – и при здоровом сердце могло начаться удушье. Когда я ушла, мне все чудилось, что едкий запах преследует меня, оставшись в складках моего платья. Я подумала опять о том, какой странный, и потом интригующий мое воображение человек Элгуджа, о том, что я не понимаю ни его, ни его отношения ко мне… А я к нему так дружески расположена… Зачем же отказывать себе в дружбе, которая может внести что-то светлое и красивое в жизнь? Да, если она вообще окажется возможной. Всю жизнь у меня были друзья и приятели более всего мужчины. Но в Грузии, где столько феодальных предрассудков, едва ли это возможно. Или возможно редко.

Пока я была у Ренэ, к Аситашвили приходил Гурген[24]. Он знал из моего письма, что я приеду в эти дни и почти сразу отправлюсь в Зангезур[25] по новому туристскому маршруту, о котором он же мне сообщил весной. Теперь, приехав из Еревана, он зашел к Ханум, а затем по оставленному мною адресу на улицу Гамбашидзе, сказать, что 11-го снова будет в Тбилиси и может увезти меня в Армению. Меня тронула его заботливость. Значит, все-таки мужская дружба на Кавказе для меня возможна?

В доме Аситашвили хозяйничали Теона и Саломка, – так как старики уехали на курорт, – и это придало быту несколько богемный характер. Теона писала целый день большой натюрморт со своей подругой Белой, непосредственной, порывистой, талантливой, чего-то ищущей девушкой, обратившейся в тот момент к поэтическим туманностям символизма, но обладающей уменьем широко, открыто и располагающе улыбаться. В ней была какая-то детская и вместе с тем народная простота, нечто близкое природе, непритязательное, естественное, может быть, даже немножко дикарское. Она мне сразу понравилась.

От Тото, несколько томной, закутанной в длинный халат, я выслушала с утра историю ее неожиданного романа, о котором кое-что знала уже из ее писем. Ее поклонник — немец из ГДР, с которым она плыла год назад из Батума на пароходе, – всю зиму писал ей нежный письма и, наконец, предложил ей руку и сердце. Она не ответила ничего решительного, но он уже стал писать ей об этом вопросе как о деле решенном. Взволнованная, – и польщенная, и испуганная, – она не знала, что делать. Я узнавала милую рыхлую Теону, добрую, но не способную ни на

какие страсти, такую привязчивую и домашнюю. А тут необходимость решения, да еще какого! Возможность отъезда в другую страну, разлуки с родными… И неясность собственных чувств, лишенных яркой определенности…

– Ну, как бы вы поступили на моем месте? – спрашивает она доверчиво.

– Я? Все зависит для меня от чувства. Если бы я была влюблена в него, я бы не колебалась ни минуты. Разве любовь не решает…

– Но я не знаю, так ли я его люблю…

– Я не думаю, чтобы я могла не знать, люблю ли я, – усмехнулась я в ответ. – Когда ко мне пришла любовь, она не только не вызвала сомнений, но оказалась сильнее меня самой. Конечно, это бывает по-разному… Я ничего не решаюсь вам посоветовать, Теона.

Все больше юг пьянил меня возбуждением. Я надела оранжевое платье и черные бусы, повторявшие горошины, рассеянные по шелку. Мои глаза и зубы сверкали, когда, улыбнувшись, я посмотрела на себя в зеркало. Мне не хотелось маскировать своего состояния и задумываться над ним. Я чувствовала, что печаль моя отходит куда-то далеко вместе с мыслями о смерти, хотя моя веселость оставалась нервной и напряженной.

Было 11 часов утра, когда я заглянула на турбазу. Элгуджи не было, и залитый солнцем дворик казался очень пустынным. Я пошла в Институт искусства, где уже как старая знакомая была встречена шумными приветствиям и поцелуями. Мне наговорили массу комплиментов по поводу того, как я хорошо выгляжу, как мне идет платье, как я интересна. Я весело смеялась. На лестнице я столкнулась с Капанадзе[26], который увлек меня в свой кабинет. Одну за другой он доставал новые редкие монеты, кладя их на мою ладонь и рассказывая о них с тем же удивительным мастерством и живым увлечением, которые уже были оценены мной раньше. Опять кусочки истории, неожиданные выводы, бросавшие свет в темные уголки прошлого, раскрывались передо мной, извлеченные им из самых маленьких кусочков металла, таких немых на моей ладони, но таких красноречивых, когда он заставлял их свидетельствовать о давно ушедшей жизни. Как и прежде, он увлек меня и очаровал.

– Как много сделали вы даже за один этот год! – воскликнула я.

– Много? Нет! Я за всю жизнь сделал слишком мало по сравнению с тем, что мог бы сделать, если бы…, – он шутливо понизил голос, будто сообщая мне секрет. – Если бы я был, например, немцем. Знаете, мы, грузины, слишком

жизнелюбивы и поэтому неустойчивы, ленивы, склонны разбрасываться. Так и я. При всей страстности в своих занятиях, я слишком много пел, любил, смотрел на солнце и отвлекался в сторону в погоне за радостями жизни.

Он заразительно засмеялся, и я опять невольно оценила его ровные белые зубы, такие же молодые в 65 лет, как и блестящие черные глаза.

– Каковы ваши планы на лето? – спросил он.

– Я еду в Зангезур. Потом собираюсь с Майсурадзе в Тушетию. А потом в конце отпуска к морю.

– Приезжайте в Пицунду. Вы не пожалеете. Я сам еду туда на раскопки. Наша экспедиция имеет там широкие знакомства. Напишите мне заранее, дайте телеграмму, и я найду для вас комнату.

Я села в знакомое мне деревянное кресло в знакомой галерее, выходившей во внутренний двор. Было много народа, много шума. Я обмахивалась китайским веером — мне становилось все более жарко от нараставшей духоты. «Его нет, – подумала я. – Что если он не придет? Может быть, даже нарочно не придет, если знает, что я приехала. Или придет и не подойдет ко мне? – У меня странно билось сердце. – Это боль оскорбленного самолюбия, – сказала я себе. – Но в конце концов я пришла с намерением все выяснить для себя и понять, чтобы отделаться от непонимания и недоумения. Если мне в результате придется испытать незаслуженную обиду и разочарование, я уйду и больше никогда не вернусь сюда. Если он не хочет меня знать, если он на мою дружбу ответит пренебрежением — это его дело. Мне надо только понять, так это или не так. Может быть, я в нем как в человеке просто ошиблась, создав воображением ложный образ».

Пока я внушала себе это, в дверях показался Элгуджа. Только на мгновение. Он окинул все взглядом, явно установил мое присутствие и исчез. Затем вышел опять и прямо, быстро, будто преодолевая собственное тайное смущение или нерешительность, направился ко мне. Еще миг — и он склонился, целуя мне руку.

– Вы все та же? – были первые его слова, и, чуть улыбаясь, он посмотрел на меня испытующе и выжидающе.

– Да, я все та же.

– Во всяком случае, внешне вы за эти два года совсем не изменились. Даже наоборот, стали лучше. Это не комплимент.

– Может быть. Я слышала сегодня это же от женщин в Институте искусства, а женщины не склонны к комплиментам.

– Я получил все, что вы мне прислали. Благодарю вас за все. И за книгу, которую вы оставили для меня в прошлом году. Это было 22-го августа…

– Разве не раньше?

– О нет! Я точно помню все даты, связанные с вами. Я вернулся из Орджоникидзе, и мне ее передали.

– Мне было жаль, что я вас тогда не видела. Вы вывихнули ногу?

– Да. Надеюсь, вы не подумали, что я сделал это нарочно? – улыбнулся он.

– Нет. Но почему же, почему же вы мне ничего за два года не ответили?

– Не спрашивайте меня об этом. Если можете, просто простите и забудьте.

– Хорошо. Но все-таки…

– Да, я все-таки мог бы хоть телеграмму прислать, благодаря вас, не правда ли? Это было невежливо. Даже моя тетушка, приехав из Севастополя и видевшая вашу книгу, без конца ругала меня, узнав, что я вас за нее не поблагодарил. Но я не мог… Я человек чувства, но умею подчинять чувства разуму.

Я видела, что он говорит это с трудом, не глядя на меня. Быть более откровенным он не хотел, и я не должна настаивать.

– Скажите только, – спросила я, – вы не хотели меня обидеть своим молчанием?

– Нет, ни в коем случае, – сказал он горячо и посмотрел мне прямо в глаза.

– Но ведь вы же понимали, что обижаете меня… Так же как и тогда, когда ушли не попрощавшись.

– Я должен был уехать за город, чтобы предупредить о неожиданной поездке одного из своих товарищей.

– Но вы могли меня предупредить, чтобы я не ждала.

– Вы знаете, что вы были отчасти виноваты сами в том, что я этого не сделал.

– Да… Но мне было грустно видеть в вашем молчании дурное отношение ко мне. Я и сейчас боялась, что вы ко мне не подойдете…

– Что вы! Это я привык, что меня не узнают и ко мне не подходят. – Он опять улыбнулся своей грустной улыбкой. – Знаете ли вы, что уже вчера я был у Ханум и искал вас, как только Миша сказал мне, что вы приехали?

Я невольно отклонилась в сторону от разговора, сказала:

– Правда, Миша очень хороший?

– Да, очень.

– Я всегда радуюсь, когда его вижу.

– Я вас ревную.

– Зачем? Вам нечего ревновать. Ведь он даже ни одного моего стихотворения не видел.

Последнее я добавила нелогично, но в результате разговор коснулся стихов.

– Я люблю стихи, – сказал он. – Я люблю вообще все виды искусства. Хотя, конечно, музыку больше всего.

– Но ведь это естественно. Вы — музыкант. Когда я увидела в Ленинграде афиши с фамилией «Яшвили», не рассмотрев еще имя «Марина», я создала в своем воображении целую историю о вашем возвращении к музыке. Я даже представила себе, как я приду на ваш концерт и принесу вам цветы, чтобы поздравить вас с возвращением к вашей настоящей жизни. Чтобы не рассеять свою фантазию, я три дня старалась не приближаться к афише.

– Ну, если даже когда-нибудь вы прочтете на афише не только мою фамилию, но и имя, можете не сомневаться в том, что это не я. – Он невесело засмеялся. – Все это давно кончено. Осталась только любовь к музыке.

– Но ведь это слишком тяжело!

– Я умею ко всему привыкать… Я привык и к этому, и к обывательской жизни, которой живу. Не следует только об этом много задумываться.

– Вы по-прежнему читали зимой в свободное время?

– Да, есть люди, которые пишут, и люди, которые читают. Я принадлежу ко вторым. Это легче…, – усмехнулся он. – Я читаю, слушаю музыку.

Он заговорил о Клиберне[27], о Поллоке[28].

– Я стал любить Рихтера[29], – заметил он вдруг. – И Достоевского[30] тоже. Может быть, это значит, что я старею. А здесь, я ведь вам говорил, никто из моих знакомых, знающих мою историю, при мне не играет. Есть только один старик… Как хорошо у него получается вторая венгерская рапсодия Листа[31]… Я прошу его играть, когда я пьян.

Мне хотелось спросить: Неужели вы часто бываете пьяны? – Но я промолчала.

– Я ведь тоже отказалась от поэзии, как от профессии, если только я вообще к этому была способна, – сказала я вместо этого. – Я предпочитаю писать для себя. Это просто мое «хобби».

– Да, я понимаю. – Потом, помолчав, он добавил: – Я мог бы напечатать некоторые ваши стихи. Но они лежат у меня и никто их не увидит, раз вы этого не хотите.

– Да, я не хотела бы вообще печататься при жизни.

– Ну что же? Многие поэты прославились только после смерти. Хотя бы Бараташвили[32].

Мне были лестны его слова, и я улыбнулась.

– А знаете … Я думала, вдруг вы женаты и мои письма и стихи попадут в руки вашей жены?

Он расхохотался.

– Но ведь вы же знали, что я не женат! И потом вообще никто никогда у меня дома не прикоснется к тому, что мне адресовано. Моя мать даже в детстве не читала записок, которые находила в моих карманах.

– Вот видите, а вы не умеете доверять людям и сразу ищете дурное там, где его нет, – вспомнила я опять с обидой, как он не попрощался со мной два года назад, заподозрив меня в неблаговидном поведении. – А ведь вы сами говорите, что ваша мать даже в вашем детстве никогда не читала записок, найденных в ваших карманах. Значит, вы росли окруженный доверием к вам. Неужели же вам самому чуждо доверие к людям? Мне оно, наоборот, абсолютно необходимо в жизни. И необходимо доверие ко мне самой. Вы знаете, если бы моему мужу сто человек сказали о моей неверности, но я сама отвергла бы это в ответ на его вопрос, он поверил бы мне.

– Да? Но у меня другой характер. Мне понятны Отелло[33] и Арбенин[34]. Пушкин сказал: ревность на девяносто процентов самолюбие и только на десять процентов любовь. Но что делать? Это в моей натуре.

Я увидела, что приблизился Лео с маленьким мальчиком, внуком. От Ханум я узнала накануне, что у него умерла жена. Я взглянула на него с непосредственным чувством сожаления. Элгуджа отошел от меня и, опустившись на корточки перед ребенком, что-то говорил ему по-грузински. У него было в это время такое хорошее, доброе, мягкое лицо! И в улыбке его мелькнуло что-то мне ранее не знакомое, мальчишеское, удивительно милое.

Когда он опять сел рядом со мной, я спросила:

– Почему у вас нет детей, Элгуджа?

– Об этом следует спрашивать не меня, а вас, – засмеялся он. – Почему у вас нет детей? Ведь у вас есть муж, а у меня жены нет.

– Но вы так любите детей.

– Да, если я вижу даже незнакомого ребенка, мне хочется хотя бы подарить ему шоколад. А вас я не понимаю, как вы можете не любить детей. Вы же столько читаете и знаете. Как вы можете не знать, насколько сильно материнское чувство?

– Нет, вы преувеличиваете и создаете, как большинство, схему. Оно далеко не всегда достаточно сильно. Разве мало в жизни плохих матерей?

– О, больше, чем хороших, – засмеялся он.

– В том-то и дело. Дети — это большая ответственность. Для этого тоже нужно призвание. И лучше совсем не быть матерью, чем быть плохой матерью. У меня нет склонности к заботам о детях, к воспитанию, к женским обязанностям в семье. И не оказалось бы даже при наличии детей, так как слишком сильны другие склонности и другое призвание, поглощающее и властно требующее время и силы. Мне лучше было бы родиться мужчиной, и я всегда жалела, что это не так, стараясь исправить в жизни эту ошибку природы и освободить себя от того, что не соответствует моим склонностям. Если же говорить о долге… Я не человек долга.

– О, в таком случае вам действительно лучше не иметь детей, – продолжал он смеяться, глядя на меня теплыми, темными глазами.

– Между тем, если бы у вас был сын, вы бы передали ему потом на сохранение мои стихи, – улыбнулась я.

Он стал вдруг серьезен и взял большой палец моей руки знакомым мне движением.

– Мои стихи, а не ваши, – сказал он настойчиво, глядя мне в глаза. – Я не хотел бы, чтобы вы их давали и показывали кому-нибудь еще. Они мои. И вы отдали их мне, а не моему сыну.

– Знаете, я даже собралась как-то прислать вам вообще все, что мною написано. – Я невольно засмеялась, но потом продолжала: – Два года назад осенью был момент, когда я думала, что с моим мужем случилось какое-то несчастье. Он был в Гаграх. Я получила телеграмму, что он болен и не может выехать вовремя домой. Телеграмма была с его подписью, но не обычной, и явно не им написана. Меня могли подготавливать ею к известию о несчастье…

– Да, человек может погибнуть.

– Поняла тогда, что жить без него не буду. Единственно еще о чем подумала, это о всем, что писала в течение жизни — что делать с этим? И сразу же решила, что перешлю все именно вам.

– Спасибо, – сказал он, дотронувшись до моей руки. Потом спросил: – У вас, наверно, очень большой архив? Я бы все хранил. Хорошо было бы, если бы у меня были ваши автографы.

– Ну что ж? Может быть, я постепенно и перешлю все вам на хранение. У меня какое-то удивительное доверие к вам. А в Ленинграде, в одном экземпляре, у меня все может погибнуть. Что ждет Ленинград в случае войны?

Вдруг он посмотрел на меня очень пристально и спросил о другом.

– Вы очень любите своего мужа?

– Да, очень. Я не могла бы жить без него, – ответила я искренно и выдержала, не спуская глаз, его долгий взгляд.

– Да, вы его очень любите, – протянул он задумчиво. – И он счастлив?

– Мой муж — неудачник в том отношении, что не смог вполне осуществить в жизни своих возможностей и способностей, и жизнь вместе со скептическим складом ума заставила его даже с юности подавить в себе потребность в этом осуществлении. Но любовь моя для него очень много значит. У меня вообще склонность к неудачникам, – добавила я, усмехнувшись.

– А вам не кажется, что неудачники в жизни самые интересные люди?

– Не знаю. Сама я в общем не неудачница. Скорее наоборот. У меня много счастья и удач в жизни.

– Скажите, у вас много друзей?

– Да, много. Впрочем, что назвать друзьями? – я задумалась. – Настоящих друзей было, может быть, пять-шесть.

– Друзей не бывает много — иначе это уже не друзья, – сказал он, качая головой. – У настоящей женщины их могло быть два-три, не больше.

«Что он понимает под словом “друг”? – подумала я. – «Кажется, больше, чем я, и более, чем в это слово вкладывают обычно».

Чтобы преодолеть это и не вводить его в заблуждение относительно моего понимания дружбы, я сказала:

– Я вам друг, хотя и не знаю, друг ли вы мне. От вас зависит сохранить мою дружбу. Я друг настолько, что хотела бы даже стать вашей сестрой, смешать вашу и мою кровь, как это делают в Грузии.

– О, я совсем бы этого не хотел! – расхохотался он. – У меня уже есть такие сестры. С меня их довольно!

Я промолчала, почувствовав опасение, что он, возможно, хочет большего, чем я могу ему дать, и что я его в результате потеряю.

– Когда вы едете и куда? – спросил он через некоторое время.

– Четырнадцатого в Армению. А вы теперь имеете выходные дни?

– Да. Я их готов предоставить в ваше распоряжение. Мы можем, когда вы вернетесь, съездить, куда вы хотите. В Бетанию, в Чергали[35]…

Я обрадовалась, и мы тут же высчитали, когда будет его первый выходной день после моего возвращения, договорившись, что 31 июля мы отправимся в Бетанию.

– Почему вы не в том своем платье, – спросил он вдруг, – знаете, кизиловом, с белыми кружочками, в котором вы ходили два года назад?

– Вы помните даже мое платье? А я боялась, что вы и меня совсем забыли за два года.

– Я помню все, что к вам относится — я уже вам сказал это.

– В таком случае я надену кизиловое платье, когда мы поедем в Бетанию, – улыбнулась я.

– Благодарю, – его горячая рука опять пожала мои пальцы.

Духота вечера разразилась грозой. Лил сильный, теплый дождь. Надо было ждать прекращения ливня, сидя в опустевшей галерее.

– У меня нет с собой ничего от дождя, – сказала я.

– И у меня тоже. Я ничего не могу вам предложить.

– И вы из-за меня так поздно засиделись. Ведь вам завтра надо рано ехать.

– Это не имеет значения. Если бы я захотел уйти, я бы давно ушел. Вы ведь сами знаете — я способен на то, чтобы уйти даже не попрощавшись…

– Да, я это знаю, – сказала я с уколовшим меня опять воспоминанием о старой обиде.

Я увидела на его лице опять ту милую улыбку, в которой было что-то мальчишеское и чуть озорное. Я улыбнулась в ответ.

– Вот здесь я живу, – сказала я, останавливаясь у дверей дома Аситашвили.

– Я приеду теперь из Орджоникидзе двенадцатого, – проговорил он, выжидая.

– Двенадцатого я уеду в Зедазени[36] со знакомыми. Это воскресенье, в другой день они не могут. Вероятно, мы вернемся поздно.

– Ну, тогда мы можем увидеться тринадцатого, только ненадолго. Я должен быть занят в этот выходной день. Во всяком случае, я буду вас ждать из Армении к тридцать первому.

– Обязательно!

Я протянула ему руку, мой взгляд как будто потонул в темной, без блеска, бездне его странных, широко открытых, немигающих глаз. Он быстро взял мою руку и поцеловал, прощаясь.

Быстро отвернувшись, я взбежала бегом по темной лестнице на третий этаж и позвонила. Дверь открыла полусонная Теона. Мне не хотелось разговаривать, я сразу же легла в постель, вытянулась и заснула, будто погрузившись в убаюкивающую волну.

Одиннадцатое июля было заполнено с утра до ночи. Утром я была у Веры. Она доставила мне большое удовольствие, показав несколько десятков копий, сделанных с горных пейзажей Рериха Старшего[37], уже давших мне на его выставке в Ленинграде столько радости, сколько может дать что-то не только прекрасное, но субъективное близкое, созвучное, понятное. Сама Вера была тоже так увлечена, что ее знакомые художники, шутя, говорили о ней: «Рерихнулась!». Я смеялась над удачностью этого каламбура, любовалась ее мастерскими гуашами-копиями, разделяла ее восторги по поводу того, как Рерих совсем по-новому сумел изобразить горы, обобщенно передав саму квинтэссенцию их красоты, не укладывающейся в рамки обыденности. Тихая, мягкая, хозяйственная сестра Веры, Нина Константиновна, кормила нас пирогами, а пришедший к этому времени брат их обсуждал планы наших летних путешествий. Неутомимый любитель гор, он теперь говорил о них с оттенком грусти: у него недавно был инфаркт.

Мне пришлось ахнуть от изумления и благодарности, когда Вера извлекла подарок, который Ренэ и Закро готовили мне к именинам, но закончили только сейчас. Это была скамеечка, «бак», сделанная точно по аварским образцам и покрытая аварским орнаментом.

– Помните, вы говорили, что хотели бы сидеть зимой, около печки, в своей комнате на такой скамеечке? – смеялась Вера.

Такое внимание было даже чрезмерно, – я не знала, что ответить.

День я провела с Александром Цибулевским[38], с которым только что познакомилась. Я привезла ему письмо и маленькую посылку от его жены из Ленинграда, и это требует особого, по возможности краткого, рассказа. Когда я училась в аспирантуре, среди студенток-искусствоведов была на редкость забавная еврейская девочка — Тамара Скуй[39], большая, толстая, неуклюжая, круглолицая и круглоглазая, с косой и бантом, как у школьницы, добродушно самоуверенная, слишком хорошо учившаяся, но прекрасно знавшая языки и почти кончившая скрипичное отделение консерватории. Она была похожа на вундеркинда и на молодого, нескладного слоненка. Позже, уволена из Эрмитажа, где она некоторое время работала, она, зная до того итальянский язык только пассивно и весьма посредственно, со своей обычной невозмутимостью и добродушной самоуверенностью, откликнулась на объявление «Интуриста» о наборе гидов, знающих итальянский язык. Отнюдь не обладая большими искусствоведческими данными и относясь к искусству и науке о нем весьма банально, светски, дилетантски, она обладала настоящими лингвистическими способностями и за одно лето работы с итальянцами превратилась в прекрасного гида. Ей поручена была даже приехавшая для осмотра СССР какая-то итальянская герцогиня, которую она возила по стране все лето, которой сумела внушить симпатию ко всему виденному и к себе самой и которая говорила, уезжая: «Тамара, деточка, куда мне обратиться, чтобы вам разрешили приехать в Италию погостить у меня в Риме и в каком-нибудь из моих загородных замков?» Занятие Италией в известной мере сблизило меня с Тамарой, к услугам которой я несколько раз обращалась и которая весьма расположилась ко мне, так что я, – как это случалось не раз в моей жизни, – невольно оказалась поверенной ее сердечных тайн. К этому времени из вундеркинда и слоненка она превратилась в слонообразную, но волоокую, с красивым лицом девушку, по-прежнему добродушно и как-то непроизвольно, непосредственно самоуверенную. Оказалось, что во время войны их семья была в эвакуации в Тбилиси, здесь она училась в школе и здесь начался школьный роман с местным, тоже еврейским мальчиком Шурой Цибулевским, блиставшим поэтической одаренностью. К концу войны он поступил на филологический факультет тбилисского университета, но, когда дошел до второго курса, был еще с целой компанией молодежи арестован. Его обвинили в том, что он не выдал неблагонадежные в политическом отношении литературные упражнения кружка своих товарищей, и

он просидел семь лет в концлагере около Рустави, работая на тяжелой физической работе. Его товарищем по несчастью оказался сухумский художник Контырев[40], все еще крепкий старик, с которым я познакомилась недавно в Келасури[41], где он живет на самом берегу моря в своем домике, занимаясь чем угодно: живописью, серебром с чернью, починкой скрипок, садом, а еще походами в горы и кошками, которыми пропахли его комнаты. О Шуре он говорит с нежностью, скрытой под присущей ему внешней грубоватой небрежностью, – он был настоящим другом в беде и настоящим человеком в трудностях и невзгодах. Когда после 53-го года их выпустили, Александр сначала не имел права даже вернуться в Тбилиси, – прошло три года, пока это ему разрешили, так же как и продолжение обучения в университете. В этот тяжелый период он опять виделся с Тамарой, и она предложила сама стать его женой. Казалось ли ему, что он ее действительно любит, или самоотверженность ее решения разделить с ним неизвестное и едва ли светлое будущее произвели на него большое впечатление, но они поженились. Однако сразу же оказалось, что на пути их совместной жизни стал целый ряд препятствий. Когда все «минусы» в смысле выбора места жительства были сняты, Александр хотел поехать в Ленинград, поселиться у Тамары и уговорить свою мать тоже обменять тбилисскую квартиру на ленинградскую комнату. Но мать сразу же возненавидела завистливой ненавистью жену своего единственного сына, любимого ею властно и эгоистично. Переехать в Ленинград она отказалась. Оставить ее одну с ее настоящими и мнимыми болезнями в Тбилиси Александр не мог. А переезд в Тбилиси Тамары, даже при условии жизни на разных квартирах, тоже оказался невозможным, в такой ад превращала их совместную жизнь свекровь. Два года врозь, переписка, иногда встречи, неизвестное будущее, – таково было положение, когда я познакомилась с Александром, выполняя поручение Тамары, которая должна была приехать в Тбилиси позже меня.

Первые впечатления были: невыносимая апатичность матери, подозрительно-настороженной, изображавшей из себя тонкую интеллигентку, но на самом деле — явную представительницу того интеллигентного мещанства, которое, кажется, еще хуже, чем всякое другое мещанство. Я легко себе представляла, как она сплетничала после моего ухода о моей «странности», о том, насколько ни моя внешность, ни моя одежда, ни манера держать себя не соответствовали тому, что полагается для доцента, о том, что я, как девчонка, бегаю по горам вместо того, чтобы солидно и комфортабельно отдыхать в

санатории и вращаться в соответствующем «приличном» обществе… Впоследствии я действительно узнала, что все это так и было. Но какое мне до этого дело? Александра же мне сразу стало жалко. Он мне сразу, с первого взгляда, с первого слова понравился. Среднего роста, рыжеватый, с привлекательным лицом, говорившим об уме, культуре, замкнутости, отрешенности от обыденности, о сумрачности и искренности, вдруг озарявшей лицо улыбкой… В нем чувствовалась и склонность к самоанализу, и непосредственность, и скрытность, и искренность, и жесткая скептичность, и способность увлекаться, и топорщащееся упрямство, и склонность поддаваться чужим влияниям, тепло чувства и разлагающие чувства, не позволяющие им переходить в страсти действия мысли. И во всяком случае, ничего внешнего «галантного», вызванного только тем, что «так полагается», в отличие от пропитанной условностями матери. В первый момент в нем было что-то недоверчиво испытующее по отношению ко мне, но как только он почувствовал, как я далека от банальности и обыденности, как я люблю путешествия, природу, горы, – он стал простым и милым, между нами установился контакт и, желая поскорее избавить меня от общества матери, он повел меня показывать мне сокровенные уголки старого Тбилиси, который он хорошо знал и по-настоящему любил. Конечно, он нашел во мне благодарную спутницу. Мы бродили целый день по лабиринту узких и кривых улочек с нависающими над ними выступами огромных крытых балконов, рассматривали старинные детали фасадов, входов, окон, поднимались по крутым лестницам, заглядывали снизу в повисшие на отвесных обрывах дома, похожие на ласточкины гнезда и готовые рухнуть с огромной высоты в бездну. Перед нами открывались все новые просветы, ведущие к Куре, все новые панорамы черепичных, хаотично расположенных крыш, среди которых вздымались то здесь, тот там высокие барабаны и пологие многогранные шатры церквей. Поперек улиц и на балконах сушилось развеваемое ветром белье. Из маленьких пекарен пахло свежим хлебом. Кудрявые черноглазые, босоногие ребятишки играли на кривых ступеньках. Одетые в черное, похожие на больших черных галок старухи сидели на порогах у ветхих церквей, а старики проходили мимо, сохраняя еще в походке и осанке остатки прежней стройности и живости.

При мне был фотоаппарат, и я фотографировала под руководством Александра, не только прекрасного фотографа-любителя, но и зарабатывавшего фотографией на жизнь для себя и матери сверх студенческой стипендии. Он уже

так освоился со мной, что заставлял меня садиться на корточки и чуть ли не ложиться в белом платье в пыль на мостовую, чтобы я могла взять снимаемые объекты в наиболее эффектных и уже проверенных раньше точек зрения.

Когда мы поднялись на Нарекалу[42], огромную, полуразрушенную, но все еще величественную крепость старого Тбилиси, город раскинулся перед нами в беспорядочно-живописной прелести. Мы карабкались по стенам, цепляясь за камни. Порой он протягивал мне руку, чтобы я могла подняться за ним еще выше. Жар палящего солнца умерялся порывами сильного ветра, трепавшего платье и волосы. Мне было весело, хорошо, непринужденно с этим вновь обретенным товарищем. Разговор был живым и занимательным — ему было приятно, что мне нравится то, что сам он знал и любил с детства.

Путешествие закончилось на Комсомольской аллее, у поставленной к юбилею Тбилиси и еще не известной мне статуи Грузии, колоссальной, белой, одной рукой сжимающей меч для врагов, другой протягивающей чашу для друзей. Несмотря на временный, дешевый, бутафорский характер материала, который, конечно, чувствовался, особенно вблизи, в упрощенно-стилизованных формах статуи я ощутила величественность.

– Обещают, что потом ее сделают из металла, – сказал Александр, уловив выражение моего взгляда. – Но по-настоящему хороша она отсюда. Пойдемте, я вам покажу.

Мы опять спустились вниз, и в одном из узких переулков, переходивших в крутые ступени, подняв глаза, я с изумлением увидела над собой гигантскую верхнюю часть статуи, как бы распластанную в воздухе и склонившуюся вниз колоссальным белым видением. Острие меча было обращено ко мне, но и чаша была мне протянута, а огромные, нечеловеческие глаза без взгляда смотрели отвлеченно, не видя меня, обращенные к иным, отвлеченным масштабам жизни. Я почувствовала себя вдруг маленькой и беспомощной. Какая-то смутная тревога охватила на мгновение все мое существо, будто передо мной было лицо рока, фатума, судьбы. «Я пришла как друг, с открытой душой, с горячим сердцем, – подумала я, – а друзьям она протягивает чашу. Но как она далека и равнодушна! Разве видит она, кто друг, кто враг? Разве ей есть дело до отдельного человека и его чувств?» Я сбросила с себя мгновенное оцепенение и рассмеялась.

– Вам нравится? – спросил мой спутник.

– Очень! А как красива отсюда Нарекала, слитая с камнями склона, на которых она построена, но сейчас выделенная игрой светотени на округлых выступах башен! Я люблю романтику вашего города.

– А если бы вы знали, как интересно в старом городе ночью… К юбилею даже сделали старинные фонари в его закоулках. К сожалению, местные хулиганы в основном их уже перебили, как вы могли заметить. Но некоторые остались. И потом остаются звезды, луна, освещенные кое-где окна. Фотосъемки в это время получаются необычайно эффектными. Я много раз снимал ночью со штативом. Хотите, как-нибудь пойдем снимать вместе? Так часов от одиннадцати до трех-четырех.

– Это очень соблазнительно. Сейчас я не успею, так как уезжаю. И неудобно ночью беспокоить знакомых, у которых я живу.

– Ну, после вашего возвращения. А переночевать можно и у нас.

Впоследствии я оценила чудесные ночные фотографии Александра, сделанные не только с большим профессиональным мастерством, но и с поэтическим чувством красоты снимаемых объектов и художественных возможностей фотографии. На предложение, мне сделанное, я, конечно, согласилась со свойственной мне жадностью к поэзии и романтике новых необычайных впечатлений. Мы уже обсуждали и то, как хорошо было бы с небольшой компанией пройти пешком Военно-Грузинскую дорогу[43], не по самой дороге, а по тропам, захватывая куски старой трассы времен Пушкина и Лермонтова.

– Я завидую вам, – сказал он, – завидую тому, как вы проводите отпуск, вашим планам, темпам, энергии.

– Но ведь планов, желания и энергии, необходимых для этого, у вас не меньше, – ответила я и сразу поняла, что нетактично задеваю больное место.

– Да, но для этого нужны еще свобода и соответствующие средства. Я предпринимаю то, что в моих возможностях, – недавно я ходил на боковой отрог Казбека[44] с несколькими товарищами. Но подобные удовольствия доступны мне не часто. Университет, работа, больная мать… – Он нахмурился, как человек, не любящий говорить о трудностях своей жизни. Но потом вдруг добавил: – Вы ведь знаете, как у меня все сложно с Тамарой. Когда она приезжает, отношения с матерью создают в доме ад, хотя внешне все прилично и нет никаких скандалов.

– Но неужели нет никакого выхода?

– Все больше чувствую, что нет. Даже на время уезжать в Ленинград я могу все реже. Как только я собираюсь ехать, мать немедленно заболевает и требует моего ухода. Оставить же ее я не могу, – ведь кроме придуманных болезней, у нее слишком много настоящих. И потом как я вообще могу ее оставить одну? Тамара же ни в чем не виновата, у нее ровный характер, она могла бы внешне поладить с кем угодно.

Он нахмурился и замолчал, как будто недовольный внезапной своей откровенностью. Заметив это, я перевела разговор на другое, и мы дошли до турбазы, болтая уже как старые знакомые. Когда он прощался со мной, крепко пожимая мне руку, его милое, слегка веснущатое лицо совсем потеряло оттенок задумчивости и настороженного упрямства, замыкающего внутренний мир, – оно было очень мягким и открытым… Может быть, даже выдающим излишнюю мягкость характера, защитным средством против которой были порой и щетинящаяся резкость, и небрежная независимость, и скептическая суровость. Да, это несомненно был человек очень искренний, непосредственный, наделенный благородной прямотой и мужеством.

Я пришла на турбазу в тот вечер, хотя там не мог быть Элгуджа. Должен был приехать Гурген, и мне предстояло договориться с ним о поездке в Армению. Но прежде всего я встретила Дерзибашева. Под впечатлением нового знакомства, не называя имен, я рассказала ему о сложных взаимоотношениях между моей знакомой ленинградкой, ее мужем — тбилисцем и его матерью. Мне хотелось услышать мнение об этом опытного, старого местного жителя.

– Ничего хорошего из этого не выйдет, – покачал он головой. – Вы не представляете, как велика здесь власть матери над сыновьями. И это при любой национальности. Есть много хорошего в местном уважении к старикам и в том, как о них здесь заботятся. Но ведь во всем есть и обратная сторона. Очень часто родители, особенно матери, пользуются этим настолько деспотически, себялюбиво, – хотя они и воображают, что ими руководит любовь к детям, – что это превращается в самодурство и тиранство, совершенно портящее жизнь детей. В какой-то мере я сам жертва этого. Я ведь вам уже говорил, что у меня никогда не было склонности стать экономистом. Но для этого, чтобы избрать специальность по вкусу, я должен был уехать учиться в Россию. Я не достаточно хорошо знал грузинский язык, а в те годы это было особенно важно. Однако, на пути моем встала мать. Я был у нее один, а она не хотела ни отпустить меня

учиться в другой город, ни ехать туда со мной. И я ничего не смог сделать, покорился и, по существу, исковеркал себе жизнь. Ничего не выйдет и из брака ваших знакомых.

Сразу же после того, как он ушел, появился Гурген. Крепко, тепло пожав мне руку и окинув меня взглядом, будто искавшим во мне перемен, он отметил, что я совсем не изменилась за два года и предложил завтра же ехать с ним в Ереван. Но завтра я должна была идти в Зедазени, и я отложила отъезд в Армению до четырнадцатого.

Гурген проводил меня до троллейбуса, и к девяти часам я уже была у Закро Майсурадзе, куда приехали также Ренэ и Вера. В этот раз вся семья Закро была в сборе и я познакомилась с симпатичной, но скучновато-прозаической женой его, с хорошенькой, похожей на персидскую миниатюру дочкой, в огромных глазах которой не чувствовалось ничего, кроме бездумной флегматичности, и сыном, произведшим впечатление порядочного шалопая и стиляги. Мои первые впечатления позже утвердила Ренэ, с экстравагантной резкостью назвавшая потомков Закро ишаком и телкой. За этим скрывалось дружеское сожаление о Закро, при известной его примитивности обладавшем непосредственными, стихийными, художественными и поэтическими запросами. Семье его это было чуждо, даже заботливой и неглупой жене. Ему же всегда был чужд добропорядочно-обывательский круг ее знакомств, а его друзья мало подходили и подходят к его семье.

Когда мы пришли, Закро заключил меня в объятья и излил на меня шумный поток комплиментов и веселых шуток. В заключение я оказалась обладательницей расписанного им кахетинского глиняного кувшина, обогатившего мою коллекцию керамики. На другой день Закро, Ренэ и Вера должна были ехать до августа в Балхар.

Этот следующий день был днем имени Павлуши, и я рано утром отправила ему телеграмму. Сияло солнце, город сверкал зеленью, мне было бездумно радостно и хорошо.

Теона, Бела, еще одна знакомая мне художница и я отправились вчетвером в Зедазени. К сожалению, два их приятеля художника, знавшие дорогу и собиравшиеся вместе с нами, в последний момент не смогли принять участия в этом маленьком путешествии.

На автостанции я заметила своего старого знакомого, милиционера – «кахетинского Швейка [45] ». Я постаралась скрыться в толпе от глаз этого давнишнего «обожателя», но тщетно. Он меня сразу заметил и бросился ко мне, сияя улыбками и расталкивая публику.

– Вы опять приехали? – сказал он, и вся его круглая физиономия широко расплылась, сверкая, как начищенный медный таз.

– Да, как видите. А я думала, что вы уже давно перестали служить. Ведь вы собирались выйти в отставку и вернуться к своему винограднику еще в позапрошлом году.

– Да! Но я прослужил еще два года только для того, чтобы еще раз увидеть вас! – его улыбка стала еще шире, а маленькие глазки совсем закрылись от удовольствия.

Я не удержалась от смеха. Такая галантность в устах кахетинского Швейка была поистине поразительна и трогательна. Можно ли представить себе нашего российского милиционера, проявившего подобную находчивость и рыцарственность? Я даже приветливо улыбнулась ему в награду, когда он махал рукой вслед увозившей нас машине.

Мы доехали автобусом до поворота в Сагурамо [46] за Мцхетой. Дальше дороги никто не знал, и мы послушались случайного совета, избрав не обычный путь через Сагурамо, а подъем с обратной стороны хребта через пионерский лагерь. В результате мы, пройдя значительное расстояние по мелкому, спутанному, заросшему густым подлеском лесу, заблудились, перепутав все менее протоптанную тропинку с руслом высохшего весеннего потока. Это русло привело нас к голым осыпям около вершины хребта. Я попыталась взобраться по ним выше, чтобы взглянуть на местность сверху и разобраться в том, где мы находимся, но, ободрав руки и ноги об острые камни, бесславно спустилась обратно. Теона, как обычно, малодушно впала в унынье и предлагала вернуться. Мне было весело в пронизанном солнцем густо-сплетенном лесу с изгибающимися тонкими стволами невысоких, растрепанных деревьев, и я с задором заявила, что даже если все вернутся назад, я все равно одна найду дорогу в Зедазени. Можно ли так легко отказываться от цели, к которой уже совсем близко находишься? Мой вызов был принят Белой, и наша веселая решительность перевесила малодушие более слабой части «героической женской экспедиции», весьма забавной со стороны, особенно учитывая сверхмодный и тонный вид

незнакомой мне раньше хорошенькой художницы «фифы», приятельницы Теоны и Белы. Я, как старый геолог, прежде всего потребовала, чтобы мне точно по-русски передали все, сказанное по-грузински о дороге в пионерском лагере, и сразу же установила ошибку, сделанную в пути. Мы немного вернулись обратно, выбрались на широкую тропу, пошли до упавшего дерева, о котором легкомысленно забыли мои спутницы, и, наконец, поднялись на гребень узкого, острого, как лезвие, хребта, на котором расположена маленькая каменная базилика VIII века и несколько примыкающих к ней построек. Какой вид открылся отсюда нам! Горные кряжи зеленые, синие, голубые, как волны, разбегались в разные стороны. Среди них сверкали изгибы Куры и Арагвы[47], сливающихся около Мцхеты. Как на ладони, лежала далеко внизу сама Мцхета с ее собором и монастырем. Маленькой, гармоничной по форме, драгоценной игрушкой казался Джвари[48], взнесенный на гребень одной из застывших каменных волн. Вдали в густой дымке сияла поверхность Тбилисского моря[49]. Все полурастворялось и тонуло в солнечном свете, а ощущение безграничного простора увеличивалось узостью той площадки и высотой того отвесного обрыва, с которых мы смотрели вдаль. Казалось, что мы совсем не привязаны к земле, а парим над нею свободно, как птицы.

Бела встретила здесь своих родственников, старика и двух молодых людей из Овчалы[50]. Они удивились, что мы без мужчин рискнули предпринять такое путешествие по глухому лесу, стали пугать нас различными нехорошими историями и настояли, чтобы обратно мы возвращались с ними. Но это, как потом выяснилось, оказалось огромным удлинением пути. Они шли пешком до самого своего дома на окраине Тбилиси, и мы, усталые, но веселые, брели за ними по лесу до сумерек. Узнав, что я из Ленинграда, старик не пожелал отпустить приезжую гостью без угощения, и мы должны были ужинать, пить вино, слушать и произносить тосты в простой, радушной семье, на террасе деревянного дома, окруженного фруктовым садом.

Уже было совсем темно, когда наконец мы добрались на автобусе до вокзала в Тбилиси и обнаружили, что через насколько минут отходит поезд в Баку, увозящий Ренэ, Веру и Закро. Несмотря на усталость, я увлекла за собой Теону, и мы бегом, расталкивая прохожих, помчались через мост и, задыхаясь, достигли уже трогавшегося в путь вагона, чтобы в последний момент помахать рукой отъезжавшим. Дома мы были в 12 часов ночи, еле живые от изнеможения, но

довольные и веселые. Мне казалось, что запас жизненных сил во мне неиссякаем, так же, как неиссякаем запас жизненных впечатлений, давших радость и силы.

13-го я собралась в дорогу, оставляя часть вещей в Тбилиси и беря с собой только совсем необходимое. Вечером я пришла на турбазу, чтобы договориться окончательно об отъезде в Ереван и увидеть Элгуджу. Я его действительно увидела. Он распахнул окно, выходящее из служебной комнаты во двор, заметил меня и улыбнулся мне хорошей, открытой улыбкой. В следующее мгновение он уже держал мою руку в своих руках, расспрашивал о поездке в Зедазени, смеялся над тем, как мы заблудились, и извинялся, что должен уйти, как он предупреждал меня ранее. Полная веселого расположения к людям, я подошла к молодой худенькой женщине, экскурсоводу из Еревана. Она назвала себя Таней и воспротивилась тому, чтобы я называла ее по имени-отчеству. Гурген поручил ей взять меня завтра с собой в Ереван на турбазовской машине, только что привезшей туристов в Тбилиси. Мы договорились о времени и попрощались.

***

В семь часов утра Таня и я сели в ереванский маленький, закрытый туристический автобус, и она мне шепнула:

– Нам придется ехать с ужасным шофером. Вы сами скоро узнаете, что это за скотина. Имейте только ввиду, что Гурген запретил ему брать с вас какие-либо деньги за дорогу.

Действительно, началось с того, что с семи утра до часа дня мы болтались по городу и стояли у разных домов, где армянин-шофер Гриша накачивал разными спиртными напитками свое огромное, тяжелое, волосатое тело орангутанга. В один дом, к родственникам, он затащил и нас, чтобы мы не умерли с голоду. Здесь же, уловив момент, когда он остался со мною с глазу на глаз, он спросил меня, сильно коверкая русский язык, голосом, похожим на рявканье медведя.

– Ты что родственница Гургена?

– Нет.

– Так ты что, живешь с ним?

– Во-первых, я тебе не «ты», – сказала я резко. – А во-вторых, я всякие гадости слушать не намерена.

– А-а, – протянул он в раздумье. Потом добавил. – Так значит, ты не живешь с ним. Ну что ж, это хорошо. Я бы хотел, чтобы у нас с тобой была любовь.

Я повернулась и вышла, ничего не ответив. Я чувствовала, что даже сердиться смешно, до того противно было существо, передо мной находившееся. Разве сердятся на животных? Надо было просто не обращать внимания и не портить себе настроение. Не стоило!

Когда, наконец, мы выехали из Тбилиси, Гриша уже был настолько пьян, что править машиной не мог, поручив это дело своему приятелю, ехавшему с нами. Сам он развалился на задней скамейке автобуса, прорычав:

– Не волнуйтесь, девочки. Вам же лучше, что я не сажусь к рулю. А то я бы дал вам жизни!

– Что он вам говорил, когда вы были одни? – спросила Таня.

– Так, ничего, глупости.

– Представляю себе! Не рассказывайте только ни о чем Гургену. Он всегда с таким уважением о вас отзывается и он такой горячий, что может выйти скандал, если он узнает, что вас обижали.

– Нет, конечно, я ничего не скажу. Но почему держат такого шофера на турбазе? Ведь ему постоянно доверяют жизнь десятков и сотен людей. Да и грубость его должна вызывать недовольство туристов.

– Конечно! Уже было столько жалоб. Но у него связи, родственник занимает высокий пост в правительстве, поэтому пока уволить его никак нельзя.

Мы разговорились. Таня оказалась учительницей, без мужа воспитывающей сына и потому вынужденной весь свой летний отпуск работать на турбазе. Кроме ребенка, на ее руках была еще старуха-мать. Из разговора я быстро поняла, что передо мной простая скромная, доброжелательная женщина, самоотверженная труженица, ничем не блещущая, без полетов фантазии, без больших запросов, обычная, средняя… Но не у таких ли женщин чаще всего бывает золотое сердце, отданное заботе о других даже без мысли о значении подобной самоотдачи, честное, привязчивое, мужественное, принимающее жизнь такой, какова она есть для маленького (и вместе с тем большого) простого человека? Разговор с такой собеседницей не мог быть увлекательным, но я и не ждала этого, применяясь к ее интересам и проникаясь к ней живым сочувствием.

Дорога была уже знакомая. Но опять было приятно любоваться дилижанскими лесами, морем цветов на Севанском перевале, синью Севана. На перевале Гриша пришел в себя и сел за руль.

– Ну, теперь держись, – сказал он, подмигнув мне.

И действительно, мы понеслись вниз с такой скоростью, что только при большом и ставшим инстинктивным водительском искусстве было возможно не сорваться в пропасть на бесконечных резких поворотах крутого серпантина. При прочих пороках орангутанг Гришка все-таки явно был опытным шофером. У меня захватило дух, мне было страшно и весело. А Таня побледнела и сказала тихо:

– На днях я видела здесь аварию. Трупы уже подняли из пропасти и они лежали около дороги. Они до сих пор в моих глазах. Поэтому теперь мне как-то особенно страшно. Я ни за что больше не поеду с этим сумасшедшим.

На Севане Гриша опять пошел выпить и закусить, но проявил при этом и о нас заботу, принеся нам еды. Явно ему не были чужды элементарные человеческие чувства!

Когда мы въехали в Ереван, было уже совсем темно. Случайные пассажиры и Таня сошли с машины раньше меня, и я осталась одна с Гришей, ехавшим на турбазу. Это было мне неприятно, – мало ли еще чего можно было от него ожидать? Но все обошлось без каких-либо инцидентов. Перед турбазой я вынула деньги и протянула ему, – мне не хотелось быть обязанной чем-нибудь этому грубияну, изъявившему желание быть «в любви» со мной и по пути не раз обращавшему ко мне слишком заинтересованный пьяный взгляд. Он поколебался, видимо, помня, что ему велели не брать с меня денег. Потом добродушно спросил:

– А у тебя еще деньги есть? Тебе самой-то хватит?

– Хватит, – сказала я кратко.

– Ну тогда ладно, – он взял протянутую бумажку. – Выпью за твое здоровье.

На турбазе меня ждали Гурген и Грегор[51], обеспокоенные запозданием машины на целых полдня, и я сразу же получила место для ночлега и талон на ужин. Милый Грегор был все тот же заботливый, добрый, застенчиво-приветливый. Но он так похудел, высох, осунулся, что на него было страшно смотреть. Красные, лихорадочно-воспаленные глаза, дрожащие руки, провалившийся рот говорили о последних стадиях алкоголизма. Мне было так грустно, что я еле могла скрыть это приветливой улыбкой. Посидев немного все в той же «своей» беседке с Гургеном, я рано ушла спать, договорившись о

завтрашнем дне и опять с удовольствием ощутив своеобразие Еревана. Привратница приветствовала меня по-английски, с Грегором я, даже почти не замечая переход на чужой язык, тоже говорила по-английски. После жаркого дня с Арарата дул прохладный ветер, и, когда я просыпалась ночью, я слышала его гудящий голос за стенами, напоминавший мне библейские легенды. Да, все было по-старому, только вид Грегора меня огорчал и пугал.

На другой день меня приветствовали с улыбками все не забывшие меня работники турбазы. Директор был новый, но меня с ним познакомили, и он сказал мне тоже с любезной улыбкой:

– Вы можете сегодня весь день распоряжаться Гургеном. Я отдаю вам нашего лучшего экскурсовода, – пусть он сопровождает вас, куда вы хотите.

Я поблагодарила. «Конечно, – подумала я, – многие, подобно шоферу Гришке, считают, что приехала любовница Гургена. Но какое мне дело, в конце концов, до любых сплетен, если в действительности ничего нет и быть не может?».

Прежде всего я поехала с Гургеном к Лидии Александровне Дурново[52], снабженная письмом Ренэ. Старая художница, отпрыск аристократического рода, заброшенная в Ереван в первые годы революции, Дурново очень много сделала для сохранения, реставрации, копирования, изучения армянской средневековой живописи, создав целую школу местных специалистов этого дела. Прожив в Ереване большую часть жизни и достигнув теперь семидесяти с лишним лет, она пользуется здесь большой известностью и большим уважением. Все знают и ее чудачества, – чудачества старой девы, окружившей себя всякого рода кошками, собаками и особенно птицами. В этом отношении она подобна Ренэ. Однако относительно ее «стародевичества» Ренэ как-то с веселой усмешкой сказала:

– Вы думаете, – она старая дева? Что вы! Она одна из самых больших и чудесных грешниц, которых я знала в жизни. Но она убежденная амазонка, считающая, что мужчины в жизни нужны, без них было бы скучно и неинтересно, но жить с ними вместе невозможно, так как они сразу же накладывают лапу на свободу, а свобода дороже всего. Ну, и характер у нее такой, что, преданная фанатично работе, она легко меняла прочие жизненные связи, хотя и умела оставаться другом. Если бы видели ее и одного из ее друзей, такого же старого греховодника, – как они мило переглядывались, молчаливо вспоминая прошлое!

Сухонькая, аккуратная, очень прямая, подвижная и все еще бодрая старушка встретила нас приветливо и с интересом. Она знала уже обо мне от Ренэ, вечно

все разбалтывавшей и поэтому даже читавшей ей мои дагестанские стихи. Комната же, в которую мы попали, была еще экзотичней, чем комната Ренэ. Кроме многочисленных мелких птиц, здесь были: суетливая, несмотря на тесноту помещения, сорока, сидевший на столе сумрачный маленький ястреб, а со шкафа на нас невидящими глазами смотрела нахохлившаяся сова. К счастью, окно было широко раскрыто, и утренний воздух умерял нестерпимость привычного для хозяйки тяжелого запаха.

Я вспомнила еще один рассказ Ренэ о Лидии Александровне. Однажды она вместе с еще несколькими искусствоведами и художниками поехала осматривать татевский монастырь. При этом Лидия Александровна взяла с собой клетку, в которой находился выздоровевший щегол и больной воробей. Первого надо было выпустить на свободу, но Лидия Александровна хотела сделать это не в пыльном и душном городе, а в каком-либо наиболее живописном месте, чтобы доставить наибольшее удовольствие щеглу. Воробей же находился в тяжелом состоянии и она не рискнула поручить его заботам той женщины, на попечении которой находились прочие птицы во время ее постоянных летних разъездов. Клетка была в виде ящичка с небольшими отверстиями и накрыта она была платком. Долго выбирая живописный пейзаж, Лидия Александровна, наконец, решилась освободить из темницы щегла, с детской непосредственностью радуясь тому впечатлению, которое этот солнечный пейзаж должен произвести на спасенного ею для жизни питомца. Воробей же продолжал мирное путешествие в клетке до того момента, когда вся компания добралась до пограничной зоны. Здесь они были вежливо приглашены в органы государственной безопасности и им было сказано, что дошли слухи (принесенные бдительными советскими гражданами) о том, будто они возят с собой ящичек с коротковолновой радиоустановкой и в непосредственной близости от иранской границы выпускали голубей, – известных передатчиков недозволенных политических сообщений. Обвиняемые вначале слушали, ничего не понимая и буквально открыв рот от изумления. Но вдруг осененная пониманием Лидия Александровна поставила на стол стоявшую около нее на полу клетку, сняла с нее платок и крышку, и перед открывшими от неожиданности рот представителями грозных органов безопасности зачирикал обрадованный светом воробей.

– Вот наша радиоустановка, – спокойно сказала Лидия Александровна. – А птицу я действительно выпустила недалеко от иранской границы, но только это

был щегол, а, как вы, конечно, знаете, самого умного щегла не сделаешь голубем и не заставишь доставлять какие-либо послания. Надеюсь, вам этого достаточно и свидетельские показания не потребуются? Документы же для погранзоны, как вы сами знаете, у нас в полном порядке.

С этими словами она величественно встала, а представитель власти, почтительно извиняясь, еле мог подавить душившие его приступы хохота. Сама Ренэ рассказывала это со смехом, свидетельствующим, что даже она не способна на такую решительную и серьезную экстравагантность…

У Гургена сразу нашлись общие и не вполне обычные знакомства с Дурново, – он «сидел» вместе с кем-то из ее близких друзей, не вернувшихся из ссылки, и мог дать о нем взволновавшие ее сведения. Посидев и поговорив немного, мы взяли такси и повезли Лидию Александровну в музей, где она хотела показать нам копии татевских фресок[53], теперь уже плохо сохранившихся. Фрески X века оказались очень интересными большой необычностью и самобытностью, – в них мало от византийских традиций, в связи с которыми так или иначе проходило развитие и русской и закавказской христианской живописи в средние века. Здесь бросалась в глаза монументальная и грубоватая упрощенность рисунка, так же как и явное национальное своеобразие армянских лиц. Древним Востоком веяло от этого ранне-христианского искусства, как и от всей Армении.

Осмотр выставок Музея, еще разговор с героической старой амазонкой, рассказавшей между прочим, как она еще год назад прошла в горах девятнадцать километров, поездка по городу, многие части которого выросли и похорошели за два года, – так прошел день. Гурген рассказывал о своей работе, о новой книге стихов, приготовленной им для печати, о сыне, кончающем институт, о продаже отцовского, вернее, даже дедовского дома в Ленинакане. Я представила себе, как тяжело было ему и его братьям продать этот дом, который они любили, с которым были связаны семейные воспоминания и дни детства, – ведь у любых кавказцев гораздо живее родовые традиции, чем у нас, давно их утративших. Но дом развалился, поддерживать его было трудно, жить в нем было некому. А здесь Гурген живет с сыном в крохотной комнатке, которую он за большие деньги снимает, так как до сих пор ему не давали никакой жилплощади. Но я видела, что он все тот же бодрый, оптимистичный, не падающий духом, умеющий стойко и бодро переносить все невзгоды. И так же влюбленный в свою Армению… Он показывал мне изменения, произошедшие в Ереване, так, как если бы показывал

свой собственный дом. И это ютясь в чужой комнатушке и не получив пока ничего из того строительства, которое действительно бурно шло вокруг!

После обеда я сидела в беседке с Гургеном, Мазиком и начальником ТЭУ, предлагавшим мне вместо намеченного самодеятельного путешествия в Зангезур взять зангезурскую туристскую путевку и вместе с тем сохранить свободу ее использования вплоть до любого сокращения сроков и завершения путешествия отдыхом на Севане. Я согласилась, чувствуя, что все эти любезные предложения подготовлены Гургеном. Тут же мне было обещано, что утром за мной будет прислан инженер, участвовавший в турбазовском строительстве и тоже летевший самолетом в Зангезур.

Когда все ушли, в беседку пришел Грегор. Он был пьян так, как бывают пьяны люди, которым уже достаточно одной рюмки водки, чтобы впасть в опьянение, и которые уже никогда не выходят из этого состояния. Он долго рассказывал мне о себе, о каких-то эфемерных расчетах на получение заграничного наследства от богатого родственника жены, о желании дать высшее образование Артуру, о необходимости для этого дать крупную взятку, ставшую почти неотъемлемым условиям поступления в ВУЗ'ы в кавказских республиках, где во многих делах коррупция носит примитивно прямой и откровенный характер. Грегор говорил о трудностях жизни… О своем такси в Иерусалиме… О том, как он был в те времена «парнем хоть куда», вратарем футбольной команды… У него заплетался язык, а добрые глаза смотрели грустно и сверкали блеском больного на изможденном лице. Передо мной были уже только жалкие остатки хорошего, простого, маленького человека «с чистым сердцем».

– «Зачем это, почему», – думала я. – «Какая тоска его сгубила, заставила пить, привела к такому падению? Тоска? Или случайность, товарищи, слабоволие? Ведь у него хорошая жена, хорошие дети. Нет, видно, все дело в том, что жизнь его была выбита из старой колеи и не смогла войти в новую».

С женой Грегора, еще не старой женщиной, палестинской арабкой, я теперь тоже познакомилась. Она работала на турбазе, чтобы как-то поддержать семью. Зная, что я та самая ленинградка, которая дарила шоколад и присылала книжки ее маленькой Соне, она меня расцеловала. Но, увы, изъясняться мы с ней не могли ни на каком язык, так как она знала только армянский и арабский. Поэтому при дальнейших встречах ее обращение ко мне ограничивалось широкими улыбками и словами «девочка» и «здравствуй».

Утром Грегор заботливо разбудил меня в пять часов. Я оставила у него свой рюкзак, взяв только сумку с самым необходимым и рассчитывая получить в Зангезуре на турбазе более удобный для похода мешок. В шесть часов за мной заехал на машине молодой инженер Миша. Когда на маленьком, восьмиместном самолете мы поднялись над Ереваном, я прежде всего увидела сквозь утреннюю дымку повисшие в воздухе вершины двух Араратов. И опять я испытывала трепет перед почти мистической фантастикой этого зрелища, увеличенной теперь той точкой зрения, с которой я любовалась сиянием огромной невесомой вершины Масиса [54] и его младшего брата [55]. Дальше по трассе полета открывались безлесные, покрытые травяным покровом, скульптурно вылепленные горы, беспорядочно застывшие внизу, испещренные по склонам полосками и прямоугольниками посевов, с редкими пятнышками селений и редкими сверкающими нитями потоков. Еще реже прочерчивались линии дорог. Я опять оглянулась назад. Позади над всем этим морем мелких вершин и над лежащей перед ним плоскостью лавового плато все еще сиял призрачный купол Масиса.

– Да, вот наш край, – сказал задумчиво Миша, подозвав меня к стеклянной двери самолета, откуда было видно лучше, чем через маленькое окошко. – Суровый, трудный край, – казалось, хотел он добавить с любовью.

Когда мы приблизились к Зангезуру, картина перед нами изменилась, не утратив своей суровости. Внизу появились высокие скалистые хребты, вершины которых то как пики, то как острые зубчатые лезвия поднимались над густым лесом, одевавшим их склоны. Будто грозное оружие, выглядывавшее из-под прикрывавших его косматых шкур и бурок. Это был древний край Сюник[56], расположенный на границе с Ираном, но никогда не подчинявшийся никаким завоевателям. Он славился неприступностью своих ущелий и крепостей, смелостью горцев, рослых, сильных, закаленных, сохранивших до сих пор древнее грубоватое наречие и грубоватую патриархальность нравов. Зангезурцы гордятся своим происхождением, своим прошлым, своей страной, а городские армяне других районов смотрят на них нередко несколько пренебрежительно, как на варваров, не умеющих даже правильно говорить на современном армянском языке. Теперь в южной части Зангезура разрабатываются большие месторождения цветных и редких металлов. Сюда мы и держали путь, опустившись на маленький аэродром медного рудника Кафан[57], от которого на

машине добрались до турбазы, расположенной на заброшенном в настоящее время руднике Шаумяна. Здесь я провела первые три дня.

Зангезурский маршрут существовал первый год и имел местное, а не всесоюзное значение. Это сказывалось на всем. Не совсем законченное каменное здание турбазы возвышалось на голой, выжженной площадке, лишенной всякой зелени, под палящими лучами солнца. Перед ним раскинулись отвалы рудника, напоминавшие мне годы моего геологического прошлого. Небольшой поселок был расположен за отвалами, а за его домиками на фоне ярко-синего неба нежными и бледными красками рисовалась высокая горная гряда. Весь персонал турбазы и все туристские группы состояли только из армян, – я была единственной русской. Но это отнюдь не оказалось для меня неприятным или неудобным. Наоборот, я сразу же почувствовала особо внимательное и предупредительное отношение к себе как к гостье. Меня старались развлечь. Когда я входила в столовую, мне торопились предложить или даже уступить лучшее место. Меня первую сажали в автобус во время экскурсий. Со мной были очень приветливы, ко мне проявляли интерес. Одним словом, я сразу почувствовала себя хорошо, несмотря на то, что вокруг все время звучала чужая речь, и только обращаясь ко мне, одни переходили на русский язык, – нередко очень ломанный, – другие на английский, а третьи объяснялись даже знаками. Дело в том, что здесь было много репатриированных из разных стран, не знающих или почти не знающих русского языка.

Это придавало очень экзотический характер вечерам на турбазе. Когда спадал зной и над горами вставала огромная, медная, фантастически-яркая луна, на бетонной площадке перед турбазой начинался своеобразный самодеятельный концерт. Армянин из Ирана, – внешностью, ленивыми движениями, чем-то неуловимым в самой походке напоминающий перса, – приносил большой, странный музыкальный инструмент и, перебирая его струны костяной палочкой, начинал петь персидские и турецкие песни. Ему вторили два его товарища, полуприкрыв большие, черные меланхолически-томные глаза. Потом они переходили на арабские мотивы, и тогда на площадке появлялись выходцы из Сирии, Ливана, Ливии, Египта и танцевали характерные народные танцы этих стран, вплоть до танца живота, который один из них исполнял с большим мастерством. Окружающие мерно хлопали в ладоши, и мне казалось, что я перенеслась в страны Ближнего Востока и непосредственно ощущаю дыхание их

быта, их народной культуры, их исторического прошлого. Когда концерт заканчивался, начинались обычные танцы, и мне уже совершенно не давали сидеть на месте. Я никогда не танцую на турбазах, но здесь я танцевала с удовольствием, увлекаемая то ритмом вкрадчивой поступи маленького гибкого палестинца, то порывистыми движениями высокого стройного ливийца, инструктора-спортсмена с причудливой шапкой рыжих волос над смуглым лицом. Каких только необычных кавалеров по танцам у меня не было за эти три вечера! И как удивительно у этих армян в большинстве случаев сохранялись специфические черты тех народов, среди которых родились и выросли не только они, но обычно и несколько поколений их предков.

Днем мы ездили на экскурсии в автобусе. Медный Кафан и молибденовый Каджаран [58], расположенные в красивых лесистых горах, сами по себе не произвели на меня приятного впечатления. Я не люблю рудники с их оголенной, как бы ободранной почвой, прежний зеленый покров которой никак не могут заменить чахлые, редкие искусственные насаждения. Груды отвалов, кучи мусора, точащие среди них голые, неуютные домики, бункера, шахтные вышки, служебные здания неприятно-казенного вида, пыль от отвалов и грузовиков, грохот сыплющегося камня и шум механизмов, – все это, хотя и полно своего особого величия и пафоса, но при всем сознании необходимости и полезности никогда меня не радует и не трогает. Что делать, – я не человек техники и производства, этот пафос и эта поэзия не для меня. На меня это всегда действует удручающе, тягостно, скучно. И после осмотра Каджаранской обогатительной фабрики[59] (одной из самых совершенных в Союзе) я с облегчением вздохнула, когда мы оказались за пределами рудника, у шумного ручья, около которого сохранилась группа больших, старых деревьев. Отдых здесь прошел оживленно. Группа туристов, к которой я примкнула, становилась знакомой.

Прежде всего я оказалась под покровительством старой, хромой ереванской ткачихи, которая опекала меня своими заботами. Затем я почувствовала внимание к себе со стороны мастера Вагана, кудрявого, нервного, несколько колючего ереванца, сдержанно и безо всякой навязчивости искавшего со мной бесед о жизни, о человеческих отношениях…, но не об истории, не об искусстве, не о книгах, – он сказал как-то откровенно, что книги читать не любит. Зато старый рабочий Айк все время носил за поясом тетрадь, в которую старательно записывал все, что узнавал в пути, особенно исторические сведения. Он

расспрашивал меня, что я знаю о древностях, которые встречались нам по дороге. Красивый, молодой веселый рабочий Акоп радовал мои глаза прекрасным воплощением национальной красоты и иссиня-черным блеском огромных глаз. Толстый, меркантильный, деловитый палестинец Сурен, – в прошлом, вероятно, торговец, а теперь прозябающий на снабженческих операциях, – давал мне возможность упражняться в английской разговорной речи и смешил своей комичной галантностью. Наконец, интересна была пара армян из Лиона, – месье Петрос и его жена мадам Ани, имевшие удивительно французский облик, манеры, даже характер. Особенно он, – живой, остроумный, общительный, экспансивный, но обладающий непосредственным светским лоском, легким и непринужденным. С ним за время пути я оказалась в наиболее приятельских отношениях, причем изъясняться нам пришлось только по-французски. Владея языком пассивно, я понимала Петроса, когда он говорил медленно и членораздельно, и вначале с большим трудом отвечала ему, составляя фразы. Однако с каждым днем успехи мои возрастали, темы разговоров усложнялись, и, наконец, он сказал с восторгом:

– Если бы мы с вами путешествовали так еще месяц, вы бы уже свободно говорили по-французски. Произношение же у вас очень хорошее, мадам Танья!

Так он называл меня, попросив разрешения сократить мое имя, после того, как вначале обращался ко мне более церемонно «мадам Татиана», невольно вызывая в моей памяти образ оперного мосье Трике[60]. Теперь, конечно, в его восторгах было любезное преувеличение, но произношение у меня действительно могло быть вполне приличным, как давнее наследство той француженки, с которой я гуляла и болтала в киевских садах, когда мне было лет семь.

Петрос и Ана происходили из семьи лионских ткачей, и теперь Петрос тоже работал мастером на ереванской шелкоткацкой фабрике. Полный шуток, острословия и неиссякаемой жизнелюбивости, он охотно рассказывал о Франции. Его небольшая, тощая фигурка на кривых ножках, с очками на длинном носу, казалась забавной на горных тропах, но он шел бодро и его картавый голос все время веселил всех, кто оказывался вблизи от него.

Как-то в конце пути я спросила:

– Скажите откровенно, вы довольны, что приехали в Армению?

– Наша семья, – ответил он серьезно, – была наследственными ткачами в Лионе. Мы все имели хорошую постоянную работу, и, если говорить о

материальной стороне жизни и о благоустройстве быта, нечего даже сравнивать нашу жизнь здесь и там. И это несмотря на то, что там в семье работали только мужчины, и при том отнюдь не старики. Здесь же я, мой старый отец и моя сестра должны работать, чтобы кое-как мы могли содержать двух моих детей и Ани, которая несет на себе для нас всех хозяйственные домашние заботы. Но ведь я приехал сюда не из материальных соображений, а чтобы жить в своей стране и среди своего народа. Я этим доволен.

Я почувствовала в этом простом ответе ту удивительную, не уничтоженную веками эмиграции любовь к стране, знакомой только по книгами, по рассказам, по языку, но все равно «своей» стране, которая присуща большинству армян. Бескорыстность этой любви тронула меня в словах Петроса.

Вместе с тем его коробили недостатки внешней и бытовой культуры, недостатки воспитания, грубость нравов, которые он отмечал нередко у местных армян и в местной жизни. Что бы он сказал, если бы соприкоснулся с той широкой массой русских, которые, потеряв устои и традиции народной культуры, остались бесконечно далеки от интеллигентности, хотя и кичатся тем, то они «люди культурные»? Меня, наоборот, во время пути удивляли в моих спутниках, – среди которых было много рабочих, – воспитанность и в значительной мере деликатность, явно свидетельствующие о живучести остатков древней народной культуры. И это несмотря на ту горячность, с которой они поднимали крик при самых мелких спорах во время устройства ночных стоянок. Подобные вспышки темперамента и непосредственности так же быстро стихали, как возникали, они ничуть не отражались на гостеприимной предупредительности ко мне и, когда Петрос укоризненно говорил о них, мне казалось, что он слишком много требует от своих простых товарищей, исходя из привычных для него западноевропейских норм.

– Да, – сказал как-то позже Петрос, сам возвращаясь к затронутому мною ранее вопросу, – я доволен, что живу в Армении и что здесь родились мои дети. Но я многого не понимаю. И я помню слова старого полковника-армянина, у которого я служил рядовым во время войны во Франции и который всю жизнь посвятил тому, чтобы сражаться в разных странах против фашизма и колониального порабощения. Когда армянам было разрешено репатриироваться в Армению и он узнал о моем намерении этим воспользоваться, он сказал мне: «Я всю жизнь боролся за свободу и слишком хорошо понял, что настоящей свободы

нет и никогда не было. Есть только относительная степень свободы. Но я бы никогда не поехал в такую страну, в которую можно въехать, но из которой нельзя выехать.

Ваган как будто даже немного ревновал меня к Петросу. Когда однажды я, смеясь, сидела на камне, обдаваемая брызгами горного ручья, купавшийся в нем Петрос со свойственной ему западной свободой и веселой фривольностью слегка обнял меня и крикнул одному из товарищей:

– Сфотографируй нас так! Ани, не смотри на меня ревниво. Я пошлю эту карточку супругу мадам Танья, чтобы он больше не отпускал ее одну путешествовать. Это с его стороны более чем легкомысленно.

Аппарат щелкнул, и в следующее мгновение я невольно обернулась назад, чувствуя на себе чей-то взгляд. Это Ваган смотрел на меня серьезно и мрачно, не одобряя с позиций восточного отношения к женщине ни легкомыслия Петроса, ни свободы моего шутливого флирта с ним. В пути Ваган часто шел со мной, помогая мне и на подъемах снимая с меня рюкзак, несмотря на мое сопротивление. Он с нежностью говорил о своей старухе матери и с некоторым пренебрежением – о жене. Я однажды упрекнула его за это.

– Но разве можно любить жену так, как любишь мать? – сказал он удивленно. – Мать одна, а жен можно найти много и любить разных много раз. Если бы моя мать сказала мне, чтобы я прогнал жену, я бы ее прогнал и взял другую.

Я пыталась спорить против этого примитивно-восточного отношения к женщине, но Ваган не понимал меня, а вместе с тем требовал большой внешней сдержанности в отношении к женщинам, хотя настоящего уважения к ним за этим не скрывалось. Или, вернее, скрывалось только уважение к женщине как к возможной матери и дань традициям. Мне была интересна нетронутость в нем этих традиций, хотя он давно жил в большом городе и был мастером какой-то инструментальной мастерской. Когда я как-то с симпатией отозвалась об армянах, он ответил, качая головой:

– У нас много хороших черт. Мы стойки, выносливы, трудолюбивы. Мы любим свою страну и гостеприимны к пришельцам. Но у нас тяжелый характер. Мы не дружны. Очень часто мы завидуем успехам друг друга и мешаем друг другу жить. Грузины дружнее, чем мы, – уже даже поэтому они живут лучше.

Меня удивил такой положительный отзыв о грузинах. В устах армян, живущих не в Тбилиси, а в Армении, это очень большая редкость – достаточно

хорошо относясь к русским, армяне в массе своей не терпят грузин и азербайджанцев еще больше, чем те их. Нередко этим страдают и весьма культурные люди. Чтобы не задевать этот больной вопрос, я привыкла даже не говорить в Армении о памятниках грузинского искусства. Как я уже писала, ни в чем не любя национальной ограниченности и тем более нетерпимости, я все же в какой-то мере, как не имеющую свои оправдания слабость, снисходительно смотрю на национализм малых народов, слишком много страдавших от чужеземного владычества и инстинктивно искавших в национальной пристрастности самосохранения перед угрозой потери не только своей независимости, но и своего лица, языка, культуры. Да, я склонна понимать и прощать это, – правда, как слабость, а не как достоинство, – в отличие от великодержавного шовинизма больших наций, который я ничем не оправдываю, не терплю, ненавижу.

Однако, занявшись своими спутниками, я отклонилась от описания самого путешествия, начиная с пребывания в Кафане и поездок вокруг него. Очень красива дорога между Кафаном и Каджараном. Она вьется над пропастями по крутому склону ущелья, то голого и скалистого, то покрытого густым лесом. В одном месте ущелье становится узким, вершины скал, как оскаленные зубы, вздымаются вверх над почти отвесными каменными стенами утесов и на них виднеются остатки других каменных стен – крепостных, сложенных руками человека. Это развалины крепости Рогоберт[61], охранявшей вход в древний Сюник с первых веков нашей эры. В XVIII веке много раз перестраивавшаяся крепость стала опорой против очередного и одного из самых грозных нашествий иранцев. Здесь засел армянский полководец Давид-бек[62], командовавший соединенными грузино-армянскими войсками. По преданию, осажденные сообщались с миром, перебираясь на противоположный склон ущелья по металлическим канатам, переброшенным над пропастью между вершинами. Крепость не была взята, и Зангезур остался непокоренным.

Когда я два раза недалеко проникла в леса, спускавшиеся по склонам гор к Кафану, я с особой остротой восприняла и без того не оставлявшее меня ощущение и знойной духоты палящего юга, и таинственных глубин азиатского востока. Если открытые пространства казались огненно-желтыми от палящего, тяжелого полдневного солнца, то гуща лесов с огромными деревьями, то лиственными, то хвойными в этой зоне, придавала неподвижность раскаленному

воздуху, насыщала его удушливыми испарениями и ароматами растений, пронизывала его голубую туманность нестерпимо яркими отблесками солнца, сверкавших как ослепительная золотая россыпь в фантастическом полумраке. Ползучие растения вились по гигантским стволам и свисали с них синеватыми, тяжелыми покрывалами с драгоценной прозрачной бахромой. Камни мерцали, как волшебные талисманы. Цветы открывали свои огромные венчики, как светильники. Все было сказочно пленительно и сказочно жутко. Казалось, что этот лес полон чудес, что в нем таятся непредвиденные опасности, живут огромные змеи и звери, похожие на зверей индийских джунглей. Это было преувеличением, но воображение еще более усиливало подобные преувеличения, когда утром даже издали ощущался синий, душный туман, окутывающий чащу, или ночью над этой чащей и увенчивающими ее призрачными вершинами висела неправдоподобно большая и зловеще красная луна.

Ночи, проведенные в Кафане и насыщенные не остывавшим зноем, я плохо спала и долго следила за тем, как прямо за моим открытым окном все выше поднималась эта невиданная луна, постепенно бледнея и теряя медную окраску. Меня охватывало тревожное, нервное состояние. Я думала о том, что было в Тбилиси. Меня мучила совесть, что я так скоро отрешилась там от мыслей о смерти отца. Теперь эта боль возвращалась, я платила ей снова дань, но уже не могла отдать себе отчет, что в ней связано с самой утратой, что с мыслями о смерти вообще и что с иной тревогой. Я упрекала себя за свой ужасный эгоцентризм, за поглощенность собой и своей внутренней жизнью, за эгоцентрическую жадность к жизни и слабость перед собой. Но когда начался пешеходный переход от Кафана до Татева, физическая усталость, все более оздоровлявшая душу, постепенно возвращала мне острое и непосредственное ощущение ценности жизни, заглушала напряженность любых дум и настроений.

Перед началом осмотра наша группа сократилась, – часть ее была отсеяна медицинским осмотром. Но я прошла медицинский осмотр свободно, и рано утром в брюках, с рюкзаком за плечами, вышла вместе с другими в маршрут.

Три дня мы были в пути до Татева, делая большие переходы по горным тропам Зангезура и переваливая по несколько раз в день через хребты, преграждавшие нашу дорогу. Высота этих перевалов не превышала двух тысяч метров, они были покрыты альпийскими и субальпийскими лугами, и мы шли буквально в море цветов, крупных, ярких, нежных, сверкавших в лучах солнца.

Нам встречались рослые чабаны-зангезурцы, пешком или верхом гнавшие стада овец в сопровождении огромных лохматых овчарок. Не знаю, как это объяснить, но одна из собак, познакомившись с нами на привале около овечьего водопоя, бросила стадо и пошла за нами. Это была прекрасная белая пушистая кавказская овчарка. Ее прозвали Боби, и она дошла с группой до конца маршрута, охраняя по ночам наши палатки громким лаем и доказывая, что она хорошо знает свои обязанности. Однажды на привале нас догнало стадо ишаков, которых гнали конные чабаны. Узнав, что мы их попутчики на протяжении 5-6 километров, они предложили нам воспользоваться ишаками, и мы охотно и весело приняли их предложение. Сколько было смеха, когда мы выбирали себе ишаков, навьючивали на них рюкзаки и потом проклинали их невозмутимую медлительность, не поддающуюся воздействию наших дорожных палок. Очень изящно выглядела на ишаке мадам Ани. А за моим ишаком шли то месье Петрос, то Ваган, подгоняя ишака и развлекая меня разговорами.

С перевалов открывались широкие панорамы хребтов, склоны которых были покрыты густым, темным лесом, то смешанным, то переходившим в лиственный. Деревья поражали своими огромными размерами. Но лес перестал быть душным и тропически-таинственным, как это было вокруг Кафана. Исчезли туманные испарения, его окружавшие. Горная прохлада наполняла его свежестью, и по утрам его голубоватая дымка казалась серебристо-холодной и бодрящей, как журчавшие в лесу горные ручьи, на которые мы в пути набрасывались с неудержимой жаждой. «Джур, джур[63], – невольно кричала я ставшее знакомым армянское слово «вода», когда слышала ее шум в чаще, и обычно раньше, чем я успевала броситься к желанным струям, кто-нибудь из моих спутников протягивал мне холодную воду в своей кружке. Надо сказать, что, кроме армянских песен, по дороге часто пели русскую песню «Кружка, ты моя подружка», весело перевирая слова. Особенно свободно со словами совсем ему незнакомого языка обращался месье Петрос, который обязательно должен был подпевать любой песне своим картавым голосом, не способным избавиться от привычного южно-французского произношения.

Когда мы поднимались на высокие точки, перед нами открывались широкие горные просторы. Над пышными лесами синели вершины, то мягко округлые под покровом лугов, то обрывающиеся скалистыми стенами. Сочетание плавных форм рельефа с резко нарушавшими их величественно-спокойный ритм

отвесными обрывами ущелий и острых гребней придавало пейзажу своеобразный характер, богатый гармонией диссонансов, объединенных чудесным единством суровой и все-таки пышной красоты.

Спускаясь с перевалов, мы сталкивались с косарями, косившими высокие, роскошно-цветущие субальпийские луга. Опять бросались в глаза рослость и крепость зангезурцев, резкие черты их крупных, мужественных, сурово-грубоватых лиц, улыбавшихся нам со сдержанной, но простодушно искренней приветливостью горцев. И опять, спускаясь дальше, мы попадали в густые лиственные леса с разнообразными породами огромных деревьев, не пропускавших солнечного света, с густым переплетающимся кустарником, с причудливыми нагромождениями камней, поросших узорчатой сетью ползучих растений. И опять где-то внизу звенели потоки, возбуждая затаенную жажду. Порою лес расступался, и мы выходили к небольшим участкам возделанных полей и к селеньям с низкими, грубыми, но устойчиво-патриархальными каменными домами. Около одной из таких деревень мы отдыхали в узком каньоне ручья среди сплошного цветника нежных ползучих растений, оплетавших влажные камни и легкой сеткой свешивавшихся к воде.

На ночь мы разбивали маленькие гималайские палатки на лесных полянах, у ручьев, собирали для костра сухие ветки, варили несложный ужин и засыпали как мертвые на брезенте, из-под которого в наши бока впивались острые камни. Днем мы ничего не варили, питаясь тем, что несли в рюкзаках в готовом виде. Самым тяжелым был первый день похода, когда мы прошли двадцать семь километров, поднявшись при этом на три перевала. В трудных местах не только Ваган снимал с меня рюкзак, но и вообще мужчины помогали женщинам. Когда на третий день две из них сильно натерли себе ноги, их заботливо вели под руки, сократив темп движения. Одну некрасивую, но веселую девушку, ереванскую фабричную работницу, Акоп буквально почти тащил на себе, обняв за талию, но без всякого оттенка фривольности, просто с дружеской шутливостью. Я в душе отметила и это как большую разницу между простой по составу армянской группой туристов и, с одной стороны, грубостью и невнимательностью средней массы наших туристов, с другой стороны – наглой распущенностью тех кавказцев, которые были испорчены курортами и большими городами Грузии.

К концу третьего дня мы пришли в селенье Татев [64], где находится знаменитый Татевский монастырь, построенный в VIII–X веках. Он расположен

в нескольких километрах от селенья на самом краю высокой скалистой стены, совершенно отвесно обрывающейся в пропасть. На дне этой грандиозной пропасти ревет река, но так глубоко, что шум ее почти не слышен. В одном месте поток ныряет под скалы, образующие над ним свод, получивший название Чертова моста. За ущельем горный склон делается пологим, и из монастыря открывается широкий вид на мягко очерченные горы, леса и луга в одну сторону, а в другую – на голые, изрезанные трещинами лавовые массивы. Окна келий в развалинах жилых монастырских строений выходят прямо на отвесный обрыв ущелья, продолжением которого являются построенные из того же камня стены повисших над бездной жилищ. Дух захватывает и в глазах темнеет, когда заглядываешь вниз из этих зияющих каменных амбразур.

Само расположение монастыря делало его почти неприступной крепостью. Там, где он не был огражден от всякого нападения грозной пропастью, мощные крепостные стены защищали подступы к нему со стороны пологого склона, по которому прямой стрелой устремилась к нему дорога из селенья. Большие, хорошо отесанные плиты серого, ноздреватого туфа, из которых сложены крепостные стены, церкви и кельи, стойко выдержали века, и только землетрясение 1925 года[65] превратило их в крепкие, величественные, но все же зияющие провалами живописные развалины.



Ил. 1. Армения. 1959 г. Татев. VIII–X вв. Своды.

Над просторной и высокой зальной базиликой рухнул возвышавшийся в центре купол, стены рассечены трещинами, от богато украшенного резьбой портала остались только великолепные куски, покрытые удивительно богатыми, гармоничными, тонко выполненными орнаментами. В них нет еще никаких мусульманских влияний. Нет и той пышной растительной вязи, которая придает Звартноцу[66] такой своеобразный чисто национальный характер. Они строже, классичней, их чистота говорит об эллинистической традиции. На внутренних стенах базилики под рухнувшим куполом и остатками сводов гибнут ничем не защищенные фрески.



Ил. 2. Армения. 1959 г. Татев. VIII–X вв.



Ил. 3. Армения. 1959 г. Татев. VIII–X вв.

Во дворе, среди огромных, беспорядочно нагроможденных обломков разрушенных строений поднимается высокий многогранный столб, увенчанный резным хачкаром [67] . Это знаменитый столб со сферическим основанием в сферической каменной чаше, сделанный из одного куска камня с таким искусным расчетом, что он плавно качался даже от легкого прикосновения к нему, но не падал даже от самого сильного толчка. Это чудо, созданное точным расчетом человеческого ума, повергало в мистический трепет людей средневековья и мусульман-завоевателей, побывавших в Татеве. Точность расчета спасла столб даже во время землетрясения – он один уцелел и совершенно не пострадал. Теперь он скручен тросами и больше не качается. Разумна ли эта предосторожность и не погубит ли она его при следующем землетрясении?



Ил. 4. Армения. 1959 г. Татев VIII–X вв. Качающийся столб.

Мы разбили палатки в селенье. До Гориса[68] оставалось еще два дня пути пешком, чтобы закончить маршрут. Я должна была проехать этот путь на машине, так как к 24-ому надо было вернуться в Ереван: на 25-е я договорилась с Гургеном о путешествии в Агарцин[69]. Но вся группа тоже порядком устала и не проявила спортивного рвения. Решено было всем ехать на машине, но провести оставшееся время в лесу около Гориса и явиться в Горис в назначенный по плану срок. Сурен ознаменовал это «тайное» решение, достав барашка и вино для пиршества во время последнего отдыха в чаще лесов. Высказывались сожаления, что я

отделюсь от группы и не смогу насладиться шашлыком. Так я заснула последний раз в нашем маленьком лагере.



Ил. 5. Армения. 1959 г. Зангезур. Базальты.

Значительно раньше рассвета мы сели в попутный грузовик и тронулись в путь. Идущая на убыль, бледная луна освещала бегущие облака, вершины деревьев и фантастические очертания скал. Черные пропасти, над которыми мы мчались, казались бездонными. Все было прозрачно, нематериально, нереально. А когда рассвело, это впечатление только усилилось. Грандиозные лавовые потоки обрывались вокруг нас вертикальными, столбчатыми стенами серых базальтов. Черные и серые туфы, обгорелые и как бы дымящиеся, образовывали удивительные формы выветривания. Башнями, колоннами, острыми пиками вонзались они в небо, вздымаясь на склонах рядами темных силуэтом, грозных и мрачных фигур, как бы кружившихся и менявшихся местами, когда мы проезжали мимо. То они казались странными видениями монахов и воинов, то рассыпались в руины замков, то как чудовища надвигались на нас, чернея пещерами, как открытыми, страшными провалами глаз и ртов. Это было нечто сказочное, эпическое, рожденное древней мифологией и, чем более мы приближались к Горису, тем более возрастала адская фантастика рельефа, еще окутанного синим утренним туманом.



Ил. 6. Армения. 1959 г. Старый пещерный Горис

Наконец, перед нами открылась сверху панорама Гориса, и это было незабываемое зрелище. Справа от горной речки поднимались голые склоны, на которых толпились бесконечные чудовищные скалы, как живые существа, как великаны и привидения, смотрящие на город черными глазницами пещер и его охранявшие. Когда-то эти скалы и представляли собой город, пещерный Горис, остававшийся таким до начала XIX века. Тысячи пещер зияют в темно-серых туфовых скалах, служивших действительно замками и башнями, в которых жили и оборонялись от врагов многие поколения людей. Но налево от речки, на пологом, широком берегу долины, мягко поднимающемся к зеленому, покрытому садами, спокойно очерченному склону, теперь раскинулся новый Горис, которому немногим более ста лет. Это зеленый опрятный городок, так правильно распланированный, что своей упорядоченностью он образует удивительный контраст с беспорядочным миром хаотических скал, ему противостоящих. Как будто нарочно здесь сопоставлены рядом рациональность человеческого расчета и стихийность сил природы. С одной стороны – аккуратность, уютность, но и трезвость, с другой – пугающая незакономерность, неприютность, но зато романтичность.

В самом городе самодельные (самими хозяевами возводимые), но хорошо построенные домики из серого туфа вытянулись вдоль прямых и во многих случаях асфальтированных улиц, окруженных фруктовыми садами. В центре городской сад, гостиница, кино. Ходит автобус. Почти никакой промышленности нет в этом районном центре. Население в значительной мере занято колхозными

работами в той же долине. Летом сюда приезжает много дачников из Еревана, так как здесь здоровый горный воздух и нет изнуряющей жары.

Все это я узнала от директора несуществующей еще горисской турбазы, Арташеса, или Арташа, как он просил себя называть. Так как турбаза еще не построена, туристы живут пока в гостинице и питаются в ресторане. Но я приехала одна – группа моя выгрузилась в лесу в нескольких километрах от Гориса. Поэтому директор предложил мне остановиться у него дома, где я провела три дня, отдав ему ресторанные талончики и пользуясь гостеприимством его семьи.

Маленький домик, который Арташ, как и другие гориссцы, построил с большим мастерством, располагался на окраине, на пологом склоне горы. Выше дома раскинулся фруктовый сад с пасекой. Отсюда открывался прекрасный вид на город и здесь я отдыхала, лежа под сливовыми деревьями на раскладной походной кровати, заменявшей гамак или шезлонг.

Сам Арташ, рослый, круглолицый, простодушно-самодовольный, потершийся в разных местах России во время войны, пребывания в армии, и в госпиталях после ранений, был в значительной степени утратившим патриархальность, но весьма поверхностно соприкоснувшимся с современной культурой типичным работником районного масштаба, немало о себе мнившим и с легкостью менявшим Заготхлеб[70] на Заготскот[71] или на директорство на турбазе. Только простодушие и добродушие многое скрадывали. Жена его, работавшая в банке, была явно гораздо умнее и культурнее, чем он. В этой немолодой, сильной женщине чувствовалось даже нечто незаурядное. Она читала книги, занималась фотографией и, смеясь, говорила, что обыватели Гориса не могут ей простить подобных странностей, нарушающих традиционный быт здешних женщин. Три хорошеньких дочки хозяйничали в доме, и маленький сын, баловень всей семьи, наполнял двор и сад шумом мальчишеских игр. Старые дед и бабка были живыми обломками патриархального прошлого. Несколько раз на улицах Гориса я встречала старух в местных старинных костюмах, черных, с яркой вышивкой, с лицами, полузакрытыми покрывалами. Увидев, что я в саду читаю один из романов Рафи[72], этого армянского Вальтер-Скотта[73], дед остался очень доволен и вел после этого со мной по вечерам разговоры о давнем прошлом Армении, проявляя обычное даже для самых простых армян знание своей национальной истории.

Конечно, два дня я посвятила, главным образом, осмотру древнего пещерного города в фантастических скалах. В первый день меня отправился сопровождать Арташ, заявив, что одной женщине ходить среди скал и пещер небезопасно. Но неудобство этого сопровождения выяснилось сразу же. Сначала Арташ только помогал мне карабкаться по скалам и влезать в пещеры, потом его «ухаживания» стали приобретать все более активный характер. Я его резко остановила и в первый день раньше времени прекратила прогулку. На другой день, однако, продолжалось то же самое еще настойчивее. Тогда мне пришлось решительно отказаться от его услуг и потребовать, чтобы он вернулся домой, под угрозой того, что я пожалуюсь его жене, – я заметила, что он ее побаивается.

– Как вам не стыдно, – сказала я. – У вас такая умная, хорошая, красивая жена!

– Но ведь и вы тоже красивая, – заявил он, улыбаясь с непринужденным простодушием. – Жена никуда не денется, а таких, как вы, редко встретишь.

Однако твердость, с которой я обещала все рассказать жене, на него подействовала, и он удалился, пытаясь упрекать меня в том, что я так немилостива с ним. После его ухода мне пришлось одной бродить в пустынном лабиринте скал и пещер, но, если даже это было и не совсем безопасно, меня это пугало меньше, чем общество заведомо настойчивого «поклонника». Кроме того, в одиночестве я могла свободно отдаться тому волнующему впечатлению, которое производила таинственная фантастика окружавшего меня странного мира. Местами мне казалось, что на меня разевают пасти страшные воплощения нечистой силы, созданные средневековым народным воображением и запечатленные в картинах какого-нибудь Босха. Иногда же скалы казались стадами допотопных гигантских животных, окаменевших в разных позах, присев на задние лапы или слившись с каменными склонами. Я натолкнулась на маленькую часовню, на грубо обтесанные и криво торчащие надгробные камни заброшенного кладбища. В одной пещере из того же туфа был грубо высечен аналой и на нем горела одинокая свеча. Вокруг лежали еще огарки свечей, разноцветные лоскуты, засохшие цветы – приношения наивной веры, молящей о помощи или за нее благодарящей. Местами же, ближе к новому городу, в пещерах еще жили, – в их отверстия были вставлены двери и застекленные рамы окон, внутри была видна бедная, но вполне обычная обстановка, из окон торчали трубы железных печек, а порою слышались даже звуки радио. Сочетание, не менее

фантастичное, чем сам окружавший меня рельеф из башен и острых столбов, образовавших каменный лес, или из приземистых чудовищ с черными щелями разинутых пастей и провалившихся глаз. Около одной, стройной, одинокой, застывшей на фоне дали скалы, похожей на задумавшегося и навек окаменевшего в раздумье человека, я долго сидела, тоже в раздумье, неясном и хаотическом…

На третий день я попрощалась со своими хозяевами и с прибывшей в Горис группой моих спутников. Арташ проводил меня до маленькой конторы аэрофлота и посадил в автобус, уходивший на небольшую ровную площадку, являвшуюся местом посадки маленьких самолетов и носившую громкое название «аэродрома».

– Я рад, что с вами познакомился, – сказал он вдруг с неожиданной для меня простодушной серьезностью. – Если вы со всеми такая же, как были со мной, я меняю мнение не только о русских женщинах, но и о женщинах вообще. Я понимаю, почему ваш муж отпускает ездить вас одну.

Я, улыбаясь, пожала ему на прощанье руку, тронутая этим признанием своей «добродетельности».

***

25-го утром я выехала из Еревана с Гургеном на туристской машине, которая шла в сторону Тбилиси. У Гургена были два свободных дня для путешествия в монастыри Агарцин и Гош, расположенные в лесах в районе Дилижана.

Погода испортилась, и, когда мы доехали до Севана, полил дождь. Веселый молодой экскурсовод Рафик шутил и болтал, стараясь поднять настроение туристов и особенно туристок. Несмотря на дождь, мы покатались на катере по Севану… Я оставила свой рюкзак на Севанской турбазе и поехала дальше без вещей. За Дилижаном[74], около маленького селения Куйбышевки[75], среди леса, мы с Гургеном вышли из машины. Дождь не слишком сильный, но настойчивый, продолжался. Однако мы все же решили идти в Агарцин, а оттуда, переночевав в ближайшей от него деревне, в Гош, чтобы осмотреть оба монастыря.

До Агарцина было всего 8–10 километров, однако мы шли очень долго, так как глинистая лесная дорога уже совсем размокла от дождя, ноги вязли и скользили, на них налипали подушки глины и идти становилось все труднее. Конечно, штормовки тоже плохо спасали от дождя, и мы скоро совсем промокли. Но было тепло, тихо, а от движения порой даже жарко.



Ил. 7.. Армения. 1959 г. Севан. Гурген Арташесович Стамболцян.

Мы разговаривали немного, отрывисто и на самые разнообразные темы – о противоречивости и сложности исторических процессов, о том, что технизация жизни не способствует в наш век непосредственности поэтического восприятия и поэтического творчества, раньше свойственных народу, несмотря на его «темноту» в других отношениях, об упадке поэтического мироощущения у современной молодежи, о росте практицизма и удручающей прозаичности нередко даже у детей… Ведь и я, и мой спутник имели дело с молодежью.

Разговор был дружеским, открытым, хотя трудность дороги мешала ему быть более живым и непрерывным. У нас было много общих точек зрения, общих сомнений и критических раздумий.

– Мне все труднее становится работать в школе, хотя я очень люблю свое дело, – сознался Гурген. – Все дальше я от нового типа молодежи, все меньше нахожу контакт с теми, кто уже на школьной скамье думает о том, «что почем», о карьере или «легкой жизни». Ведь даже обычные у нас взятки для поступления в ВУЗ’ы обсуждаются в школе как нечто совсем обыкновенное, не вызывая ни удивления, ни возмущения.

И все-таки, – я чувствовала, – он не смог бы бросить свою работу, все-таки он работал еще и в детских журналах, писал для юношества стихи, повести, рассказы, все-таки его деятельная и оптимистическая натура требовала от него, чтобы он не умыл руки и не отстранился в горестном или едком отрицании, а до конца боролся за лучшее и до конца не терял надежды на это лучшее.

По отношению ко мне Гурген был заботлив и внимателен, по-братски. Я ясно чувствовала, что могла довериться ему в любом пути, в любых условиях, действительно как брату. Но мне было грустно, что он ощущал наедине со мной известную скованность, потеряв оживленность и непринужденность, которые проявлял, пока мы находились в компании туристов. Что это значило? То, что он не забыл прошлого и боялся, что я могу ему не доверять, опасаться с его стороны проявлений какой-либо агрессивности? Но если бы так, разве я пошла бы с ним вдвоем в леса? Моя доверчивость снимала вопрос об этом после объяснения, бывшего между нами два года назад. Или он все еще питал ко мне более чем дружеские чувства и это причиняло ему боль, стесняло его и отчуждало, мешая настоящей товарищеской непринужденности, для которой ему невозможно было найти легкий тон, как не легко и не просто было оставаться только моим товарищем? Последняя мысль отнюдь не радовала меня. Для моего женского самолюбия достаточно было прошлого, и то я стыдилась, когда ловила себя на этом инстинктивном чувстве женского тщеславия. В настоящем я слишком уважала этого человека и слишком сама стала для него товарищем, чтобы получать удовольствие от длительности возбужденных мною чувств, на которые я никак не могла ответить. Мне хотелось, чтобы отношения наши приобрели простоту и легкость, хотя в тайне я и не возражала против того, чтобы с его стороны в них сохранился некоторый романтический оттенок… Только доставляющий ему поэтическое волнующее удовольствие, а не страданье… Что делать с женскими инстинктами, хотя бы и с весьма односторонними!

Порою мы шли совсем молча, и тогда я с особенной силой воспринимала красоту окружавшего меня леса. Уже много раз я поражалась тому, как многообразна красота гор, и лесов, их покрывавших, в каждом районе разная, в каждом районе новая. Теперь мне казалось, что такого леса, по которому мы шли, нет больше нигде, и что, может быть, это самый красивый лес из всех мною виденных. Высокие, но мягко очерченные горные склоны, покрыты здесь крупными лиственными деревьями с пышными, округлыми кронами. Они растут не густо, и хотя их широкие кроны почти смыкаются, все же остаются между ними промежутки, в которые пробиваются солнечные лучи. Подлеска и густого кустарника почти нет, а вместо них в лучах солнца зеленеет сочная, высокая трава, полная ярких, крупных субальпийских цветов. Огромные белые и лиловые колокольчики чуть колышутся на высоких стеблях и, кажется, наполняют лес

серебряным звоном. Многочисленные полянки подобны сверкающим коврам. И только в самых затененных частях леса камни покрыты густым, мягким, сухим, пушистым мохом, но и здесь над ним всюду качаются те же звенящие колокольчики. После величаво-суровых и диких лесов Зангезура этот лес даже и в дожди казался мне удивительно светлым, радостным, праздничным. В нем была просветленная приветливость чащ, говорящих о «золотом веке», о плясках и любовных играх беспечных лесных существ, начиная с птиц и пятнистых оленей, кончая древними богами, олицетворявшими стихийные, но добрые и мирные силы природы. Мне казалось, что когда-то в детстве, увлеченная сроднившимися с душой античными мифами, я мечтала о таком лесе и видела его во сне.

Дорога становилась все хуже, и, наконец, мы сбились с нее, перепутав ее с руслом потока или, вернее, со старой, заброшенной дорогой, превратившейся в русло ручья. Когда ошибка стала совершенно очевидной, Гурген оставил меня одну в сгустившейся полной бурелома лесной чаще, и пошел искать правильного пути. Я сидела на мшистом камне и слушала, как мелкие, частые капли шумели в листве. Все вокруг застилалось густой сеткой сплошного дождя, похожей на мокрый туман. Неясные, удивительные ароматы струились от трав и от земли. У меня было какое-то странное, тихое и вместе с тем томительно-взволнованное состояние. Будто я чего-то ждала и чего-то боялась, ощущала бренность жизни и вместе с тем жадно тянулась к ней, пьянея от ее дыхания. Мне было хорошо, и грустно, и тревожно одной в этом заколдованном, мифически-прекрасном лесу, в котором я, кажется, не удивилась бы никакому чуду.

Наконец, пришел Гурген и сказал, что он видел монастырь, – к нему можно добраться по руслу потока, заменившего нам дорогу. Мы пошли, прыгая с камня на камень, и добрались до небольшого водопада, на который надо было подняться по скалистым выступам среди пенящихся между нами струй, – по берегу прохода совсем не было из-за кустов, камней и бурелома, образовавших непроходимый хаос. Гурген быстро поднимался вверх и протягивал мне руку, помогая карабкаться. Препятствие было взято без труда и, пройдя еще несколько шагов, сквозь туман и мокрые, переплетенные ветки я увидела монастырские постройки, – великолепный архитектурный комплекс, уцелевший от VIII века. Это было так красиво, так живописно, так романтично, что я застыла с возгласом восторга.

Однако уже сгущались сумерки и было ясно, что нам придется остаться в монастыре. Ни до какой деревни добраться к ночи уже не было возможности.

Между тем, было абсолютно неизвестно, что нас ждет в монастыре и есть ли там вообще люди. Мы прошли еще немного вперед и сверху нам открылся вид на монастырь полностью. Совершенно не разрушенные ни временем, ни войнами, хранимые густым лесом, вставали перед нами величавые массивы церквей на фоне высокой, зеленой, кудрявой горы, покрытой сейчас клочьями облаков. И на фоне сплошного тумана уютно рисовалась маленькая хижина сторожа с полосой дыма, струившегося из трубы. Там были люди и тепло!

Через несколько мгновений мы уже сушились около железной печки, сняв промокшие куртки. Старый, неразговорчивый хозяин-вдовец явно привык оказывать гостеприимство неожиданным пришельцам. Он ни о чем не расспрашивал. А его многочисленные черноглазые дети смотрели с молчаливым любопытством и уже не отходили от нас целый вечер. Оказалось, что в хижине был и еще один пришелец, остановившийся здесь на несколько дней. У стены стояли написанные маслом пейзажные этюды и я решила, что он художник. Однако, когда я его спросила об этом, он сказал, что занимается живописью только дилетантски, много разъезжая по делам службы. Я так и не узнала, какова его профессия. По виду армянин этак лет сорока, худой, некрасивый, с довольно светлыми волосами и глазами, он казался похожим на лесного инженера или топографа. Говорил по-русски почти без акцента и, как потом выяснилось, лет 15 прожил в России, хорошо узнав ее среднюю полосу.

Сумерки сгущались, но еще не стемнело, когда мы, воспользовавшись тем, что дождь стих, пошли осмотреть монастырь. Наш новый знакомый или, вернее, незнакомец, последовал за нами. Во влажном тумане мягко, почти без светотени рисовались массивные, монументально простые и строгие формы центрально-купольных церквей, увенчанных каменной резьбой вокруг порталов, реже вокруг узких немногочисленных окон, прорезавших тяжелые, толстые стены из тесанных квадров серого туфа. На крышах и шатрах сохранились ребристые каменные плитки древних перекрытий. Большая трапезная представляла внутри обширный, приземистый сводчатый зал, перекрытый таким же удивительным сводом на перекинутых крест-накрест каменных подпругах, как и в притворе Ахпата[76]. Чудесные хачкары с тончайшей, ювелирно-чеканной, разнообразной орнаментальной резьбой застыли около церквей и сгруппировались на прилегающем к монастырю кладбище. Большие развесистые деревья, как неотъемлемая составная часть целого, сливались с ансамблем построек,

увеличивая его торжественную и вместе с тем мирную красоту, говорящую о красоте уединения среди благодатной, пышной, дружественной природы.



Ил. 8. Армения. 1959 г. Агарцин. XIII–XIV вв.

Я фотографировала, что еще было возможно сфотографировать в сумерках, заранее досадуя на плохое качество этих будущих фотографий. К моему удовольствию наш новый спутник проявлял сдержанное, но непосредственное и глубокое восхищение окружающим, свидетельствовавшее о понимании и знании искусства. То и дело он обращал мое внимание на какую-нибудь деталь архитектурной отделки, с любовью гладил какой-нибудь косяк или профилированный выступ, тихо замечая:

– Нет, вы посмотрите, как это просто и неповторимо. Сколько изобретательности было у этих старых строителей и сколько истинной любви к тому, что они создавали! Ничего стандартного, шаблонного, ничего сделанного кое-как, лишь бы сделать!

Или он отыскивал особенно интересные точки зрения для фотографий и порою заставлял меня опускаться на корточки рядом с ним, говоря:

– Взгляните сюда, как эта повисшая ветка сочетается с силуэтом церкви! Правда, красиво?

Когда еще более стемнело и туман начал угрожающе сгущаться, мы вернулись в дом сторожа. На несколько минут мы задержались на крыльце и,

взглянув в сторону гор, увидели изумительное зрелище. Горы растаяли в молочном тумане, освещенном изнутри последними лучами скрывавшегося, невидимого солнца. А на фоне этого тумана горели бледно-золотым огнем, как большие свечи, желтые листья на ветках какого-то кустарника, росшего недалеко от дома. Это продолжалось очень недолго, – туман стал голубым, потом сизым, и золотые огни угасли, как обманчивое видение.

Тогда мы перешли к железной печке, сели вокруг нее и долго сидели, разговаривая. Больше всех ровным, тихим, глуховатым голосом говорил незнакомец. Об Армении, о ее прошлом, о ее поэзии… С такой любовью, с такой теплотой, в искренности которых нельзя было усомниться.

– Не думайте, что я националист, – сказал он вдруг, улыбаясь. – Нет, я не считаю, что наша страна лучше других. Я не враждебен ни к одной национальности и умею ценить многое из того, что создано другими народами. Но я люблю наш край и вне его жизнь для меня – изгнание.

Речь перешла на историю армянских общин в Италии, на знакомство Байрона[77] с одной из них в Венеции, на интерес Байрона к Армении. Потом заговорили об армянских поэтах и армянском языке.

– Послушайте, – сказал мне незнакомец, я прочитаю вам несколько стихотворений Туманяна[78], чтобы вы почувствовали их музыку.

И он начал читать стихи удивительно мелодично, то мягко и задумчиво, то гортанно и тоскливо. Я слушала его голос, как песню. Я ощущала живую поэзию языка, не понимая слов. Я была взволнована, восхищена, благодарна. Так прошел этот неожиданный, незабываемый вечер. И я несколько раз подумала про себя: «Несомненно, на Кавказе более сохранилась специфика народной национальной культуры, здесь меньше влияние прозаичности и стандартизации среднего уровня, характерного для века техники и индустрии, хотя и здесь определенные слои уже охвачены отвратительным практицизмом, еще более обнаженным в своей наивности, чем у нас».

Впрочем, вечер так не кончился. Мы только что собрались сесть за стол, выложив на него скудные запасы еды, которые имелись в наличии, как вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату из мрака ввалились два мокрых путника в высоких сапогах и брезентовых плащах с большими мешками за спиной. Они ехали из Еревана на легковой машине, чтобы следующий день – оказавшийся праздничным днем, соответствующим русскому Иванову дню[79] – провести по

старинному народному обычаю на пастбищах со своим отцом, старым чабаном. Машина, однако, завязла в грязи и ее пришлось отправить обратно в Ереван с третьим их товарищем. Они же дошли до монастыря и решили в нем заночевать. Очень похожие друг на друга, два брата были инженерами, и их верность народной традиции только подтвердила мысли, мелькавшие в моей голове перед этим.

Так или иначе, но в результате наш скудный ужин превратился в маленький пир. Пришельцы вытащили из мешков вино и массу армянских национальных кушаний, которыми радушно и настойчиво нас угощали. Гурген заботливо уверял меня, что вино совсем слабое и я безбоязненно могу его пить, проявляя обычное со стороны с уважением относящихся ко мне людей на Кавказе отсутствие предположения, что я способна пить в немалом количестве даже и весьма крепкие напитки. Как всегда в подобных случаях, я не разрушала подобное высокое представление о своей добродетельности, лишь слегка про себя улыбаясь. Было совсем поздно, когда мы, наконец, легли спать, все в одной комнате, вокруг железной печки, на раскладных кроватях, расставленных хозяином. Милый незнакомец вытащил какие-то мягкие и теплые вещи и, несмотря на мои возражения, у меня оказалось самое мягкое и удобное ложе, на котором я заснула без сновидений под шум дождя, убаюкивающего меня равномерным стуком о нашу крышу.

Утром дождь стих, туман рассеялся, облака стали редкими, иногда проглядывало солнце. Лужи и мокрые камни построек сверкали в свежем, серебристом свете. Я еще раз обошла монастырь, и мы с Гургеном тронулись в дорогу. Незнакомец стоял на крыльце и махал нам рукой. Я так и не узнала ни его имени, ни его профессии, но уносила светлую и благодарную память об этой встрече и поэтической беседе под шум дождя, у маленькой железной печки.

Идти в Гош [80] было уже невозможно, – дороги совершенно размокли, расстояние осталось большое, а на другой день Гурген должен был работать. Поэтому мы пошли обратно к селенью Куйбышевке. Лес в это утро стал совсем праздничным. Лучи солнца то и дело пробивались из-за туч и проникали в чащу. Омытая дождем листва сверкала. Кроны деревьев пышно круглились и курчавились. Травы были унизаны капельками росы, цветы приобрели удивительную свежесть и яркость, а колокольчики, казалось, звенели особенно нежно и радостно.

Несколько раз нам встретились веселые компании, приехавшие в лес, чтобы отметить пикниками народный праздник. Нам улыбались, нас приглашали присоединиться к этим маленьким пирушкам. Но нам надо было спешить. Только выйдя на шоссе, мы передохнули в ожидании автобуса, и Гурген рассказал мне содержание маленькой повести о мальчике-чабане и его собаке, – он сочинил эту повесть для детского журнала, в котором сотрудничал. Потом пришел автобус, и мы доехали в нем до турбазы на берегу Севана, где я собиралась провести еще три дня.

Севан в этот день был темно-синим от ветра, покрывавшего его поверхность волнами и рябью. Над ним клубились белые кучевые облака, среди которых синева неба казалась особенно яркой и густой. Гурген взял тетрадь со своими стихами, и мы сели на некотором расстоянии от озера, на холме, с которого открывался вид на сверкающий водный простор. Вокруг нас среди высоких, свежих, отмытых дождем трав колыхались венчики цветов, сияя чистыми и яркими красками. Гурген читал мне книгу стихов, которую он приготовил для этого древнего языка, ритмично слагавшегося в строфы. Казалось, в такт стихотворному ритму колыхались вокруг цветы. Потом Гурген переводил мне прочитанное на русский язык, и я записывала эти подстрочники. Он не мог прочитать всю книгу, – ему надо было уезжать в Ереван. И он выбирал только самые лирические стихи, сказав с улыбкой:

– Я знаю, какие стихи вы больше любите.

С волнением и невольным удовольствием (кто до конца может быть чужд такому удовольствию) я отгадывала, какие любовные стихи втайне посвящены мне. Но я не выдавала этого ни одним движением, ни одним взглядом. Удовольствие опять смешивалось с печалью и ощущением виноватости без вины. Мне было грустно доставлять боль этому человеку и сознавать, что, может быть, все-таки я ответственна в какой-то мере за то, что пробудила в нем чувство, на которое я никогда и ничем, кроме дружеского товарищества, ответить не смогу.

Когда он кончил читать, мы сидели некоторое время молча.

– Я переведу ваши стихи, – сказала я. – И пришлю вам свои новые стихи об Армении, если хотите.

– Хочу ли я! Еще бы!

– А вы не сердитесь на меня, что вам в такую погоду пришлось из-за меня тащиться в Агарцин?

– Разве я когда-нибудь могу на вас за что-то сердиться?

– Он пожал горячей, нервной рукой выше локтя мою обнаженную руку, которой я опиралась о землю, и посмотрел мне в глаза долгим, многое выдававшим взглядом. Это было все, что он позволил себе за время, проведенное вместе, и я особенно оценила в тот момент его сдержанную скромность, полную уважения ко мне и к моей воле.

– Вы приедете на будущее лето? Мы могли бы все-таки пойти в Гош. И вы еще не осматривали монастырей у подножья Арагаца[81]. Можно было бы подняться на склоны Арагаца к крепости Амберд и к обсерватории. Хорошо было бы заранее списаться и выработать план экскурсий.

– А вы хотите, чтобы я приехала? – невольно спросила я, сразу же упрекнув себя за этот вырвавшийся вопрос. Чтобы уничтожить его значение, я добавила шутливо: – Ведь я опять отниму у вас уйму свободного времени!

– Все равно, вы ведь сами знаете, как я буду рад вашему приезду, – ответил он серьезно и просто.

Я встала, и мы вернулись к турбазе. Вскоре пришла машина, на которой Гурген уехал в Ереван. Больше я в это лето его не видела.



Ил. 9. Армения. 1959 г. Севан. Палаточная турбаза.

Туристская база, или, вернее, палаточный лагерь, раскинулась на северо-западном берегу Севана. Здание базы только строилось. Столовая представляла собой открытую террасу под навесом, и на столах стояли в банках огромные букеты чудесных цветов, собранных туристами здесь же, на берегу озера. Я получила место в палатке и оставшееся время провела почти в полном

одиночестве. Мне не хотелось вступать в знакомство и разговоры с туристами, – от них веяло обыденностью, а я была слишком переполнена впечатлениями. Я сторонилась даже милого, приветливого Оника, проводившего на турбазе свой учебный отпуск и бренчавшего на гитаре перед своей палаткой. Он говорил мне о том, что, став наконец гидрологом, будет бороться с оседанием Севана, спасая для своей страны этот изумительный дар природы.

Погода стояла изменчивая и холодная. Днем дул сильный, резкий ветер. Он гнал по небу густые тучи, цеплявшиеся за вершины гор, окружавших озеро. Когда тучи раскрывались, светило ослепительное солнце. Его лучи были так горячи, что в эти промежутки я спешила выкупаться в ледяной воде Севана и высохнуть на его берегу в солнечном огне. Но когда солнце пряталось, я замерзала. Вечером приходилось надевать брюки, шерстяной жакет, шерстяные носки. По вечерам же температура так падала, что холод заползал под три толстых одеяла, в которые я куталась в палатке. Зато воздух был так чист, так целителен, так опьяняюще свеж, что я спала, как мертвая, даже в те часы, когда лил дождь и над палаткой сверкали молнии. Это повторялось каждую ночь и дарило мне мгновенья фантастической красоты, потому что, просыпаясь порой, я видела в щели палатки Севан в отблеске молний, казалось, дробившихся об его поверхность, загоравшуюся холодным, фантастическим светом. В этом свете, как нереальные призраки, появлялись и опять исчезали горы на том берегу, и огромные, косматые тучи, нависавшие над самой водой, рвались в клочья, загорались и гасли.

Днем я переводила стихи Гургена, лежа в уединенных местах берега, подальше от туристов. Несколько стихотворений я написала сама, – о Севане, о Гургене, о себе. Я ловила себя опять и опять на ощущении какой-то страстной, томящей переполненности сердца. Но я пыталась отнести это за счет переполненности впечатлениями вообще, – от людей, от природы, от впечатлений. И в этой переполненности жила неиссякаемая нежность к Павлуше. Его образ был во мне где-то глубоко и неизбежно при всех моих «романтических» встречах и приключениях, оставаясь для них «пробным камнем». Как мало я задумывалась о том, что в них могло быть нечто легкомысленное и уже не соответствующее моему возрасту. Я ощущала полноту зрелости, сменившей молодость, но не менее жадной к жизни. И все это было наполнено для меня поэзией.

Среди стандартной массы туристов мое внимание немного задевала одна москвичка, с которой я ехала вместе еще до Еревана. Это была молодая женщина,

довольно интересная, со странным выражением больших, широко открытых глаз, в которых читались пресыщенность жизнью и опустошенность души, сочетавшиеся с откровенной, вызывающей, до циничности доходящей прямотой и мертвенной, затаенной тоской, не знающей выхода, горькой, привычной. Гурген сказал мне мимоходом, что более распутных женщин редко можно встретить среди туристок и что на всех турбазах она открыто и инициативно предается любовным развлечениям с кем придется, особенно с шоферами. Между тем в ней не было ни серости, ни полукультурности, которые хуже всякой народной «некультурности», ни пошлости и легкомысленной пустоты, присущей обычно туристкам такого же поведения. Ведь опустошенность и пустота – вещи разные.

Я вспомнила то, что сказал о ней Гурген, в день приезда группы, к которой она принадлежала. Я лежала, как всегда, одна на берегу Севана, в уединенном месте. Вдруг я услыхала шаги, и мимо меня прошли, обнявшись, эта женщина и работавший на Севанской турбазе шофер. Она посмотрела на меня своим странным, глубоким и вместе с тем тоскливо-пустым взглядом и сказала, улыбнувшись и вызывающе, и с равнодушием, в котором была привычная горечь:

– Идем прощаться.

Я ничего не ответила, и они скрылись за поворотом берега.

Все еще ощущая ее взгляд, я чувствовала грусть, даже смутный ужас, но не осуждение. Есть люди мелкие, прозаические, погруженные в утилитарные интересы жизни и лишенные каких бы то ни было запросов сверх мелочных забот, расчетов и удовольствий. Сколько таких людей! Они не умеют любить, но и не нуждаются в этом. Но в этой женщине чудилось что-то незаурядное и вместе с тем опустошенное. А чтобы опустошиться, надо иметь нечто такое, что можно потерять. Не была ли у нее способность любить и потребность в любви, в романтике? Не была ли это в основе своей сильная, страстная, искренняя натура? Но жизнь, вероятно, убила в ней и ее ожидания, и ее возможности. Что, если в ответ на поиски любви она встречала всегда только цинизм и пустоту? Женщина, являющаяся по своему складу не матерью, а любовницей, может в результате этого превратиться не в монахиню и не в семьянинку, ищущую утешения в детях, а в распутницу, без сожаления растрачивающую себя на мимолетные суррогаты романтики, в ложности и дешевизне которых она сама отдает себе горький и презрительный отчет. Что было бы со мной при моей страстности, если бы я не встретила в жизни большой, настоящей любви, делавшей мою жизнь такою

цельной и ясной? Как могу я, которой досталось счастье, осуждать ее, этого счастья, быть может, когда-то искавшую, но утратившую всякую веру в его возможность в жизни вообще? И не достойны ли бóльшего уважения ее бесстыдная прямота и пренебрежение к предрассудкам, чем лицемерие других и стремление соблюсти внешние приличия?

Я долго лежала, тоскливо глядя в небо и думая о сложных противоречиях жизни, так часто калечащих людей, совсем в этом неповинных.

На другой день я выехала с туристами на машине в Тбилиси. И тут же столкнулась опять со знакомым мне уже ранее удивительным хамством, так свойственным в массе нашим туристам и так подчеркнувшим мне различие между ними и армянской группой, с которой я недавно рассталась. Зная нравы наших туристов, я стояла в стороне, ожидая, когда они сядут в машину, чтобы занять последнее место или даже устроиться в проходе на своем рюкзаке. Ведь я была самостоятельная туристка, и они не знали, что у меня тоже есть путевка, с их точки зрения только им дававшая на все преимущественные права. Однако, экскурсовод, с которым я была немного знакома в Ереване, предложил мне сесть немного раньше, чем разместится группа. Ни он, ни тем более я не претендовали на занятые места, и однако какой начался крик! Мужчины, особенно мужчины вопили, что они не собираются уступать мне место, что вообще им слишком тесно в автобусе и они протестуют против того, чтобы в него сел еще лишний человек. Мне было противно и стыдно за своих соотечественников, но я не сказала ни слова и, сделав вид, что не замечаю их, прошла на последнюю скамью, еще совсем пустую. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы кто-нибудь предложил мне что-либо из выданных отъезжающим на дорогу запасов еды. Мне и не было нужно, – я привыкла в дороге не есть и вообще легко обхожусь без еды длительное время. Но важен факт. А ведь вместе с тем в отдельности представители группы были как будто средними, обыкновенными, неплохими людьми! Быть неплохим! Не лучше ли быть или плохим, или хорошим, или сложно противоречивым, но только не «неплохим», в этом среднем, сером, мещански-обывательском, мещански-самодовольном смысле?

Август 1959 г.

VIII. Опасные тропы и грозы

«И демон видел…»
М.Ю. Лермонтов[82]

29 июля я приехала в Тбилиси и застала уже не только Теону и Саломку, но и вернувшихся из Кисловодска стариков Аситашвили. Я с удовольствием рассказывала о поездке. На следующий день я тщательно привела себя в порядок, надев белое платье и белые бусы, подчеркивавшие бронзу моего горного загара. Когда я уходила, Саломка воскликнула:

– Какая вы сегодня особенная, светлая… И такая интересная! Вам идет белое. И вам сейчас даже тридцати лет нельзя дать!

Я радостно улыбнулась этой преувеличенной похвале. Но с грустью подумала: «Как хорошо было бы, если бы мне, действительно, было не более тридцати лет!».

Еще было совсем светло, когда я уже сидела на турбазе и когда пришла машина из Орджоникидзе, на которой приехал Элгуджа. Сразу же улыбаясь, он подошел ко мне и протянул дружески руку.

– Как съездили?

– Хорошо. Я приехала ночью.

– А я вчера уехал!

– Я знала это.

– Значит, договариваемся ехать завтра в Бетанию?

– Да, я для этого и пришла.

– Подождите немного, пока я покончу со всеми делами. Я вернусь через полчаса… У вас испачкались бусы, – добавил он, наклоняясь ко мне и снимая что-то с одной из бусин. У него в этот момент было такое милое, такое хорошее открытое лицо. И так близко от моих глаз были его склоненные к моим бусам длинные, густые ресницы… Когда он ушел, я вышла на улицу, чтобы взглянуть, дома ли Ханум. Но Элгуджа тоже был на улице. Он подошел ко мне.

– Вы уходите?

– Нет, что вы! Я только хочу взглянуть на Ханум.

– А это что у вас?

Он взял мою руку, заметив красный цвет одного из пальцев.

– А, губная помада. – Он улыбнулся милой, мальчишески-непосредственной улыбкой. Меня тронуло внимание его к каким-то незначительным мелочам, меня касавшимся, хотя внимательность отнюдь не была свойством его натуры, – я это давно чувствовала и знала.

У Ханум я застала только Амалию[83] – мать ее уехала со старшей дочерью на море. Перекинувшись несколькими словами и взглядывая на часы, я поторопилась вернуться на турбазу. Прошли полчаса, а Элгуджи все не было. Наконец, он пришел и сел рядом со мной, извиняясь за опоздание. От него пахло вином, – видимо, он успел выпить. Но разве это не привычка всех кавказцев, кроме мусульман, да и всех южан – пить вместо воды сухие вина их родных виноградников, подумала я.

– А я чуть уже не ушла, – сказала я.

Он приблизил ко мне свое лицо, и я почувствовала, что вина он выпил гораздо больше, чем мне показалось вначале.

– Мне больно вам сказать, больно вас огорчить, но меня посылают завтра опять в поездку, и наше путешествие в Бетанию придется на два дня отложить.

– О, как жалко!

Он, видимо, уловил тень огорчения в моих глазах.

– Хотите вместо этого поехать завтра со мной в Казбеги? Ведь два года тому назад вы собирались там что-то осматривать.

– С удовольствием. Вы меня там оставите, а потом из Орджоникидзе за мной заедете? Да?

– Нет, я сам тоже могу остаться в Казбеги. Я должен привезти оттуда группу венгерских туристов.

– Это еще лучше! Вы поедете со мной в Самебу?

– Да, конечно. – Потом он спросил: – Так вы довольные своей поездкой? Вы долго были на Севане, вместо того, чтобы сразу вернуться в Тбилиси?

– Я была там три дня. Там было очень хорошо!

– Да? Я вас ревную к севанской компании! Имею я вообще право вас ревновать?

– О, только как друг! А на Севане меня ревновать вообще было бы не к кому. Я проводила время вне всякой компании, в одиночестве, занимаясь стихами.

– Да? Только не дарите никому больше стихи, – заметил он вдруг чуть насмешливо. – Это превратилось бы в шаблон.

– Что вы! Почти никто даже не знает, что я пишу стихи. Я их очень редко кому-нибудь показываю.

– Кто же виноват в том, что вы подарили стихи мне? – спросил он вдруг, встав передо мной с какой-то вызывающей тревогой.

– Виноваты вы, потому что вы рассказали мне ту историю о себе. Как я могла не стать после этого вам другом? Какое нужно благородство, чтобы принести такую жертву дружбе и клятве!

– Не хвалите меня, – сказал он, садясь опять рядом со мной. – Что тут особенного? Клятву свою надо держать, особенно если она дана человеку, которого уже нет на свете. А я совсем не так благороден. Помните слова Печорина перед дуэлью? – И он опять повторил эти слова, которые уже говорил мне два года назад.

– Хорошо, я не буду больше хвалить вас, – сказала я тихо. – Но мне хотелось сделать это один раз, последний раз.

– Я всего-навсего обыватель, – продолжал он, и в этих словах мне опять почудилась сдержанная горечь. – Что делать? Так сложилась жизнь. Я умею отказываться, отрекаться и ко всему привыкать. Не умею только забывать, ничего, никогда… И прощать не умею. Даже скорее могу забыть, чем простить. Единственным же моим достоинством является только то, что я умею быть верным слову. Меня с детства научил этому отец. Хотя моего брата ему не удалось этому научить… Он не человек слова.

– Я так ценю это! – проговорила я. – Вероятно, поэтому я и стала вам другом…

Он посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом, и как бы в ответ на этот взгляд я сказала.

– Помните, вы спрашивали меня, много ли у меня друзей. Я не всегда умею быстро сообразить и правильно ответить. Это мой недостаток также и при научных дискуссиях…

– Вы не интересуете меня как научный работник, – заметил он чуть вызывающе улыбаясь. Опять проявилось то отсутствие условной и безразличной вежливости и тем более галантности, которое мне в нем нравилось.

– Я это говорю только для того, чтобы вы поняли, почему я хочу еще раз ответить вам на прежний вопрос. Мне всегда хочется отвечать вам прямо и точно, а не приблизительно. Если говорить о романтической дружбе, то она была в моей жизни только три раза… Во всяком случае, с моей стороны. Тот, к кому она была обращена в первый раз, пропал без вести во время войны, надо полагать, что он погиб.

– Царство ему небесное, – голос Элгуджи прозвучал жестко. Он слушал, не глядя на меня, опустив ресницы, с напряженно-выжидающим выражением лица.

– Второй же раз такая дружба была пресечена в зародыше, чуть возникнув, потому что человек, который мог мне ее внушить, отказался даже видеться со мною, обещав это своей жене.

– Но ведь это же глупо и смешно, – возмутился мой собеседник. – И он сам вам об этом сказал?

– Нет, его мать. – Я остановилась.

– А третий раз?

– Третий – это вы.

Он повернул ко мне лицо, и его губы тихо произнесли:

– Благодарю.

– Большой палец моей руки оказался опять, как много раз раньше, в его большой, горячей руке.

– Скажите, – спросила я нерешительно, чувствуя, что нарушаю обещание не возвращаться к этому вопросу, – почему все-таки вы мне ничего, ничего ни разу не написали?

– Я не мог вам написать то, что хотел бы написать. А писать просто так, слова обычной вежливости…

Я опять почувствовала, что ему трудно об этом говорить, что он не хочет большей откровенности, и не посмела спрашивать настойчивее. Мой палец все еще был в его руке. Он опустил глаза и заметил:

– У вас все то же кольцо на руке.

– Да, я его никогда не снимаю. Но вы видите, у меня появилось и другое кольцо, дагестанское. Вы знаете, сегодня какой-то человек, будто бы коллекционирующий кавказские кольца, предложил мне за него любые деньги… Я невольно перевела разговор в более обычный, менее многозначительный тон, чем в предшествующее мгновение. – Я сказала ему, что это подарок, а подарки не

продают. – Я не продолжала свой рассказ дальше, умолчав, что кольцо было лишь предлогом для знакомства, а седой грузин, просивший его продать, не поленился последовать за мной на Пантеон, где он не менее часа уговаривал меня не отвергать его общество и принять его приглашение хотя бы для прогулки в парке на горе. Он при этом обстоятельно объяснил мне, что он вдовец, один из лучших парикмахеров Тбилиси, и не прочь жениться… Боясь открыто засмеяться, я делала вид, что не слушаю его и читаю книгу. Когда же он, наконец, спросил с обидой: – Для чего же вы приехали в Тбилиси? Русские женщины приезжают сюда развлекаться! – и я ответила ему: – Каждый развлекается по-своему. Для меня развлечение – знакомство с природой и памятниками искусства Кавказа, – он вдруг встал, пожал мне руку и сказал: – Ну, в таком случая вы молодец и редкая русская женщина, – после чего почтительно удалился. Об этом я не рассказала.

– Мне тоже нравится это кольцо. Я бы тоже его купил, – заметил Элгуджа, сняв кольцо с моего пальца и надев на свой мизинец. Оно вошло только до половины пальца! У него были большие, сильные руки.

– Хотите я подарю вам это кольцо?

– Нет, я не смею взять у вас такой подарок, – просто ответил он, надев мне кольцо на тот же средний палец, с которого он его снял.

– Я вообще люблю серебро с чернью. Особенно рога, оправленные в серебро. У меня дома их довольно много, – продолжал он.

– У меня тоже есть один рог в серебре.

– Нехорошо привозить домой рога, засмеялся он. – Если только это не один-единственный рог вроде меня!

– Нет, ни одного рога нельзя привезти домой, сказала я решительно…

В этот момент наши глаза встретились чуть вызывающе. И так бы продолжая брошенный вызов, он положил руку на мои колени. Я ее отстранила.

– Неужели нельзя даже это? – спросил он.

– А разве это входит в права друга и дружбы?

Он посмотрел еще более вызывающе и насмешливо продекламировал:

– Делись со мною всем, что знаешь,

И благодарен буду я.

Но ты мне душу предлагаешь…

На кой мне черт душа твоя?

– Вы это знаете?

– Да, это Лермонтов.

У меня сжалось сердце от мысли: неужели он такой же, как его товарищи по турбазе, циничный и легкомысленный искатель легких похождений? Но ведь в других отношениях он так от них отличается! И все-таки длительная работа на турбазе могла оказать влияние на его привычки, на само его обращение с женщинами, здесь вечно меняющимися и легко доступными…

А он, как бы опровергая мелькнувшую мысль, декламировал мне стихи Лермонтова, Байрона, и голос его звучал мягко.

Потом вдруг сказал, задумавшись:

– Хотел бы я жить в другое время, в первой половине XIX века. Я бы был одним из тех забияк и дуэлянтов, которых тогда было много. Мальчишкой я прочитал «Выстрел» Пушкина и пришел в такой восторг, что Сильвио стал моим любимым героем. Как я мечтал стоять под дулом пистолета и есть вишни! – Он засмеялся своей фантазии и с легкой насмешкой, и с почудившейся мне скрытой грустью. Ощущение романтической неудовлетворенности его души и жизни опять возникло во мне с предельной остротой и соприкоснулось с неискоренимой романтикой моей собственной души. Опять зазвучали строфы Байрона, произнесенные со своеобразным акцентом, с неясностью дикции, низким, глуховатым голосом.

Я то отдавалась всецело очарованию его голоса и доверию к нему, то в страхе отдавала себе отчет в том, насколько прямо, резко и вызывающе он дал мне понять, что далек от представления о возможности платонического характера нашей дружбы. «Я не должна ехать с ним завтра», – билась во мне порой тревожная мысль, – «надо все это остановить, пока не дошло до решительного объяснения. Но неужели он не поймет, что я не способна изменить, даже будучи ему романтическим другом? И неужели, поняв это, он предпочтет совсем меня потерять вместо того, чтобы сохранить красоту и поэтичность духовной связи, которая, кажется, уже так прочно нас соединила?»

Между тем, разгоряченный вином и, может быть, моей близостью, Элгуджа вызывающе задал мне вопрос, касающийся очень интимной стороны моей женской жизни. Я внутренне вспыхнула. Не было ли в этом проявления цинизма по отношению ко мне и вообще к любви, не были ли в этом опять отталкивающего влияния турбазовской жизни?

– Зачем вы спрашиваете об этом? Не надо! – вырвалось у меня.

– Я вам больше никогда не задам ни одного вопроса, – ответил он так, что я снова ощутила большую обидчивость и самолюбивость, так же как и безумное упрямство этого человека.

– Элгуджа, – раздался чей-то голос.

– Простите. Меня зовут. Я еще должен кое-что сделать по работе.

– Я тоже поеду домой. Лягу раньше спать. Ведь завтра надо рано выезжать, да?

– Да, в половине восьмого вы должны быть здесь. Я приду немного раньше вас и буду вас ждать.

Он вышел на улицу, провожая меня.

– Знаете, сказала я вдруг, – ереванская турбаза симпатичнее тбилисской. Мне не нравится здесь очень многое…

– А вы думаете, мне нравится, – усмехнулся он. – Но что делать? Надо же где-то работать.

Он крепко пожал мне руку, и последний взгляд его опять был такой хороший, теплый, обволакивающий бархатным мраком, как и мрак знойной южной ночи. Я вернулась домой, полная тайной тревоги, все еще твердящая себе, что я должна добиться от него упрочения платонической дружбы, утвердить ее поэзию и возможность, как уже не раз в жизни могла это сделать. Как могла я отказаться от поэтических отношений в своей жизни, над которой царила единая, вечная, великая любовь?

Помня, что обещала идти с Элгуджей в Бетанию в «кизиловом» платье, я надела его теперь, взяв свою обычную «походную» соломенную шляпу и штормовку. Когда я пришла на турбазу, Элгуджа уже был там.

И вот мы мчимся с ним под пасмурным небом с низкими облаками, на передней скамье большого экскурсионного автобуса, над которым растянут брезент, потому что ожидается дождь. Светлой полосой, изгибами и петлями вьется дорога мимо Мцхеты, Джвари, Задезени. Кудрявые зеленые горы расступаются перед нами, их склоны мягко переходят в Мурханскую долину, мелькают крыши селений, утонувших в садах, выглядывают из зелени древние башни.

– Я сегодня не экскурсовод. Я просто пассажир и могу никому ничего не объяснять, – заметил Элгуджа.

– А мне вы тоже ничего не хотите объяснять?

– Вы и так уже все знаете.

– Нет, я еще не все знаю. Что это за пещеры видны вверху, там слева?

– Там женский монастырь, не очень древний. А в этих пещерах население пряталось во времена монгольского нашествия.

– Посмотрите, какая красивая башня! – восклицаю я около Жинвали, указывая на хорошо сохранившуюся башню, живописно выступающую из густой зелени на фоне лесистого склона. – Я бы на месте Лермонтова царицу Тамару поместила бы здесь… Хотя нет! Для нее нужно именно грозное Дарьяльское ущелье.

– Вот видите! Лермонтов знал, что делал, выбирая не эту башню.

Он говорит мне вполголоса стихи Лермонтова. Потому замечает в раздумье.

– Я не могу представить себе, как можно в 25-26 лет написать такую вещь, как «Герой нашего времени». Все остальное из произведений Лермонтова можно, но не это. Ведь для этого так нужно знать жизнь и людей! Нужна такая наблюдательность! Помните то место, где Максим Максимович говорит о горцах: до чего трудно убить этих бестий; вот ведь весь простреляннный, а все скачет на своем коне и ружьем помахивает… Даже такая деталь живо схвачена, а в ней раскрывается столько самого существенного. Я больше всего люблю эту книгу. Я собираю ее разные издания. Но отдаю предпочтение старым. Там, по крайней мере, нельзя ждать никаких искажений текста. Как написано автором так и написано. А то ведь в одном последнем издании Грибоедова выброшен эпиграф «Горя от ума», помните:

Судьба проказница-шалунья

Определила так сама:

Всем глупым счастье от безумья.

Всем умным горе от ума.

– Да что вы? Неужели в таком невинном четверостишии можно было найти что-нибудь предосудительное?

– Вы, конечно, были на месте дуэли Лермонтова?

– Да. И даже ночью, при луне, когда там не было никакой надоедливой и снижающей настроение публики. В тот день я прошла километров сорок, задавшись целью осмотреть все лермонтовское в Пятигорске в один день, который был в моем распоряжении. С самого утра побывав в парке и в музее, я обошла Машук, прошла днем через место дуэли, и к закату солнца поднялась на

вершину Машука, а потом, так как солнце село и стало совершенно темно, сбилась с дороги и спустилась не в Пятигорск, а в обратную сторону и уже при поднявшейся луне оказалась вновь на месте дуэли. Жаль, что моя спутница была так испугана, что неслась к Лермонтовскому разъезду, забыв даже об усталости. А ведь мы целый день ничего не ели и устали настолько, что, дойдя до станции, сели прямо на перрон, на котором не было скамеек! И это в нарядных платьях, так как мы еще не успели принять туристский вид – это было перед самостоятельным походом по Военно-Осетинской дороге.

– И вы были со спутницей, а не со спутником, – заглянул Элгуджа чуть лукаво в мои глаза.

– Серьезно, со спутницей, – засмеялась я. – И еще при этом напуганной рассказами о том, как грабят и убивают на горе Машук. А при нас были все деньги, взятые для путешествия!

– А я был на месте дуэли на рассвете, тогда тоже там никого не было, – задумчиво вспомнил Элгуджа. – Мы пошли туда с вином, чтобы почтить память Лермонтова.

Он замолчал, и по выражению его лица я чувствовала, как дорог и близок ему поэт, которого я сама так люблю и который жив для меня не только как поэт…

– Насколько в те времена было интереснее путешествовать по Военно-Грузинской дороге тому, кто хотел и умел оценить красоту окружающей природы! На машине получается слишком быстро, поверхностно, мимолетно. Мне бы хотелось проехать здесь на лошадях, особенно верхом…

– О, я бы очень охотно доставил вам это удовольствие, если бы мы жили в любимой мной первой половине XIX века. Мы бы проехали верхом всю дорогу и притом той ее трассой, которую описывает Лермонтов в «Герое нашего времен», помните?

Мы некоторое время молчим.

– Почему вы все-таки не стали заниматься историей? – спрашиваю я. – У вас в Грузии такое интересное средневековье. И такое искусство! Уж им-то вполне можно заняться, как это делают в Институте истории искусства, с сотрудниками которого я здесь подружилась.

– Да… Но у меня ведь другое призвание. Студентом я был ленивым, хотя и способным. Больше, чем четвертки, получал редко… – Он опять по-мальчишески мило смеется. – В институте же, действительно, много хороших и умных людей.

Особенно Беридзе[84]. Когда я студентом работал с искусствоведами, все с ним особенно считались. У него удивительно ясный ум, удивительная верность суждений.

– У меня такое же впечатление. И при том он остроумный и своеобразно острый человек. Знаете, почему мы сразу же, при первом знакомстве почувствовали расположение друг к другу? Потому что выяснили нашу общую антипатию к Мацулевич[85]. Он умер в этом году… Вы знаете эту ученую пару?

– Конечно. Я водил их когда-то в Джвари, и Мацулевич с восторгом говорил, что каждый раз молодеет, когда туда приходит.

– Да, у него была хотя бы эта хорошая черта – искренняя любовь к искусству. А она – глупая, наглая, непорядочная, хищная старая баба. Впрочем, она не терпит меня еще больше, чем я ее.

– Почему? Она ревнует к вам своего старика?

– Есть к чему ревновать!

Он делает в ответ на мои слова протестующее, даже возмущенное движение, и опять вызывает у меня невольную улыбку.

– Нет, она ревнует ко мне то место в университете, которое я занимаю и которое, по ее мнению, должна занимать она. Ведь у меня среди искусствоведов масса врагов. Не удивляйтесь. В Эрмитаже почти весь отдел Запада мне враждебен. А в отделе Востока, с которым у меня деловых отношений нет, многие стали относиться ко мне хорошо только под влиянием тбилисских искусствоведов.

– Влияние на Ленинград из Тбилиси? – смеется он, жестом руки иллюстрируя тот окольный путь, который иногда может создаться для общественного мнения.

Остановка в одном из селений. Элгуджа выходит из машины. Я знала, что он пошел пить вино. О, я знаю уже это его пристрастие, но еще не придаю ему серьезного значения. Мне кажется, что он пьет только натуральные сухие вина, а это так безобидно и так привычно для южан. Когда он стоит около киоска, я незаметно фотографирую его внешне неуклюжую, но в действительности собранную и сильную фигуру. Он стоит, засунув руки в карманы, в клетчатой ковбойке с короткими рукавами.

Около Анаури он останавливает машину, чтобы я могла сфотографировать замок с наиболее эффектной точки зрения.

– Вы ведь тогда его с этой стороны не сняли. У вас как раз здесь кончилась пленка. Помните?

Я тронута тем, что он помнит даже это! А ведь мне казалось, что он тогда не проявлял ко мне никакого внимания и интереса…

Все выше и выше поднимаемся мы вверх. Все суровее и величественнее становится горный пейзаж, но все мрачнее нависают над темными вершинами тяжелые тучи. Становится холодно.

– Что это за камень? – спрашивает он, глядя на мое кольцо.

– Гранат. Это камень, который я должна носить, потому что я родилась в январе. Я ведь суеверна. Не умом, конечно, но чувством и воображением. А в детстве суеверия еще больше владели моей фантазией. У бабушки же моей была книга, где были перечислены камни, приносящие счастье в зависимости от рождения в том или ином месяце. И вот, когда мне было десять лет, мой брат нашел случайно золотую запонку с камнем, принес ее маме и попросил, чтобы из нее сделали мне кольцо. Камень оказался гранатом, моим камнем. Представьте себе, как я восприняла находку и это совпадение! С тех пор я не могу отделаться от чувства, что это кольцо – мой талисман. Я не снимаю его с шестнадцати лет.

– И какое же счастье он вам принес?

– У каждого свое представление о счастьи… Но он принес мне то, что является счастьем для меня: работу, которую я так люблю, что занимаюсь ею не ради денег, а по призванию, с радостью; и большую любовь…

– Вы это знаете? – он не смотрит на меня, тихо произнося эти слова.

– Я же вам говорила… О той большой любви, которая является основой моего счастья.

Он молчит. Мрачнеет ли его лицо? Я не знаю. Но проходит еще одно мгновение, и, кажется, все опять забыто в мире этих гор, его гор…

Мы поднимаемся на Крестовый перевал, сейчас такой сумрачно-холодный, окутанный тучами, угрожающе-темный. Здесь зародились строки одного из первых стихотворений о Грузии, ему посвященных во время первого нашего пути. Он поворачивает ко мне свое широколобое, коричневое лицо, и его глаза смотрят опять тем долгим, странным, немигающим, как бы в себя обращенным взглядом, который уже тогда привлек мое внимание.

– Подумайте – с тех пор прошло два года!

– Да… Время летит слишком быстро… Это страшно. – Мне кажется, что губы мои вздрагивают, когда я говорю это.

– Не надо думать об этом!

Я знаю, что не надо. Но это не всегда удается. Особенно в эту весну. Я столько думала о смерти после потери отца…

– Не надо! Вспомните лучше, в какие это было числа. Кажется, позже, чем сейчас… В начале августа…

– Наоборот. Вот видите, вы забыли. Это было 11 июля.

– И вы в этом самом платье подошли ко мне на турбазе в Орджоникидзе и попросили, чтобы я взял вас в Тбилиси…

– Да.

– А теперь уже нет старой турбазы. Построена новая.

– Да? Я ведь не была с тех пор в Орджоникидзе.

– А вы не обратили внимания, как косо на меня смотрели, а порою просто даже старались отнять у меня ваше, уступленное мне вами, место туристки, когда мы ехали? – опять вспоминаю я.

– Не говорите мне об этих туристках! Сколько из них приезжают к нам отдыхать, развлекаться, получать удовольствия и ничего, кроме гадостей, не говорят о нас и нашей стране! Недавно я вез одну москвичку – она оказалась инженером, человеком как будто культурным, но всю дорогу поносила нашу страну, как страну лодырей, бездельников, спекулянтов… Я ее чуть не выбросил из машины. Приходится не слушать и не обращать внимания, чтобы себя сдерживать. Кто же возделывает нашу землю, приносящую одни урожаи за другими, сменяющими друг друга вместе со сменой сезонов?

– О, я тоже знаю это удивительное, часто встречающееся свойство приезжающих на Кавказ русских. Пусть бы уж не ездили сюда, если им все так противно. Ведь это все равно, что придти в гости в чужой дом и говорить хозяевам о самих хозяевах одни гадости. У всякого народа есть свои недостатки, во всякой стране есть разные люди, но сколько у русских, к стыду нашему, развилось этого напускного чувства превосходства и самодовольства!

Машина несется вниз с перевала. На повороте перед нами вырисовывается каменная арка моста через Байдарку. Из расселин камня, прилепившись под аркой к мосту, растет большой пучок белых цветов, образующих пышный, сияющий шар.

– Посмотрите! – вырывается у меня возглас.

– Это ромашки, – говорит он, и мост исчезает позади.

Становится все холоднее, начинает идти дождь. Густой сеткой дождя и тумана встречает нас Арша, маленький поселок около Казбеги, где находится турбаза. Мы въезжаем во двор, вылезаем из машины, и Элгуджа знакомит меня с директором турбазы как искусствоведа, осматривающего памятники грузинского искусства.

Что было потом, в те часы, пока шел дождь? Элгуджа уходил на некоторое время с шоферами и другими экскурсоводами, несомненно, пить вино. Он позаботился, чтобы мне предоставили место ночлега и чтобы меня накормили обедом.

– Может быть, мне надо самой поговорить с директором и заплатить за все? – спросила я его.

– Ничего не надо делать, ни платить, пока вам этого не скажут, – ответил он с шутливой строгостью старшего. При этом я чувствовала однако, как мало он умел заботиться. Предоставив себя всецело его попечению после его слов, я чуть не осталась без обеда. Но сама эта неумелость и непривычность забот о ком-то другом трогала чем-то мальчишеским, беспечным.

Не менее ясно проявилась и другая, уже знакомая мне его особенность: неумение ухаживать и быть вежливо-галантным. Шел дождь. Нам нельзя было никуда уйти. Не было даже места, где можно было бы посидеть. А среди слоняющихся туристов и работников турбазы он явно не знал, что со мной делать. Я устроилась около окна в раздевалке и смотрела на почти отвесные стены сланцевого склона, по которому закутанный в бурку пастух гнал вниз стадо овец. А Элгуджа сидел в автобусе… Когда стало немного светлее, он вошел в здание и сказал мне:

– Я сейчас приду и мы что-нибудь придумаем.

– Я замерзла. Возьмите мне с вешалки куртку.

Мою куртку он сдал на вешалку, когда мы приехали.

– Сейчас… Впрочем, наденьте мою куртку, хорошо?

– Хорошо.

Он надел на меня свою большую штормовку с капюшоном, рукава которой мне пришлось завернуть.

Дождь прекратился, и мы вышли во двор.

– Казбек увидеть в этот раз, наверное, не придется, – сказала я.

– Зачем вам Казбек? Вот видите, прямо перед вами гораздо более красивый Куро, или Шат-гора. Я его особенно люблю. Я предпочитаю горы не снеговые, а такие скалистые, как Куро или Ушба. А вот там, с другой стороны, темнеет Кабарджина, тоже красивая гора. Их, наверное, еще нет на вашей пленке.

– А разве Шат-гора это не Эльбрус? У меня было в этом отношении превратное представление.

– Нет, именно это Шат-гора. Помните Лермонтова?

Он опять продекламировал мне кусок стихотворения.

– Да, но в такую погоду и к Самебе нам не подойти.

– Уж эти мне искусствоведы! Обязательно им все надо осмотреть вблизи и потрогать. Вам очень хочется туда идти?

– Да. Ведь это так связано с Лермонтовым, с Тамарой…

– Забудьте о Тамаре. Царица Тамара никогда не бывала здесь, все это выдумки.

– Но я думаю не о ней, а о Тамаре из «Демона».

– А, так вы собирались искать следы Демона? Хотите, я буду вашим демоном? – он смеялся, глядя мне в глаза.

Мы сели на скамью во дворе, выжидая, чтобы погода еще немного улучшилась. К нам присоединился альпинист Валико, водивший туристов на Гергетский ледник. Случайно разговор коснулся военных лет и я сказала, что провела их на Дальнем Востоке.

– Но я тоже ездил туда вскоре после конца войны, – проговорил Элгуджа. – Только мне пришлось доехать до Колымы. Я ездил за дядей, который там сидел и в это время был освобожден. Мне было в это время всего 24 или 25 лет. Долго пришлось ехать. Я с собой вез бочонок вина, который мне во многих случаях весьма пригодился. А на обратном пути я задержался в Уссурийском крае, месяц работал в тайге в биологической экспедиции. Однажды мы даже чуть с тигром не встретились. По правде говоря, мы ждали этой встречи безо всякого удовольствия, я так просто предпочел залезть на дерево, чтобы ее избежать. Правда, у меня был в кармане маленький браунинг.

Я тоже что-то рассказала о Приморье. Вспомнила раненого оленя, который бежал мимо моего дома, оставляя потоки крови на тропинке.

– Да, и я однажды убил оленя, – сказал Элгуджа. – Только здесь у нас, и случайно. Я не любитель охоты. Люблю стрелять, но не люблю ходить. Я ведь ленив. А тут как-то все же охотился. Когда олень на меня выскочил, я забыл даже, что стрелять его запрещено. Выстрелил. Он упал, и я только помню, что он лежал в крови у моих ног и издавал странное мычание…

И вдруг среди этого разговора Элгуджа посмотрел на меня, улыбнулся мне дружески, тепло, ясно и сказал:

– Как все-таки хорошо, что я привез вас тогда из Орджоникидзе!

Я ответила улыбкой на улыбку и заметила шутливым укором:

– Но ведь вы не исполнили тогда моей просьбы оставить меня в Казбеги! Вот в наказание вам и придется ходить здесь теперь со мной в такую погоду.

– Только без упреков, – ответил он также шутливо, но за шуткой мне опять почудилось его жесткое упрямство и нестерпимое самолюбие, вероятно, и действительно не выносящее никаких упреков.

Приближались сумерки. Облака нависали по-прежнему низко. Ждать просветления уже не было возможности.

– Что же делать? – спросил он. – Хотите просто пойдем куда-нибудь «пошляемся», как говорят по-русски? Выбирайте, куда мы пойдем?

– Мне все равно. Вы лучше знаете эти места.

– Можно на водопад.

– Хорошо.

Мы вышли из двора турбазы, перешли мост через вздувшуюся от дождя горную речку и направились в сторону двух водопадов, видневшихся на голом, скалистом склоне.

– Вот здесь был старинный замок, – указал Элгуджа вправо на бесформенный и изуродованный осыпями обрыв склона. – Его взорвали для разработки андезита.

Я с грустью посмотрела на зияющие, как раны, места взрыва.

– Эта глыба скатилась оттуда, – заметил он, дотронувшись до каменной громады, сползшей со склона. – Но это гранит, а не андезит, иначе она не была бы так брошена.

– Да, – посмотрела я на красный камень, – я вижу, что не андезит.

– Я ведь и забыл, что вы геолог, – засмеялся он. – Я не могу с вами в этом отношении попасть впросак.

Мы поднимались все выше.

– Тучки небесные, вечные странники, – сказал Элгуджа первую строфу, глядя на затянутое тучами небо. Я закончила вторую строфу.

– А это помните – «Последняя туча рассеянной бури…», – начал он…

Я подхватила следующие строфы.

– А это? – он начал читать стихи Есенина из его «кабацкого цикла».

– О, это я не очень люблю. Разве не лучше другой Есенин? Помните: «Отговорила роща золотая…»

Я декламировала строчку за строчкой, а потом сказала:

– Как я люблю странствовать, бродить по горам.

– Вдвоем?

– Нет, и одна. Часто даже именно одна.

– Значит, я вам мешаю?

– Нет, нет. Но иногда хочется быть одной; в одиночестве больше замечаешь окружающее, проникаешь в него и от этого испытываешь наслаждение.

– А страсти вы любите? Если бы вы их любили! Ведь они тоже дают наслаждение…

Я почувствовала прилив тревоги.

– Это совсем другое дело…, – постаралась я не продолжать опасный разговор.

Но было уже поздно.

Помогая мне перебраться через воду, он поднял меня на воздух и перенес через поток, прижав к своей широкой груди. «Этого не должно быть! Не должно, не должно!» – восстала во мне защитная волна моей постоянной любви.

Я ускорила шаг среди беспорядочно нагроможденных камней.

– Осторожней! Ведь вы в босоножках, – сказал он заботливо и мягко, догоняя меня.

Когда мы прошли еще дальше и недалеко впереди нас сверкнул первый водопад, Элгуджа остановился и, глядя на меня своим непонятным, немигающим, приковывающим взглядом, начал приглаживать мои волосы, растрепанные ветром.

– Не надо, – почти простонала я, – ведь все равно ветер их опять растреплет. Поднимемся лучше к самому водопаду.

Я вскарабкалась выше по склону и на мгновение остановилась у большого камня, дававшего убежище от резкого и все более холодного ветра. И тогда рука Элгуджи обвила мои плечи и поцелуи его покрыли все мое лицо.

– Что это значит? – вырвалось у меня с тревогой, с протестом.

– Разве об этом спрашивают? – просто ответил он.

Во мне билась и кричала одна мысль: «Это не любовь! Это какое-то наваждение, увлечение, но не любовь! Разве я разлюбила того, кому я принадлежу всю жизнь? Разве я могла бы уйти от него? Нет! Ни за что в мире! Но ведь двоих не любят! И, изменив, я не смогу жить, не смогу лгать!»

– Не надо, не надо! – повторяла я, отстраняя его. – Поверьте, я никому не позволяла ничего подобного. Если бы это попытался сделать кто-нибудь другой, я вырвалась бы и ушла, и даже разговаривать не стала бы.

– Я это знаю. Именно поэтому я вас и люблю.

Я вся внутренне содрогнулась от слова «люблю».

– Элгуджа, вы говорили, что не умеете любить. Неужели вы никого не любили действительно.

– Нет, я никого не любил… До сегодняшнего дня.

– В вашем возрасте и никогда по-настоящему не любили?

– Нет. Да и кого любить? И потом… Я рад бы любить, если бы меня любили, но меня тоже никто никогда не любил по-настоящему. Редко вообще кто умеет любить в жизни.

Он опять привлек меня к себе.

– Неужели в этом маленьком сердце не найдется места для меня? – прошептали обжигающие губы около моего уха.

– Элгуджа, я позволяю вам это потому, что моя романтическая дружба к вам оказалась сильнее меня. Ведь именно романтическую дружбу я имела в виду, когда говорила, что к вам третьему ее испытала.

– Благодарю вас. – Он опять гладил мои волосы. – Я хочу быть вашим другом. И не только здесь, на Кавказе, но и в Ленинграде.

– Но неужели вы как друг не можете удовлетвориться отношениями, которые между нами установились? Неужели вы не цените их поэзию? Элгуджа, дайте мне слово, что вы удовлетворитесь!

– Вы эгоистка, – покачал он головой. – Вы знаете, что я умею держать слово, и потому просите, чтобы я обещал то, что я обещать не в силах.

– Но я не могу изменить… Я люблю своего мужа и никогда ему не изменяла. Я не способна ни на ложь, ни на раздвоение…

Я говорила лихорадочно, и он вдруг резко спросил:

– Что же это? «Маленькая хозяйка большого дома»? Я никогда не любил этот роман.

Вместо ответа я воскликнула:

– Сколько сердца, сколько души я могла бы отдать вам как другу. Ведь я верный друг. Тот, к кому я впервые испытала романтическую дружбу, но кого отвергла ради своей единственной любви, исчез во время войны. Но как я его помню поныне!

– Вы хотели бы, чтобы и я погиб?

– Не говорите так! Неужели вы можете так думать?

Он отошел от меня и скрестил руки на груди.

– Вам это не нравится? Но идеальный брак на земле не существует. Все это только выдумки.

– Несколько мгновений мы молчали. И вдруг я услыхала его теплый голос, утративший только что звучавшие в нем резкие ноты:

– Примите опять ту позу, в которой вы были только что. Как вы похожи на Аленушку! Вы любите «Аленушку» Васнецова?

– Да, – прошептала я, чувствуя боль. – Но неужели все это значит, что я должна все потерять и дружба наша невозможна? Боже, как это грустно!

– Давайте погрустим вместе… – Его голос смягчился еще больше, он протянул в мою сторону руку.

Я не сделала ответного движения. Но он опять порывисто обнял меня. И его губы слились с моими… Это был первый поцелуй в губы. До этого он не прикасался к моим губам, будто не решаясь зайти слишком далеко против моего желания. Я вырвалась из его рук, я оттолкнула его:

– Не надо!

Мне никогда не забыть его лицо в тот миг. Он стоял с закрытыми глазами, его лицо было бледно, и черные широкие линии бровей и ресниц выделялись резко, почти угрожающе.

– Вам неприятно? – спросил он.

Я ничего не ответила, прижимаясь к холодному камню.

Через мгновение он овладел собой и заговорил с яростной сдержанностью. Он был холоден как лед, но мне чудилось пламя, клокотавшее под ледяной коркой.

– Вы заставляете меня страдать, – почти ударили меня его слова. – Но вы никогда не узнаете, как и сколько я страдал. И не думайте, что я умру – этого удовольствия я вам не доставлю. Но такая дружба, такое товарищество, которое вы мне предлагаете, мне не нужно.

– Вы не верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

– Я на такую дружбу не способен, она меня не интересует. Мне надо все или ничего. Все или ничего! – повторил он резко.

– Это значит даже никаких встреч?

– Да, даже никаких встреч. Того, кто ищет встреч, которых другой не хочет, презирают. Вы сами, наверно, так к этому относитесь.

– Но мне больно совсем потерять вас! – Я действительно все сильнее дрожала от боли и холода.

– Это ваше дело, – сказал он жестко. – Моя фамилия начинается с буквы «я». И мое самолюбие для меня главное в жизни. Если бы меня обидела родная мать, я бы не подошел к ней даже в час смерти. Я никогда ничего вам не напишу и никогда у вас ничего не попрошу. Я знаю, вы очень щедры, но мне ничего от вас не надо.

Он остановился, потом сказал вдруг смягченным тоном:

– То же, что вы мне подарили раньше, будет для меня теперь особенно дорого.

Я не могла легко примириться с тем, что произошло. Я была в растерянности. Эта растерянность заставила меня спросить:

– А если мы с вами все-таки встретимся?

Он стал опять жесток и резок:

– Ну что ж, у меня хватит воспитания на то, чтобы издали вам поклониться.

– Элгуджа, – сказала я умоляюще, – вы говорили, что хотели бы жить в первой половине XIX века.

– Да, прямо с этой минуты и с этого места.

– Но тогда вы должны больше уважать и понимать верность. Неужели вы бы лучше ко мне относились, если бы я легко поддавалась влечениям и была бы так легко доступна, как многие другие туристки?

– Если бы вы были как другие туристки, вы бы не были сейчас здесь, на водопаде, ответил он с оттенком презрения. – Во всяком случае, не были бы здесь со мной.

Мы опять стояли некоторое время молча.

– Пойдем обратно? – спросил он с безразличным и холодным видом.

– Нет… – я была подавлена и вместе с тем любовалась мужественной силой и решительностью, с которыми он отвергал меня.

– Тогда сядем.

– Он сел на камень. Я опустилась на другой камень, присев на колени – я вся дрожала, камни были такие холодные…

– Нет, не надо, – вырвалось у него. – Не становитесь на колени. – И он, протянув мне руку, властно поднял меня.

Мы встали опять на обломок скалы, укрывающий нас от ветра, но он уже не прикасался ко мне.

– Пойдемте, – сказала я устало.

Он подал мне руку, и мы пошли обратно. Уже темнело. Черные тучи мчались по небу. Холодный ветер пронизывал насквозь, налетая порывами. Я продолжала дрожать.

– Вам холодно? – спросил он с мрачной вежливостью. – Если хотите, пойдемте быстрее.

– Я ничего не ответила, ускоряя шаг. На мосту я невольно оглянулась назад на водопад.

– Водопад разлуки, – промолвил Элгуджа, тоже оглядываясь.

– Он взял меня под руку, но теперь с такой равнодушной вежливостью…

– Нужно вам это, или не нужно, но я всегда останусь в душе вашим другом, – сказала я. – Я всегда буду помнить вас. Всегда Военно-Грузинская дорога и Крестовый перевал будут для меня связаны с вашим образом.

– Это ваше дело, – ответил он ледяным голосом.

– Вы необыкновенный человек, – вырвалось у меня.

– Тем хуже, – ответил он тем же тоном.

Мы подошли к турбазе, и он оставил меня у дверей, пожелав мне спокойной ночи.

Я вошла в большую комнату, где спали туристки, машинально разделась и легла на расставленную для меня раскладную кровать.

Боже мой, что это была за ночь! Казалось, все стихии, все джины, все черные духи вырвались на волю и с ревом неслись мимо окон. Дождь лил потоками, ударяя в стекла, точно град. Не видя, я отчетливо представляла себе ту хаотическую, грозную, безумную картину, которую являли собой в это время горы, окутанные рваными, мятущимися тучами, погруженными во мрак, стонущие от рева ветра.

Я не могла сомкнуть глаз. От нервного потрясения к душевной боли присоединилась и физическая, вызванная приступом язвенной болезни. Мне казалось, что я умираю, что я не доживу до утра, что меня сметет ураган и поглотят горы, разгневанные тем, будто я отвергла любовные притязания их самих, а не их сына. Но разве я могла иначе, – я, принадлежащая другой, вечной и неизменной любви? Она была основой меня самой, всей моей жизни, моего счастья. Разве я могла предать ее хоть на миг, уступив какому-то ни было увлечению? А в ответ звучали слова то признания, то яростного отрицания, отбрасывавшего меня прочь с такой силой, что мне казалось – я ударяюсь об острые ребра скал и мое беспомощное тело покрывается кровавыми ранами.

Утром я не смогла притронуться к завтраку. Буря утихла, но горы тонули в густом тумане, моросил мелкий дождь, было холодно. Дрожа, я надела штормовку Элгуджи. Закутавшись плотней, я вышла и остановилась около крыльца. Через некоторое время показался Элгуджа. Он быстро подошел ко мне, мягко дотронулся до моих рук и спросил:

– Вам холодно?

Слова, голос, глаза, – все согрело меня неожиданным теплом, как луч солнца, прорвавшийся сквозь черные тучи. Я еле улыбнулась в ответ.

Через некоторое время он подошел опять. На этот раз его тон был равнодушно вежлив.

– К сожалению, погода слишком плохая, и к Самебе сходить не удастся. Я думал, что можно будет хотя бы подъехать к ней на машине, но она вся в тумане, ее все равно не будет видно.

Пришел интуристский автобус и остановился у крыльца. Немолодой шофер с небритым лицом и черной повязкой на рукаве, осмотрев машину, снова сел в нее, прячась от сырого тумана и холода. Я заметила, что у него доброе, грустное лицо и прекрасные черные глаза, задумчивые и печальные, какие нередко можно встретить в Грузии.

Вероятно, мой замерзший вид и мое молчаливое одиночество среди шумных туристов привлекли его внимание. Он несколько раз посмотрел на меня, потом сказал приветливо:

– Садитесь в машину. Здесь тепло.

Я послушно села.

– Меня зовут Сосо, – сказал он. – Вы едете с нами?

– Да.

– Ну вот и хорошо. Я скажу Элгудже, чтобы он посадил вас здесь, на это самое теплое место, – он указал на одиночное переднее сиденье.

– Нет, не говорите, – пусть Элгуджа меня посадит, где сам захочет, – ответила я.

Он начал меня расспрашивать, откуда я. Я отвечала, стараясь скрыть свое душевное состояние и не покидавшую меня физическую боль.

– А у меня горе, такое горе… – сказал он вдруг, перехватив мой взгляд, устремленный на его черную повязку. Его глаза совсем потемнели от сдержанного страданья. – Дочь похоронил… молодую девушку… И какая была девушка… Элгуджа знает, спросите у него.

Он отвернулся и вышел, может быть для того, чтобы скрыть выражение муки, исказившее его лицо. С сочувствием, с живой симпатией я посмотрела ему вслед широко открытыми глазами.

Через некоторое время венгры сели в машину, и Элгуджа посадил меня на место, предназначенное мне Сосо. Я слегка запротестовала, так как мне не хотелось сидеть одной лицом к прочим пассажирам автобуса – я хотела бы забиться в дальний угол, чтобы не быть на глазах у людей. Но я сразу же смирилась и взяла свою штормовку вместо все еще надетой на меня куртки Элгуджи.

Дорога была бесконечной и тяжелой. Все было окутано облаками, дул ветер, местами шел дождь. Горы были так мрачны и грозны, как злые враги, смотревшие на меня с отвращением. Раза три я пыталась невольно сфотографировать Элгуджу на память, зная, что вызываю его тайный гнев. Действительно, как это было недопустимо, нетактично, глупо! Что он мог подумать? Что я тщеславно фотографирую для коллекции очередного отвергнутого поклонника?

Он абсолютно не обращал на меня внимания. На одной из остановок спустился по склону, набрал цветов и преподнес их двум венгерским дамам.

– Вы будете обедать? – холодно спросил Элгуджа в Пасанаури.

– Нет, я не хочу. – И я села в пустую машину, пока венгры обедали на турбазе.

– Вы ничего не едите всю дорогу, сказал в то же время Сосо, подходя к машине. – Так нельзя. Пойдемте со мной.

– Но я не хочу.

– Нет, пойдемте.

Он ввел меня в маленькую лавку, предлагая что-нибудь съесть.

– Я не хочу, не могу, – умоляюще повторяла я, не желая объяснять, что от приступа язвенной болезни я действительно не могу есть.

– Элгуджа, – позвал Сосо, – пойди сюда, скажи, чтобы она поела. Она ничего не хочет.

– Ну что же? Можно и голодовку объявить, – услыхала я за собой сдержанно-раздраженный голос Элгуджи и, обернувшись, увидела его немигающие, теперь такие холодные глаза.

На какой-то остановке венгров угощали грузинским вином и они через переводчика потребовали, чтобы и я выпила с ними.

– Она не пьет, – сказал Элгуджа, и меня удивила решительность его тона.

– Да, я не пью, – подтвердила я, хотя это и не было правдой.

Мне все равно протянули стакан с вином.

– Я опьянею… Я ведь ничего не ела… – пробормотала я находившемуся в этот момент возле меня Элгудже.

– Пейте, ничего не случится, – небрежным тоном ответил он.

Я выпила.

У меня закружилась голова. Венгры пели. Я отвернулась от них и смотрела вперед на мелькавшую дорогу. Так мы доехали до Тбилиси, до турбазы. Я вышла. Элгуджа взял свою штормовку, лежавшую на моем сиденье. На секунду наши взгляды встретились.

– До свиданья, – сказала я.

– Счастливо, – ответил он сухо.

Мы не протянули друг другу рук, и я пошла от турбазы по пустынной улице.

Когда я пришла к Аситашвили, на мне не было лица.

– Вы больны? У вас жар, озноб? – посыпались вопросы.

У меня действительно был жар. Я сослалась на дурную погоду, на простуду, покорно приняла лекарство, выпила чаю и легла в постель. «Как далеко зашла я в этот раз в своей смелой игре с огнем», – подумала я, лихорадочно дрожа от озноба.

Оставались считанные дни до назначенной на август поездки с Майсурадзе и другими искусствоведами в Горную Тушетию – Мтатушети, как называют эту область грузины. Но Ренэ, Вера и Закро задерживались в Дагестане. Поэтому я каждый день уходила на Пантеон, уже избегая теперь района турбазы, а вечера проводила в уютном доме Аситашвили. На Пантеоне я делала все то же – читала, писала стихи, смотрела на город, лежавший передо мной в знойном душном мареве.

Фотограф Вартан относился ко мне, как к старой знакомой. Порою он вступал со мной в разговоры, порою он клал около меня свой фотоаппарат и фотографии со словами: – Постерегите, дорогая, – и уходил по своим делам. Иногда он даже угощал меня лепешками и яблоками, замечая, что я столько времени провожу без еды, и настаивал, чтобы я хоть немного поела. Как-то мне пришлось прослушать стихи и рассказы, сочиненные Георгием Ивановичем[86], проводившим, как обычно, экскурсии на Пантеоне. С недоумением подумала я опять о том, как человек его возраста и достаточной как будто образованности может не понимать, что такое пошлость. Да, даже не заурядность, а пошлость печатью лежала на его произведениях, подтверждая мои первые впечатления от его экскурсий, живых, увлекательных, пересыпанных французскими фразами и отрывками из хороших стихов, но тоже отмеченных каким-то дешевым и пошловатым оттенком. В данном случае, однако, автор был весьма доволен сам собой и едва ли почувствовал смысл весьма сдержанной реакции его слушательницы.

На улице я столкнулась с приехавшей из Ленинграда к Александру Цибулевскому Тамарой и зашла к ним. Кажется, между ними царило полное согласие и однако какое-то обостренное чувство подсказало мне, что они очень различны и вряд ли их отношения могут быть устойчивыми. Во всяком случае, с его стороны. Мне показалось, что я яснее, чем прежде, улавливаю в нем противоречивое сочетание мягкости и упрямства, способности увлекаться и отсутствия постоянства, смесь доброты и пренебрежительного невнимания к тому, что перестало быть предметом его увлечения и интереса… Но сверху всего этого я ощутила опять его подкупающую искренность и непосредственность. В Тамаре

рядом с ним чудилось слишком много светски-богемного, условного, для определения среды стандартного, хотя в принятии всего этого тоже она была непосредственна и своеобразно наивна, как и в своем почти детском самодовольстве и самоуверенности.

Они уговорили меня пойти в парк на Мтацминде, и, поднявшись на фуникулере, я просидела с ними вечер в беседке, повисшей как будто в воздухе над переливающимися тысячами огней городом. Мы ужинали, пили вино, Александр говорил, что восхищается моей жизненной энергией, увлекательностью и темпами моих путешествий, ставя в пример добродушно улыбавшейся толстой Тамаре то, как я умею использовать свой отпуск. А я думала с грустью о том, как способна я зарваться в этой увлекательности… И при том уже далеко не в 16 лет. Впрочем, может быть, это и было результатом последних вспышек перед запоздалой осенью?

***

Наконец, экспедиция во главе с Майсурадзе, направлявшаяся в Тушетию, увезла меня с собой в Телави, где мы застряли, так как началась нелетная погода, а перебросить на высоту Тушетии можно было только маленькими самолетами, – иначе путь туда был очень долог и труден, требовал лошадей, средств, сил, которыми экспедиция не располагала.

Нас было шесть человек (Ренэ уехала в Сванетию), и мы обосновались в телавской гостинице. Я чувствовала по отношению к себе внимание и теплоту, особенно со стороны Веры и Закро, а потом отчасти и молчаливого аспиранта Тамаза. Меня трогали и согревали мои спутники. Делалось все возможное, чтобы меня развлечь и доставить мне удовольствие.

Погода для августа в Кахетии была не жаркая, но дождей тоже не было, только густые облака постоянно окутывали горы. С балконов стоящей высоко гостиницы открывался широкий вид в даль. В золотистом мареве расстилалась широкая долина Алазани, придающая неповторимо своеобразный характер этой части Грузии. Во все стороны открывались ровные просторы, покрытые виноградниками и постепенно переходящие в мягко очерченные лесистые предгорья, над которыми сквозь завесу облаков синели волнистые очертания горных хребтов. Все дышало спокойным довольствием тучной земли, уже

пережившей пору цветения и теперь вынашивающей к осени обильные плоды. Среди садов богатых, широко раскинувшихся селений краснели черепичные крыши двухэтажных домов, сложенных из окатанного горными речками крупного камня, не покрытого штукатуркой и образующего узоры на фоне светло-серого глинистого цемента, заполняющего промежутки. Углы этих домов, так же как обрамления окон и дверей, выведены из красного кирпича. Дома более прочные, более тяжелые, чем в других частях Грузии, более замкнутые, не поднятые на столбы-сваи и лишь в одну сторону открывающиеся небольшими верандами.

Такими же черепичными красными крышами и в значительной степени так же сложенными из кирпича и камня стенами открывался из окон гостиницы Телави, древняя столица Кахетии. Провинциальной тишиной и патриархальностью веяло даже от его главных асфальтированных улиц с немногими новыми домами. Но особенно интересны были старые улицы, узкие, извилистые, с выступающими широкими открытыми балконами вторых этажей. Закро, сам кахетинец, водил меня по этим наизусть знакомым ему улицам, показывая с умилением то интересный старинный вход, то колонны, своеобразно вносящие черты русской усадебной архитектуры в старые, солидные, уютно-домовитые жилища богатых телавцев, построенные в первой половине прошлого века. Не хватало национальных костюмов, но воображение легко могло добавить их, как и цокот копыт, и всадников, под вечер проезжавших по этим улицам в черкесках или бурках. Теперь только несколько раз мне попались старики в черкесках да черные шапочки-тушинки все еще не выходят из употребления.

В центре Телави находится старая, но много раз перестраивавшаяся крепость, являвшаяся резиденцией кахетинских царей. Из гостиницы, с балкона в комнате наших мужчина, открывался чудесный вид на ее зубчатые стены, башни и бастионы, говорившие о суровом, беспокойном, кровавом прошлом, о нашествии турок и персов, о постоянных набегах горцев-мусульман, – леков, как называли грузины дагестанцев, – грабивших то и дело этот богатый край. Внутри крепости сохранилась только одна старая церковь да одно крыло перестроенного и превратившегося в педагогический институт дворца, с комнатой, в которой родился и умер царь Ираклий II, «Маленький Ках», проведший жизнь в постоянной борьбе за сохранение Грузии от турецких притязаний и принужденный искать помощи России, вскоре потом подчинившей себе Грузию. Рядом с этой комнатой расположены помещения краеведческого музея, в котором,

как всегда, я задержалась перед экспонатами, говорящими об искусстве и об историческом прошлом, овеянном суровой романтикой.

Днем Закро водил нас в расположенные по закоулкам и лишенные вывесок духаны, имевшие чисто местный характер. Каждый раз я пробовала какие-то новые, неизвестные мне кушанья, заедая их лепешками и душистыми травами, запивая светлым кахетинским вином. Так как я не могла обойтись без чая, вечером, смеясь над моей привычкой, все шли в кафе на главной улице, уже вовсе не колоритное, а просто провинциальное. Сидели мы, конечно, и у знаменитого платана невероятной толщины и древности, так подходившего к общему характеру Телави.

Как-то вечером мы пошли посмотреть на местные развлечения в городской сад, расположенный высоко на холмистой возвышенности, с которой открывался широкий вид на Алазанскую долину. Играла музыка, молодежь танцевала, в маленьком ресторане пили вино, но все было патриархально, чинно и спокойно.

Мы сели на скамью и разговаривали, глядя на угасающее сиренево-золотистое небо за синим силуэтом горной гряды.

– Хорошая страна, правда? – сказал Закро. – С детства я привык к ней, с детства люблю ее. Всегда она кажется мне моим родным домом, хотя и не осталось у меня здесь дома.

Он задумался немного.

– Вернее, дом, наш старый крестьянский дом в деревне остался, остались стены, крыша, двери, окна… Но дом перестал быть своим. А все равно каждый раз, когда я еду мимо нашего селенья, смотрю на него, и сердце замирает. Все детство, вся семья, все невозвратимое оживает в душе. И даже обидно не то, что дом уже не наш, а то как с ним поступили. Сада почти не осталось, ограды нет. Пусто, бесхозяйственно. Были перед домом огромные орехи. Так вот недавно и их срубили. Зачем? Для чего? И стал дом торчать на пригорке неуютно, печально. Я даже матери не сказал об этом, пусть не знает. А все-таки остается чувство, что это родной дом, и тянет к нему хоть иногда, где бы ни жил.

– А у меня никогда не было родного дома, – сказала я, тоже задумавшись. – Отец был военный, его переводили с места на место, и мы вечно кочевали… В детстве моем по Украине. Хотя родилась я в Москве. Но я даже не знаю ни того места, ни того дома, где я родилась. Родным для меня более всего стал Ленинград

– в Пушкине и в Ленинграде я жила с четырнадцати лет. Но и там мы меняли дома и квартиры. Так что родного дома у меня нет.

– Ну вот, ваши слова помогают мне, наконец, понять вас, вашу психологию, ваш характер вечного бродяги… О, бродяги в самом благородном смысле слова, бродяги, любящего всю землю и вечно ищущего все новых ее красот. – Закро улыбнулся мне своей широкой, добродушной и чуть хитроватой улыбкой кахетинского крестьянина.

В десять часов вечера все развлечения в саду кончились, и публика расходилась по домам. Город затихал совсем. Женщин на улицах не было видно. В домах закрывались занавески и ставни. Только на опустевших главных улицах еще мерцали фонари. И тогда юноши с гитарами и пандури[87] ходили по сонному городу при свете луны и пели на несколько голосов старинные грузинские песни, меланхолично-страстные, всегда напоминающие мне чем-то православное церковное пение, но лишенное церковности, наполненное мирской негой, мирскими радостями и печалями. Может быть, с Византией или со всем эллинистическим Передним Востоком были первоначально связаны эти мотивы и эти приемы многоголосного пения, издавна ставшие для Грузии чем-то местным, национальным, в Россию же занесенные из Византии только как установившаяся традиция уже сложившегося на православном Востоке пения церковных гимнов.

– Идите скорее слушать… Наверно, для вас специально устроен концерт, – воскликнул как-то Закро, входя в нашу комнату и протягивая мне руку. – Идемте на наш балкон.

Мы вышли на балкон «мужской» комнаты. Под низким, густо усыпанном звездами небом, при свете встающей луны и редких фонарей перед нами рисовался бастион крепости, имевший вид широкой, приземистой, круглой башни. На верхней площадке башни можно было различить фигуры сидевших певцов. Перебирая струны, они пели стройными молодыми голосами, полными то грусти, то затаенного огня.

– Это любовная песня, – объяснял мне Закро. – А это, слышите, они начали историческую, местную, кахетинскую песню о былых войнах и сражениях…

Я слушала, облокотясь на перила, и мне казалось, что звуки эти и обжигали, и поднимали, и уносили меня… К вершинам гор? В далекое прошлое, ставшее поэзией?

На другой день у всех были дела, и я одна поехала в Цинандали – знаменитое имение князей Чавчавадзе.

– Будьте осторожны, – напутствовали меня. – При патриархальности нравов кахетинцы хранят в этих нравах немало дикого и порой странного. Здесь одной женщине путешествовать почти невозможно, особенно русской. Строгость обычаев, которой все еще подчинены местные женщины, делает странным, что какая-то приезжая женщина ходит и ездит одна, поэтому по отношению к ней все считается дозволенным, от избиения камнями до любого насилия.

Вера подтвердила мне, что ее с сестрой буквально забросали камнями, когда они приехали на лето в Кахетию и вздумали пойти в лес за ягодами без мужчин. – Это не то, что в южной Грузии, где можно ходить одной по лесам, и никто не тронет. Хотя это вместе с тем и не то, что в курортных зонах и около больших городов, где царит распущенность уже совсем иного, современного характера, не имеющая ничего общего с местной патриархальностью, сохраняющей свои и положительные, и отрицательные стороны.

«Увы, как почти все в жизни»… – подумала я про себя.

Обещая учесть все советы и предостережения, я села в автобус. Через короткий промежуток времени я вышла из него в невиданно красивой кипарисовой аллее, ведущей к парку Цинандали. Гигантские, почти черные кипарисы образовывали изогнутую линию двузубчатых стен по бокам аллеи. Когда я достигла входа в парк, передо мной открылся вид на широкий цветник. Я впервые столкнулась с чисто национальным богатым помещичьим грузинским домом, очень отличающимся от таких домов в русских усадьбах. Обширное двухэтажное строение с пологой четырехскатной крышей было со всех сторон окружено ярусами крытых галерей, сквозные, узорчатые деревянные решетки и столбики которых были обвиты густой зеленью ползучих растений и цветов, свешивавшихся пышными кружевными фестонами, открывавшими во все стороны большие красивые колокольчики, как жадные, дышащие, манящие, опьяненные губы. Цветник и подстриженные вечнозеленые кустарники делали облик дома еще наряднее.

Насколько я знаю, старый дом Чавчавадзе во времена Грибоедова был проще, а этот, более поздний, принадлежал уже царской фамилии вместе с перешедшими к ней знаменитыми винными погребами. Парк же был раньше больше, но часть его территории давно поглотил городок Цинандали.

В доме сейчас гостиница для колхозников, и только часть комнат в одном крыле – музей. Я осмотрела его. У блестящего красавца и романтического поэта Александра Чавчавадзе собирались русские и грузинские поэты, писатели, – может быть, здесь как-то побывал и Лермонтов… Часто здесь гостил Грибоедов. Он знал Нину Чавчавадзе маленькой девочкой и потом задумчивой, большеглазой девушкой, пленившей его настолько, что он, – едкий, колючий, замкнутый, уже давно привыкший к холостяцкой жизни и так мало пригодный для семейных радостей, – решил наложить на себя узы Гименея. Может быть, именно в этом парке он впервые сказал Нине слова любви…

Музей был полон отчасти документов, отрывков из грузинской и русской поэзии. В старшую дочь князя Екатерину, считавшуюся самой красивой из трех, и называвшейся при жизни «Солнцем Грузии» был страстно и безнадежно влюблен Бараташвили. Красавица предпочла бедному поэту светлейшего князя Дадиани и блистала потом как при русском дворе, так и в Париже, где получила прозвище «Грузинской Рекамье». Дочь ее вышла замуж за внука Мюрата. Вторая дочь – Софья – была заброшена на север браком с бароном Николаи и рано угасла на севере. И вот Нина… Тоненькая, одухотворенная, вся – огромные черные глаза на нежном, тревожном, взволнованном личике. Насколько она прекраснее, чем царственная Екатерина!

Я обошла парк, старый, с тенистыми аллеями, и похожий, и не похожий на русские «английские» романтического стиля усадебные парки первой половины XIX века, как и парк Дадиани в Зугдиди. Та же планировка, та же поэтичность уединенных уголков, полных дрожащей игры светотени на одинокой скамье, на траве, на гравии дорожек… Те же просветы лужаек, которые кажутся особенно солнечными сквозь зеленый сумрак густых ветвей… Но иные деревья, иное солнце, иные краски. С высоких, отвесных, галечно-суглинистых обрывов – вид на широкое галечное русло почти пересохшей летом горной реки, группы стройных тополей. И опять все тот же сиренево-голубой, золотистой дымкой подернутый простор Алазанской долины с призрачной грядою гор, синеющих над ней и тающих в облаках. В одном месте над краем обрыва уцелевшая половина маленькой часовни с красной черепичной крышей, – другая половина обрушилась вниз вместе с частью склона, подмытого потоками и разрушенного годами. Говорят, что в этой часовне Нина и Грибоедов отслужили молебен перед его отъездом в Персию. Перед разлукой навсегда…

Близ часовни широко раскинуло крону дерево, разделившееся почти от корней на несколько стволов, среди которых образовалось глубокое дупло. Еще одно воспоминание… Отряд дагестанцев из войск Шамиля совершил набег на имение, когда здесь был дан какой-то праздник, съехалось много гостей, дамы находились в доме, а мужчины в тот день охотились в горах. Знатные заложницы – княгини и княжны – были захвачены врасплох, перекинуты через седла и увезены горными тропами в Чечню, в крепость Ведино, где пребывали, пока не была достигнута нужная Шамилю договоренность об обмене их на взятых русскими пленных, – прежде всего, на сына Шамиля. Нина тоже была в тот день в Цинандали, но она успела спрятаться в дупло и поэтому избежала похищения.

В парке было совсем пусто. Я стояла одна у развалины часовни, к которой вела узенькая тропинка среди густой зелени. В неподвижном, горячем воздухе звенели цикады. На дорожку тихо вышел павлин, волоча сверкающий драгоценными красками хвост. Даль была затянута знойным мерцающим туманом. У меня закружилась голова. Я села на камень и закрыла глаза. Прошлое этих мест, отблеск любви и счастья, пережитых здесь на мгновение, и сумрак страданья, длившегося тридцать лет, – все это было живо для меня и вместе с тем так мучительно далеко. Будто черное одеяние Нины скользило в аллеях… И эта тень была не менее реальна, чем парк, часовня, даль, я сама, потому что с каждым мгновением все становилось для меня нереальным, призрачным. Прошел миг или час – я не знаю. Время так же остановилось, как и жизнь вокруг меня.

И вдруг я вскочила, делая резкое усилие и пытаясь преодолеть мертвенное оцепенение. Надо уйти, надо оказаться среди живых людей! Я быстро пошла к выходу из парка, в жажде разорвать тишину и одиночество, которые могли быть такими поэтически-чарующими в этом старом парке, но которые оказались непосильными для меня в наваждении знойного полдня. Надо было, чтобы раздались какие-то звуки, голоса, шум… Надо было, чтобы что-то заставило меня говорить, смеяться, воспрянуть от головной боли.

Обогнув парк, я дошла до маленького дома среди зеленого двора, где жили друзья Веры. Она просила меня отнести им записку. Все еще не в силах даже отчасти преодолеть ощущение нереальности окружающего, все еще чувствуя, будто я – это вовсе не я, а только призрак, со стороны мною воспринимаемый как нечто чужое, я вошла в дом. Милые, приветливые старик со старухой, – древнейшие медицинские работники этих мест, – заставили меня пообедать.

Оказалось, что у них живут приехавшие из Тбилиси дочь, зять и внук, тоже друзья Веры и Ренэ. Дочь, которую все зовут Джика, – скромная, простая, на первый взгляд бесцветная и даже некрасивая, но затем все более привлекательная, стройная женщина, от которой веет сердечностью, искренностью, светлой и мягкой женственностью, заботливостью и теплотой. Этот тип женщины, альтруистически самозабвенной, наполняющей жизнь окружающих людей любовью и заботами, являющейся для них опорой и в то же время остающейся как будто незаметной, не выступающей на первый план, живущей другими и для других, раскрывающейся в этом, а не в чем-то особом, отдельном, индивидуально своем. Как я узнала впоследствии, она – архитектор, и даже в материальном отношении – опора семьи, дающая возможность мужу-художнику работать, не особенно задумываясь о заработке. Конечно, ее работа вне дома – нечто второстепенное и подсобное для дома, для любимого человека, хотя она и относится к ней с интересом. Ее труд нужен, чтобы создать условия для труда, являющегося самоцелью и непреодолимой потребностью ради самого себя, как бывает с истинным художественным творчеством. И, конечно, ее муж, как всякий художник, должен оказаться натурой эгоцентрической и без особого раздумья, даже порою недостаточно замечая, принимающим все то, чем окружили его заботы жены, создающей условия для его творчества.

О художнике Петре Михайловиче Блеткине я уже много раньше слышала. Мне говорили о его несколько камерном, но очень тонком и лирическом искусстве, исключительно независимом и искреннем, не принесшем ему ни заслуженного успеха, ни материального благополучия, являющихся часто достоянием мастеров, бесконечно далеко ему уступающих. Теперь он стоял передо мной, небольшого роста, сухощавый, немолодой, с узким, нервным, изрезанным складками лицом с седеющими волосами, с серыми, то внимательными, то рассеянными глазами, со своеобразной манерой говорить. Об обыденных, обывательских разговоров он далек (как угадывается опять роль жены в его освобождении от этой стороны жизни!). Его ум все время поглощен тем, что связано с искусством, что питает искусство и им рождается. И он говорит об этом… Без позы, без нарочитости. Но отрывисто и как будто с тайной стесненностью, которую прячем и под этой отрывистостью, и под кажущейся порой приподнятостью тона. Будто он ищет для выражения своих мыслей, чувств и интуиции нужные слова, но то, что находит, кажется ему недостаточно простым, излишне выспренним, и он недоволен этим

и стесняется этого, но стесняется и самого своего смущения. Так бывает с людьми очень нервными, болезненно самолюбивыми, где-то в глубине сознания страдающими от неуверенности в себе и сомнениями, при понимании вместе с тем своих незаурядных возможностей; с людьми, которым недостает темпераментной непосредственности, все это преодолевающей в порывах страсти или увлечения. Но при некоторой внешней скованности и напряженности, сразу открылись для меня в Блеткине чуткость, тонкость, искренность, цельность в отданности искусству и в поглощенности им. Это очень неврастеничная, находящаяся во власти изменчивых настроений, но по-настоящему художественная натура. Так думала я, глядя на него при первом знакомстве, благодарная за то, что он отвлек меня от охватившего меня болезненного оцепенения.

Узнав, что я уже видела музей и парк, Блеткины решили показать мне винные погреба Цинандали, расположенные тоже на территории парка, очень разросшиеся после первой половины XIX века, но сохранившие и старинные галереи, принадлежавшие еще князьям Чавчавадзе. Мы спустились под землю, в длинные коридоры, где лежали рядами огромные бочки, в чреве которых старело прозрачное вино или еще бродили молодые пьянящие соки. Я должна была теперь слушать, отвечать, реагировать на окружающее, и это вывело меня из моего странного состояния, рожденного «под небом знойным» Грибоедова, «там, где вьется Алазань».

Перед выходом из погребов нас пригласили в лабораторию и налили нам в тонкостенные химические стаканы светло-золотистого вина, такого прозрачного, сияюще-чистого и ароматичного, что напиток этот мог бы с честью наполнить кубок Гебы. Мы чокнулись и выпили за нашу встречу, и за продолжение знакомства.

Потом обошли парк, и жуткие чары звеневшей в нем тишины рвались, как золотистая предвечерняя паутина, от звуков шагов и голосов моих новых спутников. На некоторое время мы застыли над обрывом в том месте, откуда открывается особенно широкий вид вдаль. Знойное марево стало гуще над долиной, горы почти совсем растаяли, лилово-золотые тона вытеснили голубизну более раннего часа.

– Если бы вы знали, какие краски приобретает Алазанская долина осенью! – сказал Блеткин. – Золотом, оранжевым пламенем, густым пурпуром пылают

виноградники. И это в контрасте с синевой гор, с голубизной неба, с серебристостью утреннего воздуха. Словами не передашь. Да и кистью трудно. Вот Ван-Гога бы сюда с чистотой его ярких красок и с органической жизнью его мазков, струящихся, как языки пламени. С какой щедростью расточает здесь земля осенью свои богатства, плоды, краски, стихийные силы!

Я вспомнила рассказы Закро о скрипящих по дорогам осенней Кахетии арбах, доверху груженных виноградом, о власти молодого вина и льющегося в бочки виноградного сока, о буйном разгуле осенних кахетинских праздников, посвященных сбору винограда и соединяющих красочную поэзию и мощь народного эпоса с дикостью, а порой с жестокостью стихийных страстей и инстинктов. Глаза Закро загорались, когда он об этом говорил. Блеткин – русский из ссыльных сибирских молокан, поселившихся в Тбилиси на Песках с XVIII века и занимавшихся ямским делом, – хотя и родился, и вырос на Кавказе, воспринимал это иначе. Но и он сказал задумчиво:

– Щедрая здесь природа, а потом располагающая и к лени, и к жизнелюбию, и к дикому веселью. Подумать, сколько можно было бы извлечь из этой земли не по старинке, а современными рациональными способами земледелия и настоящим, не щадящим себя, упорным трудолюбием. Как-то я стоял здесь с одним латышом. Он заметил, любуясь долиной: «Вот сюда бы наших крестьян! Во сколько раз они своим терпением и тщательностью труда повысили бы урожай и улучшили сорта всего, что здесь растет, из века в век не изменяясь и в значительной степени за счет щедрости самой природы…». А потом вдруг добавил: «Только, наверное, лет через сто они тоже разленились бы и приобрели жизнелюбивую беспечность детей этой радостно-щедрой земли, дающей все без лишнего применения сил». Что же, он прав.

Солнце склонилось к закату, когда Блеткины проводили меня на шоссе, ведущее в Телави. Автобуса долго не было, и они, остановив проходившую мимо легковую машину, попросили меня довезти. Машина была явно частная, в ней не было никого, кроме сидевшего у руля мужчины средних лет, с довольно красивым, типично грузинским лицом и черными усами. Конечно, я бы одна никогда не села в такую машину, если бы не то, что Блеткины знали ее владельца. Прислонившись к ковровой спинке заднего сиденья, я рассеянно смотрела перед собой и рассеянно заметила в висевшем перед водителем зеркале черные глаза, серьезно и сдержанно рассматривавшие мое отражение в этом же зеркале. Я откинулась

так, чтобы меня не было видно, но зеркальцу тоже было придано иное направление. Впрочем, мой спутник был молчалив и только спросил меня, откуда я приехала. По внешнему виду я не могла определить, шофер ли это или владелец машины, и заранее чувствовала неловкость. С этим же чувством я спросила его, когда он остановился в Телави около гостиницы, сколько я должна за проезд.

– Что вы, дорогая, – вы мне ничего не должны, проговорил он серьезно и мягко, без всякой тени заигрывания или наглой фривольности.

Потом, чуть повернувшись ко мне, но не глядя на меня, добавил так же серьезно и мягко:

– Хотите, поедемте со мной покататься?

– Нет спасибо, я не могу, – ответила я.

– Вас кто-то ждет в гостинице?

– Да.

– Друг?

– Да.

– Один?

– Да, – солгала я, опять чувствуя, что на меня смотрят серьезные черные глаза.

– Ну что ж, тогда ничего не поделаешь, – услышала я тот же мягкий, низкий голос. – Пожалуйста, дорогая.

Рыцарственно склонив голову, водитель машины открыл передо мной дверцу.

– Спасибо, – сказала я тихо и, не оглядываясь, вошла в гостиницу.

Я была такой усталой в этот вечер, что с трудом могла скрыть это от своих товарищей. Закро принес очередную бутылку кахетинского, и мы пили его в комнате мужчин, опять слушая долетавшие с крепостного бастиона песни.

Со следующего дня, махнув рукой на хребет, не пропускавший самолеты в Тушетию, Закро предпринял целый ряд поездок, конечно, и для удовольствия всех, но прежде всего, чтобы показать мне памятники кахетинской старины. Мы брали для этого такси, то легковые, то грузовые, вмещавшие всю нашу группу. Только сын Закро предпочитал бродить по более «веселым» местам с найденными в Телави товарищами. Его пренебрежительное отношение к отцу несколько раз неприятно меня задело и вызвало откровенное возмущение Веры.

Алаверды – вдали от всех селений, издалека белеющая группой кудрявых деревьев церковь посреди Алазанской долины. Стройная, высокая – самая высокая в Грузии – с подчеркнуто убегающими вверх вертикальными членениями, с легко возносящимся к небу, вытянутым как башня барабаном, завершенным более острым, чем обычно, шатром. Что-то родственное готике по взлету, по одухотворенности, даже по подобию нервюр в арках и по столбикам интерьера есть в этой церкви XII века, хотя по конструкции это типично грузинская центрально-купольная постройка. Величественная монументальность сочетается в ней со страстностью порыва к синеве неба и к скользящим по нему белоснежным облакам. Порыв ввысь и прикованность к земле широко распластанных крыльев… Один грузинский поэт сравнивал ее с белым лебедем, прикованным к долине Алазани. В престольный праздник до сих пор съезжается масса окрестных крестьян с вином и барашками к этой одинокой церкви. И тогда загораются костры, льются вино и кровь баранов, запах шашлыков возносится с дымом к небу, и на широком дворе за монастырской стеной шумит пиршество, языческое в стихийном земном жизнелюбии, не связанное с отрешенным спиритуализмом христианства.

Потом была поездка в Шуамту по густому лиственному лесу, с переплетающимися ветвями и кустарником, с глубоким сумраком чащи, в которой причудливо изгибаются на склонах стволы не очень высоких, но широко раскидывающих кроны деревьев. Монастырь Новая Шуамта с белой высокой церковью, с белыми стенами вокруг и остатками монашеских жилищ, превращенных теперь в детским дом. Он довольно поздний, XVI века. Но и он, подобно собору Алаверды, лишен какой-либо орнаментальной каменной резьбы. Эта строгость присуща вообще кахетинской церковной архитектуре. Она воздействует только красотой своих форм и редких, скупо примененных деталей, не используя почти никакого декоративного убранства, сочными пятнами узорных каменных плетений оживляющего гладь церковных стен в других частях Грузии. Дальше, за Новой Шуамтой, совсем в лесной глуши, после куска дороги, по которой с трудом прошло грузотакси, находится Старая Шуамта. От древнего монастыря уцелели две церкви VIII века, сложенные из широких плоских плит розоватого кирпича, гармонирующего с блеклыми теплыми тонами красных черепичных перекрытий. Церкви очень простые по форме, безо всяких украшений, но прекрасных пропорций, с низкими шатрами, скрывающими

невысокие купола. Вокруг цветущие кустарники, стена отступившего молчаливого леса, а в другую сторону – широкая поляна, покрытая высокой травой и застывшими в безветрии головками цветов; потом – невидимый густой склон высокой горы, на которой стоит монастырь, и далеко внизу – тающий в дымке простор Алазанской долины, завершенный далеко-далеко цепью невесомых гор, увитых облаками и почти не отделимых от облаков. Шуамта означает по-грузински «внутри горы». Но для меня это слово было как шопот тишины, как легкий шелест листвы в кустарнике, как дыхание ветра, пробегающего по кустам и травам. Розоватые тона кирпича, розовая черепица, розовые цветы, розовый закат над простором широкой долины, золотисто-розовый туман, окутывавший ее даль, розово-сиреневые тени, горы, облака… Все это тоже звучало тихо, таинственно, щемяще-печально, как звук слова «Шуамта». Шептало о невозвратности ушедшего, о хрупкости настоящего, о недостижимости будущего… «Шуамта»… В каждом шаге моем, в каждом моем вздохе был этот шопот, этот задумчивый звук.

Совсем иной характер имела проходившая через селенье дорога в Икалто, монастырь XII–XIV веков, в котором в средние века находилась Академия и который являлся в те времена крупным культурным центром Кахетии. За белыми, увитыми зеленью каменными станами, прекрасно сохранились маленькая, простая базилика XII века и легкая, стройная, изящная центрально-купольная церковь XIV столетия, покрытая шатром на вытянутом, красивом, отделанном керамикой, высоком барабане. Опять бросилась в глаза особенность кахетинской архитектуры – стройность, порыв вверх, красота и чистота удлиненных пропорций при исключительной строгости и скупости отделки. Опять та же черта: архитектура смело воздействует на зрителя собственным совершенством, не нуждаясь в посторонних средствах, гордо и целомудренно отказавшись от всякого внешнего убранства. Под старыми развесистыми деревьями видны ряды аркад – развалины средневековой Академии. Памятники и зеленые кусты кладбища жмутся к белым стенам церкви, а лежащие у этих же стен огромные пустые квеври – глиняные сосуды с заостряющимися днищами – говорят о жизни, о соке кахетинских лоз, о веселье народных празднеств в традиционные праздники.

Участниками такого маленького пира оказались мы сами. Было воскресенье, и семья крестьян, включающая три поколения и возглавляемая старым дедом в черной тушинке на седых волосах, приехала в древние стены отпраздновать

свободный день. Широкая кошма была разостлана на траве. На ней стояли глиняные кувшины с вином, пополнявшиеся из привезенного с собой бочонка. Окровавленные куриные перья и шкура барашка говорили о только что совершенном «заклании» животных, а на костре уже жарилось мясо, нанизанное на длинные вертела. От всего веяло вековой патриархальностью.

Конечно, нас тоже пригласили принять участие в этом семейном празднике, и отказаться было невозможно. Мы сидели на кошме, пили вино, ели нежнейшие внутренности молодого барашка. Старик серьезно и важно произносил тосты, женщины хлопотали у костра, приносили еду и кормили в стороне черноглазых веселых детей разного возраста.

Узнав от моих спутников, что я – приехавшая издалека гостья в Грузии, старик провозгласил в честь меня по-грузински длинный, торжественный тост, на который я ответила кратко, но с чувством благодарности. Когда же мы собрались уезжать, он что-то повелительно сказал более молодым мужчинам, и они принесли мне букет роз, нарвав их на кустах, ползучие побеги которых обвивали стены. Но старик остался явно недоволен. Раскипятившись и размахивая руками, он что-то сердито говорил сыновьям, а потом сам полез на стену, прошел, ловко прыгая с камня на камень, к особенно густым и колючим зарослям и, исцарапанной, морщинистой рукой протянул мне белые, нежные розы с закрученными в трубочки лепестками. При этом он склонил почтительно голову, и я, тронутая этим рыцарственным жестом внимания, также поблагодарила его, почтительно склоняясь перед его старостью.

Легковое такси ждало нас, пока шофер, включив счетчик, принимал вместе с нами участие в маленьком пире. Когда мы тронулись в обратный путь, я сидела молча, пряча лицо в букет и невольно лаская губами душистые лепестки роз. Из задумчивости меня вдруг вывел голос Тамаза. Заглядывая в мои глаза большими, внимательными глазами, он неожиданно спросил:

– Ну как? Сегодня, сейчас вы вполне довольны?

Как будто он втайне стремился, чтобы романтическая жажда, угадываемая юношей в зрелой женщине и его волнующая, была до предела насыщена удовольствиями, мне доставляемыми! Мне захотелось поблагодарить и его, и Закро, сидевшего со мной рядом с другой стороны, доставив им тоже удовольствие в ответ на их старания. Улыбаясь своей шутке и вызвав их довольный смех, я проговорила:

– Бедные были бы Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и я, если бы Россия не присоединилась к Грузии!

В конце же дня, когда мы бродили по Телави, Закро затащил меня в лавочку мастера, делавшего маленькие шапочки-тушинки, которые носят мужчины не только в Тушетии, но и по всей Кахетии. Он заставил меня примерить несколько таких шапочек и, выбрав наиболее подходящую, подарил мне на память. По дороге к гостинице он несколько раз оглянулся на меня, широко улыбаясь, и сказал:

– Как вы в этой шапочке похожи на парня-тушинца! И прическа такая же, и загар, и глаза, и прядь волос так же падает на лоб. Обещайте, что вы будете надевать эту тушинку не только здесь, но и в Ленинграде.

На другой день погода прояснилась, и мои спутники побоялись куда-либо ехать – вдруг полетит самолет в Тушетию. Для меня же неделя, проведенная в Талави, делала невозможным дальнейшее путешествие с ними – в Тбилиси лежал билет на море, у которого я должна была провести конец отпуска, уже короткий и требовавший хоть немного отдыха перед началом учебного года.

Одна я поехала в этот день на автобусе в Кварели, центр знаменитых виноградников кингсмараули. Я видела по дороге все те же просторы Алазанской долины, большие, утонувшие в садах селенья, виноградники и склоны гор, покрытые густым, буйным лесом, низкорослые, изогнутые деревья которого сплетались ветвями в непролазную чащу. Красные бусы кизила то здесь, то там унизывали ветки, цеплявшиеся друг за друга в страстной тоске и знойной истоме. Как томило и волновало меня безумие, неистовство дикой чащи буйного леса на склонах кахетинский предгорий!

Мимо меня проплыла чудесная башня Греми, вместе с такой же башнеобразной церковью увенчивающая высокую скалу. Силуэт слитых в едином порыве отвесной скалы и построек, являющихся как бы ее продолжением, долго рисовался на фоне голубых гор, полный сумрачной средневековой красоты и романтики. Я могла бы сойти здесь, остаться до следующего автобуса, подняться по каменным ступеням на верхушку башни, вспомнить исторические факты и преданья, связанные с этим удивительным местом. Могла бы… Но я не остановилась одна, помня предупреждение.

В Кварели я бродила по музеям Марджанишвили и Ильи Чавчавадзе, устроенных в их родовых поместьях. Дом Чавчавадзе стоит в глубине сада, среди

цветников. Он представляет собой скромное сооружение странных пропорций, так как оно перестроено из нижней части средневековой сторожевой башни, принадлежавшей ветви этого старинного княжеского рода. Узнав, что я искусствовед из Ленинграда, мне показывал музей заведующий им, поэт, коренастый, почти седой, самодовольный, мало похожий на поэта и мало привлекательный человек, явно принадлежащий к числу «чиновников от поэзии». Он говорил о значении Чавчавадзе, об его общественной деятельности, о демократизме, о любви к народу. И даже то, что верно и важно, звучало в его устах так казенно, что почти теряло смысл. Я пыталась представить себе этот дом жилым, но не могла, – в нем не сохранилось почти никакой мебели. Желтый зной за окнами казался гнетущим, а большое селенье с широко раскинутыми улицами и садами – безжизненным и пыльным. Проявляя любезность, мой почтенный и официальный гид рассказал о находящемся здесь же доме писателей, о часто бывавших здесь Тихонове и Заболоцком, приглашал приехать сюда на более длительный срок, сходить в монастырь Некраси, расположенный в глуши лесных чащ на одной из окрестных гор. Попутчиков среди отдыхающих писателей всегда можно найти… Посидев немного в тени деревьев, я поблагодарила, попрощалась и ушла. Дом актера Художественного театра красавца Марджанишвили имеет типично грузинскую форму. Это большой квадратный, окруженный двумя ярусами галерей дом. Все связано здесь с образами, с фактами жизни и сценической деятельности одного из крупнейших грузинских артистов…

Усталая, вернулась я в Телави. Погода наладилась, и на следующее утро я помахала рукой на прощанье своим спутникам, когда они на машине уезжали из гостиницы на аэродром. Всего два часа отделяли их отъезд от моего собственного отбытия в Тбилиси. Восемь часов я ехала в жарком автобусе среди виноградников Кахетии, мимо тех же, уже знакомых мне типично кахетинских селений и небольших городков, названия которых вызывали перед глазами этикетки винных бутылок: Макузани, Гурджани… Сады с потускневшей зеленью, на которой осела пыль, патриархальные замкнутые каменные дома, в центре – новые, современные постройки магазинов и учреждений, высохшие русла речек, золотисто-синий зной, духота и уют провинциальной жизни…

Фантастической красотою сиял закат, когда мы приближались к Тбилиси. Слоями лиловых и сиреневых планов рисовались плоские силуэты невысоких гор, с трудом отличимых от лиловых и сиреневых туч, висевших над ними и

пылавших розовыми, золотыми и малиново-красными краями на бледной желтизне неба. И вдруг из-за одной тучи прорвались и упали вниз лучи, как широкий веер стрел, вонзающихся в землю. Они отделили ближние хребты от более далеких, и те совсем потеряли реальность, просвечивая сквозь сияющую завесу легчайшими очертаниями вершин. Розово-золотой полосой сверкнула впереди река, полувысохшая среди широкого галечного русла. Когда мы проезжали мост, я бросила через его перила полуосыпавшийся букет роз, стоявший в воде в телавской гостинице и взятый мною в порыве какого-то инстинктивного душевного движения. Если цветы упадут в воду, они еще оживут в ее струях. Букет перелетел через перила, описал дугу, но машина шла так быстро, что он упал на сухую, грубую, серую гальку уже по ту сторону реки.

Три дня я провела еще в Тбилиси, по-прежнему у Аситашвили. Опять днем я сидела на Пантеоне, писала стихи, читала… По-прежнему со мной рядом часто садился Вартан, говорил мне о своих делах, просил составить ему текст жалобы на сторожа Пантеона, порой заставлял меня взять кусок лепешки или сыра, удивляясь, что я могу так долго ничего не есть. Я его слушала, благодарила за заботы. Он, видимо, очень привык к моему пребыванию на Пантеоне, часто с грубоватой простотой говорил мне «ты», рассказывал о внучке – единственном существе, которое он действительно трогательно любил, – развивал планы покупки машины для разъездов зимой по селеньям, что умножило бы его и без того большой заработок. Всем ведь так хочется иметь фотографии, и свои, и близких… А обойти законы, стесняющие частный заработок, при уменьи всегда можно, особенно здесь… Затем Вартан требовал, чтобы я пришла на Пантеон со своим аппаратом и дала ему возможность себя сфотографировать, как в прошлые годы, чем он явно хотел доставить мне удовольствие. И я послушно позировала там, где он меня сажал и ставил, не желая его обидеть.

Среди всех этих разговоров вдруг в день перед моим отъездом Вартан упомянул о катастрофе, которая произошла на Военно-Грузинской дороге, еще до моего отъезда в Кахетию. Оказалось, что через несколько дней после того, как я в непогоду возвращалась из поездки в Казбеги, горные потоки так вздулись от сильных дождей, что один из них, хлынув на дорогу ущелья, снес в пропасть две машины с пассажирами. «Автобусы», – сказал Вартан. В какие числа это случилось, он точно не знал, но после этого дорога была закрыта около двух недель.

Когда я услыхала о гибели всех, кто был в автобусах, снесенных потоком в пропасть, я почувствовала острую тревогу и, вероятно, изменилась в лице.

– Это не были туристские автобусы? – спросила я.

Вартан молча уставился в мое лицо и вдруг сказал мрачно и резко:

– Так вот что, генацвале! У тебя кто-то есть на турбазе, за кого ты испугалась. А я-то думал, что у тебя здесь никого нет, что ты только путешествуешь… Думал, что, может быть, и на Пантеон не случайно ходишь… Привык к тебе, ждал тебя всегда… Давно ты мне понравилась… А ведь у любого человека не отнимешь надежды. Да если бы даже и зря я надеялся, пусть так, лишь бы у тебя здесь никого другого не было. А теперь вижу я – есть кто-то.

С какой стати мне было давать ему в чем-то отчет? И разве не были нелепыми надежды маленького, колченогого человечка, наивно не понимавшего тех непроходимых граней духовного уровня, которые разделяли нас, при всей возможности добрых человеческих отношений? Да, это было нелепо. Но мне было не до того, чтобы смеяться. Да и вообще я не способна смеяться в подобных случаях.

– Вы ошибаетесь, у меня никого здесь нет и не может быть, – проговорила я.

– Ой, зачем говоришь неправду? Лучше молчи. И послушай моего совета: не связывайся с турбазовскими. Они все одинаковы – что ни день, то новая женщина. Ни у кого из них нет ни сердца, ни совести, ни правды. Все пьяницы и развратники. Ничего у тебя тут не выйдет хорошего, – запомни мое слово.

Я молчала, а он продолжал.

– И еще скажу тебе. Не приходи больше на Пантеон. Два года не приходи. Пока я от тебя не отвыкну и не смогу на тебя смотреть как на сестру. Слышишь?

– Но как же я буду без Пантеона, если еще приеду в Тбилиси? – вырвалось у меня с невольным протестом. – Как могу я не приходить сюда?

– Поднимайся в парк, на фуникулер, а сюда не ходи.

– Но в парке я не смогу быть одна – там ко мне приставать будут. А здесь я могла спокойно сидеть, читать, писать, думать…

– Ты думаешь, что и здесь к тебе не приставали бы, если бы не я? Ведь я был тебе охраной. Нет, два года не приходи сюда. Будь человеком. И когда будет сердце у тебя очень болеть, припомни, генацвале, как у меня сердце из-за тебя болело.

– Хорошо, я не приду больше, Вартан. Может быть, два года. А может быть, и никогда. Прощайте.

Я медленно спускалась вниз, не оборачиваясь. «Вот я изгнана с Пантеона», – думала я в тоске. – «Не изгнана ли я также из этого города? За что? Разве я давала Вартану поводы на что-то надеяться? Мне и в голову не приходила такая несуразность. В чем же я виновата? Только в том, что была приветлива в ответ на приветливость и внимание? Но Элгудже я давала поводы… И отвергла его. И за это мне мстит теперь не только он, но весь город, вся страна, вдруг застывшая в безжизненной жестокости? Мстит, несмотря на то, что я люблю ее, но не способна изменить ради нее другой, еще большей любви?».

Не только эта мысль меня давила, как тяжесть самой горы, с которой я спускалась. Я беспокоилась, что несчастье на Военно-Грузинской дороге, может быть, постигло именно туристские машины и что Элгуджа погиб. Прежде всего надо было узнать это, несмотря ни на что. Я дошла до дома Ханум, но остановилась в подворотне дома. Переступить порог турбазы и спросить о нем? Вызвать любопытные, насмешливые, может быть, циничные взгляды? Дать сплетне прикоснуться к тому, что при всей своей противоречивости было поэзией? Нет, я не смогла это сделать.

Я посмотрела на часы. Было семь часов. Скоро должны были прийти машины из Орджоникидзе. Конечно, совсем не обязательно, чтобы сегодня приехал именно он. Но если не сегодня, то завтра. Я должна убедиться, что он жив. Разве я могу ехать, не зная этого?

Медленно пошла я по проспекту Руставели, следя за проезжавшими машинами. Дошла до остановки троллейбуса на углу улицы Ленина и улицы Гамбашидзе. Здесь можно было безопасно и незаметно стоять среди ожидающих троллейбуса. И платье на мне было незаметное, ему не знакомое. Он не увидит меня.

Не помню, сколько я так стояла, следя за машинами. Наконец, два открытых туристских автобуса медленно проплыли мимо меня. Совсем близко. В одном из них был он. Он что-то говорил туристам, и я видела, как он засмеялся. Белые зубы сверкнули на коричневом лице…

17 августа я уехала к морю. На этот раз я выбрала Пицунду для той недели, которая у меня оставалась до возвращения домой. Обратный железнодорожный билет от Сочи до Ленинграда, взятый заранее Павлушей, был прислан мне в

Тбилиси. В поезде за мной пытался ухаживать попутчик, геолог, полурусский-полугрузин. Я не реагировала никак, еле отвечала безразличными фразами.

– У вас, верно, очень умный и интересный муж, – сказал он мне, прощаясь со мной в Сухуми, – если он предоставляет вам свободу путешествий и вместе с тем способен приковывать к себе и делать недоступной для увлечений такую женщину, как вы.

Я ничего не ответила.

Часа два, сидя на рюкзаке, я ожидала на сухумском перроне электричку, чтобы доехать до Гагр. Вокруг быстро возрастало количество ожидающих. Сначала я была отгорожена от них стеной собственных мыслей и чувств. Но вдруг оглянулась. Это пробило брешь в стене, меня отделяющей от внешнего мира, и в нее хлынули голоса, слова, фразы, которые я до того не воспринимала. Какой это был мутный, серый, болотом рожденный поток! Рыночные цены, сплетни, пошлые сентенции мещанского здравого смысла… И опять так знакомое, полное самодовольства поношение всего, всего в стране, куда эти люди считают полным правом приезжать как хозяева и где они не умеют увидеть ничего, кроме мутной пены, всплывающей на поверхность рыночных интересов и курортной пошлости. Но кто такие они сами, как не мутная пена своей страны? По узости, некультурности, самодовольной нетерпимости и серой тупой безликости, им присущей, было бы ужасно судить о стране в целом! Я была безумной среди этих «нормальных» людей. Но сквозь туман захлестнувшего меня отвращения и безысходной отчужденности я остро, неудержимо почувствовала: лучше все мои безумства, чем самодовольное и здравомыслящее равновесие обывательской обыденности.

Доехав до автостанции в Гаграх, я села в автобус, идущий в Пицунду. Он был открытый, но с брезентом, натянутым над сиденьями, так как погода предвещала дождь. Как только мы тронулись, действительно разразилась бешеная гроза. Казалось, все сотрясалось кругом от грохота и пылало синим огнем от непрерывного блеска молний. Дождь лил не струями, а сплошным потоком. Он хлестал под брезент автобуса, и вскоре моя псевдо непромокаемая куртка, а вслед за ней и вся одежда на мне промокли насквозь.

Когда мы добрались до Пицунды, ливень стих, но я совсем продрогла на сильном ветру, гнавшем низко по небу темные, косматые обрывки туч, казавшихся полчищами чудовищ. Сосны гнулись. Старинный, хотя и сильно

перестроенный монастырь поднимал из-за белых стен тяжелую голову церковного купола. Дрожа от холода, я вошла в монастырские ворота и спросила первую попавшуюся мне женщину, нельзя ли здесь снять комнату. Комната нашлась, – маленькая келья во втором этаже простого белого монастырского здания, теперь заселенного рабочими совхоза, расположенного в Пицунде.

Я ничего не ела уже почти сутки и вспомнила об этом, потому что у меня начала от слабости кружиться голова. Дождь прекратился совсем, и я нашла рабочую столовую, неопрятную, полную мух, с тяжелым запахом невкусной еды. Но все это скользило вне меня, так я была голодна и так устала.

Когда я возвращалась, мне встретился Капанадзе. Оказалось, что археологическая партия живет на хорах монастырской церкви. Приветливо и весело разговаривая со мной, он сразу же повел меня на раскопки, производившиеся за монастырем. Обнажались фундаменты и остатки стен византийского города, целый ряд памятников которого, – в том числе прекрасный мозаичный пол, – уже были открыты раньше.

Капанадзе познакомил меня с несколькими археологами, топографом и художницей, оказавшимися близкими знакомыми Ренэ. С обычной живостью мой спутник мне все показывал и объяснял. Потом вдруг, присмотревшись к чему-то, сверкнувшему в трещине древней кладки, вытащил и старательно очистил монету.

– Ну вот видите, – при вас сразу же и находка. Вы приносите счастье или сами счастливая. Это монета Юстиниана.

И он протянул мне монету, кажется, с четким профилем императора. Рабочий день на раскопках кончился, и топограф с художницей увлекли меня с собой к морю.

Четыре года прошло с тех пор, как я побывала впервые в Пицунде и была очарована этим, к счастью, все еще достаточно уединенным местом, овеянным античными преданиями. Большая зона третичного реликтового леса подходит здесь вплотную к пляжу, покрытому мелкой, чистой, разноцветной галькой. Мощные, высокие прямые стволы сосен, как медные колонны храма, поддерживают зеленую крышу из густой, длинной хвои, наполняющей воздух ароматом. В бухте, образованной плавной дугой берега, затихают морские волненья, и вода в ней так прозрачна, так богата игрой зеленых оттенков, что до кончиков ног видишь свое тело, будто включенное внутрь хрустальной глыбы и

призрачно бестелесное в мерцаньи легких, сияющих, скользящих, хрустально-чистых лучей, преломленных влагой, подобной драгоценному камню.

В Пицунде было мало народа, – маленький поселок совхоза и птицефермы не может ни вместить, ни прокормить большое количество приезжих. Отсутствие удобств и курортных развлечений тоже, к счастью, пока способствует сохранению тишины и уединенности места. Я была тогда очарована Пицундой и мечтала о радости прожить здесь когда-нибудь часть своего отпуска.

Теперь кое-что в Пицунде уже изменилось. Лучший участок леса к югу от маленькой пристани оказался отгорожен высокой стеной и превращен в госдачу. К северу от поселка появился палаточный автопансионат с небольшой столовой. Людей стало больше, хотя все-таки еще немного, а, пройдя по берегу за маяк, и теперь можно было лежать на пляже достаточно далеко от других, никого вблизи себя не видя и не слыша ничьих голосов. В лесу тоже было достаточно уединения и тишины. Еще только шли разговоры о намеченном превращении Пицунды в многотысячный курорт, строительство которого и шумное заполнение должны погубить всю прелесть этого единственного в своем роде уголка на Черном море. В конечно итоге, погубить и сам реликтовый лес…

Мои спутники провели меня по узкой, незаметной тропе к скрытым в лесу остаткам раскопанного несколько лет назад византийского храма V–VI веков. Фундамент и нижняя часть стен необычной двухнефной базилики с двумя полукруглыми абсидами немного поднимались над землей среди легкой зелени редких кустарников, под густым сводом игольчатых сосновых верхушек, сквозь которые пробивались отдельные солнечные лучи. Четко обрисованный план древней постройки увеличивал поэтичное очарование окружающей природы. Да, Пицунда была еще более поэтична и прекрасна, чем при первом, слишком беглом знакомстве с ней.

К концу дня я почувствовала, что сильно простудилась. У меня начинался жар, меня лихорадило, знобило. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь был вынужден ухаживать за мною или, еще хуже, чтобы хозяйка снятой мной комнаты отправила меня в больницу, боясь каких-либо неприятностей в связи с моей болезнью. Уже еле передвигая ноги, с дикой болью в тяжелой пылавшей голове я добрела до аптеки и купила там все имевшиеся против простуды и гриппа средства, решив перебить болезнь, принимая их в «лошадиных» дозах. Но когда я заперлась в своей изолированной, как подобает келье, комнате, я с трудом

заставила себя раздеться, почти без чувств упала на кровать и, видимо, вскоре совсем потеряла сознание. У меня была очень высокая температура, потому что меньше, чем при 40, я никогда в жизни не бредила. Между тем я явно бредила эту ночь, и лишь порой проблески сознания возвращали меня не столько к действительности, сколько к миру фантазии. За окном опять бушевала гроза. Мертвенно бледные вспышки молний озаряли монастырскую церковь, которая то возникала из мрака, то исчезала в нем, как страшный, грозный, потусторонний призрак. Чем-то страшным, гибельным угрожал он мне. Мне казалось, что я, как Тамара, бежала в этот монастырь, а в небе бушует битва темных и светлых сил.

Изнеможенная, бессильная, я отдала себе утром отчет в проблесках этого наивного бреда, прерывавшего ночью провалы в сознании, омраченном жаром, меня сжигавшим. И еще четыре дня я боролась с болезнью, стараясь избежать археологов и не попадаться на глаза хозяйке комнаты, я, преодолевая слабость и головокружение, добиралась до столовой пансионата, заставляла себя что-то съесть, принимала лекарства и уходила на весь день в лес. Чаще всего к остаткам византийского храма, куда не забредали курортники и туристы. Здесь, расстелив в кустах плащ, я лежала часами, от бессилья погружаясь в полудремоту. Моему расстроенному воображению чудилось, что я только жалкий обломок той крепкой лодки, которой я прежде была. Обломок, выброшенный после кораблекрушения на этот мирный берег, где все дышало красотой и покоем…

Порой ощущение поэзии моря, берега, леса, «Зеленого мыса» Страбона наплывало на меня вместе со светлыми образами античных мифов. Но наплывало смутно, сквозь темный туман моей болезни. Лишь постепенно часы ночного жара и наступавшего после него полного физического бессилья начали сменяться признаками физического выздоровления. Все это время Пицунда была средоточием еженощных страшных гроз, нигде на Черноморском побережье не свирепствовавших так, как здесь. Я слышала обрывки разговоров об этом… По вечерам я выходила к морю, сидела одиноко на пустынном берегу под тяжелыми, черными нависшими тучами и следила, как все чаще их пересекали ветвистые, извивающиеся стволы молний. Потом падали первые капли. Шатаясь от слабости, я брела в свою комнату. У меня усиливался жар. Он был не так неистов, как в первую ночь, но голова моя пылала, и огонь разливался по телу. Мне было душно. Я раскрывала настежь окно, за которым лил дождь и без перерыва сверкали молнии, озарявшие фосфорическим светом белую монастырскую церковь, опять

игравшую со мной в прятки, то исчезая, то появляясь, подобно страшному призраку. Опять и опять гремел гром. Я лежала лицом к окну, то забываясь в тяжелой дремоте, то глядя перед собой широко открытыми глазами. Утром я слышала, одиноко сидя за столиком пансионатской столовой, что молния ударила в сосну, под которой сидели двое, – женщина была приведена в сознание, а мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Потом, после самой страшной грозы, взволнованно передавали, что молния убила местного жителя, молодого человека, неосторожно сидевшего в это время у радиоприемника. Но я по-прежнему на всю ночь оставляла окно открытым для молнии. У меня не было страха.

Так прошло четыре дня, казавшиеся мне вечностью. Только на пятый день жар исчез совсем, и я вышла днем на берег моря. Это было уже перед самым отъездом. Я лежала на гальке, слушая шум прибоя. Редкие фигуры были разбросаны по пляжу на значительном расстоянии от меня. Но они для меня не существовали, настолько отгорожена я была от людей стеной своего бессилья. Так, спрятав лицо, я долго лежала в полузабытьи от этой тяжелой физической слабости. Вдруг легкий скрип гальки заставил меня поднять голову. Маленькая девочка бродила по пляжу, что-то отыскивая и собирая. Она подошла ко мне и посмотрела на меня удивленным темными глазами. Я лежала, даже не сняв сарафана, и, вероятно, это показалось ей странным. Может быть, и лицо мое, когда я подняла его к ней, показалось ей странным и больным. Не знаю. Только вдруг она села около меня и спросила:

– Тетя, а вы нашли хоть одну просверленную гальку?

Потом добавила тише и таинственней:

– Вы знаете, они приносят счастье.

Как редко встречаются дети с воображением, с фантазией… И как чужды мне дети, лишенные этого, дети, для которых не существует сказки…

– Нет, – ответил я серьезно. – Я не нашла.

– Тогда я вам дам одну. Мне хватит остальных.

И она протянула мне белую известковую гальку с дырочкой, глядя на меня широко открытыми, серьезными глазами, полными детского сочувствия.

– Спасибо, – постаралась я улыбнуться ей, и она, как будто успокоившись за меня, пошла дальше по берегу, отыскивая талисманы, оставленные на берегу морским прибоем…

Луч солнца прорезал тучи. Он озарил и согрел меня. Я вдруг почувствовала какой-то порыв, какой-то подъем сил, казалось, совсем меня покинувших. Быстро сбросив одежду, я вошла в воду. У меня мелькнула мысль, что купаться после только что перенесенной болезни – безумие. Но так потянуло отдаться проблеску сил, что я бросилась навстречу волне, уже ни о чем не задумываясь. И странно, – я не заболела после этого безумства, а, наоборот, физически как будто освежилась.

Когда я сохла, лежа на гальке, уже согретой солнцем, из леса вышла небольшая компания археологов с Капанадзе и с крупной, полной русской дамой, курортницей, за которой, как я быстро поняла, едва ли платонически, ухаживал не терявший времени, жизнелюбивый, обаятельный нумизмат.

– Куда вы пропали? – набросился он на меня. – Я у всех спрашивал, но никто вас не видел после первого дня вашего приезда.

– Я была больна. Простудилась.

– И никто из нас вас не навестил! Как это нехорошо вышло. Меня вечно будет мучать совесть, что я оказался так невнимателен к вам.

– Что вы! Мне ничего не было нужно. Я достала лекарства и сбила температуру. Как видите, сегодня я уже даже выкупалась.

Я старалась говорить беспечным тоном, думая про себя: хорошо, что никто не знал о моей болезни и не приходил; все равно меня не застали бы дома, стали бы искать… Одной, в лесу, мне было легче бороться с болезнью.

Я осталась на пляже. Капанадзе был весел, остроумен, разговорчив. С живостью и блеском, присущим его рассказам, он изобразил кусочки своей юности: старый Гори, где он учился в гимназии, многоголосые грузинские песни, которыми он увлекался, бродя по тихим вечерним улицам с другими юношами, сливавшими грустные и страстные мелодии со струнами пандуры… Серенады под окнам девушек… Сколько было их, сколько было влюбленностей! Я слушала и думала: когда много влюбленностей, меньше страданий, легко дается утешение, неудачная влюбленность сменяется удачной, мимолетная боль сменяется радостью… Но хотела бы я разменять даже только муки своего безумного в любви сердца на легкость кратких увлечений? Нет! Чем была бы моя жизнь без счастья и упоения первой огромной любви, даже теперь несокрушимой, как гора?

Это был первый тихий и ясный день в Пицунде со времени моего приезда. Уже светила луна, когда я шла по лесу с Капанадзе и его курортной дамой, проводившими меня до монастыря.

– Почему-то сегодня мне так живо вспомнилась молодость, – задумчиво сказал Давид Георгиевич. – Как я был жаден к жизни… Как я разбрасывался, гоняясь за радостями… Чем только я не занимался, сколько раз не менял характер работы, хотя настоящей страстью и работой всегда оставалась нумизматика… Даже под видом любительства, – ведь у меня не было ни дипломов, ни целеустремленности, не сразу мне удалось добиться признания на этом поприще, ставшем для меня излюбленным с детства…

Я невольно представила себе его молодым. Если и теперь он излучал такой огонь, так искрился и сверкал, был таким обаятельным и интересным, как, вероятно, он был красив и зажигающе горяч в молодости! А он опять вернулся к уже высказанной раньше мысли:

– Всю жизнь я собирал монеты. В этом году я передал свою личную коллекцию музею. Это было мне не так уж трудно, потому что я ведь с этой коллекцией не расстался, – она хранится в моем кабинете, в моем втором доме, и так будет до конца дней моей жизни. И все же насколько больше я мог бы сделать в своей работе, если бы был немцем, а не грузином! Юг, климат, темперамент, история, – многое сделало нас такими.

– Но ведь, говорят, что Чубинашвили фанатик в работе и аскет в жизни.

– Да, в нем много немецкого, и при том независимо от того, что он долго жил в Германии. А, может быть, это развилось в нем и усилилось в Германии. Но он – редкое исключение.

– Когда будете в Ленинграде, не забудете о моем существовании? – спросила я, прощаясь.

– Нет, конечно, если я буду в Ленинграде, то я буду у вас. Но, знаете, я так ленив, что и в Ленинград уже много лет не могу собраться. Надо бы поехать… Но так у вас холодно, сыро, неуютно… Даже бочоночек вина, который я всегда беру с собой, чтобы согреться, мало помогает.

И он улыбнулся мне, сверкнув крепкими белыми зубами и пожимая мне руку у монастырских ворот.

На другое утро я уехала автобусом до Гагр и потом до Сочи. Чудесная дорога, то и дело повисавшая над ослепительной синевой моря среди густой, буйной, пышной зелени, нарядные санатории, толпы курортников и модных курортных дам, – все мелькнуло передо мной, как во сне. В поезде я лежала на верхней полке, почти не общаясь с окружающими, почти не видя того, что мелькало за окном,

борясь с остатками болезни. Мне не хотелось приехать к Павлуше больной, подтверждая его убежденность в безумствах моего характера.

Июль–август 1960 г.

IX. Опять по тропам и по мастерским Кавказа

Скажи,
Не знаешь ли аула Бастунджи?
М.Ю. Лермонтов[88]

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила…
М.Ю. Лермонтов[89]

Опять в первых числах июля Павлуша проводил меня на Кавказ. В этот раз на ИЛ–14, летевший на Минеральный воды, – я не хотела оставить недосмотренным то, что еще не видела около Нальчика, хотя дальнейший мой путь был заранее предначертан и подготовлен официальными путями к турецкой границе. Я должна была пересечь Кавказ от севера до юга!

Самолет летел ночью и я кое-как спала, откинувшись в кресле. Потом подо мною в утреннем свете появились отдельные, уже знакомые мне снизу, но не с высоты птичьего полета, вершины, – Машук, Кештау… Красота зрелища разогнала остатки сна. И мы тут же, сделав круг, приземлились. И тут же, через полчаса я уже летела на «кукурузнике» (как здесь называют маленькие, восьмиместные самолеты) в Нальчик. Его аэродром был просто лужайкой. Еще переезд в автобусе в центр города и я отправилась на поиски жилища. Но это оказалось не легко. Гостиница была полна, турбаза тоже. Мне посоветовали сходить на окраину, на перевалочный альпинистский пункт, – его мало кто знал из посторонней публики. Действительно, – здесь, в небольшом домике место (койка) нашлось и я считала, что это был вообще для меня наилучший вариант. Я могла воспользоваться каким-нибудь маршрутом альпинистов на их машине. Кроме того, альпинисты совсем не тот народ, что туристы, особенно автомобильные. Это люди, в которых опасность всегда вырабатывает чувство товарищества. И это люди мужества, настоящей любви к горам, к природе, к благородству риска и взаимопомощи.

Я сразу же узнала, что машина с перевалочного пункта через день повезет группу альпинистов в Чегемский альплагерь и договорилась, что меня возьмут туда и затем на попутной машине обратно. А пока я еще выяснила возможности (правда, небольшие) поездок с группами турбазы, представлявшей собой высокое новое здание. Вообще, город за время моего отсутствия очень разросся и

похорошел. Светлые новые дома тонули теперь в густой зелени деревьев, густая узорчатая по краям тень листвы ложилась на асфальт. Скверы и сады разрослись. А парк, который и раньше был прекрасным куском горного леса, тянувшимся вдоль высоких склонов, теперь пестрел цветниками и кое-где фонтанами. Здесь расположились новые санатории, которые, – по гордым словам местных жителей, – все более превосходили минеральноводские обилием источников и новыми методами лечения. Нальчик явно расцвел как курорт, притягивающий массу посетителей. Правда, еще только в смысле лечения, а не развлечений, так традиционно связанных с группой Минеральных вод.

Вечером я сидела в гостях у милого Юрия Ивановича[90] и слушала всякие местные новости. Педагогический институт превратили в Кабардино-балкарский университет, что фактически пока ни на чем особенно не отразилось. Юрий Иванович только что закрыл выставку местной флоры, которая была на ипподроме, где кабардинцы периодически проводят свои скачки и джигитовку, – остатки лермонтовских времен. Была выставлена трава, которая, – как это было известно еще в народной медицине, а теперь проверено Юрием Ивановичем, – спасет от какой-то разновидности рака. И главный номер – доказательство излюбленной идеи Юрия Ивановича еще в наши школьные времена, – возможности есть любые, самые ядовитые грибы, если их соответствующим образом приготовить. Юрий Иванович сам на глазах у всех варил их и ел, угощая желающих. Он весело рассказывал об этом. А потом мы договорились, когда я приду к нему в его Ботанический сад. Он, в его возрасте, заканчивал также кандидатскую диссертацию, которую написать раньше помешали сложные перипетии его жизни.

На другое утро я выехала в грузовой машине с веселой, почти исключительно мужской компанией альпинистов в Чегем. К сожалению, погода была очень пасмурная, затем подул ветер, подгоняя косматые, все более черные тучи и, когда мы въехали в горы, разразилась свирепая гроза. Все грохотало и сверкало над нами. Была натянута защищавшая от дождя плащпалатка, но вода хлестала сбоку в машину и мне в моем легком платье становилось все холоднее. Среди общих оживленных разговоров о всяких альпинистских интересных случаях и взрывах смеха по поводу забавных ситуаций, мой сосед по доске, переброшенной в машине в качестве скамьи, сказал мне:

– Ээ, да вы так еще, чего доброго, простудитесь. Полезайте-ка под мой плащ, он достаточно широк, чтобы закрыть двоих. – И, обняв меня, скрыл под брезентом.

Так, братски прижавшись к его могучему боку, я ехала, пока гроза пролетела над нами и можно было освободиться от всяких брезентов.

– Вам повезло, – сказали мне. – Хотя и не при солнце, но все же вы сможете увидеть «чудо» Чегемского ущелья.

Однако раньше, чем мы добрались до «чуда», на дороге, по которой в этом месте едва могли разъехаться две машины, мы увидели застрявшую легковую машину, остановленную оплывшим перед ней со склона селлем – потоком глинистой, скользкой массы со щебнем. Мы все вышли из машины, и шофер Степа вытащил увязшую машину и оттянул ее на безопасное место. Однако пересечь селль грузовиком было очень опасно, – справа зияла глубокая пропасть.

– Что ж, ухнем, – сказал Степа, – приложившись к пол-литровке водки. – А вы полюбуйтесь, если вверх тормашками полечу. Была не была!

Он попятился на значительное расстояние назад, затем включил большую скорость и одним рывком перескочил через скользкий оползень. Мы опять сели в грузовик и понеслись дальше.

– Он ведь все время пьян, – сказала я соседу. – И по такой опасной дороге гонит машину пьяный.

– Ну это вы не знаете Степу, если в нем сомневаетесь. Он пьяный именно и ведет машину лучше всего. У трезвого у него нет такой уверенности и виртуозной отработанности движений. Высокий мастер своего дела! Водка же усиливает автоматичность его мастерства.

Ущелье становилось все уже, все круче делались отвесы склонов и, наконец, мы оказались на дне расселины с вертикальными стенами. Из этих стен сверху падали бесчисленные водопады, то образуя сверкающие струи, то рассыпаясь пылью, то превращаясь в туманные завесы легкой, прозрачной вуали. Мы вышли из машины и примерно километр шли пешком. На этом расстоянии было сосредоточено, вероятно, около сотни водопадов. Или это был один огромный водопад, волшебно распавшийся на части и опять сливавшийся в единую сияющую завесу? Ничего подобного и никогда я не видела. Тучи поредели, чуть проглядывали порой скользящие отсветы солнца и в водяном мареве возникали и скрывались обрывки радуг. Это была поистине сказка, возможная только в царстве Черномора. Моим спутникам, уже видевшим это не раз, явно доставляло

удовольствие мое молчаливое восхищение, они не болтали больше и не торопились пройти сквозь алмазную, жемчужную, то искристую, то матовую пыль, оседавшую дождем на плащах. Наконец, чудо кончилось, как и все чудеса на свете, и Степа помчал нас дальше уже по обыкновенному, постепенно расширявшемуся ущелью, которое затем оказалось впадающим в долину реки. Брызги ее обдали нас снова дождем, когда мы лихо пересекли ее вброд, и к сумеркам мы были уже в альплагере, расположенном у великолепной снеговой вершины Чегема.

Опять я ощутила разницу, царящую между альпинистами и туристскими нравами. Даже обслуживающий персонал проявил ко мне заботу и радушие, меня тут же накормили без всяких «талончиков», а одна милая девушка-альпинистка увела затем в свою палатку, достав мне раскладушку и одеяла, так как ночью здесь очень холодно.

Я долго сидела одна над Чегемом, как перед гигантским алтарем того божества, которым является сама природа. Стояла в состоянии действительно молитвенного благоговения. Огненная гигантская вершина гасла медленно, хотя вокруг было уже темно. Красные краски уступали место лиловым, потом синим… Я замерзала, но мне не хотелось уйти, не досмотрев до конца и это «чудо», – угасание великого снежного алтаря, у подножия которого я находилась.

Утром я выехала в кабине той же, но теперь пустой машины. Размытая дождем дорога была по-прежнему в жутком состоянии. Степа по-прежнему был навеселе и мчал с лихой скоростью через потоки и по острым выступам грубо высеченного в скалах пути. Один раз я видела, как на крутом изгибе над обрывом руль выскочил у него из рук и сделал резкий поворот в обратную сторону. Одно колесо на миг повисло в воздухе над пропастью. Водитель изощренно выругался, схватив руль, сделал судорожное усилие и машина выправилась. Я не проявляла никакого испуга, чем вызвала к себе явно большое уважение Степы.

– А вы молодец! – сказал он. – Видно, что привыкли к горным дорогам.

– Да, я в Дагестане ездила по более страшным, с «полочками».

Степа оказался очень общительным и разговорчивым. Он с детства знал эти ущелья и их население. После возвращения балкарцев из высылки в Казахстан, он опять был для них Степа, приятель, гость во время поездок. Он хвалил мне этих трудолюбивых и дружных горцев, рассказывал об их обычаях, о том, что осталось и что изменилось в их жизни после вынужденного десятилетнего

отсутствия. Как рвались они вернуться на родину, в привычные с детства горы! Теперь наспех отстроили низенькие, грубо сложенные из неотесанного камня сакли, такие примитивные рядом с дагестанскими. Кое-где выстроены или строятся уже и домики иного, русского типа. Но разве все вернулись? Население резко поредело и многие селения не восстанавливаются даже таким примитивным способом.

Уступая настоятельным приглашениям хозяев и не желая обидеть их, я была несколько раз в пути в низеньких хижинах балкарцев, пила «бузу» и «каймак», ела вареные в сале лепешки. Тяжелое впечатление чего-то разрушенного и не воспрянувшего, утратившего почву старого и не органически воспринятого нового производили эти жилища, эти люди. Часть молодежи, выросшей в Казахстане, сбежало туда обратно. Водка заняла место рядом с «бузой». Вместе с тем женщины все еще нередко похищаются, – Степа рассказал мне, как он на своей машине сам принимал участие в подобных похищениях, чтобы не отказать в помощи приятелям. Так же, как и раньше, женщина сохраняет крайне подчиненное положение у мусульман-балкарцев… Но сохранились законы гостеприимства, готовность помочь любому в пути… Опять передо мною была все та же противоречивость жизни, особенно резко выступающая в переходные эпохи.

– Да, вот такая проклятая дорога, – сказал вдруг Степа. – А ведь не обойтись мне без этих гор и дорог. Была у меня любовь с одной девчонкой из России. Хотела она, чтобы я с ней переселился. Я и попробовал… Поездил, поездил по ровным дорогам, и такая тоска взяла, хоть вешайся. Бросил все и вернулся. А лучше ее других у меня не было. До сих пор не женат остался.

Что ж? Тоже романтика… Столкновение любви и призвания…, – подумала я, понимающе глядя на Степу.

Через день я поехала на такси в Чирекское ущелье, – другого способа попасть туда не было, ни туристы, ни альпинисты туда не ездят. По симпатичной физиономии я выбрала добродушного шофера такси, который оказался волжанином, солдатом, осевшим после войны в Нальчике. Он по дороге рассказал мне много занимательного про местную жизнь, про кабардинцев, про охоту… Кабардинцы, по его мнению, гораздо жестче, чем балкарцы, так как вечно находились в военных стычках с терскими казаками, с которыми земли их издавна

перемешивались. Народ очень гордый, задиристый, но сохранивший многие правила чести, дружбы, верности и по отношению к русским, если это кунаки.

Когда в стороне от нас появились хребты, покрытые густым лесом, шофер сказал:

– Это государственный охотничий заповедник, – там много оленей, кабанов. Сюда на охоту и иностранных почетных гостей иногда привозят. Только это не охота, – одно представление. Егеря выгонят на охотников зверя, ну, в него беззащитного и стреляют. Только один человек здесь по настоящему охотится – маршал Жуков. Сам по скалам и лесам лазит, зверей выслеживает. – В голосе говорившего прозвучало уважение.

По дороге мы заехали на Голубые озера, пользующиеся такой славой у автомобильных туристов. Конечно, они красивы, голубизна самого главного из них чиста, как ясное небо; вокруг зелень мелкого леса. Но их невозможно сравнить ни с Бодукским, ни, тем более, с Муруджинским озерами. Шофер предложил сфотографировать меня здесь на память моим аппаратом. Приятно было, что озеро оказалось пустынным, не было никаких групп, никаких стандартных туристских разговоров.

Но такси это такси и надо было спешить дальше. Теснина Чирека нарастает постепенно громадами серо-желтоватых каменных масс, но не раскрывает тайну своего величия до последнего момента. Этот последний момент – короткий туннель. И за ним вдруг такая теснина, такая бездна внизу и такие нависающие сверху громады камня, что действительно дух захватывает. Видимо, луч солнца даже никогда не может коснуться дна ущелья, по которому змеится горный поток так глубоко, что рев его поглощают голые скалы обрывов. День был пасмурный и в хмурых, грозных тенях теснины почти невозможно было фотографировать что-либо. Да и невозможно вместить в объектив мрачную красоту этого места, профили этих изогнувшихся в обратном направлении склонов, висящих над головой и готовых раздавить или в движении друг к другу стиснуть все живое своими сплошными массами, лишенными даже травинок.

В контрасте с этой потрясающей картиной я на следующий день наслаждалась зеленью склона, опускавшегося к Ботаническому саду, расположенному за дорогой на окраине Нальчика. Я пришла нарочно пораньше и лежала в открытом сарафане, загорая под лучами наконец-то разогнавшего все тучи солнца, среди массы ромашек и колокольчиков, покрывавших поляну. Так

наступил назначенный час и я спустилась в сад. Юрий Иванович уже был там и хлопотал над какими-то грядками. Любовно показал он мне свое хозяйство, называя десятки латинских наименований, в которых я ничего не понимала, любуясь то резными листьями трав, то цветами. Потом он повел меня к себе домой пить чай и я в его длинной фигуре и поступи жирафа ощущала отголоски школьных лет, и сходство с длинной фигурой Павлуши…

Последней поездкой была поездка с туристами автобусом в Боксанское ущелье. Собственно, это не ущелье, а широкая, свободная горная долина, по которой извивается речка Боксан. Склоны покрыты лесом, сбегающим вниз по скалам, то здесь, то там оставляя их голые уступы. Масса цветов на лужайках в излучинах русла рядом с нагромождениями камня. По дороге расположен высокогорный Тырнауз – рудник, вокруг которого теперь вырос целый город. Здесь в маленькой партии, всего вдвоем с «начальницей-геологиней» перед войной как-то работал Павлуша и рассказывал мне, сколько ему пришлось карабкаться по крутым склонам. Я вспомнила несколько фотографий, им привезенных, узнала гору, на которой гнездилось само месторождение.

За Тырнаузом долина становится особенно красивой. Стройные сосны все выше вздымают свои верхушки. И вот вдали между склонами появляется как-будто совсем близко сияющая чистейшей белизной на голубизне вершина Эльбруса. Сам он не виден, именно потому, что мы здесь уже слишком к нему близко и его заслоняют окружающие горы, столпившиеся как свита вокруг своего великого владыки. Уже твердо решено и даже как-будто начато строительство канатной дороги на Эльбрус, которую я, конечно, [мечтаю][3] использовать. Я бы и сейчас, с удовольствием поднялась к Ледовой базе, но подходящей машины, туда идущей, не было. Пришлось удовольствоваться обедом в благоухающем хвоей Тегенекле, – самой большой здесь туристской базе, и вернуться обратно с тем же автобусом. Вокруг были разбросаны стоянки альпинистов, все дышало горным спортом, говорило о его большом центре, большом размахе. А горы уже синели, сосны чернели косматой стеной и острее благоухали хвоей. Вот последний раз сверкнула вечерним серебром верхушка Эльбруса и мы покатились вниз… Надежда на подъем к этой царственной вершине осталась позади и вместе с тем впереди, в будущем.

[3] Видимо, пропущено слово.

***

В Орджоникидзе я пробыла коротко, проездом, остановившись опять на альпинистском перевалочном пункте, а не на турбазе. Да старой турбазы уже и не было. Вместо нее выросла новая, в несколько этажей, современная. Бугдановы[91] жили тоже на новой квартире, в новое доме, где я их успела посетить.

Дальше, пользуясь своими старыми знакомствами с тбилисской турбазой, я все-таки решила осуществить остановку в Казбеги для осмотра того, что я там не видела. Мне удалось устроиться на машину, которая везла группу иракских арабов, но надо было после остановки с ними в казбегской турбазе ехать дальше с ними же, опять грозила возможность застрять на переполненной в этот сезон Военно-Грузинской дороге. Арабы в пути пели песни, характерными жестами ударяли в ладони, на остановках плясали. Это были молодые, веселые, приветливые студенты МГУ, хорошо говорившие по-русски, красиво сверкавшие черными глазами и белыми зубами. Я была оживленной и приветливой. Этому способствовало восторженное отношение к окружающему сидевшего за моей спиной доцента-арабиста, который расспрашивал меня о многом, узнав, что я не первый раз на Кавказе.

Когда мы приехали в городок Казбеги и остановились там, чтобы осмотреть музей писателя и когда-то князя этих мест, я впервые увидела совсем близко громаду Казбека, сверкавшего на солнце и подернутого внизу только одним прозрачным, сияющим, не омрачавшим его блеска легким облачком. Я застыла с фотоаппаратом перед ослепительным зрелищем. Кажется, все стихи Лермонтова вызвал в памяти этот «Кавказа царь могучий», поднимая своим величием душу высоко не только в сферы величия природы и ее неизбывной красоты, но и в сферы поэзии, бывшей ее отраженным великим отблеском. Сколько романтики в русской поэзии связано с Казбеком! Здесь он – царь, а не Эльбрус, и в тот миг это показалось мне вполне понятным. Разве двуглавый шапкой Эльбруса в целом не приходится всегда любоваться только издали? Где предстает он перед глазами в таком великолепии, так близко и так потрясающе великолепно? Удивительно гордая, не плавно, а активно, энергично, стремительно вздымающаяся вершина!

Совсем крохотным силуэтом рисовалась Самеба – храм на горе, тоже погасшей перед блеском вздымающегося над ней белоснежного гиганта. Я чувствовала, что и в этот раз мне не удастся попасть в Самебу, – туристов туда не

водили и она была слишком далеко от турбазы. Но надо же было и здесь еще что-то оставить для будущего?

После обеда все группы туристов, пребывавшие на турбазе, отправились в Сиони – древнюю маленькую базилику в селенье того же названия. Я пошла вместе со всеми. Был чудесный вечер. Воздух, такой прозрачный на этих высотах, окрасился золотистым тоном, в контрасте с которым все более пронзительно синими становились горные хребты. Их объем исчезал и они казались плоскими, нематериальными кулисами, лежащими друг за другом и градациями красочных тонов отчетливее передающими разные пространственные планы. Я вспомнила картины Рериха Старшего. Кто лучше его сумел передать квинтэссенцию красоты горного пейзажа? Оглянувшись, я увидела, что среди синих и сиренево-голубых гор Куро[92] позади был угрожающе темен и на его острых зубцах курились облака, как алтари, ждущие кровавых жертвоприношений…

Легко пробегая по тропинкам, я осмотрелась, сфотографировала базилику и прошла в рощу, уцелевшую около нее на горном склоне. Я живо представила себе собрания старейшин у стен базилики, торжественность патриархальных празднеств в тени священной рощи. На меня повеяло романтикой поэм Пшавелы[93]. Ощущая также и ее суровость, я задумалась. Но потом шутила и смеялась с пожилым инструктором-альпинистом, отметившим по моему опытному, сильному шагу привычку к горным переходам, которая за последние несколько лет, действительно у меня все увеличивалась. Инструктор насмешливо указывал мне на неловкость тяжеловесных дам или модных девиц в неудобных босоножках, с трудом карабкавшихся на склоны. Он предлагал мне идти с ним на Гергетский ледник и я с удовольствием согласилась, если только я не отстану благодаря этому от своих арабов. С каждой шуткой я чувствовала в себе больше освобождения от усталости, больше здоровья, душевного равновесия. Меня развлекали тысячи мелочей в том чудесном мире, который меня окружал. Формы, краски, ароматы – все в нем имело смысл и было для меня наполнено жизнью.

Арабы своей непосредственной, темпераментной оживленностью вносили во все почти детское веселье. Разнесся слух, что один из них – принц, и туристки заинтригованно старались отгадать, – который. Но юноши со смехом хранили тайну, подчеркнуто соблюдая равенство в своей среде. Контраст с арабами образовала группа немцев из ГДР, сдержанная, замкнутая. Местному населению арабы были, конечно, гораздо ближе, чем европейцы, одновременно и корректные,

и не считающиеся с местными нравами вследствие то ли чувства превосходства, то ли не зная обычаев. Во всяком случае жители Сиони выбегали на улицу специально для того, чтобы подивиться на огромную грузную, немолодую фрау, которая важно, никого не замечая, шествовала посередине в коротеньких шортах.

На следующий день мне пришлось вместе с арабами выехать дальше по Военно-Грузинской дороге. Тяжелыми завесами облаков встретил нас перевал. Арагвское ущелье было заполнено клочьями тумана, в разрывы которых то здесь, тот там просвечивали куски его гигантской бездны, – то зеленые склоны, то темные скалы или серебряные нити потоков. Вся долина казалась какой-то гигантской, почти бездонной чашей, грандиозной курильницей, в которой клубились белые пары, меняющие форму и переливающиеся через край. Такой картины я здесь еще не видела. Она была фантастична и космически-величественна. Спуск. Мелькнула в зелени башня, которая казалась мне самой красивой. Анаури, Мцхета, узкий гребень Задезени, Джвари на горе … и, наконец, Тбилиси, окутанный дымкой вечернего часа.

На улице перед турбазой ко мне сразу подошли знакомые ереванцы.

– Вы не к нам едете? Хотите ехать с нами? Как вы живете? Каковы ваши планы? – они забросали меня приветливыми вопросами. Особенно Оник, такой же милый, как всегда, теперь уже инженер, ехавший домой, чтобы приступить к участию в работе по спасению Севана.

– Я был бы так рад, если бы вы в этот раз остановились у нас, – сказал он мне вдруг, когда другие были отвлечены каким-то делом. – Моя мать, все мои родные были бы рады…

– Спасибо, Оник. Ведь и на ереванской турбазе для меня всегда есть место.

– Да, я знаю. Вы в Армении завоевали такое дружеское расположение и уважение, что у многих есть место, которое вам рады предоставить. Но все-таки вам, может быть, пригодится мой адрес.

– Спасибо, спасибо! Если я приеду в Ереван, я вас, конечно, и так найду. Я всегда рада вас видеть.

Я торопилась к Ханум. Ана[94] и Амалия приветствовали меня как старую знакомую, как гостью.

– Можно у вас остановиться?

– Разве когда-нибудь мы можем вам в этом отказать?

Утром я пошла завтракать в свое обычное кафе на площади Ленина и неожиданно столкнулась с Закро Майсурадзе.

– Татьяна Петровна! Танечка! – воскликнул он, улыбаясь мне своей широкой улыбкой, беря меня за руки, готовый заключить меня в самые теплые товарищеские объятия. – Вы здесь! И мы никто ничего не знаем! Рассказывайте, где вы, что вы?

Я улыбалась ему в ответ, благодарная за это искреннее, шумное и непосредственное расположение. Но я по письмам знала, что у него в эту зиму начались сильные приступы стенокардии и гипертонии. Поэтому мне важнее было говорить не о себе, а расспросить о нем.

– Как ваше сердце? Как давление? Неужели болезнь так серьезна? А я то мечтала съездить с вами в Хевсуретию… Помните ваши планы?

– Да, говорят, что мне больше нельзя ездить в горы. Но как же я могу жить без этих поездок? Лучше уж дожить быстрее жизнь, но жить полной жизнью. Вы-то меня поймете и не осудите, как другие, мой дорогой бродяга.

Я действительно понимала его и ничего не могла возразить в ответ. Мы долго сидели, разговаривая, рассказывая друг другу о работе, о неприятностях с издательствами, об общих знакомых. Мне было грустно, что сильный, жизнелюбивый, жадный к радостям, привыкший к подвижной жизни, к путешествиям Закро был действительно тяжело болен, что он нервничал, что его внешняя веселость и крепость были уже обманчивы. С горечью сознался он, что его привело к болезни, – о том, что сын его все-таки оказался неисправимым шалопаем, что его уже исключили из института с первого курса, с трудом оставили на второй год, и теперь он опять не хочет ни учиться, ни работать. В Тушетии в прошлом году на этой почве произошла ссора между Закро и Верой, которая высказала ему как-то свое возмущение по поводу поведения его сына, а он воспринял это с самолюбивой горячностью. И теперь они не встречаются, – старые товарищи не только по Академии художеств, но и по альпинистской инструкторской работе во время войны в Хевсуретии. Конечно, Закро было тяжело и это, он тосковал без «сильной духом и телом» Веры, как он говорил обычно о ней.

– И товарищи Зурико такие же, – сумрачно махнул рукой Закро, рассказывая о сыне. – Я не понимаю эту нашу нынешнюю «золотую молодежь». Конечно, может быть, мы сами виноваты, избаловав наших детей. Но мы все-таки

старались внушить им совсем другое отношение к жизни. И ничего не получилось! В чем дело, в среде ли, в общих каких-то дурных веяниях, ставших слишком распространенными, я не понимаю. Но это страшно. Я бы даже хотел, чтобы Зурико взяли в солдаты, – может быть, он тогда вдали от дома почувствует, что такое жизнь, захочет учиться, стать человеком.

Зная, какой это был для Закро вопрос и как он не любил даже просто из самолюбия говорить об этом, я оценила его откровенность. В это время подошли его жена и дочь, которых он ждал на площади. С меня сразу взяли слово, что я побываю у них. Я обещала также придти в Институт. Наконец, мы расстались.

На другой день Вера искала меня на турбазе и у Ханум, оставив записку с требованием моего немедленного появления. В тот же день, когда я шла на почту, кто-то схватил меня за руку, догнав на ступенях. Это был Дерзибашев. Приветствовав меня с приездом, он увлек меня на скамейку сада против почты и я просидела с ним час в живом, как всегда, интересном разговоре, чувствуя опять симпатию к нему. Он был, как и раньше, остроумен, порою ироничен и слегка язвителен в суждениях. Меня он расспрашивал о путешествиях, о Дагестане, о Ленинграде. Так «закрутилась» тбилисская жизнь.

В один из вечером я зашла к Александру Цибулевскому, вспомнив, что я обещала Тамаре обязательно это сделать и передать ее поручения. Как и прежде, на меня повеяло неуловимым «интеллигентским мещанством» от его матери, с которой я объяснилась несколькими общими фразами. Поросший рыжеватой щетиной на сердитом лице, Александр предложил мне пойти погулять и, поднявшись по улицам, ведущим к Мтацминде, мы сели в каком-то маленьком садике. Опять у меня было ясное ощущение, что передо мной человек необычный, со сложной, интересной, трудной душой, со сложным поэтическим мировосприятием, окрашенным тенями скептицизма. Мне не легко передать наш отрывочный разговор, в котором он со сдержанной откровенностью приоткрыл какую-то часть своей души, дав мне понять, что с Тамарой все кончено, что он должен с ней расстаться, что для него все это было ошибкой… Мне было грустно. Я знала, что не смогу ничего написать Тамаре о своих впечатлениях после разговора с ним, несмотря на ее просьбу. И вместе с тем, я внутренне понимала своего собеседника, сравнивая его и слишком банальную при всей своей образованность, томную, крупную Тамару, так мало предназначенную для

романтических страстей, выходящих за рамки общепринятого хотя бы и в богемном смысле.

– Вы молчите? – сказал Александр вопросительно.

– Что я могу сказать? Разве кто-нибудь властен в своих чувствах? А между тем для меня самой не долг, не мораль, а только власть чувств и их непосредственный импульс могут определять поступки и решения.

– Не думайте только, что у меня есть кто-то вместо Тамары… Никого и ничего, кроме внутренней свободы, которую я обрел впервые в жизни. Да, впервые… Мне кажется, что у меня, наконец, сформировался характер. Поздновато, не правда ли? – усмехнулся он. – Но я был, видимо, так искалечен воспитанием, что страдал безволием всю предшествующую жизнь. Сначала надо мной тяготела воля матери… Потом семь лет заключения в лагере… Потом я действовал, невольно подчиняясь желаниям женщин, которые меня в той или иной мере любили. Так я женился на Тамаре. Только сейчас я принадлежу сам себе и в этом для меня есть какое-то удовлетворение.

Я вспомнила, что Тамара мне однажды рассказала о любви к Александру его школьной соученицы, очень некрасивой девушки, которая во время его ссылки ездила к нему и добилась свидания с ним. Он не мог не быть тронутым ее отношением, но он ее не любил и со свойственной ему искренностью и жестокой щепетильной простотой сказал ей это, когда дело дошло до объяснения после его освобождения. Тогда она попросила его об одном, – о ребенке от него, на которого она могла бы перенести свою любовь к нему, не видя уже ничего впереди для себя в личной жизни. Этот ребенок существует. Я сидела, задумавшись о сложности человеческих отношений.

Потом он опять заговорил:

– Странно, – услыхала я его голос: – Меня любили. Но я никогда никого не любил по-настоящему. Хотя очень хотел бы этого. Не знаю, неспособен ли я на это вообще, или любовь еще когда-нибудь отомстит мне за невольное пренебрежение к ней в молодости.

Я удивленно на него взглянула и он поймал мой взгляд.

– Вы знаете, что такое любовь, сказал он вдруг убежденно, – и потому посмотрели на меня с сожалением.

– Да, я знаю это слишком хорошо. Но я не знаю, жалеть ли мне вас. Я знаю и счастье любить, но мне знакомы и ее нестерпимые муки. – И я заговорила о

любви вообще, отвлеченно, безотносительно к себе или к какому-нибудь конкретному случаю. Я не смотрела на него. Но, когда взглянула, я увидела, что он глубоко взволнован.

– Я завидую вам, все равно, счастье или муки дарила вам любовь. Мне кажется, что я нищий, а вы Крез…

Я замолчала, а он как бы не смел нарушить это молчание.

– Что же вы собираетесь делать теперь, после того, как, наконец, вам удалось закончить университет?

– Я не знаю. Как вы видите, у меня даже нет работы по специальности. В школе работать я бы не хотел, если бы и была возможность. Это не для меня. Заняться же тем, что возможно, было бы мне интересно … (с. 599)) – теорией литературы, – уже, видимо, серьезно никогда не удастся… Тут мне слишком трудно пробить путь. Вы сами понимаете. Да нет и эрудиции для этого. Поздно… Слишком большая часть жизни выпала зря. А теперь наверстать потерянное трудно, и пути для этого слишком сложны, если не закрыты совсем. Так, для себя, пишу стихи… Хотите, я вам почитаю?

Я молча кивнула.

Он читал мне свои стихи, сложные по рифмам и ритмам, выдающие увлечение Маяковским, но лиричные и мало пригодные для печати.

Я сказала ему об этом.

– Я и не думаю о стихах в этом плане, – ответил он. – У меня есть в них порой какая-то потребность. Мне доставляет удовольствие ломать голову над их формой… Ведь они у меня в значительной мере от головы…

– Может быть, да, хотя и не совсем, – протянула я в раздумье, отметив про себя: – Как его стихи этим отличаются от моих, в которых все – я сама, как в дневнике… Все в них – моя страсть, мое ликующее или кровоточащее сердце… Зато насколько его стихи отточеннее, «сделаннее», чем мои.

Почти в ответ на мою скрытую мысль он прочитал стихотворение, в котором говорил, что стих всегда для стиха, как бы сердце его породившее, ни обливалось кровью.

– Может быть, вы и правы, – покачала я головой. – Правы в отношении профессионального стиха. И, может быть, стихи, которые пишутся не ради стихов, а являются непосредственным выходом для чувства, сжигающего душу,

сохраняют в себе нечто дилетантское… Возможно, что так. Но вершины поэзии – в органическом слиянии того и другого.

Мы сидели долго и он поздно проводил меня к Ханум.

Когда же на следующий вечер я сидела во дворе турбазы и что-то писала, из Еревана прибыл Гурген. Он знал уже, что я в Тбилиси. Мы провели весь вечер вместе, разговаривая, как старые товарищи. Он говорил мне о своей преподавательской и литературной работе. Он был полон, как всегда, мужественного стоицизма и энергии. Мы договорились, что, если у меня останется время после поездки в Вардзию, я съезжу в Армению и осмотрю с ним монастыри у подножья Арагаца. При этой встрече я не уловила никакого оттенка скованности в поведении Гургена и никаких следов более, чем дружеского, отношения ко мне. Он преодолел все другие чувства, – подумала я и это доставило мне облегчение, лишенное всякого лицемерия. Всякое, даже невольное, женское тщеславие во мне молчало, – слишком ценила я Гургена и теплые человеческие отношения с ним. Я не хотела быть источником каких-либо страданий, нет, нет!

С грустью услыхала я от Гургена, что Грегор, – пивший потихоньку уже во время моего первого приезда в Ереван, теперь совсем спился, уволен с турбазы, тяжело болен. Ереванская турбаза без него, без его заботливого внимания? Я не могла себе это представить!

Когда я на другой день шла к Вере, я оступилась на улице, упала и сильно растянула уже не первый раз поврежденное сухожилие в подъеме ноги. Я еле дошла до Веры и стала протестовать против поездки с ней в Дабу, где на даче жили ее брат с семьей и сестра. Однако, она заявила, что все равно меня туда увезет и вылечит очень быстро альпинистскими средствами. Тем более, что это было по пути к главной цели моего путешествия этого года – к Вардзии.

На другое утро с забинтованной ногой я уже сидела с ней в поезде, идущем в Боржоми, откуда мы без остановки пересели на узкоколейную «кукушку» и доехали до совсем близко расположенной деревни Ахал Даба. Небольшое горное селенье изогнулось в подкове горного хребта, покрытого густым хвойным лесом. Гигантские пихты и сосны, взбирающиеся по крутым склонам и застывающие, как на дозоре, вдоль скалистого гребня, с которого открывается вид на широкие горные долины и на такие же лесистые горные цепи, уходящие вдаль, все более легкие, голубые, воздушные… Чудесная панорама мягко очерченных вершин, открывающаяся с галерей, которые имеет во втором этаже каждый крестьянский

дом в Дабе… Живописные утесы с прилепившимися к ним соснами… Светлая горная речка в чаще леса… Стволы, между которыми днем осязаемо густыми полосами висят в воздухе солнечные лучи… Молодые нежные побеги хвои на концах пихтовых веток… Цветы на полянах… Белый шиповник, еще не отцветший на высоких местах… Серебристые рассветы, розово-золотые закаты… Приветливые лица жителей Дабы… Уютные и милые родственники Веры… Сама Вера, такая сильная, прочная, устойчивая, полная равновесия в каждом движении мощной фигуры, в каждом внимательном, изнутри сияющем дружбой, но осторожном, не вторгающемся внутрь взгляде, слове… Что еще можно добавить к этому? Разве что сообщенные мне сведения о том, что жители этой – Южной – Грузии народ очень мягкий и даже абсолютно одной женщине можно ходить по лесам, не опасаясь, что ее кто-нибудь обидит.

Когда Вера представляла меня хозяевам дачи, старой крестьянке и ее двум сыновьям, объясняя им что-то по-грузински, я заметила, как мило они улыбнулись, услыхав слово «доцент».

– Они говорят, что вы не похожи на доцента, Татьянчик, – засмеялась Вера. – У них с этим словом ассоциируется нечто совсем иное. Впрочем, и не только у них. К счастью, вы никогда не будете похожи на доцента.

Потом Вера рассказала мне, что оба брата, – сыновья хозяйки, – переживают пору страстной и неудачной влюбленности в двух молодых тбилисских девушек, приезжавших прошлым летом в Дабу с детским садом. Старший брат, шофер, сильный и крепкий, с немного разбойничьим лицом, до сих пор нет-нет да и умчится на машине в Тбилиси, чтобы повидаться, рискуя неприятностями за самовольное использование грузовика для дальнего прогона. Младший же, больной туберкулезом, бледный, красивый, светловолосый, с грустными, задумчивыми серыми глазами, чуть не умер зимой от тоски и до сих пор живет под угрозой смерти, против которой не борется его измученный организм.

И здесь я попала в романтическую атмосферу, – подумала я. – Но как хорошо, что среди самых простых людей можно столкнуться со способностью к настоящему чувству любви, – способностью не так уж часто встречающейся в гораздо более культурной среде! – С симпатией и сочувствием смотрела я с этого момента на влюбленных братьев.

Впрочем, Вера рассказала мне и еще об одном романе в Дабе. Я поселилась не в доме, где жили родственники Веры, так как там было слишком тесно, а у

украинки, своей тезки, которую во время войны судьба забросила в Дабу. Она вышла замуж за местного чабана и своим трудолюбием создала все, хозяйкой чего она теперь являлась. Рядом с чабанской хижиной, напоминающей дом на курьих ножках, она своими руками отстроила новый большой дом, блещущий чистотой, приобрела для него обстановку, завела обширное хозяйство. Ей хотелось только детей, которых у нее не было. На этой почве, или просто в силу неистраченного темперамента и неудовлетворенности, но она влюбилась в лесника. И лес наполнился молчаливыми знаками ее любви. На ручьях сооружались маленькие мельницы, на тропинках оставлялись букеты цветов, к веткам привязывались кусочки цветной бумаги, – все это должно было говорить проходившему здесь леснику о любви, напоминать о той, кто о нем вздыхал. Любовь длилась два года и неясно, чем она увенчалась. Потом она затихла. Но интересна своеобразная поэтичность ее проявления, говорящая о романтике и воображении. Правда, героиня этого сельского, почти пасторального романа любит читать и много читает. Когда я с ней познакомилась, меня поразило, как она некрасива. Но в ее живости, энергичности, нервной веселости чувствовалось что-то незаурядное.

В первый же день Вера увезла меня на «кукушке» дальше и выше в леса, туго забинтовав мне ногу, и заставила обратно километров 12 идти пешком с палкой. Превозмогая боль, я брела лесными тропами, среди пихт, пушистых мхов, колокольчиков. По дороге мы еще набрали и грибов. Одна из станций на этой узкой колее, идущей в Бакуриани, даже называется в переводе Грибная (Сакачеви). Среди стволов, в обрамлении хвойных ветвей, за острыми верхушками гигантских пихт открывались как бы заключенные в рамы манящие картины разбросанных селений, подчеркнутых дымкой голубых ложбин и полян. Трудно передать, до чего прекрасен этот край, куда тбилиссцы очень любят выезжать летом!

На другой день я уже ходила без палки, а затем оказалось возможным больше не бинтовать ногу. Можно было отправляться в дальнее путешествие. Но для проверки мы сходили еще в лесной санаторий Либани и было забавно видеть со стороны, как трогательно пыхтела «кукушка», взбираясь вверх по извилистой дороге подобно маленькому живому существу.

Дом, где я жила, стоял на самом краю селенья, и я утром бежала в сарафане прямо в лес к речке, чтобы вымыться в ее холодной, кристальной воде. И потом не хотелось уйти из леса, где я то бродила среди влажных от утренней росы ветвей

и высоких трав, то лежала в траве или на хвойной подстилке, вдыхая аромат разогретой солнцем сосны.

В опьянении этих нескольких дней вплелись, как в зеленую, сверкавшую золотом лучей оправу, другие, второстепенные, но украсившие эти дни впечатления. Поездка через Цагвери в Тимотес Убани, монастырь конца XII века, кирпичная центрально-купольная церковь которого отличается той благородной простотой и ясностью форм, которая характерна для искусства грузинского «золотого века»… Мягкие очертания гор, густой лес, уединение, тишина и краски заката, перекликавшиеся с розовыми тонами кирпича, – все было здесь как стройная, задумчивая песня. В закатных сумерках слабо выступали на стенах древние, полустертые фрески.

В самой Дабе мы с Верой побывали в маленькой базилике XIV века, приютившейся в густых, кудрявых зарослях под навесом склона, в котором обнаженные вулканические потоки застыли завихряющимися струями, казалось все еще полными стихийной, первозданной жизни. Мои глаза отмечали и нечеловеческую красоту замершего кипения лав, и тонкость орнамента, человеческой рукой нанесенного на камни базилики, и хрупкую прелесть колеблемых ветром колокольчиков, выросших на одной из стен церкви в расселине камней.

25-го июля Вера выехала в Тбилиси, чтобы отправиться в туристский поход по Карпатам. Я же покинула гостеприимную Дабу для Боржоми, чтобы оттуда отправиться в дальнейшее странствие. Мне было жаль и пахнущего свежим хвойным деревом дома, где я жила, и ручья, в котором на рассвете я мылась до пояса, брызгая холодной водой на пылавшее тело и глядя на капли, сверкавшие на загорелой коже. Но нетерпение и жадность жизни гнали меня дальше, я не могла долго оставаться неподвижной. А вместе с нетерпеньем все подвижнее становился каждый отдохнувший мускул, возрождаясь для нового прилива жизни.

В таком состоянии я вышла из вагончика «кукушки» в Боржоми, прошла по курорту, рассеянно оглядывая отнюдь меня не привлекавшие санатории, попала в ущелье, вдоль которого вытянулся, как в широкой щели, парк с его источниками, павильонами, маленькими водопадами. Пышная зелень каскадами ниспадала в эту цветущую расселину. Попив целебного для меня боржома разной температуры, я стала подниматься к турбазе, расположенной высоко над парком, на плато, среди хвойного леса. Мое сердце мало ускоряло удары при подъеме. Я

отметила это, подумав: – сколько еще во мне сил для любви, и для дружбы, и для жизни, и для горных дорог! Наконец, извилины асфальтовой аллейки, затененной густыми деревьями и пересеченной сокращавшими ее крутыми тропами, привели меня к турбазе. Несколько небольших зданий и ряды палаток располагались на площадке над крутым обрывом, с которого открывался вид на парк и на лесистые склоны гор за парком. Цветник в центре, светлая окраска построек, сосны вокруг, – все было приветливо и ободряюще.

Это не турбаза, а настоящий курорт, – подумала я. – Здесь хорошо было бы даже пожить подольше.

Директор, к которому я была снабжена запиской из Тбилиси, – встретил меня любезно и включил в группу, которая должна была ехать в Вардзию. Устроившись в палатке, я осмотрела более детально боржомский парк, побродила по городу. На другой день я ходила с туристами в Ликани, в огромное живописное поместье одного из великих князей, посещавшееся царской семьей, а теперь превращенное в госдачу. Вычурный, разноцветный дворец, измельченно-декоративный, пышный, но неудачный образец эклектики конца XIX века, вызывал восторги туристов. Опять я себя чувствовала очень одинокой и чужой среди окружавшей меня обыденной, шаблонной «средней» прослойки, из которой и в этот раз, как обычно, состояла основная масса «автомобильных» туристов. Я не хочу сказать, что я лучше их с моим неумением жить повседневными обыденными заботами средней, «нормальной» жизни. Но что делать? Впрочем, один из моих спутников, киевлянин, все-таки завязал со мной разговор, заинтересовавшись возможностями самодеятельного туризма, с которым он впервые столкнулся в моем лице. Это был доцент, пожилой, интеллигентный человек. Впервые попав на Кавказ, он расспрашивал все оживленнее о моих путешествиях. Кажется, только он и я отдали должное восхищение не аляповатому дворцу в Ликани, а чудесному парку в долине Куры и еще более чудесному, будто из какой-то сказки перенесенному сюда феодальному замку на крутой, конусообразной горе, вид на который открывался из парка в зеленой, узорчатой раме ветвей. Его живописные руины придавали романтический характер панораме лесистых гор, раскинувшихся за Курой. На другое утро, когда я уже собиралась ехать в Вардзию, мой новый знакомый сказал:

– Может быть, мы с вами никогда не увидимся. Но именно поэтому прощаясь, я позволю себе так прямо выразить свое восхищение вами, вами во

всех отношениях. Встреча с вами – одно из самых ярких впечатлений путешествия. Большая радость была встретить такую, как вы, среди серой, однообразной, стандартной и внешне и внутренне, скучной массы людей.

Я поблагодарила его не с гордостью, не с удовольствием, а с грустью, – я предпочла бы не слышать так часто подобные излияния восхищенья, а видеть соответствующие черты в большинстве окружающих меня людей. В данном случае группа туристов была даже особенно интересной…

***

На грузовике, под брезентным навесом, защищавшим от жгучего солнца, я выехала с туристами в Вардзию. День был жаркий, дорога достаточно тряская, место у меня, – как обычно у самостоятельных туристов, – самое плохое, над задними колесами, в облаке пыли. Но я никак на это не реагировала, привыкнув к подобным неудобствам пути. Вскоре густые леса Боржомского ущелья сменились голыми, выжженными солнцем вершинами, на склонах которых красноватые лавы и туфы казались все еще раскаленными, как сразу после вулканических извержений, их породивших. Казалось и другое: потоки камня еще как будто дымились кровью, обильно лившейся здесь когда-то. В зловещем блеске вулканических глыб чудился отблеск давних битв и пожаров. Передо мной был тот край, через который турки чаще всего вторгались в Закавказье, уничтожая во время походов не только леса, но и всякие следы растительности. Все чаще на крутых вершинах вздымались зубчатые стены и мощные башни крепостных развалин.

У крепости Ацхури, грозным силуэтом застывшей над Курою, произошло одно из самых больших сражений царя Ираклия, «Маленького Каха», с огромными полчищами турок, устремившихся в Грузию. В городе Ахалцихе крепость и сейчас еще рисуется на фоне неба старой цитаделью. Но сам город, лишенный всякой растительности, производит достаточно унылое впечатление. Мало украшают его и церкви, слишком новые, чтобы быть интересными. Находящийся недалеко монастырь Сафар остался в стороне от нашего пути.

Погранзаставы, проверка документов и даже пересчитывание голов в машине, все большее количество пограничников, – эти современные впечатления наслаивались на впечатления, связанные с прошлым суровой местности, которую мы пересекали. На склонах долин местами сохранились следы узких террас,

заботливо огороженных рядами камней. Здесь были виноградники. Но теперь трудоемкое, требующее орошения виноградарство в этих местах почти исчезло. Селенья не часто встречались на нашем пути. Значительная часть населения, отуреченная в периоды мусульманского владычества, давно отсюда выселена и это увеличило пустынность края. Только местами тополя и огромные развесистые орехи, сгруппировавшись вокруг жилищ, создают впечатление оазисов среди голых гор, очертаниям которых присущ уныло-суровый характер, но которые не поражают ни грандиозностью, ни высотой, ни причудливостью или величием форм.

В широкой долине, покрытой выжженной желтой травой, мелькнуло селенье Рустави – родина Руставели. Стройные тополя поднялись, как восклицательные знаки, над рядами домиков с плоскими крышами. Наверно, и во времена великого поэта селенье имело примерно такой же вид.

В одном из изгибов Куры, на отвесных изгибах скал, перед нами появились хорошо сохранившиеся стены и башни крепости Хертвиси, и сейчас производящей очень внушительное впечатление. Затем на высокой горе, над узкой тесниной реки возникли развалины Тмогви, «Чертовой крепости», которую никогда никто не мог взять. Завоеватели просто старались обойти эту гору с ее твердынями. Так сумели пройти мимо нее арабы; так неоднократно проходили турки. В XIII веке крепость была разрушена страшным землетрясением и сейчас лежит в руинах, которые даже не подвергались раскопкам. То здесь, то там по уступам скал змеятся обрывки зубчатых стен, на вершинах поднимаются остовы башен, на склонах обрисовываются очертания церквей и зданий, прилепившихся к голому камню, из которого они построены.

Миновав теснину Тмогви, мы быстро достигли Вардзии, расположенной всего в пяти километрах вверх по Куре. Слева от нас в отвесных туфовых склонах мелькнули пещеры древнего женского монастыря Ванис Квабеби, еще пока не расчищенные и почти не изученные. Издали церкви и часовни выделялись, как кристаллы закономерной формы, среди глыб дикого, бесформенного камня. Монастырь был разрушен тем же землетрясением, что и Тмогви, и сама Вардзия. К концу пути я была подавлена тем, что группа, с которой я ездила, не только не проявляла интереса к пояснениям вполне приличного и знающего экскурсовода, но даже к виду окружающего. Повернувшись внутрь машины, друг к другу, туристы в основном пели песни, избитые песни, которые прекрасно можно петь,

никуда не уезжая из своих родных городов… Ни до истории, ни до природы и архитектуры, которые они никогда не видели и, вероятно, никогда не увидят, никому или почти никому не было никакого дела… Мне опять стало более, чем грустно.

Никакого селения Вардзия, собственно, не существует. По одну сторону Куры, на самом ее берегу, расположена палаточная турбаза, очень похожая на маленький военный лагерь с прямоугольной площадкой, окруженной с трех сторон рядами серых палаток. Недавно посаженные тополя шеренгами стоят вокруг площадки, еще не давая тени. К дому, где находится канцелярия турбазы, примыкает дом музея-заповедника Вардзии. На другой стороне Куры, на значительной высоте, отвесный туфовый склон зияет черными впадинами многочисленных пещер.

Это и есть Вардзия, пещерный монастырь-крепость, созданный во второй половине XII века, при отце Тамары – царе Георгии. В течение тридцати лет были высечены в горе обширные кельи, трапезные, залы заседаний, подземные ходы, служебные помещения и хозяйственные помещения, рассчитанные не только на монашескую жизнь, но и на военную оборону, и на пребывание царского двора. Одна из галерей ведет к обильному подземному источнику воды. Крутые склоны делали почти неприступными подступы к пещерам в условиях защиты сильным гарнизоном. В XII–XIII веках нижняя часть склонов и долина Куры были, видимо, еще покрыты лесом, а сохранившиеся давильни для винограда и огромные сосуды для вина говорят о том, что здесь процветало виноградарство.

Шестьсот с лишним пещер расчищены в настоящее время. Все они освещаются окнами и дверями, выходящими на открытые галереи с невысокими парапетами, соединяющие их и заменяющие улицы этого необыкновенного города, образующего четыре яруса. Между ярусами расположены врезанные в камень лестницы; кроме того, они сообщаются наклонными подземными ходами. Скамьи, ложа, столы, ниши, заменяющие стенные шкафы, – все это вырезано из того же камня, составляя с пещерами единое целое. Воображение представляет себе ткани, ковры, утварь, некогда придававшие всему жилой вид.

Воображение представляет себе и другое. Именно сюда прискакал от турецкого султана гонец с дерзким письмом к царице Тамаре, в котором султан требовал, чтобы она сдалась, перешла в магометанскую веру и стала его женой; в противном случае он грозил войной и участью наложницы.

Турецкое войско уже стояло у границ на расстоянии одного перехода от Вардзии. Здесь, в отсутствие царицы, письмо прочитал ее военачальник, армянский князь Аргутинян (Долгорукий), в гневе ударивший гонца так, что тот упал без сознания. Тамара сама поспешила приехать в Вардзию, ответив султану полным достоинства посланием. Здесь, босая, поднялась она по крутым ступеням в церковь для богослужения, затем вышла к своим войскам, далеко уступавшим туркам по численности, и передала боевое знамя своему мужу, осетинскому князю Давиду Арслану. В нескольких километрах от Вардзии, на берегах Куры, произошло страшное сражение, окончившееся поражением турок.

В больной пещерной церкви сохранились многочисленные фрески. На стене, находящейся против окон и потому особенно хорошо освещенной, во весь рост изображены царь Георгий и его дочь Тамара, уже царица, но еще девушка, о чем свидетельствует ее головной убор. С четырнадцатилетнего возраста Георгий приучал Тамару к управлению государством, вводил во все дела, возил всюду с собой. При своей жизни возвел он ее на престол, чтобы вручение короны женщине не вызвало смут. И всю жизнь Тамара провела в активной деятельности, в непрерывных разъездах по стране. Неизвестно даже, где ее могила, и это до сих пор дает пищу народной фантазии, рисующей золотой гроб царицы, скрытый где-нибудь в горах и все еще ожидающий счастливца, который его отыщет. Но скорее всего могила Тамары, так же как и ее отца, была в Вардзии, в темной усыпальнице при пещерной церкви. Эти царские гробницы не сохранились, разграбленные турками.

Я долго стояла перед изображением Тамары. Круглое лицо с маленьким ртом и длинными линиями черных бровей то же, что и в Кинцвиси, несомненно несколько стилизованное в соответствии с особенностями живописи тех времен, но имеющее и здесь индивидуальное своеобразие, отличающее его от ликов богоматери, святых, ангелов. Сколько легенд связано с именем этой женщины, одной из тех, которые сумели быть равными мужчинам в истории человечества! Именно эти женщины всегда меня интересовали и будили во мне живой отклик или любопытство. И вместе с тем это была женщина. красивая женщина! Кого она любила и любила ли кого-нибудь в жизни? Какова была ее личная жизнь, жизнь ее сердца, страдания и радости ее женского существа? Только ли неудачный первый брак с русским князем, пьяницей, опозорившим ее ложе, – по

ее же словам, – был для нее в жизни источником личной сердечной боли? И только ли второго мужа любила она? Невольно я стояла и думала об этом…

Жара установилась почти нестерпимая. Камни раскалились. Тени не было. Кроме прохлады пещер, спасением была только мутная, серая, прогретая солнцем Кура, грузинская Мктвари, несшая воду из Турции в Тбилиси. Я купалась и лежала на горячих камнях в мокром купальном костюме. Несколько раз я ловила себя на том, что, стоя на берегу, почерневшая на солнце, с бронзовой мокрой кожей, я сравнивала себя с окружающими женщинами и роптала, что мне не двадцать лет. Но в то же время я ощущала себя еще такой сильной, мускулистой, стройной… Я знала, что я могу быть еще очень привлекательной, и здесь это, как обычно, подтвердилось, хотя неинтересно и скучно. Проверявший документы майор-пограничник заинтересовался моим пропуском, так как он был не туристский, а выданный мне в Ленинграде для научного осмотра Вардзии. Таким образом я попала в круг его внимания. Он должен был уехать по «срочному же оперативному заданию», как насмешливо напомнил ему потом директор турбазы, но остался, «пришвартовался» ко мне и не отходил от меня, тая, как воск на солнце, и добиваясь моей благосклонности. Это был кавказский грек, лет сорока, которому явно были присущи и хищность и, в случае, надобности жестокость. Он кончил в Тбилиси филологический факультет, знал не только основные кавказские языки, но и греческий, турецкий, персидский, собирался поступить в аспирантуру, сведения о которой в Ленинградском университете я обещала ему сообщить. Меня заинтересовало и во всяком случае позабавило сочетание в нем известной образованности, явных лингвистических интересов и какой-то азиатской примитивности. Он развлекал меня лингвистическими сведениями и детективными пограничными историями из собственной практики, но был так настойчив в своих ухаживаниях, что я вскоре от него устала. Он даже заявил, что две верховые лошади и он сам завтра могут быть в моем распоряжении, если я захочу поехать осмотреть Тмогви, Вание Квабеби, одним словом, все, что угодно. Конечно, само по себе это предложение было весьма соблазнительным, но пришлось уклониться от него, понимая, какие объяснения и уговоры в лучшем случае повлечет за собой эта поездка вдвоем и к какой цели она вообще направлена. Это сильно испортило мое настроение. А сладко-плотоядный взгляд моего «поклонника» был мне все более противен и тягостен. Он, однако, не сдавался, сказав, что уговорит меня вечером провести с ним в поездке завтрашнее

утро. Только после того, как я сразу после ужина в 8 часов вечера легла спать и больше не вышла из палатки, он все-таки утром отбыл для выполнения «срочного оперативного задания».

Между тем утром служащий музея-заповедника, немолодой, простой, скромный на вид человек, предложил мне посмотреть древнюю церковь Верхней Вардзии. Когда директор турбазы посоветовал мне воспользоваться этим предложением, я согласилась. Четыре с половиной километра туда, четыре с половиной обратно. Узкие тропинки среди раскаленных камней. Сухие травы и яркие пучки цветов, сверкающих на солнце горячими красками. У ручья, в зеленых зарослях, прекрасная базилика XI века с тонким плетением орнаментов на тесанных камнях, с надписью феодала, соорудившего этот маленький храм. Это было прекрасно и не приходилось жалеть о проделанном пути, пекло которого возрастало с каждым часом. Невольно я даже отметила про себя, как быстро, легко, безразлично к жаре шла я обратно по неровным тропам. Спутник мой с восхищением это оценил. Разговаривать с ним было не о чем, – несмотря на работу в музее-заповеднике, он ничего интересного рассказать не мог, будучи слишком некультурным человеком и лишенным даже тех интересных сторон, которые нередко бывают особенностью именно очень простых людей из народа, особенно на Кавказе с его самобытной народной культурой. Рассеянно отвечала я на его вопросы. Однако на обратном пути и он вдруг начал «любовные уговоры», правда, оставаясь в рамках почтительности, но предлагая мне все соблазны уединения и все наслаждения «любви». Оборвав его даже не с раздражением, а только со скукой, я ускорила шаг и решительно ушла вперед, увеличивая дистанцию, меня от него отделявшую. Он понял, что ничего не выйдет, и шел сзади, сумрачно замолчав.

Из Вардзии мы выехали на том же грузовике с брезентовым навесом, свернув после Хертвиси по новой дороге, ведущей к Бакуриани. Мелькнул мимо Ахалкалаки – скучный военный городок с большой старинной крепостью. Дорога поднялась крутыми зигзагами на Джавахетское плато и мы помчались по ровным полям, занятым посевами. Только холодный воздух говорил о том, что мы не на равнине, окруженной голыми пологими хребтами, а на высокогорном плоскогорье. Затем начался подъем на перевал Девяти источников или Цхрацкаро. Вершины Триалетского хребта, к которым шла машина, были округлыми, пластично вылепленными, покрытыми почвенными слоями и короткой травой.

Ни обнаженных лав, ни каменных глыб здесь уже не было. Солнце заходило. Становилось все холоднее. Несмотря на предупреждение, я недостаточно позаботилась о том, чтобы иметь наготове что-нибудь теплое и теперь дрогла от холода, большие отары овец в сопровождении косматых псов возвращались с пастбищ в места ночлегов. Чабаны проезжали мимо на тонких, стройных конях.

Изумительная панорама открылась с перевала. Передо мной раскинулись широкие просторы долин, впадин, похожих на гигантские плоскодонные чаши, в одной из которых сияло озеро Цихисджвари. Мягко очерченные горы то ощетинивались хвойным лесом, то распластывались вершинами светлоствольных буков, то бархатились от покрова альпийских и субальпийских трав. Местами по луговым склонам были разбросаны отдельные деревья. Горные речки извивались внизу, сверкая и теряясь в зелени. Кое-где в селеньях вспыхивали огоньки, заставляя быстрее сгущаться дымчато-голубые, сиренево-серые сумерки. А надо всем догорал закат, окутывая вершины гор золотистым светом и придавая теплые оттенки даже голубизне далеких хребтов. Легкий туман струился от земли, пронизанный этим золотым сиянием. Как дивное видение, лежали передо мной величественные, но мирные и спокойные в этот час просторы горной земли.

Когда туристы, с которыми я приехала, выгрузились в турбазе Бакуриани, я осталась одна я кузове грузовика, который должен был к ночи вернуться в Боржоми. Мне не хотелось осматривать Бакуриани с надоевшей мне группой и ее бесконечными песнями. Лучше вернуться сюда как-нибудь зимой, без всякой группы. И я помчалась в пустом грузовике по лесам пихт и сосен со сказочно вспыхивающими в свете фар цветами, окаймлявшими дорогу и клонившимися к ней таинственно живыми венчиками. Ночь в палатке на плато, над боржомским парком после холодного душа... Утром я попрощалась с директором и служащими боржомской турбазы, благодаря их за действительно гостеприимное отношение ко мне и за приглашение приезжать к ним в будущем. В тот же день я уехала в Тбилиси, торопясь увидеть неугомонную Ренэ, которая только что вернулась из Сванетии и сразу же должна была мчаться в Москву с докладом на съезде востоковедов.

***

В Институте искусства меня ждали приветствия, поцелуи, та атмосфера радушия и расположения, которая стала здесь для меня обычной. И, конечно, тысячи вопросов и возгласов Ренэ, которая еще больше превратилась в обтянутый кожей, но полный жизни и подвижности скелетик, если только это было действительно возможно по сравнению с прежним. Весной она чуть не умерла от дистрофии, явившейся результатом неспособности о себе позаботиться, все более полного поглощения физических потребностей потребностями чисто духовными, невероятного энтузиазма в работе, принявшего ненормально-неврастеническую форму, бесконечных забот о других и забвения того, что она еще не бесплотный дух, хотя плоть ее и сведена к минимуму предельным аскетизмом существования. Все это звучит парадоксально и даже смешно, особенно учитывая жизнеутверждающий характер Ренэ, приподнятый тонус ее обычного настроения, и однако это так. Только различными хитростями и почти насильно ее заставили обратиться к врачам и доктор, являвшийся ее родственником, увез ее к себе на дачу, где ее кололи и усиленно питали больше месяца, пока она не воскресла. Когда она заключила меня в свои объятия, это была все та же непоседливая, нервно оживленная, эксцентричная Ренэ, полная планов на поездки будущего лета, в которые она звала меня.

Я просидела весь вечер в ее удушливой от птиц и кошек комнате, которой она не замечала. «Это моя семья» – говорит она всегда о своем зверинце. Но сама же признает, что настоящую семью с детьми иметь не могла бы и не хотела бы. Зверинец не отнимает у нее времени, убирает его женщина, живущая во дворе, на которую он оставляется и летом во время бесконечных разъездов Ренэ. Настоящая семья – другое дело. И она всегда говорит мне: – Какой вы счастливый, Татьян, имеете любовь, очаровательного мужа и никаких отрицательных для таких женщин, как мы с вами, последствии любви. Ваш муж – чудо, идеал, лучший из мужей в мире! – Павлушу она знает, потому что каждую осень бывает в Ленинграде и, естественно, приходит к нам. – Конечно, – лукаво замечает она при нем, – вам все-таки ругать Татьяну надо за многое, а то она разбалуется от своих кавказских успехов. – На что он, смеясь, отвечает: – Что уж там ругать? Порядочный муж бил бы ее смертным боем! – Они импонируют друг другу шутливым тоном, насмешливостью, хотя для его ироничности она забавна своей восторженностью.

В этот раз вечер в конце был испорчен для меня приходом племянницы Ренэ – Алы. Единственный брат Ренэ погиб где-то после ареста в 1937 г. Осталась его единственная дочка Ала, всячески поддерживать которую Ренэ считала своим долгом. Но поддержка была материальная и в форме всяких хлопот, связанных с деловой стороной жизни. Конечно, далекой от детей и женского общения с ними Ренэ оказалось невозможно оказать влияние на духовное развитие племянницы, которое целиком определялось матерью, по словам Ренэ, хищной и грубой кекелкой. В результате я сразу же почувствовала, что при всей ласке Ренэ, Ала человек ей внутренне совсем чужой. Работающая в какой-то экономически-технической области, она даже ради доброго отношения не проявляла никакого интереса к многогранным занятиям и интересам Ренэ. Длинная, бесцветная, сухая и внешне и внутренне, молчаливая, со злыми, тонкими поджатыми губами, мне она сразу же внушила антипатию, которую я с трудом могла скрыть от Ренэ, теряя при Але всякую оживленность. Так и теперь, Ренэ читала из знакомой мне записной книжки какие-то последние стихи, которые она выписала, потому что выписывала все, что ей особенно понравилось, но как только вошла Ала, это занятие стало неуместным. Как обидно всегда мне, что Ренэ отдает столько забот именно такому противному сухарю! Помогает же она многим, только в тайне, и боже упаси с ней заговорить об этой стороне ее жизни, – взрыв гнева против вмешательства в ее жизнь будет яростным. Поэтому она всегда в стесненном материальном положении, несмотря на аскетизм собственной жизни.

Через два дня Ренэ уже упорхнула в Москву. Я же еще осталась в Тбилиси до дня отлета, на который взяла билет за десять дней, как обычно. Здесь стояло жаркое лето, а в Ленинграде, я знала, Павлуша, как всегда, встретит меня заботливо с драповым пальто, в которое мне сразу же придется влезть, чтобы не простудиться в любимом, но таком ненастном для меня, южанки, городе.

Но пока я еще не вышла из сферы знойного лета и прежде всего, наконец, совершила ускользавшее от меня путешествие в Бетанию. Мы отправились маленькой компанией: Эка, искусствовед-аджарец Юза и художник, молодой поклонник Эки. Я уже поняла к этому времени, что сама Эка, хотя и очень хотела иметь семью, едва ли была способна к сильной влюбленности, а ее очень властная мать высмеивала всех ее поклонников, мешая тому, чтобы завязался серьезный роман. Все они пока, по мнению матери, не стоили ее красавицы и умницы дочери,

подходящий претендент еще не появился, а годы шли и шли… И у Эки на нервной почве начинались понемногу разные болезни.

Я не знаю, какими далекими, кружными путями можно доехать до деревни Бетании, вблизи которой находится монастырь. От Тбилиси таким способом до него практически невозможно добраться и все тбилиссцы попадают к нему тем путем, который проделали мы. Сначала автобусом мы доехали до так называемого Белого духана, куда любят ездить мужские компании, чтобы выпить и повеселиться. Во дворе духана на цепи сидел медведь, привлекший наше внимание. Потом мы шли несколько километров по приятной тенистой лесной дороге. Лес был не очень крупный, густой, лиственный. В стороне остался детский интернат. И, наконец, мы пришли к краю ущелья, за которым был виден в более крупном живописном лесу монастырь. Но перед нами зияло отделявшее нас от монастыря глубокое ущелье. Если обратный склон был покрыт лесом и там явно не трудно было подняться, то спуск с нашей стороны казался просто невозможным. Он был очень крутым, голым и покрытым сыпучей мелкой щебенкой, скользившей вниз даже от движения воздуха, а не только от прикосновения ног. Мои спутники кое-как все же стали спускаться, а я при моем плохом равновесии могла проделать этот спуск при общем смехе только сидя и держась руками за наиболее крепкие места выступавшего камня. Так я сползла в ущелье.

От бежавшего внизу потока уже вели хорошие тропы к монастырю и вот его церковь, так похожая на Кинцвиси и вообще на грузинские церкви «золотого века», гармонично-пропорциональная, со стройным куполом и шатром, предстала перед нами в раме из узорчатых ветвей высоких, окружавших, но не заслонявших ее деревьев. Это было удивительное по своей уравновешенной гармонии и красоте зрелище полного слияния дикой, но мирной могучей природы с чудесной простотой и логичностью архитектуры. Мы задержались на этой точке, с которой лучше всего можно было оценить совершенство как сооружения, так и выбранного для него местоположения. Конечно, все упоенно фотографировали.

На широкой площадке вокруг церкви сохранились немногие постройки и кладбище под огромными развесистыми деревьями. Дальше вокруг был густой лес и, казалось, что никакой деревни не может быть, так не тронут был этот оазис уединения. Но в монастыре жили, около маленького дома были видны огород и пасека. К нам вышел высокий, красивый старик, все еще стройную фигуру

которого облекала монашеская ряса. Поздоровавшись и о чем-то поговорив с моими спутниками по-грузински, он так же спокойно удалился. В его облике было что-то и величественное и благородное. Мне рассказали потом, что он бывший гвардейский офицер, очень давно отшельничающий в Бетании, носящий имя Георгия и пользующийся большим уважением населения. Второй монах средних лет, с очень неприятной физиономией, к нам не подошел и быстро исчез. О нем ходят дурные слухи, – может быть он здесь от чего-нибудь прячется или сидит здесь по другим плохим причинам, не имеющим ничего общего с религией. Зато от нас не отлучался третий, полуюродивый, пожилой монах, несший, видимо, хозяйственную работу на своих искривленных плечах.

Прежде всего, он открыл нам церковь, в которой на стене были изображены царица Тамара в рост и ее сын-подросток Георгий Лаш. Фрески Бетании в темно-синих и коричневых тонах; я долго любовалась ими, но ничто уже не могло для меня быть сравнимым с Тамарой и ангелом в Кинцвиси.

Потом мы расположились у источника в лесу сразу за монастырем и завтракали, обсуждая увиденное мною здесь впервые. Юродивый, вносивший своим обликом дополнительные средневековые черты в обстановку, принес нам сотового меда. На обратно пути мы уже были очень усталыми.

Часто эти дни я общалась с Дерзибашевым, который, увидев меня, старался отделаться от дел и шел со мной посидеть в какой-нибудь сад или побродить по старинному Тбилиси. Опять и опять он рассказывал мне о том, каков был город в дни его детства и юности, об облике давно изменившихся площадей и улиц, об ушедших в прошлое особенностях быта, нравов, одежд… Его отец был художником, расписывавшим знамена все еще существовавших ремесленных цехов, члены которых составляли очень большую среднюю прослойку в городе, имели свои давние и права и обязанности, назывались «карачехали», потому что носили черную чоху, как отличительный сословный признак. Они любили традиции, в пожилом возрасте отличались степенностью и солидностью. Зато как бесшабашны были «кинто», занятые, чем придется, разносчики, продавцы, перевозчики, в собственном идеале веселые бездельники. О них существует до сих пор масса анекдотов. Но и они, и карачехали сами творили еще для себя народное искусство, сочиняли и пели песни, записью которых (в той мере, в какой они еще могут быть восстановлены) до сих пор серьезно не занялись. Михаил Иосифович вспоминал и переводил мне отрывки то шуточные, то по-настоящему

поэтические. Мне вспомнились слова Экзюпери о XV веке, когда цивилизация стояла на низком уровне по сравнению с современной, но зато почти каждый крестьянин или ремесленник был способен сочинить песню… Перед моими глазами возникали то старый гостиный двор на месте площади Ленина, то верблюды с пестрой поклажей на Майдане, то пляски во время карнавалов. Это был Тбилиси не только Пушкина и Лермонтова или Грибоедова, а Тбилиси юных дней моего спутника, Тбилиси той поры, когда города были грязнее, неблагоустроенней, меньше, но зато обладали местным ярким своеобразием в отличие от нынешних, во всем мире господствующих тенденций нивелировки и унификации.

Дерзибашев вызывал и меня на разнообразные разговоры.

– Как это вы, такая ненасытная путешественница, сидите в Тбилиси оставшиеся дни?

– А как вы отказались в это лето от экскурсоводческой работы? Ведь вы говорили, что без бродяжничества среди природы не можете существовать.

– Может быть, я немного сдал в этом году. Возраст сказывается… Или пресытился… Ведь я уже почти весь Кавказ вдоль и поперек знаю. А вот по России я бы попутешествовал. Влечет меня поэзия русской природы. Поехал бы по Волге, по Оке, по Каме. Почему вы не хотите таких поездок?

– Меня тянет на Кавказ… Видимо, мне нужна более романтическая природа и обстановка, чем наша русская, хотя лирику последней я тоже умею ценить. Довольно много у нас я и повидала. Но, кроме того, оставляю что-то напоследок. Ведь, может быть, я доживу до такого возраста, когда горы будут не под силу мне, а жажда странствий останется. Я себе не могу представить себя без нее. Тогда и буду путешествовать по мирным и легко доступным русским достопримечательностям. А иначе что же мне останется? Да и сейчас нельзя терять время, пока я достаточно сильна для горных троп.

Иногда Дерзибашев с отвращением возвращался к рассказам о нравах турбазы, о распущенности и цинизме большинства «автомобильных туристок», о том, что многих работа на турбазе привлекает именно этим обилием доступных женщин, менять которых, даже не запоминая, входит в привычку.

– И как мало любознательности! Пение самых примелькавшихся, вечно повторяемых радиолой песен более занимает и скрашивает путь, чем все то новое, невиданное, необычайное, что открывается вокруг. И любят ведь такие

примитивно-упрощенные песни о любви, такие избитые и банальные! Наши композиторы-песенники часто вкладывают в них морально-нравоучительный, «воспитательный» оттенок, который не делает их поэтичнее, потому что он так явно надуман и преднамерен. Они только скучнее от этого и теряют последнюю непосредственность чувства, последний отзвук настоящих страстей с их истинной сложностью и богатством. Но их поют без конца в пути, тянутся к этим песням-суррогатам, потому что даже суррогатами романтики и поэзии бедна внутренняя жизнь поющих. Да вы же, конечно, слушали на остановках и разговоры этих женщин, обсуждающих свои знакомства с местными мужчинами, свои «романы»… Как это лишено даже тени поэзии, красоты, выходящей за рамки обывательской будничности!

Я вспомнила свои впечатления и размышления во время последней «автомобильной туристской поездки». Это совершенно совпадало. Но неужели это вечная тема человеческой жизни – обывательская бедность и поэтические возможности?

– Может быть, в век преобладания техники, а не гуманитарной или даже мифологической культуры это становится особенно распространенным?

– Может быть, да. Но ведь среди «пешеходной туристской молодежи» так много совсем других людей, интересов, запросов. И даже среди «автомобильных путешественников» не все же только затем идут, чтобы соответствующим полным образом «развлечься» с нашими темпераментными красавцами. Сама туристская работа ведется у нас на большинстве турбаз из рук вон плохо. Как много можно рассказать туристам увлекательного на той же Военно-Грузинской дороге! Пусть основная масса окажется даже совсем серой и ничем не интересующейся. Но пробудить в ней немного любознательности, расширить хоть немного ее кругозор, – разве это не важная и значительная задача? И ведь не все в этой равнодушной массе не стоят внимания и стараний. Когда присмотришься к людям, видишь сколько глаз и умов, которые тянутся к знанию, к красоте, к впечатлениям. А между тем большинство экскурсоводов наплевательски относится и к людям, и к просветительской стороне своей работы. Да и сами так мало чем интересуются, так мало знают, что почти ничего сверх стандартной методички не могут объяснить и рассказать. И то, что выучено по методичке, ленятся рассказывать.

В один из вечером меня позвал побродить по городу Цибулевский. Мы поднялись на Комсомольскую аллею. Она была совершенно пуста, так как небо

хмурилось и вот-вот должен был пойти дождь. Мы сели на скамейку и я смотрела на город, такой теперь для меня многоликий и так заманчиво сверкавший внизу россыпью бесчисленных огней.

Разговор невольно опять коснулся неприятного пункта, – разрыва Александра с Тамарой.

– Из этого в любом случае ничего не могло бы выйти, – сказал он. – Жизнь в разных городах, невозможность в ближайшие годы соединиться… Разве это не убило бы любовь, даже если бы она была?

Он посмотрел на меня вопросительно, как будто вызывая на продолжение того разговора, который был у нас в прошлый раз.

– Но для настоящей любви разве это имеет решающее значение? – ответила я, качая головой. – Можно видеться раз или два в год и все остальное время жить ожиданием этих встреч… Можно изнывать в разлуке, просыпаясь и засыпая с одной и той же мыслью… Можно всем существом принадлежать даже тому, кто отверг любовь… Неужели вы, действительно, не знаете, что такое любовь, окрасившая все в мире своим цветом и все заслонившая? Любовь, затмившая значение того, что было важно и насущно, но придавшая значение таким мелочам, которые сами по себе смешны? Неужели вы не испытывали дрожь, проходя по тем улицам, где живет или проходит ваша любовь, не говоря о том трепете, который пронизывает все тело при виде того, кого вы любите? Даже только при виде?... Конечно, разлука страшна. Она постепенно, с годами, может погубить любовь. Но что значит она в период страстной влюбленности, кроме муки? А взаимная любовь, несмотря на муку, может жить встречами очень долго, – даже бесконечно долго! Лишь бы встречи были ярки, полны счастья и наслаждения. Если бы вы так любили, вы бы выдержали те испытания, которые стояли на пути у вас и Тамары.

Когда я замолчала, Александр тоже долго молчал. Потом тихо проговорил:

– Я еще раз хочу сказать, что я завидую тем, кто способен испытать подобное чувство. То, как вы говорили об этом в прошлый раз, меня поразило. Я этого не забуду, не забуду вообще того вечера… Даже той кошки, которая играла в луче света, падавшем из окна дома, против которого мы сидели. Помните?

– Нет.

– Я даже написал набросок стихотворения…

И он прочитал строки, среди которых были слова:

Хотите
про кошку на зеленой траве
Ночью
при свете окон?
Кошка,
как кошка, –
такие мрут,
Кто знает,
в каких местах.
Трава,
как трава.
Говорят, – изумруд.
Оттенок:
один из ста.
Нельзя сказать,
что хвост трубой
Описывал тайные козни.
Изгиб спины?
Да у кошки любой
Он может быть грациозной.
Дело не в кошке и не в траве.
Разговор ведь шел не об этом.
И мне представилось:
это Крез
Беседует с жалким нищим.
Мгновенье.
И кошку
словно вожжой.
Окна потухли.
Трава в тлен.
Исчезли…
Но отблеск
любви чужой
В них

намертво

запечатлен.

– Дайте мне, – сказала я, – протягивая руку к листку.

– Но ведь я не кончил… Это только набросок, и то с пробелами.

– Все равно. Просто так, на память.

Он протянул мне это недоделанное стихотворение.

– Спасибо, – чуть улыбнулась я. – Но только не завидуйте так безраздумно способности безрассудной любви. Тот, кого вы считаете Крезом, становится последним нищим, когда все, что он мог бы дать из богатства своего чувства, оказывается ненужным, а он, протягивая руку, как милостыни, ждет даже не ответа на любовь, а только взгляда, слова… Или даже только ясности среди истерзавших сомнений…

Я почувствовала, что на мое лицо упали первые тяжелые капли дождя.

– Начинается дождь. Уже поздно.

Когда мы прощались, Александр предложил мне в следующий раз побродить по старому городу поздно вечером, когда старинные улицы, закоулки и постройки имеют особенно колоритный и поэтический облик. Неудачно я выбрала для этого такой вечер, когда погода была плохая, – небо сверкало звездами, но сильный резкий ветер гнал по нему разорванные клочья туч и завывал в узких переулках. С любовью показывал мне мой спутник все то, что меня тоже так пленяло. Все казалось невиданным, особенным – живописные уголки, лестницы, кружевные балконы – в неверном свете редких фонарей, старинная форма которых была заботливо восстановлена к недавнему юбилею города, но стекла которых были уже по большей части разбиты.

Мы перешли на другую сторону Куры и поднялись в Метехи. Древние ворота, стены, храм, с его башнеобразными, сурово-обнаженными вздымавшимися к черному небу абсидами, причудливое мерцание света на каменной кладке, лишавшее ее осязаемой твердости и превращавшее храм в невесомый, нематериальный призрак далеких веков, – все поражало красотой и вместе с тем тревожило воображение неумолимо-безжалостным каменным безмолвием. Купол таял во мраке, смутно рисуясь на фоне звездного неба. Внизу передо мной опять мерцал огнями город. Под совершенно отвесным высоким обрывом, извиваясь, чернела Кура. Ветер на открытой площадке, среди безмолвия каменных массивов принял почти ураганный характер. Он налетал с ревом и я

дрожала от его порывов, от холода, от зловещего чувства какой-то грядущей обреченности. Оно охватило меня, когда я свесилась с крепостной стены в пропасть, на дне которой чуть отражался свет в изгибе рек. – Какое удобное место, чтобы обрести быструю, легкую и верную смерть, – подумала я: – Кто знает? Может быть еще когда-нибудь и придется им воспользоваться. Ударившись головой о воду, потеряешь сознание и уже не почувствуешь, как утонешь. Это легче, чем утонуть, бросившись с лодки в море. Отвратительно только, что река выбросит труп… Море этого не сделает… – Это были с юности обычные для меня при всем моем жизнелюбии размышления о том, как можно быть максимально хозяином не только своей жизни, но и смерти… Да, если жизнь перестанет быть той жизнью, которую ты любишь…

Стараясь скрыть свое состояние, я отвернулась от бездны. У меня кружилась голова и рябило в глазах.

– Вам нехорошо? – спросил Александр.

– Нет, это просто так… От высоты…

Мы сидели еще некоторое время у стен крепости над огнями города. Александр читал мне свои стихи. Их звук сливался с шумом ветра, лишь медленно стихавшего к полуночи…

Перед отъездом я просидела вечер у Аситашвили. Все у них было по-старому, даже та же пестрая кошка, растянувшись, валялась на паркете. Только не было Теоны, которая весной вышла замуж за своего немца и уехала в Дрезден. Старики очень без нее скучали. Вокруг ее жизни в Германии и вращались, в основном, все разговоры. Муж – главный редактор одной из дрезденских газет. У них комфортабельная квартира. Теона имеет заказы на иллюстрирование журналов и книг. Она объездила с автором одной из книг Северную Саксонию. Была в Берлине. У нее завязывались разные знакомства. Она довольна. Но все-таки в чужой стране ей не легко.

– Главное – сказала мне Наталья Павловна, когда мы остались одни, – она безумно скучает без меня. В одном из писем она пишет, что только теперь поняла, насколько меня любит и насколько я ей нужна. Да, больше всех в мире, – так она написала.

В голосе старой женщины прозвучала материнская гордость. А я отметила про себя, просто как факт, от меня независящий и поэтому едва ли стоящий осуждения: Теона пишет это в первые месяцы замужества! И не в 16 лет, а почти

в 30! Я же никогда на одну десятую (а, может быть, на одну сотую?) не была способна любить свою мать так, как способна любить мужчину. И чужая страна стала бы для меня в большей степени любимой из любви к нему. А вместе с тем я не способна быть такой женой, как добрая, заботливая Наталья Павловна, вся поглощенная семьей. Чем я была всю жизнь для своего мужа? Пылкой любовницей и верным другом. Но была ли я и могла ли быть хорошей женой в ином, обычном, семейном смысле? Нет! А Теона, никогда не влюблявшаяся, не знающая, что такое страсть, и теперь явно не разбуженная в этом отношении замужеством, могла бы быть хорошей женой, если бы у нее появились дети. Как любит она свою мать, так была бы она способна любить детей. Но не мужа, не любовника. Какая я иная! Что это – моя ненормальность или врожденная порочность? Но сама природа сделала меня такой, значит, существуют разные типы женщин и существование их естественно. Чем же я виновата, что я такая, что я люблю так, а не иначе?

В те же дни у меня произошла встреча, которая меня позабавила. Когда я случайно проходила мимо автостанции, сзади меня раздались крики:

– Мадам! Мадам! Остановитесь!

Я не приняла на свой счет такое необычное обращение, но все же невольно оглянулась. Это кричал мой верный поклонник, рыжий милиционер-кахетинец! Его румяная физиономия расплывалась в улыбке, желтые усы щетинились… Но, увы, он был прикован к месту, находясь во власти чистильщика сапог, и не мог бежать за мною.

– Вы опять приехали? – воскликнул он радостно.

– Да, а вы все еще служите? Ведь без вас совсем сад в Кахетии пропадет, – ответила я с оттенком приветливого юмора.

Теперь я уже знала, что среди черных кахетинцев рыжий – явление редкостное, как появление альбиноса, и удивилась этой странности моего верного Швейка.

Узнав, что я уезжаю, в Институте засуетились, торопясь на прощанье оказать мне знаки внимание. Прежде всего я должна была пообедать у Эки. Вместе с ее матерью художницей-прикладницей Браиловской я осмотрела и обсудила реконструкцию их собственной квартиры, похожей на запущенный коттедж и вместе с тем выдающей обиталище семьи, живущей сугубо художественными интересами. Я обедала также с Закро, в ресторане, потому что

его семья уехала и он не мог организовать что-нибудь дома. Была я в гостях и у милой, умной, эмансипированной Китти, уже два года назад вышедшей замуж, но остававшейся все той же, так близкой мне во многих отношениях. Я чувствовала, что у нее царит гармония между личной жизнью и работой, достигнута та широта свободы и то радостное напряжение творческих сил, которыми я уже так долго наслаждалась в жизни. Спокойная, веселая, уверенная, открытая широким жизненным и научным интересам, она дописывает диссертацию и считается самой блестящей и многообещающей из молодого поколения тбилисских искусствоведов.

У Русико Кенин был устроен ужин, на который, – зная мой интерес к Грузии, – подали друг за другом семь блюд из синих баклажанов («бадрижанов», как их здесь называют). Одно блюдо было вкуснее другого, а изобретательности в их разнообразии и искусству хозяйки приходилось только удивляться. Какую привлекательность имел этот ужин в маленькой веселой компании, в одном из уютных домов старого города, в комнате, обстановка которой, – начиная от большого круглого стола, – говорила о прошлом веке, просторный балкон, выходивший в узкую улицу, переносил в тишину темной звездной ночи, овеянной поэзией старины. В этом своеобразном и колоритном уюте было много такого, что давно исчезло у нас в России, – какой-то непрерывной традиции семьи, рода, живущего на одном месте в течение ряда поколений. Конечно, для меня самой, для моей романтической натуры, это чуждо. Но соприкасаться с этим порою, видеть, что это существует для тех, кому оно дорого и нужно, мне приятно, как часто так многое бывает приятно вчуже…

Мы пили за приближающуюся для Русике защиту диссертации, за то, чтобы вслед за этим исполнилась ее другая мечта, – замужество и ребенок. И она, как всегда, смеясь над своей неудачливостью в этом отношении, с юмористическим упоением поддержала этот тост. Да, за шуткой была скрыта ее инстинктивная, жадная женская потребность в семье, именно в семье, – не в страсти, не в романтической любви. Она даже сама, потешаясь над собой, но с явной серьезностью, сказала, что ей нужен только хозяин в доме и отец ее ребенка (самого важного!), а все остальное безразлично, пусть он даже направо и налево ей изменяет, она готова закрыть глаза и делиться им с другими женщинами; что такое любовь? – не больше, чем выдумки и романтические домыслы писателей.

После массы еще всяких тостов, Закро поднял последний бокал:

– Я предлагаю еще один тост за нашу дорогую гостью, – сказал он, – Выпьем за милую ласточку, которая каждое лето прилетает к нам на юг, когда прочие ласточки улетают, наоборот, на север. Пусть так будет повторяться каждый год!

После этого мы перешли на большой балкон, где на столе стояли фрукты, а небо на наши головы обрушивало невесомые потоки огромных звезд и звездной пыли.

На другое утро ко мне зашел Александр, попрощаться и подарить мне на память чудесную ночную фотографию Мехетской церкви на фоне мерцающего моря тбилисских огней. Затем меня так же тронул Дерзибашев, попрощавшийся со мной исключительно тепло и выразивший сожаление, что он, набрав на время отпуска сдельной работы, не мог предоставить в мое распоряжение все свое время.

– Ведь мы могли бы за эти дни даже сделать путешествие пешком по старому, лермонтовскому, отрезку Военно-Грузинской дороги…

– Но вы и так потеряли очень много времени, отрывая его от работы, чтобы развлекать меня, – сказала я. Я вам так за это благодарна!

– Неужели вы думаете, что время, проведенное с вами, могло быть для меня пропавшим? Я хотел бы, чтобы этого времени было больше, – возразил он серьезно и искренне. Потом добавил: – Я не знаю, застанете ли вы меня в Тбилиси в следующий приезд. К сожалению, возможно, мне придется совсем переселиться в Казань, где живет каждое лето моя жена. Она никак не может привыкнуть к жизни здесь, ни в каком отношении. Я, вероятно, акклиматизируюсь в новом месте легче. Нельзя же быть эгоистом…

Мне стало грустно и за него, так любившего и так знавшего свой город, и за себя, если я его больше не увижу.

А в Ленинграде, под хмурым, холодным, осенним небом мой самолет с такой привычной сдержанной лаской и заботой встречал Павлуша с моим драповым пальто, перекинутым через руку…

***

Конец января–начало февраля 1961 г.

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он…
А.С. Пушкин[95]

С октября месяца тяжело заболела мама и вскоре выяснилось, что у нее рак желудка. Я нашла трех женщин, поочередно у нее дежуривших, сама забегала к ней почти каждый день в промежутках между работой. Но я не могла за ней ухаживать, выполняя какие-либо медицинские функции. Несмотря на разрывавшую сердце жалость, я питала такое брезгливое физическое отвращение ко всяким подобным процедурам, что старалась даже не присутствовать при них… Что делать? Я не скрываю, какая я эгоистка. Я всегда знала со свойственной мне склонностью во всем отдавать себе прямой и ясный отчет, что я могла бы сама выполнять все это только для Павлуши, но не для матери.

Болезнь должна была тянуться очень долго. Между тем зимой я должна была доработать срочно для издательства книгу, а к нам собрались приехать в гости одни Павлушины друзья – мать с сыном-студентом. Отпадала возможность работать дома, в одной комнате вообще было слишком тесно. Не стану говорить еще и о других причинах. Но когда один из моих студентов Юра Ильин, тбилисец полуармянского происхождения, предложил мне, что его мать достанет мне отдельный номер в гостинице в Тбилиси, я согласилась на этот вариант изоляции и, выкроив себе три недели, свободных от университетских обязанностей, вылетела на Кавказ. Меня ждала в гостинице «Тбилиси» Раиса Давыдовна, мать Юры, и я действительно хорошо устроилась в комнате со всеми удобствами на последнем этаже.

На другой день я оказалась приглашенной к дяде Юры на званный обед в мою честь, поскольку ведь я была его преподавателем. Званный обед в большой гостеприимной армянской семье оказался довольно приятным. Я ела и хвалила бесконечные вкусно приготовленные кушанья, пила хорошее вино, отвечала на тосты хозяина, слушала его рассказы о Тбилиси тех времен, когда он еще учился в гимназии и не было «нынешних наглых нравов», которые так портят впечатление от города. Все в этой семье, начиная с могучего, тяжеловесного хозяина и кончая двумя маленькими внучками, было патриархально-устойчиво, связано с ограниченными, но незыблемыми представлениями о том, что должно быть и чего не должно быть в жизни и в отношениях между людьми. Все, кроме

отсутствия единственной дочки, учившейся в Ленинграде, разошедшейся с мужем и подбросившей родителям своих детей… Это было дыхание новой свободы, ворвавшейся в рамки старых устоев, и я опять и опять невольно подумала: как все во все времена диалектично-двойственно, как все подобно двуликому Янусу! Если он поворачивает к прошлому, к невозвратимому красивые черты лица, он отворачивается от нас одновременно и недостатками этих черт; по-настоящему открывает новое лицо, в котором тоже сочетаются и новая красота, и новая безобразность, вроде «наглых нравов», развившихся в определенных кругах Тбилиси. В семье же Ильиных и разрыв брака дочери, и ее отсутствие не нарушили уверенности в себе и душевного равновесия главы семьи, с подчеркнутым почтением относившегося к матери, уже очень старой и слабой, но все еще связывающей прочными узами своего авторитета многочисленную родню, о которой хозяин рассказывал за обедом. Я скромно молчала и порою скромно улыбалась из вежливости. В результате мне сказали, что я удивительно «милая и простая», и, несмотря на мое сопротивление, наполнили мою сумку пирогами и сладостями на прощанье.

На следующее утро я зашла в Институт, где меня встретили обычные поцелуи, рукопожатия, расспросы и улыбки.

– Татьяна, как вы плохо выглядите, – воскликнула Ренэ. – Что это такое: Вы похудели, вы бледны.

– У меня очень больна мама и я очень устала, – могла я только ответить. Но Ренэ тормошила меня с обычной экспансивностью и уже строила планы, как мешая моей работе, развлечь меня в Тбилиси. Она не забыла, что на следующий день были мои именины и под вечер пришла ко мне в гостиницу не только с очаровательной немецкой чашечкой для меня в подарок, но и с крохотным фарфоровым зайчиком для Павлуши – «лучшего и единственного мужа в мире».

– Да, Татьян, вы выглядите еще хуже, чем вчера, – шумно набросилась она на меня. – Так нельзя. Идемте сейчас же со мной на именины Татьяны Шевыковой.

– Нет, Ренэ, не могу. Я целый день работала над книгой и очень устала.

– Ну хорошо. Тогда завтра мы идем к Закро. Я утром его предупрежу по телефону. Ведь он не выходит из дому. С сердцем и с давлением все хуже и хуже. А представьте себе, когда такому человеку как он, приходится быть прикованным к своей комнате без надежд на поездки, на хождение по горам, которые он так

любит! Ваш приезд его хоть немного встряхнет и порадует. Вы ведь сами знаете, как он к вам относится.

– К Закро, конечно, я пойду. Как я могу его не навестить, особенно больного?

– Хорошо, значит, завтра я захожу за вами в семь часов вечера. Он будет нас ждать.

– Договорились.

Поцеловав меня, Ренэ упорхнула.

Ровно в семь она была уже, как условились, опять у меня. Однако наши планы расстроились.

– Подумайте, Татьян, – говорила она. Какая неудача! Закро совершенно неожиданно сегодня утром улетел в санаторий в Сочи. Надо было идти к нему вчера. Подумайте, как он будет расстроен, что не повидал вас!

После всяких вариантов было решено, что я пойду в этот вечер к Аситашвили. Я посидела в теплой, уютной, знакомой обстановке их дома. Было только грустно, что Саломка после временного примирения уже совсем разошлась с мужем, окончательно в нем разочаровавшись. Она говорила нервно и возбужденно о своих научных занятиях, но я видела, – внутренне ее страстная, порывистая, неуравновешенная душа полная неудовлетворенности и муки. С тревогой я смотрела на подросшего за это время Петю, – нет ли в нем черт, напоминающих нагло-развязного, холодно-пустого «стилягу» отца.

На другой день Ренэ, уже привыкшая к моему измученному виду, набросилась на меня, как только вошла в комнату.

– Нельзя же так! Я вижу, что вы и в воскресенье сидите над своим злосчастным «Мантеньей». Посмотрите, на кого вы похожи! Вы просто больны!

Я постаралась улыбнуться.

– Нет, Ренэ, не браните меня. Я получила письма, что маме хуже. Я очень беспокоюсь за нее.

– Я понимаю вас, – опять горячилась Ренэ. – Но ведь нельзя же доводить себя до такого состояния. Хотите вы или не хотите, но я уже договорилась с несколькими художниками, что вы посмотрите их работы. Вам надо рассеяться и я буду теперь по вечерам насильно извлекать вас из вашего уединения.

– Я очень устала, – взмолилась я. – Я ложусь спать в 9 часов вечера.

– Ничего, будете дольше спать утром. Здесь нет утром противной ленинградской тьмы. А по вечерам я буду за вами приходить. А то я пожалуюсь на вас вашему мужу!

Утренней тьмы в Тбилиси действительно не было. Но какой он был странный для меня без зелени, с легкими морозами и пасмурным небом. Даже жизненный тонус был совсем другой. Туристского сезона не было, поэтому всех русских женщин считали местными жительницами, а к местным никто в Грузии не «приставал», как летом к туристкам. Поэтому и ко мне никто ни разу не пристал. На улицах в этом смысле царило полное спокойствие.

Прежде всего мы поехали к Вере и просидели вечер с ней и с ее родными за знакомым круглым столом, в знакомой, украшенной картинами и гравюрами комнате, действовавшей на меня обычно так же успокаивающе царящим в ней порядком, как сама «сильная духом и телом» Вера и ее отношение ко мне. Сейчас она работала над серией линогравюр с видами старого Тбилиси и показала на многочисленные интересные этюды к ним. Сколько серий, отражающих разные части Грузии и Дагестана, сделала за свою жизнь Вера, не только неутомимый мастер своего дела, но и путешественница! И как жаль, если они разрознятся, а не сохранятся для будущего именно сериями, интересными и художественной достоверностью, объективной трезвостью влюбленного в изображаемое мастера, и огромным этнографическим, историческим интересом, который они будут представлять в будущем!

– Завтра вечером мы идем к Блеткину, – решительно сказала Ренэ. – Мы с Верой его уже предупредили об этом. Мы хотели сначала сделать ему сюрприз, приведя вас неожиданно, но Вера проболталась. Если бы вы знали, как он обрадовался! До смешного. Он бегал сегодня наверно много часов по магазинам, отыскивая вино, которым он хочет вас угостить.

Однако на следующий день Ренэ повела меня не к Блеткину (он неожиданно оказался занят в жюри какой-то выставки, а к Елене Дмитриевне Ахвледиани, – Эличке, по наименованию не только знавшей ее с детства Ренэ, но и всех ее близких друзей. Особенно заочно ее звали так чуть ли не все хорошие знакомые. Как интересны были и квартира, и художница и хозяйка этой квартиры! Внутренними переходами по выходящим во двор галереям, – обычным для старых тбилисских домов и уже таким для меня знакомым, – я попала в полутемную столовую с очень высоким потолком, антресоли которой

поддерживали простые деревянные столбы, декоративно украшенные гирляндами чеснока и красного перца. На закопченных от железной печурки стенках я различала сквозь полумрак многочисленные картины, – пейзажи, натюрморты, портреты, – явно разных художников. Выделялся прекрасный, написанный в благородных темных тонах натюрморт Шухиева с его подписью.

Хозяйки не было в этой пустой комнате и Ренэ, не давая задерживаться здесь, провела меня в мастерскую. Навстречу мне шла высокая крупная женщина, в простом, почти мужского покроя костюме, с копной седых вьющихся волос над красивым лицом с огромными, черными грузинскими глазами.

– Не удивляйтесь, если она через несколько минут после первого знакомства с вами начнет использовать в разговоре выражения вроде «сволочи» и еще хуже, или обзовет вас ишачкой, – предупреждала меня Ренэ. – Последнее будет даже признаком симпатии к вам.

Конечно, это оказалось некоторым преувеличением, но дающим представление от этой обаятельной резкости, которая бывает присуща очень непосредственным, широким и прямым натурам, не терпящим ни в чем условностей, притворства и предрассудков. Женщиной без возраста, – как тоже метко сказала Ренэ, – и именно таким человеком, смелым и независимым в суждениях и вместе с тем товарищески сердечным, оказалась эта художница со сложной и суровой судьбой. В первые годы революции она попала за границу, с мужем, которого вскоре бросила, разочаровавшись в нем и вообще в возможностях счастливого брака. Она жила и училась затем в Италии и в Париже. В конце 20-х годов она вернулась в Тбилиси из-за болезни матери и осталась здесь. К ней относились настороженно, ее работы почти не выставлялись, чтобы существовать ей приходилось зарабатывать разными способами, в основном в качестве художника киностудии. Но она сохраняла страстную любовь к красоте жизни и к творчеству. Только при изменившейся сейчас обстановке в этом году была устроена ее персональная первая выставка и она так поразила богатством и мастерством, такое впечатление произвела своею оригинальностью на приезжих иностранцев, что художнице дали звание «народного живописца Грузии», обеспечившее ей не только широкое признание, но и приличную пенсию в ее 63 года.

Мастерская, в которую я попала, представляла собой огромную высокую комнату с вывезенным из старинного крестьянского грузинского дома столбом

посредине, развернувшим вверху две красивые резные валюты. Своеобразная мебель, явно делавшаяся по рисункам хозяйки, была предназначена прежде всего для размещения любимых ею вещей. Это был целый музей предметов художественного ремесла разных национальностей, но, конечно, более всего грузинских. От паласов, тканей, вышивок до всевозможной керамики и металлической посуды… Все было расставлено и разложено так, что ощущалось, – это все-таки не музей, а жилище и мастерская художника, где можно уютно сидеть на покрытом ковром диване и видеть, как вещи вокруг сами слагаются в предназначенные для живописи гармонично красочные натюрморты.

Ренэ потребовала сразу же демонстрации работ, как раз в это время сосредоточенных в мастерской между выставками в Тбилиси и Ереване. Пришли Эка и ее подруга, так что было кому ставить на мольберты листы, полотна, рамы. Я сидела на брошенной мне на пол большой подушке и внимательно смотрела. Передо мной проходили почти исключительно пейзажи, – в графике (тушь, гуашь, акварель) и в масле. Париж, Италия (особенно Венеция), Прага, Таллин, Рига, и, конечно, больше всего Тбилиси, а на масляных полотнах горы, горы, горы, древние церкви, сторожевые башни… Все, даже самое маленькое, монументально, обобщено, живописно, широко, полно мужественной силы и выразительности… И своеобразного романтического мироощущения, отбрасывающего все будничное, мелкое, бледное, выделяющего как квинтэссенцию жизни все большое, напряженно-динамичное, полное буйных стихийных сил. Вот готические, островерхие крыши старой Праги, – они, как живые существа, нагибаются, волнуются, лезут друг на друг, поднимаются все выше в своем упрямом движении. Вот цветущие буйными красками долины Грузии, дикие голые вершины, в непокорном порыве взметнувшиеся к небу, и подобные чудовищам туманы, ползущие из ущелий… Вот широкие, необъятные панорамы хребтов, уходящих в манящие безвестностью дали… Что-то понятное, близкое, родное мне читала я в этом неровном искусстве, то простом и строгом, то более декоративном по исканиям и красочным решениям, но таком едином и искреннем, таком темпераментном и сильном по своей сущности. И никаких уступок никаким требованиям, которые могли бы исказить собственное лицо художника, снизить его непосредственность, правдивость, независимость!

Как я могла не оценить это искусство и этот трудный, упрямо-мужественный, цельный творческий путь, в котором, по существу, не

чувствовалось ничего женственного. И делалось все это не для успеха, не для признания, не для денег, а от полного сердца, от непосредственной и бескорыстной потребности в творчестве. Я сидела молча, редко выражая свое отношение к той или иной вещи. Но художница, – такая небрежная и вызывающе-грубоватая в манере себя держать, – видимо, со свойственной ей непосредственностью оценила непосредственность того ощущения, которое родило во мне ее искусство. Со сдержанной лаской, – такой ценной в суровых и сильных людях, – она заставила меня поздно вечером поужинать и предложила, что покажет мне все то, что я не успела посмотреть, в ближайшую субботу.

– Только вы приходите пораньше, – сказала она, – Плюньте на Ренэ – ее никогда не дождаться. Приходите часа в три, прямо к обеду, а потом, если хотите, я вам покажу все остальное.

– Почему вы не устроите выставку в Ленинграде? – спросила я.

– А вы думаете это легко? Ведь это зависит от местных правлений Союза художников, а кто там сидит? К сожалению, нередко бюрократы от искусства да еще иногда и хамы. Ну так вот, когда я была в Ленинграде, я показала Николаеву каталог моих работ. Знаете вы его? Я спросила его, нельзя ли повторить мою выставку в ЛОСХ`е. Он вроде заинтересовался, обнадежил, назначил мне для разговора об этом время и место, и… Просто не пришел, даже никак не извинившись. А когда я его увидела на съезде художников в Москве, не узнал меня и не поздоровался.

– И ты не подошла к нему сама, чтобы ему стало стыдно? – с обычной живостью реакции и возмущения воскликнула Ренэ.

– Нет. Я не знаю, стало ли бы ему стыдно, но мне было стыдно подойти к нему, стыдно за него.

В семь часов на следующий вечер Ренэ уже стучала в мою дверь и мы пошли к Блеткиным, где застали Веру. Петр Михайлович и его жена приветствовали меня как старую знакомую, вспоминая встречу в Цинандали. В большой столовой, где мы сидели, все стены были увешаны работами хозяина и ум мой отдавал себе отчет в тех чувствах, в той реакции, которую я испытывала по мере того, как передо мной поднимался край завесы и в творчестве раскрывалась душа еще одного художника. Он принес мне папки и долго, молча, несколько настороженно, как человек вечно неуверенный до конца в своих работах, но болеющий всей душой за их художественную ценность, раскладывал

передо мной свои гуаши, акварели… Реже это было масло или темпера. Уже сама техника говорила об известной камерности творчества, несмотря на большую живописность исполнения. Но, когда сужается диапазон и сокращается размах, искусство обогащается нередко чем-то другим, – точностью поэтических оттенков, углубленностью в незаметное, умением находить большое в малом. Так было и здесь. В основном, Блеткин показывал пейзажи, написанные из окон его собственной квартиры, – двух комнат, оставшихся у него фактически от номинально принадлежавшего ему двухэтажного деревянного дома, построенного дедом, как и другие молокане, занимавшимся извозом по Военно-Грузинской дороге. Виды из окон на Куру, на кусок старого Тбилиси, на типичный для называемого «Пески» района дворик с ветхой, шаткой лестницей и большим развесистым деревом. Одно и то же, одно и то же… И все равно такое различное в разные времена года, в разную погоду, при разном освещении, при меняющемся настроении самого художника. Передо мной был особый мир, сконцентрированный, замкнутый в себе и в кругу немногих излюбленных кусков реальности, вечно обновляющихся и неисчерпаемо богатых для изощренного взгляда, стремящегося уловить во всем тончайшие оттенки. Какой особый склад и характер, и поэтического восприятия, и дарования! Такого человека можно было бы заключить в камеру с одним окном, открытым в прекрасный кусочек мира, и он без конца воспевал бы его красоту, не повторяясь и в малом выражая большое.

Маленький, сухонький, как будто постаревший с того лета Питер (по прозвищу Ренэ и Веры, которое стало скоро привычным и мне) смотрел на меня порой внимательными, какими-то особенными, печально-возбужденными глазами. Он бережно достал мою книгу, купленную когда-то, до нашего знакомства, и попросил меня сделать надпись. «От благодарной зрительницы на память о выставке пейзажей из окна» – написала я.

За ужином меня окружали трогательное внимание и теплота. Даже цинандали было выбрано в знак памяти о нашей первой встрече. С легкой иронией говорил Питер о том, насколько он не умеет работать на заказ, – даже к вещи, выбранной по настроению, у него пропадает вкус, как только она переходит в разряд заказов. Теплотой веяло от его воспоминаний о годах ученья, об учителях, о Лансере, об отце Ренэ. С какой-то печальной и мягкой лиричностью рассказывал стареющий художник о юности, вдруг погрузившись в прошлое и как будто сам

же стесняясь этого. Явно, он был в необычном, взволнованном состоянии, и улыбка, пробегавшая по его губам, порой искажала его большой рот гримасой тайной боли. Вера вспомнила его картину «Карнавал», висящее в музее произведение его молодости, и он с горечью сказал:

– Я сам люблю эту картину. Может быть, я в тот период ничего удачнее не сделал. Но если бы видели, в каком состоянии она находилась целые годы в фондах галереи и какая она теперь черная, почти неузнаваемая! И так погибнет все остальное? На что это все вообще? Просто для заполнения собственной жизни… А потом на свалку. Ведь и сейчас это никому не нужно.

Я отгадала, что это больной, постоянно его болезненно мучающий вопрос, так же, как я знала уже, насколько не любит он расставаться со своими вещами, продавать их, а, значит, и находить им место в музеях. То же ощущение нужности его произведений только ему самому и небольшому кругу друзей и ценителей, ревнивая неуверенность в их понятности и ценности для широких слоев зрителей, заставляла его упорно отказываться от персональной выставки, которую он давно заслужил как один из лучших мастеров города. Сказывалась все та же замкнутость, неуверенность, нервозность характера и строгая, самолюбивая требовательность к себе. Это была тайная боль, привычная, сросшаяся с жизнью, но сегодня почему-то всплывшая наружу, неожиданно для него самого и его самого стеснявшая.

– За ваше искусство, за то высокое удовольствие, которое оно мне доставило, – протянула я к нему свой бокал. Он молча чокнулся в знак благодарности.

– Нет, нет! – повысила голос Ренэ. – Мы прежде всего должны выпить не за хозяина, а за гостью из чужого города. Таков обычай. Я пью за Татьяну – искусствоведа и путешественника, неутомимого спутника в горах.

– А я за Татьяну-поэта, – сказала Вера. – И за то удивительное уменье быть мужественной и оставаться женственной, которое ей присуще.

– Я просто пью за радость знакомства с вами, – сказал Блеткин, опять склоняя голову.

– А я за гостью, которую мы всегда рады видеть в нашем доме, – приветливо улыбнулась хозяйка всем своим добрым, открытым лицом.

Было поздно, когда я, согретая всем этим радушием, распрощалась на улице сначала с Верой, потом с Ренэ, и шла к гостинице с провожавшим меня

Блеткиным. Бережно он сжал мои пальцы и, глядя на меня печальными глазами, сказал:

– Я благодарю вас, что вы пришли.

– Что вы! – воскликнула я. – Это я благодарна вам за радость, которую вы мне доставили. Ведь так редко встречается способность видеть столько разнообразия в одном и том же, столько значительного и незаметного. Для этого надо обладать очень большим внутренним богатством. Это многому учит. Я это понимаю… Хотя у меня совсем другой подход к жизни.

Он еще раз пожал мне руку, повернулся и пошел по опустевшей улице.

На другой день я по настоянию Ренэ пошла с утра в Институт, так как она собиралась показать мне новую, еще не открытую экспозицию нижнего этажа исторического Музея Грузии. Блеткин тоже собирался придти. Когда я подходила к Институту, я увидела его небольшую, худую, нервную, не собранную фигуру, застывшую у входа. Он повернул ко мне свое печально-возбужденное лицо, и сказал:

– Какая жалость! Я должен быть сегодня в художественном жюри. Я не смогу осмотреть с вами экспозицию и пришел извиниться, что так случилось.

Я была не только растрогана, но даже растеряна от такой любезности и внимательности.

На лестнице мы с Ренэ встретили Капанадзе, как всегда, блещущего моложавостью, жизнерадостностью и обаятельностью.

– Что это за нелепость, Дадико, – набросилась на него Ренэ. – Говорят, что ваша вторая жена, никогда не имея от вас детей, подала на вас в суд и высудила себе с вас алименты, будто бы в связи с состоянием своего здоровья. И вы этой корове согласились платить!

– Ну, Ренэ, я не слишком противился ее притязаниям на суде. Ведь это потом она стала коровой, а в молодости, когда я женился на ней, она была похожа на царицу Тамару. Разве за это не стоит платить даже задним числом? – И он весело расхохотался, взбегая по лестнице.

Когда он исчез, Ренэ шепнула мне:

– Татьян, будьте теперь осторожны с Дадико. Я ведь знаю ваши взаимные симпатии и даже отдаю должное вашему вкусу, так как этому старому распутнику присуще во всех отношениях какое-то своеобразное изящество. Но он женился! Ему 65, а ей 37. Но ревнует не он ее, а она его. Дико ревнива! Он был ее первой

любовью, когда она еще училась в школе. И теперь, узнав о вашем приезде, он сказал со вздохом сожаления: – Придется ограничиться только встречей в Институте; Татьяну Петровну нельзя показывать Галочке, – она обязательно начнет ревновать.

Во вторую половину того же дня я была с Ренэ, Верой и Блеткиным в квартире-мастерской Башбиук-Меликова. Самого хозяина не было дома (он ждал нас в другое время) и работы нам показывала его дочь. Я столкнулась здесь с чем-то, о чем даже трудно говорить. Единственная очень большая комната, мрачный каменный мешок с давно почерневшими стенами и потолком, открывалась дверью и окном на галерею, окружавшую внутренний двор старого, запущенного дома. Два убогих ложа (раньше их было четыре, пока художник не развелся с женой и пока его старшая дочь не уехала в Ереван, – как шепнула мне Ренэ), стояло несколько ломаных стульев, сундук, – вот все, что было в комнате. Это было жилище почти нищего. Как можно было не только жить, но работать всю жизнь, занимаясь живописью в таких условиях? А на стенах висели сплошь небольшие масляные полотна, на которых портреты женщин приобретали какой-то отрешенный от современности, от обыденности облик, пышные обнаженные тела говорили о страстной, непосредственной, жадной чувственности, а ткани одежд и драпировок отливали то золотом, то серебром, подобно старой парче, выдавали тоску по поэтической праздности жизни, далекой от невзрачных будней. Тоска по яркой красоте и пышному цветению ощущалась во всем. У художника явно создался какой-то особый мир, не имеющий ничего общего с этим скудным домашним окружением, мир, лежащий в сферах фантазии, для воплощения которой реальные модели служили лишь поводом. Какой контраст между этими картинами и этим жилищем! Будто отблеск венецианского Возрождения, ущербный и угасающий, но все еще несомненный трепетал в этих полотнах, в широте густых красочных мазков, в преобладании теплой коричневато-золотистой тональности колорита.

Я остановилась перед портретом чернокудрой красавицы армянки в густо-розовом платье, с экзотическими браслетами на обнаженных смуглых руках.

– Это Лавиния, Лавинчик, как мы ее называем; моя старшая сестра, теперь художница в Ереване, – тихо сказала мне младшая дочь мастера.

– Лавиния… – прошептала я про себя. – Дочь Тициана… Моя мысль о венецианцах, о мечте, томившей всю жизнь художника, нашла подтверждение.

– И это все? Где же картины, которые не развешаны? – спросила Ренэ.

– Почти ничего больше нет, – печально сказала дочь. – Ведь папа сжигает время от времени то, что писал раньше, оставляя немного. Сколько мы все не пытались с этим бороться, ничего не выходит.

– Но ведь я сама помню у него столько прекрасных вещей, которых здесь нет, – с негодованием сказала Ренэ. – Это ужасно!

– Нет, это правильно, – задумчиво проговорил Питер. – Я думаю, что и мне пора заняться этим.

– Жечь произведения искусства, самим же созданные? – вырвалось у меня.

– Может быть, это доказательство твердой воли. Но это так тяжело и так жестоко! Если вы что-нибудь решите сжечь, лучше отдайте другим, отдайте мне…

– Вам я отдам что-нибудь лучшее, чем то, что буду жечь, – возразил художник все с тем же задумчиво-тревожным выражением лица.

Когда мы вышли, Вера сказала в раздумье:

– Мне кажется, что Башбиук даже рисуется этой нищетой. Ведь можно было бы хоть побелить потолок, выкрасить стены, накрыть чем-нибудь стол…

– Но неужели за всю его жизнь Союз художников не мог предоставить ему подходящее для работы жилище?

– Что вы! Кто предоставляет то, о чем не просят? Ведь даже и те, кто просит, с трудом получают. А Мелик скорее умер бы, чем стал о чем-нибудь просить и хлопотать. Вы его не знаете!

– О да, вы его не знаете, и это очень жаль, – смеясь, подхватила Ренэ. – А то вам грозила бы большая опасность, – он бы сразу пленился вами и стал просить ему позировать в обнаженном виде.

– Что вы, Ренэ! Я слишком не соответствую его идеалу красоты. Что общего между мной и пышнотелыми красавицами на его полотнах?

– Ну пышность он бы вам сам на полотне придал. А телесного начала в вас более, чем достаточно, чтобы его взволновать. Он сумел найти тело даже у Алисы Банк[96], подумайте, старой девы, которая сама никогда не подозревала, что у нее есть тело! И вдруг какое неприличие и какой соблазн, – она получила от него письмо, воспевающее тело, которое он отгадал под ее чопорно-закрытым платьем! Она была в негодовании и вместе с тем с огромным удовольствием всем в Эрмитаже демонстрировала это письмо. – И Ренэ, – эта старая дева (но не

типичная! – как она сама о себе с иронией порой говорила) так заразительно рассмеялась, что нельзя было не усмехнуться, вспомнив тощую, сухую и весьма ученую сотрудницу Эрмитажа, о которой шла речь.

Перед отъездом меня выселили из гостиницы в связи с приездом какой-то делегации и я перешла на оставшиеся три дня к Ильиной. У Раисы Давыдовны оказалась гостья из Ленинграда – мать Иры. Эта разряженная, самоуверенно-самостоятельная военная дама сразу же взглянула на меня с недоумением, выяснив, что я не имею представления о содержимом тбилисских магазинов. Мне же оставаться в ее обществе больше нескольких минут было тошно. Поэтому я оставила чемодан, сказала, что приду ночевать, и исчезла. В 3 часа дня я уже была у Ахвледиани. Опять смотрела ее работы. Одну из них, – вид с горы на старый Тбилиси, – она мне подарила.

– Работа будет ваша после выставки в Ереване, – сказала художница, надписывая мою фамилию на обороте картины.

– Ты знала, что подарить Татьяне, – именно Тбилиси, который она к нашему удовольствию так любит, – заметила Ренэ.

– Я видела это по ее глазам, – улыбнулась хозяйка.

Однако она не угадала, – мне очень хотелось получить образец ее сочного колоризма, а не вещь, написанную в черно-белой манере.

Потом пришли еще художники и художницы. Был роскошный обед из одних национальных блюд, со старинной народной грузинской посудой, даже имеретинское розовое вино пили из большого глиняного кувшина. Среди гостей была живая, сухонькая старушка, – Шухаева; сам Шухаева плохо себя чувствовал и прийти не смог. Меня трогал и подчеркнуто национальный вплоть до последних деталей характер пиршества, явно рассчитанного на то, чтобы доставить мне удовольствие, и непринужденность беседы за столом, будто я была не новая знакомая, а старая приятельница. Много говорили о Святославе Рихтере, портреты которого бросались в глаза в комнате. Он был близким другом Елены Дмитриевны, у которой в тяжелые военные годы жил, пригретый ее заботами.

В день перед ранним утренним вылетом обратно в Ленинград я зашла на почту, где должна была встретиться с Ренэ, и что-то писала в ожидании. Когда я зачеркнула в написанном какое-то слово, я вдруг услыхала рядом голос, плохо справлявшийся с русской речью:

– Что, сделал ошибку?

Я оглянулась. На меня смотрели добродушные черные глаза на простом и грубо-отесанном лице. Ничего не ответив, я склонилась над бумагой, но услыхала опять:

– Лучше пойдем со мной, потом допишешь.

Меня даже не возмутила эта наглость. Примитивно-первозданное не вызывает возмущения, – оно естественно. Я только иронически подумала: – совсем как в известном нецензурном анекдоте! Боже, как в жизни переплетается низкое и высокое, трагическое и комическое!

В это время ко мне подошла Ренэ и увлекла на улицу. Там ждали Вера и Блеткин.

– Татьяна, мы решили сегодня отметить последний день вашего пребывания у нас прогулкой. Вы не возражаете? Посмотрите, весь город провожает вас с любовью, благодаря вместе с нами за ваш приезд. Какой день сегодня! – Ренэ произнесла эту речь в тоне обычной своей приподнятости.

Я оглянулась. Действительно, все было залито солнцем и масса скворцов так суетилась и шумела в ветвях, что, казалось, деревья ожили и превратились в копошащиеся, трепещущие крыльями, шумные существа.

Мы долго ходили по набережным Куры. Мои спутники говорили об искусстве, о природе, о городе, о весне… Порой глаза художников приковывались к какому-нибудь кусочку пейзажа, к какой-нибудь повисшей в воздухе ветке, невольно вбирая объекты для вдохновения и творчества. Они были далеки от их будничности, они видели красоту, они чутко выискивали ее…

– Посмотрите, – воскликнула Ренэ. – На чинаре сохранились от лета круглые помпоны. Как они рисуются сейчас на фоне неба среди голых веток! Я почему-то особенно их люблю. Когда бывали в моей жизни страшные и тяжелые моменты, их вид столько раз мне говорил, – а все-таки жизнь хороша, все-таки жить стоит!

Я посмотрела в сторону взгляда Ренэ, на узорчатые ветки с легким орнаментом повисших в них шариков.

– Какой вы грустный, Татьянчик! – сказала Вера.

– Вам не хочется уезжать – тут же услыхала я сдержанно-грустный голос Блеткина. – Здесь солнце, тепло… А там вас ждет еще долгая зима, темнота, слякоть, сырость… И большое, большое горе… – Не знаю… – ответила я. – Бывают настроения, когда не хочется быть ни там, ни здесь, нигде…

Он взглянул на меня понимающе. Может быть, он мог представить себе такое состояние даже независимо от его причин. У меня же эти слова вырвались невольно, – все равно я не могла заставить себя быть веселой. Город был прекрасен, как первое дыхание весны. Но мне не надо было этого дыхания, эта весна была не для меня, она в тот миг только обостряла муку и тревогу.

Когда мы вернулись на проспект Руставели, мои спутники закупили все цикламены, которые на одном из углов продавал мальчик, и наполнили ими мои руки.

– Вы успеете довезти их в мокрой бумаге до Ленинграда. Пусть этот последний привет весеннего Тбилиси подольше напоминает вам на севере наш юг, – говорила Вера.

Уже сгущались сумерки. Мы распрощались на одном из углов. Вера и Ренэ меня целовали, договариваясь о моем летнем приезде. Блеткин поцеловал мне руку. Он и Вера, оглядываясь на меня, направились в одну сторону, а я с Ренэ прошла еще некоторое расстояние вместе.

– Вы зачислили Питера в число своих друзей, – не правда ли? – спросила Ренэ. – Он чудесный человек и настоящий художник по натуре. Вы же не только затронули его сердце, но и его художественное воображение. Приезжайте летом в красном платье и, ручаюсь вам, будет написан ваш портрет.

Я улыбнулась, пытаясь выразить благодарность к тем, кто меня трогал своим отношением и вниманием в эти дни…

– Татьяна, все-таки нельзя быть такой, какой вы стали! Где вы прежняя? Я понимаю, как тяжело терять мать, а до этого еще столько мучиться, глядя на ее мученья. Но ведь таков закон природы… Что делать? Надо жить. А у вас такой чудесный, такой очаровательный муж… Вы знаете мое, и не только мое, впечатление после знакомства с ним. У вас еще столько счастья в жизни!

– Я знаю, Ренэ, знаю. Не обращайте внимания… Я сверх всего очень устала. Вероятно, я не рассчитала своих сил в последнее время. Это пройдет.

Мы расстались, еще раз договорились о поездках будущего лета.

Мама умерла в марте, раньше, чем первые веяния весны дошли с юга до Ленинграда…

Июнь–июль 1961 г.
X. Путешествие к абрекам

«Уж по крайней мере наши кабардинцы или
чечены, хотя разбойники…,
зато отчаянные башки…»
М.Ю. Лермонтов[97]

Отпущенная с работы раньше срока после смерти матери, я вторую половину июля провела в Сухуми, стараясь закрепить силы, отчасти восстановленные месяцами лечения. Я жила у Ады Гулиа в ее новой, комфортабельной квартире. С утра уезжала катером на пляж, купалась и, лежа у моря, смотрела в его равнодушный, синий простор. Ночи спала на балконе, на воздухе, опьяневшем меня после города и приносившем забвенье до утра.



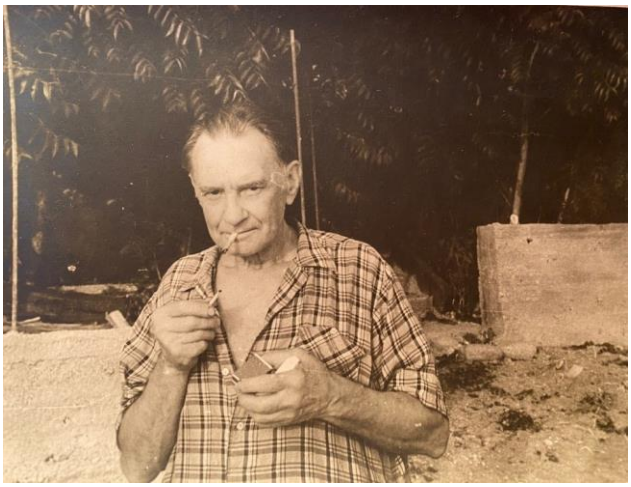
Ил.10. Сухуми. 1963 г. А. М. Гулиа



Ил.11. Сухуми. 1963 г. Подпись на фотографии: «Я на балконе у А. М. Гулиа».

Мило ухаживал за мной старый, но весьма галантный дядя Ады, также у нее гостивший. Побывала я у постаревшего, но все еще героически бодрого в свои семьдесят три года Контырева. Его дом и сад были похожи в это лето на походный

бивуак московских и местных художников. Сам он вышел ко мне навстречу босой, полуголый, в старых пижамных штанах, взъерошенный, но улыбающийся. В его комнате по-прежнему невозможно было сидеть, не задыхаясь от обилия кошек и котят, которыми он буквально оброс. Живописью он занимается очень мало, хотя по горам шатается по две-три недели с этюдником. Просто ему трудно без гор… А когда я его спросила, делает ли он по-прежнему рога, имея ввиду их серебряную оправу, он, смеясь, ответил, что теперь, к сожалению, не он уже делает рога, а ему их делают.



*Ил.12.*Сухуми. 1963 г. В.С. Контарев

Познакомилась я с приехавшими из Японии после проведенной там целой жизни художницей-литографом Варварой Дмитриевной Бубновой, и ее сестрой, знаменитой Анной Оно, скрипачкой и педагогом токийской консерватории, награжденной грамотой японского императора за распространение в Японии скрипичной музыки. Одна – очень простая, непосредственная, быстрая маленькая старушка с ясными, молодыми глазами, поглощенная искусством и до сих пор ищущая чего-то свежего… Может быть, такого хотя бы, как у детей… Хотя это большой и своеобразный мастер, вполне европейский, несмотря на жизнь в Японии и на то, что определенными сторонами японское искусство оказало влияние на ее лаконичный и выразительный стиль. Другая сестра – высокая, худая, стройная, подтянутая, похожая на седую английскую аристократку. На нее оглядываются, когда она идет по улице.

Петербургские институтки, они должны были приехать в Сухуми, потому что им разрешили въезд только в город, где у них есть какие-либо родственники, а, значит, и какая-то жилплощадь. И хотя выставка работ Бубновой имела успех в

Тбилиси, Харькове и Москве и ей наговорили разные влиятельные в художественно-административном мире лица много обнадеживающих слов, сестры снимают за огромную сумму две комнатки в частном доме. Жить в одной комнате с третьей, очень дряхлой, сестрой, единственной их уцелевшей родственницей, они не в силах. Квартиру же им до сих пор не дали. Вещи их вот уже два года стоят не распакованными, и Варваре Дмитриевне даже негде поставить свой литографский станок. Только при входе к ним видишь груду японских домашних туфель и японские веера, предлагаемые в распоряжение гостей в соответствии с усвоенными в Японии обычаями. Ведь Анна Оно уехала в юности в Японию, выйдя замуж за японца. Каким сильным чувством бывает ностальгия, если она заставила этих женщин приехать умирать на родину!

Я смотрела литографии и книги о японских художниках, ощущала камерный, но полный нюансов мир, открывавшийся передо мной в произведениях художницы, запечатлевшей с японской тонкостью, но без японской стилизации кусочки японской жизни и природы, лица людей и даже жертв Хиросимы. Впрочем, это только маленькая частица ее работ. Во время войны, когда огонь охватил Токио, сгорела и мастерская Бубновой с большинством ее работ. Какая трагедия для мастера! Но она рассказала об этом просто, примиренно. Разве так велика эта потеря по сравнению со всеми другими человеческими потерями?

Я слушала рассказы о Японии и японцах, полные тепла и симпатии. Пила чай из лаковых, деревянных, изящно расписанных чашек, которые казались предназначенными для музея. Училась есть палочками вместо вилки, глядя, как ловко действовали ими мои хозяйки. С ними же я была на концерте Наны Яшвили, маленькой скрипачки. Впечатление от этой милой, живой, талантливой девочки, от ее искусства и совершенно детской естественности, так часто убитой в вундеркиндах, проникло вглубь моей души. А Анна Оно сказала:

– Чудесный ребенок! Она играет не хуже, чем лучшие из моих японских учениц. И надо признать – у них нет такого темперамента.

Это высшая похвала в ее устах, как заметила ее сестра.

Еще я бывала у Леонида Александровича Шервашидзе, – Лео, или Лёвки, как его называет Ренэ. Последний представитель рода владетельных князей Абхазии Чачба, он прост, скромен, добродушно рассеян. Семьи его отца и матери (она была княжной Лакербай) находились во вражде, подобно Монтекки и

Капулетти, однако влюбленная Джульетта была благополучно похищена Ромео, и они скрылись в Париж. Там и родился Лео, привезенный к ногам враждовавших дедов и восстановивший своим появлением мир между семьями. Он до сих пор свободно болтает по-французски, сочетая простоту и рассеянную небрежность с остатками воспитания во французском пансионе. Немного иллюстратор, немного археолог и в основном искусствовед, он получил как раз в это лето звание заслуженного деятеля искусств Абхазской республики. Ему лет пятьдесят, но всего три года назад он женился на молодой мингрелке, которую он шутя зовет «княгиней» и о которой, смеясь, говорит, что, хотя она и не княжеского рода, но столбовая мингрельская дворянка. Женился, сделав ей предложение после третьей встречи и даже не зная в тот момент ее фамилии. Альдона с живым юмором рассказывает об этом. Она провинциальна, но очень непосредственна, пряма, наивно-неприкрашенна, такая, как есть, без жеманства и подражательных претензий. У них наследник, в котором запоздалый отец настолько не чает души, что существует опасность, как бы ребенок не стал с трудом выносимым деспотом семьи.

Когда я захожу к ним, мы с Лео выпиваем бутылку сухого вина (Альдоне нельзя пить из-за больной печени), рассматриваем средневековые грузинские миниатюры и работы современных абхазских художников, говорим об искусстве, о тбилисцах, о Ренэ. И он и Альдона рассказывают мне, как три лета он в одиночку почти ежедневно спускался на дно моря, изучая Диоскурию – античный город, бывший на месте Сухуми и опустившийся в основной своей части под воду в течение истекших с тех пор столетий. Ему удалось сделать карту и зарисовки лишь Себастополиса, позднего, римского предместья греческой Диоскурии. Сама Диоскурия лежит дальше и глубже, для ее изучения нужны другое оборудование и водолазное снаряжение, иные средства. Но их не дают. А пока о возможных находках говорят такие дары моря, как греческая надгробная стела, принесенная к берегу волнами и теперь составляющая главную гордость сухумского музея. Лео тоскует; думая об этом. Но он уже и так подорвал себе здоровье и испортил сердце: спускаться в море он больше никогда не сможет.

Оба они очень приветливы и добры ко мне. А он сказал даже однажды, порядочно выпив:

– Если бы вы знали, как мы рады, что вы появились в нашем доме! Все становится лучше, когда вы приходите.

Они очень жалели, что не взяли меня с собой в Очимчири, на похороны двоюродного брата Лео, так как сами не знали, во что выльются эти похороны. Ведь это был тоже отпрыск рода Чачба-Шервашидзе, и хоронить его собралась масса народа из разных селений Абхазии. Все обряды и церемонии были совершены по старинным местным обычаям, вплоть до огромного хора плакальщиц, исполнявших старые ритуальные песни и причитания и много раз торжественно обходивших вокруг гроба в длинных черных одеяниях и покрывалах.

– Это было похоже на хоры античной трагедии, – рассказывал Лео. – Как жаль, что вас не было. Теперь такое зрелище почти невозможно увидеть. Вам было бы интересно.

Что говорить о гостеприимстве и приветливости Ады, умеющей вместе с тем настолько не стеснять меня, предоставляя самой себе и не обременяя никакими лишними разговорами и церемониями? Сколько ни старалась я не злоупотреблять этим гостеприимством – это уже невозможно. Я чувствую и знаю, что, если я не остановлюсь у них, приехав к морю, это будет кровной обидой. Может быть, и правда, мое появление вносит какое-то оживление в их жизнь, далеко не радостную при кажущемся внешнем благополучии, сейчас у них восстановленном?

В последние дни за мной на пляже, на набережных, на катере, – повсюду следовал немолодой, неглупый, вполне интеллигентный и скромный инженер-азербайджанец, ища моего общества безо всякого нахальства, домогательств и расчетов на большее. Почему, действительно, вечно за мной кто-то должен следовать, даже когда мне это более чем излишне? Не знаю. Я никогда этого не ищу. Ренэ в этих случаях, шутливо издеваясь, говорит:

– Развратный Татьян! Не притворяйтесь скромницей – это же ваша счастливая первая любовь помешала осуществлению в вас распутной Кармен.

***

За две недели пребывания в Сухуми я сделала все возможное, чтобы восстановить физические силы и внешне лучше выглядеть. Я взяла с собой более нарядные платья, чем обычно. И в Тбилиси я приехала внешне как будто восстановившая свой облик лучшего времени, так же как и самообладание.

Майсурадзе сказал, увидев меня, что я в этом году на десять лет моложе, чем в прошлом. Александр Цибулевский, которого я встретила, отметил, что я чудесно выгляжу. Загар мой привлекает ко мне назойливое внимание на улицах, и всякие предложения «знакомств» и «романов» идут за мной по пятам, подчеркивая этот подъем каким-то образом сконцентрированных сил и этот похорошевший облик.

Я поселилась на улице Чонкадзе, на склоне Мтацминды, у методиста турбазы Анны Гавриловны, – она уже в прошлом году предлагала мне это, но мысль о смерти все еще была со мной. И не только об утрате матери, – о смерти вообще, о том, чтобы она для меня самой была не от болезни, не в длительных, физически отвратительных муках. Я слишком эгоцентрична, чтобы терпеливо и покорно принять любую смерть. Мне хотелось бы самой ее выбрать, как я сама активно выбирала себе все в жизни, борясь со всем, что противоречило моей натуре, моим запросам и желаниям. Я хотела бы, чтобы судьба милостиво послала мне быструю гибель от катастрофы. Но ведь когда ждешь такой гибели, она обычно такой не бывает… Чтобы отвлечь себя от горя и укрепить силы, я общалась с людьми, писала. Меня развлекали друзья. Днем я то и дело куда-то ездила.

Прежде всего это была поездка в Сигнаг с Ренэ и Вахтангом Беридзе, этим умным, тонким, скептично-холодноватым ученым. Я первый раз ехала по Внешней Кахетии, вдоль реки Йори. Пейзаж был живописен, с широкой долиной, с мягкими очертаниями пологих гор, покрытых невысокой травой, в удобных местах – посевами и виноградниками, кое-где лесными зарослями или кустарником. Склоны то приближались к нам, то расступались, открывая волнисто вздымающиеся просторы далей. Но, конечно, здесь не было того грандиозного размаха, который имеет пейзаж Внутренней Кахетии с почти бескрайней широтой Алазанской долины, плоскость которой контрастирует с застывшими над ней и уходящими в облака синими громадами Главного Кавказского хребта.

По дороге мы сделали остановку в Нинацминде, живописном монастыре, расположенном в зеленом селеньи. Тяжелые, древние стены грубой кладки с приземистыми проемами ворот окружают двор, сохранявший от разных веков постройки и развалины. Рядом с церковью возвышается очень стройная колокольня, относящаяся, кажется, к XVI веку. Здесь же восстановлен кирпичный епископский дом XVIII столетия, очень красивый с его красной черепичной

крышей, легкой деревянной галереей вдоль всего фасада, просторными комнатами внутри, чудесными очагами, уютными закоулками и таинственными нишами, заменявшими шкафы и хранившими, вероятно, немало прекрасных манускриптов и драгоценной утвари.

Дальше вдоль нашего пути опять то здесь, то там мелькали не возвышенностях средневековые церкви и замки. И, наконец, дорога стала петлять вверх по направлению к Сигнангу. Внизу, как на ладони, открылась площадка с обновленными и новыми, относящимися к XIX веку, постройками большого женского монастыря. И вот на верхушке высокой горы появился Сигнаг, рисуясь зубчатым силуэтом над желтоватыми обрывами и каскадами ниспадающей вниз со склонов буйной зелени. Что в Кахетии красивее Сигнага, города-крепости, в XVIII веке созданного царем Ираклием II среди сети других оборонных укреплений, защищавших Грузию от Персии и Турции? Но красота и необычайность Сингага открывают не со стороны Внешней Кахетии, как бы ни был живописен отсюда подъем к нему. Гора, на которой он расположен, достаточно высока и с этой стороны. Но она составляет часть хребта, отделяющего Внешнюю Кахетию от Внутренней и долину Иори от долины Алазани. Последняя лежит на сотни метров ниже первой, и хребет обрывается в ее сторону несравненно более грандиозными и крутыми склонами. Поэтому, когда поднимаешься в Сигнаг со стороны Иори, захватывающей неожиданностью представляется та высота, на которой он расположен по отношению к Алазани, и та фантастическая панорама, которая открывается с этой высоты в сторону Алазанской долины. Так высоко тянется над ней гребень живописных, желто-розовых кирпичных домиков с красными черепичными крышами, зубчатых стен и высоких башен, что кажется – все висит в воздухе над нереальным, неосязаемым, растворившимся в игре перламутровых красок необъятным простором. Как назвать этот простор, если он даже не похож на землю, на твердь, на поля и виноградники? Может быть, он похож на море? Да! Особенно когда ползут по нему голубые и белые туманы. Но это и не море. Это нечто не поддающееся изображению словом или кистью художника, как убедилась я, просмотрев также работы целой группы художников, возглавляемых неутомимой Е.Д. Ахвледиани. Ее полотна шире и величественнее всего переводили на язык искусства красоту долины. И все же искусство меркнет здесь перед величием природы.

Ни краев, ни граней не было у долины, когда мы приехали и взглянули на нее с высоты птичьего полета. Потом появились горы над грядами клубящихся облаков. Картина стала реальней, понятней, не утратив ни величия, ни фантастики, похожей на самую феерическую сказку. А к закату горы опять исчезли, пронизанные оранжевым светом испарения заволокли пространство, и только в прорывы их проглядывали лиловые, голубые, золотисто-зеленые краски земли, лишенной материальности, тающей в нежнейших оттенках. Теперь все казалось не землей, а небом, с которым долина сливалась вдали неуловимыми переходами сияющих красок.

Художники показывали свои работы. Шутя жаловались на деспотизм Ахвледиани (Элички), которая поднимает их на рассвете и каждому ленящемуся внушает:

– И зачем я тебя только привезла, казенное горючее тратила на такого лодыря, место тобою в автобусе занимала? Работай, работай, нечего дурака валять. Такая красота вокруг, а ты… Какой же ты, черт бы тебя побрал, художник?

Когда мы ехали обратно, Ренэ, смеясь, рассказала о приезжавшем в Тбилиси немецком художнике, прожившем месяц и завоевавшем симпатии Елены Дмитриевны. Ренэ являлась для них переводчицей. Когда Ахвледиани узнала, что немец собирается уезжать, так как у него иссякла сумма выданных ему советских денег, она при нем сказала Ренэ:

– Передай этому балде, что я дам ему денег, – пусть только еще недельку у нас поживет.

Немец после переговоров и некоторых компенсирующих долг условий с его стороны согласился. Но когда он и Ренэ вместе вышли, он спросил ее с самым серьезным видом:

– Мадам, скажите… Я уже столько слов знаю по-русски: дурак, идиот, кретин… Но что такое «балда»? Не можете ли вы мне это объяснить?

В другой раз он, рассматривая работы Ахвледиани и одобрительно мыча, вдруг сердито закачал головой, дойдя до этюдов как раз именно Алазанской долины:

– Что, не нравится? – спросила она через Ренэ.

– Нет. Кисель с молоком.

– Но ведь и в действительности это так мягко и нежно, как кисель с молоком.

– Что в том? Мадам сама должна знать, что художники не просто отражают то, что есть, но преображают в соответствии с собственной натурой. Иначе не было бы искусства. У мадам есть сила, энергия, мужественность; это выражается в вещественности и твердости форм, в энергии красок ее произведений. А здесь я не вижу ее натуры.

– Что же, этот чертов немец думает, что у меня совсем нет в натуре нежности?

– Нет, зачем же… – последовал через Ренэ ответ немца. – Мадам – женщина. Поэтому я не сомневаюсь, что она может быть нежной. Но это в других вещах. Как художнице ей это не свойственно и для нее не типично.

Потом Вахтанг Беридзе живо и остроумно рассказывал о последней княгине Орбелиани, внучке Александра Чавчавадзе, пережившей в детстве знаменитое нападение на Цинандали одного из отрядов Шамиля, похитившего из поместья несколько княгинь и княжен в качестве заложниц. И Беридзе, и Ренэ брали у старой Елизаветы Орбелиани уроки иностранных языков. Передо мной предстал образ этой европейски образованной женщины, переведшей и издавшей в Париже «Демона» на французском языке, до глубокой старости сохранившей ясность ума и ироническое остроумие, но опустившейся в непривычной жизненной обстановке до крайней запущенности, неряшества, грязи. Кутаясь в грязное старье, сидела она среди почерневших остатков прежней роскоши, курила папиросу за папиросой, и, когда одна из ее многочисленных кошек, носившая имя «пренсес», взбиралась на тяжелую золотую раму какой-то итальянской картины, замечала насмешливо:

– Вы знаете, Пренсес очень напоминает мне сейчас покойного государя императора в ложе Мариинского театра!

Как почерневший обломок прошлого, проплыла эта тень по волнам моего воображения.

Поездка в Икорту с компанией искусствоведов опять напомнила мне о тех каплях аристократической крови, которые на Кавказе сохранились в гораздо большем количестве, чем у нас. В предгорьях главного хребта, над высохшим руслом одного из притоков Ксани, стоят развалины феодального замка и прекрасная церковь XI–XII веков, покрытая богатым орнаментов. Это древняя резиденция и усыпальница одной из трех ветвей некогда могущественного рода Ксанских Эристави. После присоединения Грузии к России они стали называться

князьями Эристовыми. Бабушка Эки по женской линии принадлежала именно к этой княжеской ветви.

Впервые Эка была в старинном гнезде своих предков. Я видела, что она взволнована. Ни знатность рода, ни кичливость происхождением, конечно, не могли уже иметь здесь место. Но романтика прошлого и обаяние старины владели ее душой, когда она задумчиво бродила среди развалин, стояла под сенью гигантских орехов, широко раскинувших ветви над опустевшим зеленым склоном, читала надписи на могильных плитах, скрывавших кости тех, чья кровь все еще струилась в ее жилах. Ее живое лицо лишено было того неудержимого, непосредственного кокетства, которое заставило Павлушу дать ей шутливое прозвище «Вильгельм Телль», когда она зимой в Ленинграде, сидя у нас за столом, стреляла во все стороны своими блестящими, черными глазами. Впрочем, Эка вообще сейчас чаще сумрачна, чем весела. молодость проходит. Еще много поклонников, но нет любви. А любви хочется настоящей, жаль разменять романтические ожидания на монету неполноценную, только ради замужества, ради семьи, ради того, что «так полагается»… Как много девушек с запросами, с умом, с сердцем переживают эту драму. Потому ли, что нет того, кого они могли бы полюбить? Потому ли, что они не способны полюбить так, как хотелось бы им полюбить в соответствии с их романтическими представлениями и идеалами? Только нет, не так уж много таких девушек. Большинство легко идут на компромиссы и довольствуются средним, общим, прозаичным. Но когда такие девушки встречаются, мне мучительно жаль, даже если бы познание любви и страсти, ими ожидаемой, принесло им только страдания и гибель.

Перед тем, как уехать из Икорты, все по очереди выпили из маленького рога, висевшего на поясе Эки, за символическую наследницу этого поэтического уголка.

Я была у Эки в городе. Перестройка их квартиры по плану матери Эки теперь закончена, и эта двухъярусная, врытая нижним этажом в землю квартира является чем-то весьма оригинальным. Внизу деревянные с открытыми балками потолки, кирпичные полы, очаги, как в старинных грузинских домах, вещи и утварь из старых горных селений. Стилизованная, но художественная смесь национальной старины и современности. И все-таки, несмотря на всю изобретательность, проявленную не только для художественного оформления жилища, но и для расширения площади, семья по-прежнему еле помещается

здесь. Брат Эки женился, ее двоюродные братья выросли, и для них в одной из верхних комнат устроены подъемные полки-постели, как в вагоне. Вернулся отец Эки, много лет проживший в ссылке, а потом до пенсии живший в Кишиневе, так как в Тбилиси он не мог получить работу по специальности. Он был когда-то хорошим оперным баритоном, а теперь преподавал в кишиневской консерватории. Опять один из тех немногих обломков, которые уцелели в лагерях, но заглубленную жизнь которых не вернешь.

В Урбниси я ездила с большой группой искусствоведов, возглавляемой Г. Н. Чубинашвили. Все такой же почтенный, красивый и бодрый в свои семьдесят пять лет, он обошел все раскопки двух археологических экспедиций, раскапывающих и эллинистический, и средневековый город на месте теперешнего села. Среди археологов мое внимание привлек Лали (как его фамильярно звали окружающие) Джавахишвили, опять отпрыск знатного княжеского рода, в жилах которого течет кровь двух царских династий. Что говорить о том, как далека я от всякого преклонения перед знатным происхождением как таковым и насколько я убежденно демократична? Но когда далекий от вырождения аристократизм сочетается во внешности человека с благородством истинной культуры, получается тип, полный особого обаяния. Я испытала это очень остро, когда увидела лорда Редгрейва в роли Гамлета, почувствовав в нем принца по крови и воспитанию и, вместе с тем, настоящего человека, стоящего выше всех условностей и предрассудков, связанных с происхождением. В какой-то мере я почувствовала это и теперь, глядя на точеный профиль Лали, на его прекрасные глаза и вьющиеся седые волосы, выбивающиеся из-под черной тушинской шапочки. Ему сорок пять лет, но он совсем седой и его худое лицо со впалыми щеками и нервно горящими черными глазами говорит не о счастье. Может быть, счастье его – только работа, которой он отдается и о которой говорит с таким энтузиазмом? Мне казалось, что я гляжу на средневекового ученого-монаха с душой одновременно и аскетически самоотреченной и пламенно фанатичной, и просветленно нежной.



Ил. 13. Грузия. 1961 г. Урбниси. В центре Г. Н. Чубинашвили

В честь приезда Георгия Николаевича был устроен пир. Вино лилось из кувшинов. Тамада, предварительно извинившись передо мной, что он по обычаю должен говорить по-грузински, произносил бесконечные тосты, которые мне переводили соседи по столу. Среди этих тостов был тост на русском языке и за меня, – постоянную гостью института, – за мою любовь к Грузии, ее искусству и людям. Было провозглашено с улыбками мое почетное грузинское гражданство... От всего веяло чем-то старинным, традиционным. Может быть, так же поднимал чашу и говорил тамада на пирах, которые были здесь во время Руисско-Урбнисского собора, созванного в начале XII века Давидом Строителем? Две прекрасные древние церкви в Урбниси и в Руиси, куда мы тоже по пути заехали, говорили о бурных, но ярких веках грузинского средневековья.

Моим соседом в автобусе оказался Теймураз Васильевич Барнавели, брат доброй Сары Васильевны, сын писателя Барнавели. Его тонкое, нервное, очень не молодое, но все еще красивое лицо с шапкой полуседых вьющихся волос уже раньше, при первом знакомстве, привлекло мое внимание. Я знала, что ему пришлось лучшие годы провести в заточении, что он экономист по образованию, но страстный любитель истории и искусства, переключившийся теперь на работу палеографа и ставший неутомимым соратником и соавтором Ренэ по поискам и изучению тех бесчисленных памятников средневековья, которые даже в окрестностях Тбилиси еще далеко не полностью попали в круг исследований и научной литературы. Маленькая церковь Ниноцминда за Мцхетой и установление

ее связи с легендой об охоте царя Мириама; затмении солнца и принятии им христианства – их последнее открытие.

Почти ежедневно заходя в институт, я часто видела Закро Майсурадзе. Удрученный тем, что сына еле-еле удалось пока спасти от исключения переводом на вечернее отделение института, чувствуя, может быть, и примитивную пустоту красивой, но аморфно-флегматичной и глупой дочки, он терзается все так же любовью к семье и неудовлетворенностью в своих любимых детях. Его здоровье не улучшается. Но он решил предпринять рекогносцировочную поездку в Хевсуретию, чтобы выяснить возможности и подготовить на ближайшие пять лет план экспедиций в эту трудно доступную горную область. Особенно это сложно сейчас. Хевсуры переселены в долины Кахетии – официально для их блага (!), но безо всякого их желания. Неповторимое своеобразие их быта, их обычаев, их самобытной народной культуры (а не только бескультурья!), их селенья, их ремесла, дома, утварь, одежда, нравы, – все обречено на уничтожение. И, каковы бы ни были блага, предоставленные взамен, хевсуры вымирают, не могут приспособиться к чуждым им условиям и климату, рвутся обратно в суровые, но родные и привычные им горы. Часть их самовольно вернулась в брошенные селенья. Им препятствуют там обосноваться, разводить хозяйства, держать скот. Ведь там нет больших колхозов, они перенесены в долины. Значит, возвращенцы почти вне закона. Но они упорно живут, цепляясь с независимостью вольных горцев за остатки того, что им дорого. Живут, вероятно, пока не вымрут или не будут в следующем поколении сломлены железным ходом истории. И тогда совсем погибнут обломки их культуры и начнут разрушаться твердыни их вольности – крепости и башни. Спасти это для истории культуры и искусства, спасти для науки, для тех, кто бережно относится к каждой неповторимой странице в книге человеческих судеб, дел и творений, – этой мыслью горит сейчас Закро со свойственным ему живым и страстным энтузиазмом.

– Он безумный, – говорят о нем в институте. – Ему нельзя ехать. Он еле ходит, а хочет забраться в почти необитаемые сейчас части Хевсуретии, и без того трудно доступные для путешествий. Врачи ему запретили. Жена каждый день только об этом с ним спорит, умоляя его отказаться от поездки ради детей. Что за нелепое легкомыслие в его возрасте!

– Закро, – сказала я ему как-то, – зачем вы едете? Ведь это страшный риск. Вы больны.

– Неужели и вы меня будете убеждать в этом? – воскликнул он горячу, беря меня за руку. – Вы, безрассудный бродяга, должны меня понять. Жить больным, в четырех стенах, среди лекарств и разговоров о лечении, – это не жизнь. Я не вынесу этого, мне будет еще хуже, я умру от тоски и протеста. Любой ценой я должен вырваться из этой больничной атмосферы! Мне или станет лучше и я еще протяну столько, сколько надо для того, чтобы дети вполне встали на ноги, или полечу к черту. Но ведь я и так погибну. Так уж лучше в горах, сразу, чем шаг за шагом идти к этому среди докторов, лекарств и домашнего заключения.

Что я могла сказать? Я слишком хорошо его понимала, чтобы найти какие-то возражения.

– Ну, а завтра едемте со мной в Душети, хорошо? Я должен там договориться о лошадях для рекогносцировки. Пешком, конечно, у меня идти сил не хватит – сердце не позволит. Тем более нести тяжести. Я достану лошадей. Только бы среди нашей молодежи нашелся кто-то, кто посвятит себя лет на пять задаче увековечить все, что связано с прошлым хевсуров. Если бы вы видели их святыни, их укрепления, их самих, прежних, с особой годами выработанной походкой, с особенными вольными и гордыми повадками – даже у женщин... Эх, Танечка!

И он махнул рукой.

– Если на будущий год будет экспедиция, вы меня возьмете?

– Не будем загадывать. Эта поездка все покажет. Я не люблю обещать зря. А разве вы можете сомневаться, что я хочу вас взять туда?

Я ездила в маленький и очень провинциальный городок Душети с Закро и его женой и еще каким-то художником. Здесь когда-то проходила старая трасса Военно-Грузинской дороги. Здесь Пушкин нарвался на хамство и невежество городничего – в который раз, в разные времена, характеризующие нашу чиновничью Россию! Взяв такси, мы съездили на Базалетское озеро – не очень большое и не очень красивое, лежащее в плоской котловине среди пологих, мягко очерченных пригорков. Колосящиеся вокруг нивы, утонувшие в садах черепичные крыши деревень придают картине простой, мирный, приятный, но мало романтичный характер. Между тем с этим озером связано народное преданье, поэтически пересказанное в одном из стихотворений Ильи Чавчавадзе. Золотая люлька лежит на дне озера, и в ней спит чудесный младенец, – олицетворение славы, могущества и блеска, которые присущи были "золотому

веку" средневековой Грузии. Если достанут люльку со дна чистые и достойные руки, вырастет из младенца богатырь, который спасет страну от бед и вернет ей былое величие.

Что же еще было за эти дни? Банкет по поводу защиты диссертации Русико Кении. Два раза театр. "Демон" с участием все еще несравненного Чабукиани. Несколько встреч с Дерзибашевым, прогулки с ним по городу, новый, еще не разросшийся, но обещающий стать очень красивым парк Ваке, где бьет фонтан и строится новая, большая, современного типа турбаза, так не похожая на прежнюю, мне привычную... Что же еще? Опять так характерные для Тбилиси попытки знакомств, то наглые, то забавные? Да, в большом количестве. Я привыкла к ним, не боюсь их, – в отличие от многих приезжих русских женщин, – и они порой меня очень смешат. Обилие их говорит о том, что в это лето я имею уже вполне нормальный, а не больной вид. То за мной идет человек от серных бань до моего дома, упорно заговаривая, хотя я молчу и даже не оборачиваюсь, будто его нет, а когда я вхожу в ворота, рычит с угрозой: – Вот я тебя убью за то, что ты не хочешь даже разговаривать. Зачем я столько за тобой шел? – То двое мотоциклистов медленно едут за мной по Руставели. Я перехожу на другую сторону улицы, подальше от их комплиментов, но один из них сходит с мотоцикла и идет за мной: – Мой товарищ давно следит за вами. Он хочет с вами познакомиться. Что ему ответить? Неужели мы едем за вами напрасно? – Я не отвечаю. Он уходит, и я забываю о них. Но кода у улицы Луначарского я перехожу на другую сторону проспекта, я натыкаюсь на остановившийся и ожидающий меня все тот же мотоцикл. Мои преследователи улыбаются мне в лицо так весело и добродушно, как будто увидели старую знакомую. Теперь они едут рядом со мной по узкой улице. – Зачем вы притворяетесь, что вы здесь живете и что у вас есть знакомые, идя с таким деловым видом? Мы же видим, что вы приезжая. И никаких знакомых у вас тут нет, а мы хотели с вами познакомиться. – Я ускоряю шаг и встречаю мать Юры Ильина, к которой я иду. Она целует меня, и мои преследователи изумленные, останавливаются тоже. Они видят, что у меня есть знакомые, что я в городе не чужая. Во мне вспыхивает вдруг озорство, и я говорю им с насмешкой «Прощайте!», помахав рукой. Но лица их расплываются в улыбке и, не долго думая, они въезжают вслед за мной во двор Ильиных. Проходит час. Я спрашиваю пришедшего знакомого Ильиных, стоит ли во дворе мотоцикл. – Да, стоит. – Еще через час Юра сообщает мне, что больше мотоцикла нет. Им, наконец, надоело

меня ждать. Но Юра на всякий случай провожает меня домой. Еще характерные случаи. В кафе почтенный на вид человек предлагает мне пустую квартиру и себя в полное распоряжение. Я быстро расплачиваюсь и ухожу, не отвечая. Другой солидный толстяк на Руставели говорит мне в лицо: – Можно вас куда-нибудь пригласить? Или вы заняты другим? – Веселый, долговязый, красивый парень идет за мной, то и дело заговаривая. Я молчу и не оборачиваюсь, будто не слышу. Наконец, он спрашивает: – Вы что, глухонемая? – Да! – бросаю я в ответ, идя дальше. Он хохочет и сразу же отстает. Или, недолго идя за мной, молодой человек спрашивает: – Скажите прямо, напрасно я иду за вами или нет? – Абсолютно напрасно. – Спасибо за правду, а то у меня мало времени, чтобы его тратить.

Таковы нравы. И опять приходится признать – таковы нравы и приезжих женщин в ответ на это, иначе не было бы смысла без конца к ним приставать. Какая-нибудь и, видимо, нередко, пойдет навстречу подобному знакомству. Часть этих преследований легкомысленно-добродушны, жизнерадостны, жизнелюбивы, окрашены веселой пустотой и беспечностью. Другие деловиты, хищны, неприятны. Третьи наглы, самодовольны, отталкивающи. Но хуже всего молодежь, почти мальчишки, стиляжно-щеголеватые, опустошенно-циничные, с нахальными, холодными глазами. Они группами стоят на Руставели и особенно против Сулхан-Саба, ожидая подходящей встречи и перекидываясь отвратительными замечаниями. Мне рассказывали, что несколько раз дружинники или милиция хватали их, когда они поджидали туристок, сажали в машины и, вывезя километров за 50 от города, бросали там, чтобы они хоть немного отучились от своих навязчивых дежурств. Но разве их отучишь? Мне кажется, что в них нет ничего человеческого, только пустота, мертвенность, сухость и холод души, недоступной ни уважению к чему-либо, ни живым человеческим чувствам. Наличием такой молодежи объясняется преступность, растущая в наших городах. Из такой молодежи можно сделать доносчиков, палачей, стражей и истязателей в любом лагере с самыми чудовищными пытками. Лишь бы платили деньги и предоставляли легкую, «шикарную» жизнь! Страшно и отвратительно смотреть на эти лица. И сколько таких! Становится жутко, когда подумаешь…

Конечно, ко мне такие не пристают, – не тот возраст. Но однажды один увязался сзади, бормоча какие-то циничные комплименты. Потом – видя, что я не

оглядываюсь и никак не реагирую – обогнав, заглянул нахально в лицо и нагло процедил сквозь зубы: – По фигуре сзади я думал, что молодая девушка. А, оказывается, просто нержавеющая сталь! – И, фыркнув, довольный своим остроумием, прошествовал вперед расслабленно-качающейся походкой, затянутый в узенькие и коротенькие брючки.

Но бывает и совсем иначе, – забавно и нельзя рассердиться за примитивную непосредственность. Мы идем с Ренэ через мост. Идем на банкет, поэтому я в пышном и нарядном платье. И вдруг раздается возглас:

– Красавица!

Мы оборачиваемся и видим продающего семечки грузина с лицом, заросшим вьющейся черной растительностью, похожей на шерсть барана.

– Красавица! – снова восклицает он, сверкая белыми зубами. – Ну, возьми у меня семечек! Сколько хочешь! Даром!

– Татьян, с вами просто невозможно ходить по улицам, без того, чтобы к вам не приставали или не бросали корзин с семечками, – смеется Ренэ. – Но сознайтесь, что такой непосредственный и широкий жест восторга только у нас в Грузии еще можно встретить. Гадости же наши, хотя они и сконцентрированней здесь в силу целого ряда объективных условий, встречаются не только у нас, но и повсюду.

Таковы еще зарисовки нравов и впечатлений, без которых картина была бы неполной.

***

Одиннадцатого июля мы выехали в короткую экспедиция: Ренэ, я, искусствовед Вахтанг Долидзе, художник Тенгиз Мирзашвили и Лелико, окончившая только что исторический факультет, собирающаяся стать искусствоведом и до аспирантуры принятая в институт истории искусства в качестве лаборантки. Решено было до Орджоникидзе ехать по Военно-Грузинской дороге на турбазовской машине, и рано утром мне пришлось с рюкзаком придти на турбазу. Машину мы долго ожидали. Больше не было тех деревянных кресел, в которых я обычно сидела здесь раньше…

Маленький, худой экскурсовод приветливо поздоровался со мной.

– Вы опять приехали?

– Да, – рассеянно ответила я.

– Я помню, вы любили сидеть и писать что-то в тех креслах, которые сейчас выбросили.

– Почему?

– Они стали слишком старыми. Нужно что-то новое.

Нас провожал Джейран Габиев, этнограф, лакец лет сорока, со слегка седеющими волосами и следами контузии, до сих пор сказывающейся после военных лет в подергивании лица и головы. Черты лица, взгляд серых глаз – все казалось в нем одухотворенно, тонко, благородно тем особым сдержанным и скромным благородством, которое присуще очень хорошим и деликатным людям, обладающим мягкостью и поэтичностью. Так мне, во всяком случае, показалось. Стройная, длинноногая фигура вполне соответствовала имени «Джейран». Невольно я догадалась, ради кого он пришел и для кого сияли глаза Лелико. Что-то недоговоренное, волнующее было между ними, и удивительно, каким образом (как я обнаружила потом) никто из моих спутников ничего не знал об этом. Но сердце впервые влюбленной Лелико, этой простодушно-наивной, неуклюжей, милой девочки, открылось для меня тогда в ее светлых, продолговатых, будто удивленных чем-то глазах, светившихся на добром, почти детском лице.

Наконец, мы выехали. День был холодный даже в Тбилиси, и, чем выше поднимались мы в горы, тем становилось холоднее. По брезенту машины хлестал дождь. Все было окутано таким густым туманом, что видны были только придорожные камни да смутно различимые очертания ближайших скал. Скалы были призраками, камни – черными, скользкими, шелудивыми от плесени чудовищами или мертвыми знаками безнадежности. Я окоченела от холода. Зловещая, мертвенная мгла все плотнее окутывала мой мозг. Как в бреду, я увидела растрепанный, мокрый, будто слезами покрытый пучок ромашек на мосту и в разорванных клочьях тумана Гергетские водопады.

В Казбеги мы узнали, что ночью шел снег, и к рассвету его слой на Казбеке повыше селенья достиг 28 см. Когда мы приехали в Орджоникидзе, я еле скрывала, что меня трясет как в лихорадке. Остановка у турбазы, ночлег в альпинистском перевалочном пункте. Сославшись на то, что я промерзла в пути, я не пошла в город и легла в постель. На другое утро, однако, я должна была со своими спутниками зайти на почту, откуда послала телеграмму Павлуше, поздравляя его с именинами. Я еле держалась на ногах, стараясь скрыть свое состояние от спутников, но явно я простудилась в дороге.

Собрав силы, я все же зашла к Бугдановым. Я обнаружила, что бедный старик слепнет, хотя продолжает работать и держится бодро. Как всегда, он явно был рад мне, – появление мое встряхивает однообразие старческой жизни.

– И вы не боитесь ехать к ингушам, бесстрашная амазонка? Разве вы не знаете, что под Столовой горой, куда вы отправляетесь, все время скрываются ингушские бандиты?

– Да, я знаю, что экспедиция, к которой я сейчас присоединилась уже два года откладывалась, так как ее не разрешали институту органы госбезопасности. Но в этом году разрешили, потому что «бандиты» под Столовой горой перевелись. Кроме, правда, одного…

– Хызыра Неизловимого? Вы о нем слышали?

– Да.

– И не боитесь?

– Нет.

– Иметь такую отчаянную жену… Я не завидую вашему мужу!

– Впрочем, ингуши – интересный народ, – продолжал он, помолчав. – Они, конечно, разбойники, «абреки», и всегда ими были. Но разбойники с размахом, и с определенными устоями, правилами. В прошлом, во всяком случае. В настоящем старые устои горской морали уже нередко разрушены до основания, а новой морали не появилось. Получается просто бандитизм и хулиганство.

– Расскажите мне, что вы знаете об ингушах.

– Когда их выселили, некоторые скрылись в горах и остались. Они доставили много хлопот, пока их выловили. До конца, впрочем, их никогда и не вылавливали. Каждый камень в горах для них дом, и головорезы они отчаянные. Когда же их вернули, вы знаете, они первое время здорово жгли и резали осетинцев, занявших их селенья. Но даже и теперь они не мелки, как часто бывают осетины. Они прямее, смелее, если хотите, по-своему рыцарственней. Не разменяваются на мелочи. Среди них не встретишь карманников. Если они грабят, то не гроши и частные дома, а банк, сберкассу… И хорошо вооруженным отрядом, лихим набегом, напоминающим времена покорения Кавказа.

Потом он добавил то, что я уже слышала раньше, подражая акценту и говору горцев:

– Сейчас они говорят: «Микоян знаешь? Зина Орджоникидзе знаешь? Наши люди. Хорошие люди. Помогли нам домой, в горы вернуться». И это

действительно так. Был период, когда Микоян и Орджоникидзе скрывались у ингушей, и те проявили к ним исключительную верность. В силу законов гостеприимства и вследствие готовности поддержать любого, кто отстаивает какую бы то ни было свободу против насилий любой власти. Уж очень не привыкли они к подчинению, трудно им ужиться с притязаниями любого государства.

После обеда, вина и самых добрых пожеланий я попрощалась. А в пять часов мы уже выехали на курорт Дарьял, возвращенный теперь Чечено-Ингушетии и получивший название Армхи, по имени реки, в ущелье которой он находится. Поросшая сосновым лесом солнечная долина, где расположен туберкулезный санаторий, очень живописна. Над ней поднимаются отвесные обрывы Столовой горы, сложенной мощными горизонтальными пластами песчаника. На дорожках, среди зданий санатория, тишина: покой, звон цикад, игра солнечных бликов, и лишь издали, снизу доносящееся ворчанье непокоренного горного потока.

Так было, когда мы утром вышли из отведенного нам для ночлега медкабинета. Молодая докторша пришла туда, чтобы взвешивать больных.

– Вы ингушка? – с любопытством спросила Ренэ.

– Что вы! – с возмущеньем ответила девушка. – Я осетинка. Разве ингуши люди? Это звери!

– Братство народов! – усмехнулась Ренэ. – Ну что же, развеем для себя еще одну легенду – об ингушах-зверях. Как будто весь народ может быть зверем, каковы бы ни были его отдельные представители!

Она задумалась, сидя на скамье в ожидании наших мужчин, которые пошли узнавать о возможности найти попутную машину. Сидя на месте… А это редко случается с Ренэ! Для этого нужно действительно серьезное раздумье.

– Я вам не говорила о том, что слышала в Дагестане от аварца, переселенного в свое время на земли чеченцев, а потом вернувшегося в родные места после возвращения из ссылки хозяев?

– Нет.

– Когда чеченцы вернулись в свое селенье, к дому, где жил аварец, сказавший мне это, подошел старик в сопровожденьи сына, невестки и внуков. «Это мой дом», – сказал он прямо и строго. «Войди, если это твой дом», – ответил аварец. Старик обошел двор, комнаты, пристройки. Сел за стол с семьей аварца и

принял его угощенье. Когда настал вечер, он сказал: «Отведи меня спать в комнату, где стоит русская кровать (он имел в виду кровать с металлическими столбиками и никелированными шишечками). Аварец почтительно его проводил и хотел уйти. «Подожди», – остановил его старик, – «посвети мне лампой». Тот послушался. Тогда старик быстро разобрал на части кровать, отвинтил шишки и из металлических столбиков высыпал на пол заполнявшие их золотые червонцы. Молча старик разложил их на три равные кучи и тогда заявил: «Одна мне, другая моему сыну, а третья – тебе. Ты хорошо содержал мой дом и встретил меня как гостя и как хозяина. У тебя большая семья. Если не тебе, то внукам твоим это золото пригодится. Пока же тебе не дадут нового дома или денег на постройку в твоей родной земле, ты можешь занимать половину моего дома. Как-нибудь проживем вместе». Так простились они на ночь и легли спать. А другие дома селенья, в которые новые владельцы не захотели впустить прежних хозяев, в эту же ночь запылали, умело подожженные с разных концов вернувшимися чеченцами.

К нам на скамью сел высокий, старый ингуш в папахе, а через некоторое время – человек средних лет, также оказавшийся ингушем и притом ветеринарным врачом. Оба они очень чисто говорили по-русски, – десять лет в Казахстане приучили к русскому языку даже самых старых женщин, не говоря о мужчинах и молодежи.

– Вы довольны, что вернулись в родные места? – спросила Ренэ.

– А как же! – ответил старик. – Правда, жили мы последнее время в Казахстане лучше, чем сейчас живем. Вначале-то было тяжко! Сколько наших там перемерло! Казалось, все вымрут. А потом вроде прижились. И молодые постарались – детей много народили, чтобы народ наш сохранялся. Так старики постановили. У многих дома появились. Неплохо стали жить.

Старик помолчал, потом продолжал:

– И все равно, мы, старики, скучали, вах, как скучали по родным местам. Сейчас здесь плохо живем. Дома наши разрушились, а новые уже так, как прежде, не построить. Лепим среди разрушенного хибары. Заработков мало, скота мало… Все развалилось. Часть молодых хочет назад в Казахстан вернуться. А нам, старикам, лучше с голоду подохнуть, только в своих горах.

Я смотрела на четкий, будто из камня высеченный профиль старика, на его жесткие, властно очерченные губы. Горцы вообще часто похожи на горных птиц,

а ингуши, быть может, больше, чем другие народности. Вместе с тем, красивые лица у них не только часты, но и особенно тонки, породисты, – это наблюдение было нами быстро сделано.

– Да, мы жили в последнее время в Казахстане лучше, чем теперь здесь, где все разорено, – вмешался в разговор ветеринар. – И молодые это чувствуют больше, чем старики, – ведь мы плохо помнили родные места, не так привыкли к ним, легче приспособились к новой жизни. Многие неохотно поехали обратно… Только потому, что старики велели. Но я хотел ехать, и брат мой тоже. Мы агитировали за это, хлопотали, организовывали отъезд, хоть жили в Казахстане неплохо.

– И что же? Не разочаровались?

– Как сказать. Туго нам здесь сейчас приходится. Старое развалилось, а новое на разваленном построить трудно. Да и места мало пригодные для нового – только для прежней горской жизни и пригодны по-настоящему наши горы. А все равно уже и мне не уйти от них, как и старикам. Только те молодые, кто сердце потерял, хотят уйти и уходят. И немало таких! Им сытость всего дороже. Ничего другого не нужно, не дорого.

– Сколько же вам было лет, когда вы были отсюда высланы?

– Пятнадцать. Я уже был не маленький, все помню. Ведь не просто было нас выселить, – мы всегда были на страже, как туры. Чуть что и в горы бы разбежались из селений, попробуй нас тогда поймай и высели! Но нас взяли хитростью. Военные русские части пришли к нам в ущелья и стали лагерями. Многие мужчины сразу на всякий случай скрылись. Но войска занимались маневрами, будто им и дела до нас нет, а потом ушли. Вскоре опять повторилось то же, а потом еще раз, только каждый раз войск становилось все больше. Мы решили, что и правда для войны нужны эти маневры в горной местности, привыкли, перестали обращать внимание. А они забирались все выше в наши ущелья, и становилось их все больше. И вот однажды ночью окружили наше селенье, захватили нас и вывезли. Страшно вспомнить! Даже взять с собой почти ничего нельзя было, – так, какие-то жалкие узлы с одеждой. Женщины голосили, дети плакали… Кто противился, того силой брали. Меня солдат по лицу ударил. Как сейчас я это помню и чувствую. Мы таких вещей не забываем…

Его глаза потемнели, лицо стало сумрачным.

Мы слушали молча. Когда подошли наши мужчины и сказали, что есть попутная машина, мы на прощанье пожали руки своим собеседникам.

Однако оказалось, что машина не пошла вверх по ущелью и в течение ближайших часов транспорт мог быть, а мог и не быть. Непоседливая Ренэ, взяв Лелико, отправилась вверх к ближайшему аулу, Тенгиз делал какие-то наброски в блокноте, а мы с Вахтангом сели под соснами над поворотом дороги, чтобы не пропустить появление какой-либо машины. Лениво разговаривая, мы не могли не любоваться окружающим и не ощущать опьяняющей свежести напоенного хвойным ароматом воздуха. В нескольких местах на склонах ущелья виднелись старые аулы с боевыми и сторожевыми башнями. У ингушей самые высокие и строгие башни на Кавказе. Квадратные в сечении, они постепенно сужаются кверху, отчего кажутся еще выше. Увенчаны они четырехскатными, пологими крышами, сложенными из горизонтальных плит сланцев, края которого ступенями выступают друг над другом, образуя ряды горизонтальных острых ребер. Светлая окраска хорошо отесанного камня, правильность формы и общая заостренность вверх придают удивительную легкость их взлету. Будто стрелы, вонзаются они в небо, гармонично сочетаясь с горным пейзажем.

Часа через два вернулись Ренэ и Лелико, возбужденные, веселые, уже переполненные рассказами. Они познакомились в ауле со спустившимся туда из верховьев старым ингушем Бунухо, который обещал в случае надобности найти лошадь или ишаков и быть для нас проводником в долину Ассы.

– Татьянчик, если бы вы видели, какой это красавец, несмотря на шестьдесят с лишним лет! И подумайте, он стал свататься к Лелико. – «Не отдашь ли ты мне эту девушку?» – говорит. – Я хочу ее сватать». – «Кому, – спрашиваю я его, – сыну?» – «Что ты! К чертовой матери сына! – рассердился он. – Себе хочу ее в жены взять». – «А как же твоя старая жена?» – «А она будет мамкой ей, кормить, поить ее будет. Я ее работать много не заставлю».

Мы посмеялись над смущенной Лелико, нарисовав ей картину того, как соблазнительно быть молодой женой старого Бунухо.

Машины, однако, все не было. Мы пошли обедать в рабочую столовую курорта. Здесь за одним столом с нами оказалось несколько милиционеров.

– Зачем столько милиции на курорте? – удивленно спросила их Ренэ.

– Как зачем? Сегодня концерт и вечер, ингуши и чеченцы могут подраться, порезаться, стрельбу поднять, – ответил один из милиционеров. – Это у них всегда ждать можно.

– А вы сами разве не ингуши?

– Нет, мы осетины. Разве ингуши против ингушей будут действовать?

– А из чего же они могут стрельбу поднять? – поинтересовалась я.

– Ну, у них револьверов хватает.

– Как же так? Разве не запрещено иметь огнестрельное оружие?

– Запрещено! – усмехнулся милиционер. – Где запрещено, а где закон и не действует. Какие тут в горах законы?

– Но где же они достают револьверы?

– В Грузии, рублей по пятьдесят за штуку.

Только после обеда, наконец, появилась грузовая машина, которая шла в верховья ущелья, и мы влезли в нее со своими рюкзаками. Ренэ, после ее ожесточенного сопротивления, усадили в кабину, а остальные вместе с десятком ингушей должны были стоять в кузове, держась за кабину и друг за друга, так как сидеть было не на чем. Узкая, резко петляющая над крутыми обрывами дорога была только год назад проложена на 20 километров выше курорта работавшей в верховьях геологической партией. Дорога была страшная, но привычная для всех, кто находился в машине. И все-таки шофер, молодой ингуш, вывел некоторых пассажиров из равновесия, ему стучали в крышу кабинки, ругали и требовали, чтобы он не озорничал. В одном месте он вдруг резко повернул машину к краю пропасти и остановил ее только тогда, когда ее передние колеса готовы были сорваться в бездну. Кроме того, он нарочно гнал машину с недопустимой скоростью на наиболее опасных отрезках пути, и в местах резких поворотов казалось, что мы летим прямо в пропасть и шофер уже не успеет предотвратить превращение кажущегося полета в реальный. Когда стоишь, облокотясь на кабину, и смотришь вперед, в открывающуюся с большой высоты бездну с клубящимся на дне потоком, впечатление неизбежности падения в эту разверзшуюся пасть становится почти непреодолимым.

Только домчавшись до построек геологической партии и выйдя из машины, мы поняли причину вызывающего лихачества девятнадцатилетнего Кыз-Магомеда, который, довольно улыбаясь, вылез из кабины и с явным восхищением

обменялся с Ренэ адресами. Оказывается, в начале пути он, презрительно оглядев ее, спросил:

– По таким дорогам ездила?

– Ну, что это за дорога! Я ездила по дорогам пострашнее.

– И не боишься?

– Нисколько.

Кыз-Магомед окинул ее уже недоверчивым и удивленным взглядом и применил все свое шоферское мастерство, чтобы ее напугать.

– Боишься? – спрашивал он ее каждый раз, заглядывая испытующе в ее глаза.

– Нет, не боюсь, – спокойно отвечала она.

В результате сердце его было завоевано.

– Ты молодец, – сказал он. – Я таких женщин не видел.

На более спокойных участках пути завязался и более спокойный разговор.

– Ты доволен, что вернулся? – задала опять Ренэ интересовавший ее вопрос.

– Конечно, доволен.

– Но ведь в Казахстане тебе, наверное, жилось лучше?

– Мало ли что! Я эти горы уже не брошу. Всегда буду здесь жить. Я о них все время думал, все время хотел их видеть.

– Но ведь ты их не помнил. Ты же был маленьким, когда тебя отсюда увезли.

– Мало ли что! Мне мой дед всегда о них рассказывал. Он заставил меня любить их раньше, чем я их увидел.

– А все твои товарищи так думают?

– Нет, не все. Многим деньги и веселая жизнь с водкой уже дороже гор. Но много и таких, как я, кого старики другому научили.

Пока протекал этот разговор, переданный нам Ренэ, в кузове машины разговаривали о Хызыре Неизловимом. Особенно много говорил средних лет ингуш, отрекомендовавшийся нам как «главный начальник почты и телеграфа».

– Вот селенье, откуда Хызыр год назад девушку выкрал, – сказал он, когда мы огибали башню одного из попутных аулов.

– И что же он с ней сделал?

– Как что? Любил, в горах у себя прятал, а потом она вернулась домой, потому что ребенка ждет. Как же ей теперь с ним в горах скрываться? Где он ее держать будет?

– И что же, он все-таки видится с ней?

– Рад бы, наверно, да старики запретили. Они посчитали за оскорбление, что он девушку увез, когда все равно жениться и жить с ней всегда не может. Собрали совет старейшин всех селений этого ущелья и вызвали его. Он явился – он ведь местные обычаи и стариков уважает. Ну, и велели ему, чтобы он покинул этот район и больше сюда не являлся, а то они его покрывать и поддерживать не станут.

– А его поддерживают?

– Как же! Все население его поддерживает, прячет, кормит, когда надо помогает. На него как на героя своего смотрят. Если бы не это, разве он был бы неизловимым? Ведь вы его везде встретить можете, и в такой попутной машине, как эта. И не узнаете, что с ним ехали. Никто его не выдаст, – одни боятся, другие уважают его.

– Что же, у него есть отряд?

– Нет, или один помощник, или никого. Некоторое время был постоянный помощник, но вино любил пить. Старики его тоже как-то вызвали на совет и предупредили, – если пить не бросит, они его выдадут. Он обещал, но не бросил. Тогда они его пьяного в одном селеньи связали и милиции отдали, – теперь он, наверно, в Сибири. И Хызыр смолчал – совет стариков до сих пор закон. Только после этого он уже не заводил себе помощника, а когда надо, брал для набега кого-нибудь из селений, на раз, на два, чтобы милиция не знала, кто с ним связан.

– А какие же он делает набеги?

– На сберкассы, на банки. Год назад прискакал он с одним парнем в районный центр, среди бела дня. Поставил помощника с лошадьми снаружи, у дверей сберкассы, а сам вошел внутрь, – оба с револьверами и гранатами. Велел всем, кто был в помещении, встать на колени и закрыть глаза. Что делать? Все послушались. Только один чеченец не подчинился, загородил ему дорогу и сказал, что не допустит к кассе. – «Отойди лучше» – ответил ему Хызыр, – «я не люблю людей убивать, но если не послушаешься, убью тебя». – Тот все равно не отступил, Хызыр и застрелил его. А кассирше что оставалось делать? Сама ему все деньги отдала. Сели на коней и ускакали раньше, чем милиция собралась действовать. Он такие дела в один миг обделывает.

– И часто?

– Нет, не часто. Когда деньги на жизнь и оружие кончаются. Ведь он за все населению платит, а, сверх того, и помогает, часто захваченное отдает. Но грабит

только государственные деньги. Ни у одного человека его собственного не возьмет. И зла никому не делает, если его не трогают. Может, он вам еще и встретится, – мало ли что, в лагерь ваш придет. Так вы его не бойтесь. Он с вами и чаю у костра мирно выпьет, а потом уйдет, не тронув.

В одном месте, где ущелье очень сузилось, наш словоохотливый собеседник сказал:

– Вот здесь в прошлое лето целый отряд засаду против Хызыра устроил. Ждали его на этом береги Армхи, а он по тому берегу тропой поехал. Они стрельбу открыли. Он тоже отстреливался, несколько человек уложил. Под ним лошадь была убита, в руку его ранили. А он все равно ушел, прямо вверх по этим скалам взобрался и исчез, пока его противники через реку перебирались. Он ведь такой ловкий, храбрый и сильный, как редко теперь встретишь. Раньше горские герои были такими.

– Какой же он из себя?

– Красавец, просто красавец. Тридцать пять лет ему сейчас, в цвете сил.

– Но зачем же он так живет, один, без постоянного пристанища, преследуемый, все время подвергаясь опасности быть убитым или пойманным, как зверь, за которым охотятся? Все равно ведь рано или поздно он погибнет!

– А он говорит, что хочет жить и умереть свободным, самому себе хозяином, как жили его предки в этих горах.

Задумчиво и внимательно слушала я рассказ, исходивший от человека, который сам явно оторвался от «жизни предков», носил пиджак и кепку, полон был важности, что он «начальник почты и телеграфа», но явно в глубине души восхищался Хызыром. Впрочем, даже ненавидевшие ингушей милиционеры-осетины говорили о нем с уважением. Сила и бесстрашие человека, который один во имя суровых идеалов дикой вольности противостоит несоизмеримой мощи не только своих противников, но самой неизбежности, не могут не рождать восхищения, при любом к ним отношении. И ведь, кроме того, это явно человек принципа, обладающий благородством и человечностью.

– Он никогда зря никого не тронет, – всегда повторяли люди, говорившие о нем.

В верховьях ущелья, выше зон лесов, среди ставших более пологими покрытых травой склонов, расположились постройки геолого-разведки. Однако работы здесь уже не ведутся, это только административно-хозяйственный центр

партии, разбившейся на несколько разбросанных на большом расстоянии отрядов. Как обычно в бараках разведочных партий, все было необжитое, замусоренное, неряшливое. Нам предоставили пустую комнату с мусором и окурками на полу и с несколькими кривоногими топчанами. Как противоречила некрасивость маленького поселка красоте окружающей природы! И неужели временно, но все же жившим здесь людям это было все равно? Сколько раз, попадая в такие временные поселки или на рудники, я думала об этом удивительном равнодушии к красоте, приобретенном народом, утратившим связь с устоями и эстетическими традициями, бывшими в его же истории, даже в самые темные и трудные времена… Пока я подметала пол, Ренэ принесла букет цветов и поставила его на окно в банке из-под консервов. Разве Ренэ может хоть день обойтись без букета?

Близился вечер, когда Ренэ, Лелико и я поднялись по вытоптанному и общипанному скотом склону горы в аул Гюли. Здесь было то же, что и в аулах, мимо которых мы проезжали. Старые, большие, сложенные из грубо отесанного, но крепкого, крупного камня сакли стояли в развалинах, а к ним или между ними жались мазанки с плоскими крышами, маленькие, плохенькие, наскоро слепленные из чего попало, низкие и тесные. В ауле не было даже башни, а по узеньким кривым закоулкам с трудом можно было пройти, так они были грязны после дождей.

Нам показали дом Бунухо, ничем не отличавшийся от остальных. Перед ним была маленькая терраса, являвшаяся крышей низкого сарая для скота. В самом доме – две тесные комнаты с крохотными окнами, и обстановка, в которой не осталось почти ничего национального, и тем более старинного, – кровати, стулья, шкаф, посуда, все было просто городским фабричным ширпотребом. Но посреди всего этого был сам Бунухо, живой обломок прошлого. Прямой, с тонкой талией, он был подвижен и ловок, но держался важно, с достоинством патриарха или старейшины. Смуглое лицо с тонкими правильными чертами казалось еще более матово-смуглым от обрамляющей его из-под подбородка веерообразной белой бороды, в то время как подбородок, усы и щеки были выбриты. Огромная, расширяющаяся кверху папаха осталась от прежней одежды, все прочие части одеяния вплоть до грубых сапог, имели характер самый обезличенный. Но какие были у Бунухо глаза, черные, стальные, жесткие, затаенно хищные и простодушно лукавые, а главное – удивительно жизнелюбивые, горячие, блестящие, как у юноши, полного сил и желаний!

Пока Ренэ пыталась договориться с ним о лошадях или хотя бы ишаках, а он, уклончиво отвечая, явно водил ее за нос, не открывая своих истинных намерений и набивая себе цену, его глаза впивались хитро и жадно то в глаза смущенно красневшей Лелико, то в мои глаза, встречавшие его взгляд спокойно и без смущения. Видимо, он это уловил и одобрил, потому что вдруг улыбнулся мне и задал ряд вопросов, выдававших его живое и непосредственное любопытство.

Жена его, угощавшая нас по его повелению, но не садившаяся в его присутствии, была рядом с ним совершенно старухой, настолько увядшей и высохшей, что даже нельзя было понять, какова она была в молодости. А какие хорошенькие девочки-ингушки попадались нам в пути! Одна из них, ехавшая с нами кусочек пути до курорта Армхи, была похожа на горный цветок с тоненьким, гибким стеблем, дикий, нетронутый и прелестный. Все глядя на нее, вспоминали романтический образ черкешенки, созданный русскими поэтами. Но и здесь, как всегда в горах, рано отцветали и отцветают цветы женской красоты под тяжестью жизни, возлагаемой на женские плечи древними обычаями, в то время как мужчины живут до глубокой старости, сохраняя красоту и силу, подобно Бунухо.

Не договорившись ни до чего, мы с приближением темноты вернулись в наш барак, а Бунухо обещал придти рано утром и дать окончательный ответ. Оказалось, однако, что нам этот ответ не понадобился. Вахтанг договорился с ингушем, работавшим в геологической партии и периодически возившим на лошадях продукты в геологический отряд, стоянка которого была в верховьях Ассы, как раз там, куда нам нужно было попасть. Утром мы сообщили это Бунухо, который, если и был разочарован, скрыл это под маской все той же, полной достоинства и лукавства, непроницаемости.

Погода с утра была пасмурная. Тучи, почти опустившиеся на нас, готовы были превратиться в дождь. Наш проводник и возчик Махар-бек был одет в резиновые сапоги, резиновый плащ и шахтерскую шляпу. Мы надели на себя все теплое и сколько-нибудь водоустойчивое, что имели, оставили в рюкзаках самое необходимое, а все прочее, – включая юбки, – бросили в одном из бараков. Даже Ренэ, не любящая это, принуждена была надеть брюки, которые у нее имели характер бриджей, и она очень забавно выглядела в них на своих тоненьких, как спички, ножках. Одна лошадь была навьючена, на другой ехал Махар-бек, третья, с привязанной сзади к седлу парой спальных мешков, была предоставлена в наше

распоряжение. Естественно, что мы предложили ехать на ней Ренэ. Но сколько мы ее ни уговаривали, из этого ничего не вышло. В конце концов, она просто рассердилась, заявив, что все эти уговоры показывают ей только, какой «старой клячей» мы ее считаем, но что она способна пройти и не такой путь пешком не хуже нас, а поедет только тогда, когда сама этого захочет. Пришлось прекратить спор, и верхом согласилась ехать я, до того момента, когда Ренэ сама пожелает сменить меня в седле.

Какой это был день и какой путь! Мы находились в сплошных облаках, густым, непроницаемым туманом клубившихся вокруг нас и оседавших частым, мелким, холодным дождем. В десяти шагах уже ничего не было видно. До перевала размытая, глинистая тропа полого поднималась по лугам, которые угадывались вокруг, так как высокие стебли трав и цветов тянулись со всех сторон, склоняясь под тяжестью матовых капель и то и дело касаясь стремян или боков лошади. Эти бока быстро начали опадать, подпруга ослабла, и привязанные к седлу спальные мешки, перевесившись на одну сторону, перевернули седло так неожиданно, что я едва успела соскочить на землю. Что, если бы это произошло позже, на узкой и скользкой тропе над обрывами ущелья, где соскочить было некуда, а лошадь под односторонней тяжестью могла потерять равновесие и сорваться вниз?

После первого, самого высокого перевала, покрытого низкой, промокшей альпийской травой, тропа действительно пошла вдоль глубоких ущелий, уже впадавших в долину Ассы. Впрочем, насколько они глубоки, судить было трудно. С одной стороны от узенькой тропы поднимался крутой каменистый склон, сразу терявшийся в тумане, с другой стороны был виден край крутого обрыва, а дальше – клубящаяся туманом бездна, за которой глаз уже ничего не мог различить. Было какое-то странное чувство путешествия по краю небытия, вне земной тверди, по узкой тропе, возникавшей впереди из облаков и висевшей среди них, как призрачный, неверный мостик, лишенный всякой опоры. Камни были скользкие, привычные копыта лошадей ступали с трудом, осторожно, ощупью. Я все более промокала и от холода превращалась в съежившийся комок. Несколько раз, в более удобных местах, мы останавливались, ждали наших спутников-пешеходов, я предлагала Ренэ и Лелико лошадь, но они отказывались, – одна из упрямства, другая потому, что никогда не сидела в седле. После этого путь продолжался.

Еще два второстепенных перевала, и Махар-бек, показав хлыстом на непроницаемую глубь тумана, сказал:

– Там долина Ассы.

Но ничего не было видно. Только у последнего перевала перед нами вынырнули из тумана развалины каменных стен брошенного аула, мощные и грозные, как развалины замка. Мы остановились опять, чтобы дождаться пешеходов, и я спросила:

– Махар-бек, почему сюда не возвращаются ингуши? Говорят, что в верховьях Ассы, куда мы едем, было много аулов, а теперь там никто не живет.

– Здесь нам не разрешают больше селиться, – сказал он. – Верховья наших долин и ущелий теперь для нас запрещены. Да разве только для нас? Всюду стараются теперь спустить горцев пониже, – вверху, в горах, в старых селеньях трудно управлять, трудно следить за жизнью, устраивать колхозы. Каждый быстро начинает жить по-своему, по-старому, как хочет.

Он говорил по-русски чисто, как все ингуши, вернувшиеся из Казахстана.

– Выше, чем аул Гюли, уже никому не позволяют жить, – повторил он еще раз. – Да и Гюли, говорят, переселять пониже будут.

За развалинами аула из тумана возникли своеобразные мавзолеи ингушского кладбища, – небольшие квадратные постройки с высокими, четырехгранными, конусообразно заостряющимися кверху крышами, сложенными, как и крыши башен, рядами ступенчато отступающих вверх горизонтальных плит сланца с острыми краями. Было что-то эпически величественное, мрачное, грозное, но обреченное в этих призраках прошлого, полурастворенных туманом и густой сеткой сплошного дождя.

Мы начали спускаться вниз по лесу, по невероятно размытой глинистой дороге. Лошадь проваливалась в ямы с водой почти по брюхо, ее копыта скользили и разъезжались, с веток лились потоки воды. У меня уже зуб на зуб не попадал от холода, пальцы, державшие поводья, не разжимались, ноги от железа стремян ныли так, как будто они отморожены. Это стало невыносимо, надо было согреться. На следующей короткой стоянке, когда мы дождались вынырнувших из леса и тумана спутников, покрытых выше пояса мокрой глиной, я соскочила с лошади и сказала, что пойду пешком, так как замерзла. Никто не захотел сесть на лошадь вместо меня, и она пошла без седока за лошадью Махар-бека. Наш путь длился уже четыре часа.

И вот еще два часа пути пешком под непрекращающимся дождем, перешедшим в густой ливень. Было так скользко, что мы все без конца падали в мокрую глину, в мокрую траву, в лужи, – особенно часто падала я при моем слабом чувстве равновесия. Но все шутили, подбодряли друг друга, смеялись над видом друг друга. Только молчаливый Тенгиз ушел далеко вперед за лошадьми.

Так мы добрались до геологического отряда на берегу Ассы. Несколько палаток, еле дымящийся под начавшим стихать дождем костер, – как все это было мне знакомо, как напоминало годы моих геологических странствий по съемочным работам!

Нам – троим женщинам – предоставили пустую палатку-гималайку, а мужчин поместили в большие палатки рабочих. Мы развернули спальные мешки, к счастью, не совсем промокшие и внутри терпимые. Но на нас самих не было ни одной сухой нитки. Пришлось снять все и голыми залезть в мешки, чтобы согреться, отдав одежду для просушки девушке-поварихе. Так, подсмеиваясь над забавностью ситуации, мы лежали в мешках, беспомощные, не имеющие возможности встать, пока через некоторое время та же милая и приветливая девушка не принесла нам «в постель» ужин и чай. Согревшись окончательно, мы заснули, как камни, острые края которых мы ощущали под собой через брезент палаточного пола и через спальные мешки.

Утром мы проснулись от яркого солнца, проникавшего в палатку через поры брезента. Явно была дивная погода. Нам были брошены просохшие детали нашего туалета, но, увы, мои брюки еще не высохли, и мне пришлось задрапироваться в полосу холста, в которую был завернут спальный мешок, и которая успела высохнуть на утреннем солнце. Скрепив эту импровизированную юбку ремнем и булавками, я вышла из палатки.

Рабочие уже ушли на топографическую съемку и на проходку канав. В лагере была все та же молодая, миловидная, белокурая, пышная девушка Эльвира, терская казачка из-под Грозного. Вечером ей были отданы все наши запасы продовольствия, и с простотой геологической жизни мы были приняты на довольствие отряда наравне с его сотрудниками. Позавтракав у костра в теплых лучах солнца, мы получше развесили непросохшую одежду. На той стороне Ассы, почти напротив лагеря, находился храм Хаба-Ерды, цель нашего путешествия. Это христианский, грузинский храм примерно X–XI веков, построенный до распространения в этих местах мусульманства и говорящий о проникновении из

Грузии культурных и религиозных влияний в пределы Северного Кавказа раньше, чем все это было оттеснено исламом. Храм интересен и потому, что украшен монументальным каменными фигурами, переданными высоким рельефом. Только один ученый видел и вкратце описал этот памятник тридцать лет назад. Наша экспедиция была первой, специально направленной после того в это место. Моим спутникам надо было сделать все обмеры храма, зарисовки, фотографии, описания. И при том в очень короткий срок, более короткий, чем мы сами ожидали, – в один день. Перебраться через бурную, многоводную Ассу вброд было невозможно, а единственный мост через нее находился в 12 километрах ниже лагеря, значит, нужны были лошади, чтобы туда добраться, а затем по другому берегу опять подняться к храму. Между тем Махар-бек должен был обязательно на следующее утро двинуться в обратный путь и приехать назад не раньше, чем через неделю. В отряде своих лошадей не было, и уехать отсюда мы могли, таким образом, или завтра, или через неделю. Остаться на неделю не входило в планы моих спутников, так как их ждали еще другие поездки. Кроме того, невозможно было ходить каждый день к храму через мост, делая такой крюк, и возвращаться на ночь в отряд. Дорога занимала бы почти весь день. Поселиться же в храме без крыши или где-нибудь в развалинах аулов на том берегу, не имея ни палатки, ни лошадей, было тоже весьма затруднительно. Решено было попытаться сделать все самое необходимое за один день, проработав с утра до ночи. А между тем, при свете утра, долина Ассы предстала перед нами в такой красе, что хотелось и ее осмотреть, и сделать фотографии ее видов, ее аулов и башен. В результате решено было разделиться. Все с Махар-беком и его лошадьми отправились для работы к храму, а я осталась одна бродить по берегу с фотоаппаратом. Быстроногий Тенгиз шел пешком, а прочие поехали верхом, причем Махар-бек посадил на лошадь вместе с собой Лелико. Потом, смеясь, мне рассказывали, что, поднимая ее в седло, он охнул и воскликнул, вдруг забыв свою чистую русскую речь:

– Вах, какой тяжелый девочка!

С этого времени прозвище «тяжелый девочка» закрепилось за Лелико в нашей компании.

Оставшись одна, я с неудовольствием поправила свою импровизированную юбку – двигаться в ней было не очень-то удобно.

– А вы не стесняйтесь, – заметила Эльвира, – как отойдете от лагеря вверх по Ассе, можете снять эту хламиду и идти в трусах. Там ни одного живого человека нет, только могилы, да змей в них много, – опасайтесь. Я сама, когда есть свободное время, туда ухожу и там загораю в купальнике. Никто не увидит. Наши все в другую сторону на работу уходят.

Потом она добавила:

– Если на гору вон к тем развалинам подниметесь, увидите башню Хызыра. Верно, уж вы слыхали о нем. Он год там жил, а может и больше. Только как-то его выследили, – ведь за ним, как за зверем охотятся. Целый отряд окружил башню. Хызыр в окошечки отстреливался, многих убил. А когда удалось внутрь прорваться, его и след простыл. Говорят, там какой-то тайный ход в горы есть. Только ничего не нашли. А башня теперь стоит пустая, – он ее бросил.

– Что вы еще знаете о Хызыре? – спросила я.

– Да вот в этих же местах год назад геофизическая партия работала, как и мы, из Грозного. А в это время арестовали брата Хызыра и посадили как заложника, чтобы на Хызыра подействовать. Узнал он об этом и прискакал вне себя к геофизикам. Угрожая револьвером, велел, чтобы их радист на нескольких волнах передал: если они не освободят его брата, он не даст вести геологические работы, будет нападать на партии и отряды. Правда, после того, говорят, совет стариков велел ему уйти из этих мест, из-за девушки, которую он увел, – вы, верно, тоже слышали. Только в другом районе он был, в другой партии, но не для того, чтобы помешать работать, а просто узнал, что начальник партии привез большую сумму денег – зарплату для всех. Так он велел ему все отдать, и отдали, – он с помощником был, оба вооруженные, с гранатами. Пришлось еще раз в Грозный ехать за деньгами и везти их уже с охраной, – ведь все равно зарплату люди должны были получить, не их вина, что она пропала.

– Ну ладно, Эльвира, я пошла, – похожу, пофотографирую, позагораю.

По склону, покрытому высокой травой и яркими, крупными цветам, я поднялась на небольшую вершинку, увенчанную развалинами старого аула. Передо мной открылась невыразимо прекрасная панорама. Пять долин сходились здесь вместе, считая и долину Ассы. В результате пространство было широким, и кругозор открывался необычайно живописный. Над долинами, то более узкими, то более широкими, мягко вздымались округлые склоны, покрытые ковром цветущей травы и разбросанными то здесь, то там сосновыми рощами.

Отделившись от лесистых участков, отдельные сосны то сбегали по склонам, то стояли, как стражи, на скалах, обвив корнями растрескавшийся камень. Утесы, прорывая растительный покров, вырывались наружу острыми зубцами или крутыми грядами и обрывами. Подобно им, из того же камня сложенные, вздымались, как из-под земли выросшие, высокие, грозные, настороженные аулы-крепости с высокими, легкими, острыми башнями. И надо всем вдали, замыкая горизонт, тянулись голые, розовато-серые, розовато-сиреневые и голубые цепи высоких хребтов, то образуя отвесные титанические стены, то заостряясь пиками, сверкавшими на фоне синего неба отблесками солнца в белизне снегов. Крохотными становились и сосны, и аулы, и скалы долин перед этими грандиозными грядами гор. Да и в целом как все это было грандиозно, широко, просторно, прекрасно, и сурово, и мягко, напоено поэзией дикой свободы и гармонией могучего покоя, непоколебимой, неисчерпаемой, первозданной силы! Я села у развалин, сняла с себя холст, расстелила его на траве, легла и смотрела, смотрела во все стороны, ощущая себя только маленькой-маленькой частицей в царстве невыразимой красоты. Так прошло много времени. Вспомнив об аппарате, я сделала ряд снимков, пытаясь охватить всю панораму. По ту сторону горы, где я лежала, я уже увидела до того одинокую, светлую, стремительную башню Хызыра.

Я задумалась о странном «романтическом разбойнике». Хызыру был лет двадцать, когда он должен был скрыться в горах, чтобы не попасть в Казахстан. Как он пронес через годы эту упрямую, гордую, непреклонную верность старинным заветам своего народа, старинным заветам патриархальной свободы? Ведь он, наверно, учился в школе; должен был и работать где-то. Только ли воспоминания детства и ранней юности, только ли рассказы стариков, или же знакомство с литературой, с тем же Лермонтовым, оказали влияние на формирование его натуры? Сколько нужно мужества, силы, стихийного и сознательного свободолюбия, чтобы так, несмотря на поддержку соплеменников, все-таки в одиночку, бросить вызов не только могущественной власти, ему противостоящей, но и неотвратимым законам истории! И лишь для того, чтобы погибнуть… Он ведь и сам должен был понимать свою обреченность. Я опять огляделась вокруг и почувствовала, как слит для меня отныне образ Хызыра с образом этой природы, этих скал, этих руин и непреклонно устремляющихся ввысь заостренных башен. Райская при всей своей суровости природа, райский

край, но люди изгнаны отсюда, и только чабаны будут пасти здесь отныне стада в летние месяцы, чтобы к зиме спуститься на равнины. Мне вспомнилась «Последняя граница» Говарда Фаста[98]…

Долгое время я лежала так, смотрела и думала. Потом спустилась к Ассе и по старой тропе пошла вверх по ее течению. После простора, созданного слиянием нескольких долин, я попала в постепенно сужающееся ущелье, по которому с ревом неслась горная река. Говорят, год назад молодая девушка, студентка-геолог, несмотря на предостережения горцев, бросилась верхом на лошади в эти волны, чтобы перебраться на другой берег, и была как щепка унесена вместе с лошадью на глазах своих товарищей. Даже притоки Ассы так бурны, что нам пришлось отказаться от первоначального замысла не возвращаться от Хаба-Ерды прежним путем, а спуститься к Грозному вниз по Ассе. Не говоря о том, что достать лошадей для этого было невозможно (и это там, где раньше было столько лошадей), но и пути такого нет, нет мостов через потоки, и только горец, знающий все обходные тропы в ущельях, может совершить этот переезд, и то с трудом и с большой затратой времени. Так сказали нам и Махар-бек, и топографы геологического отряда.

Идя вверх по берегу, по узкой, каменистой тропе, то спускавшейся к воде, то карабкавшейся на скалы, я видела на том берегу храм и лошадей, около него пасшихся. Затем я подошла к таким же остроконечным каменным мавзолеям, какие уже встречались нам по дороге. Под крутым каменным склоном, заросшим выше косматыми соснами, стояли эти молчаливые, прекрасно сохранившиеся могильники. В каждом было небольшое отверстие, сквозь которое можно было видеть груды костей. В одном могильнике у самого отверстия лежал белый, будто дождями вымытый череп, скаля ровные крепкие зубы. Я вспомнила, что Ренэ с ее своеобразной и непосредственной экстравагантностью хотела иметь череп у себя на столе среди прочих необыкновенных вещей. Но я не посмела даже прикоснуться к нему, – мне не хотелось ничем нарушать посмертный покой тех, кто так дорожил могилой в родной земле, среди родных скал. Я опять вспомнила перевоз костей тех, кто умер в Казахстане, в страну предков. И еще вспомнила Пшавелу. Ведь я была на кладбище кистинов, такое большое место занимающих в его поэзии наряду с хевсурами и пшавами.

На другом берегу реки, на нешироком луговом участке берега, живописно рисовались высокие стены полуразрушенного аула с прекрасно сохранившейся

белой башней. Я села на камень и долго смотрела. Аулы ингушей, – особенно здесь, в верховьях Ассы, – невелики, компактны, похожи на крепости. Дома из тесаного, хорошо пригнанного крупного камня, тесно примыкают друг к другу и наружу обращены высокими стенами, в три, а то и в четыре этажа, но нерасчлененными, почти глухими, с небольшими окошками в верхней части; эти стены подобны снаружи крепостным стенам с бойницами. Только внутрь, в узкие, как щели, улицы и на небольшие площадки выходят двери и большее количество окон. Крыши плоские. В результате извне аул воспринимается как комплекс прочно сросшихся между собой и друг над другом выступающих простых каменных массивов, увенчанных в центре грозной, но легкой по сравнению с ними башней. Иногда таких башен несколько. Во всем чувствуется простая, веками отточенная культура строительства, прочного, обороноспособного, выросшего из условий природы, климата, жизни. Жизни суровой, полной вечных боевых тревог, но независимой, подчиненной лишь своим патриархальным установлениям. Выше, там, где Асса берет исток в вечных снегах главного Кавказского хребта, выходят в это ущелье тропы хевсуров, живущих за хребтом и совершавших набеги на своих соседей-мусульман, кистинов, в свою очередь, не остававшихся в долгу в этом отношении. Опять мне вспомнились романтические поэмы Пшавелы, величайшего после Руставели гения, рожденного Грузией.

Солнце начинало садиться, тени удлинялись, пустой аул темнел и превращался в грозный, зубчатый силуэт. Мне стало холодно – я была только в трусах и в лифчике, – и, закутавшись в холст, я медленно пошла в обратную сторону, к лагерю.

Там уже ярко горел большой костер и раздавались голоса людей, вернувшихся с работы. Взяв высохшую одежду, я заменила ею свою холщевую драпировку и села у костра. Наши еще не возвращались из Хаба-Ерды.

– Вон он, черный хевсур, – со смехом указала на меня нескольким рабочим Эльвира и пояснила мне: – Они всегда беспокоятся, когда я одна остаюсь в лагере, чтобы на меня кто-нибудь не напал. А тут вдруг среди дня прибегает один и говорит: «Мы в трубу теодолита рассмотрели, что у развалин на горе какой-то человек прячется, в белой шапке, сам весь черный, полуголый. Это, наверно, какой-то хевсур тебя подстерегает. Так меня послали, чтобы я был при тебе, а то вдруг тебя похитит или обидит как-нибудь». Я сначала испугалась тоже, а потом вспомнила, что это вы там загораете в купальнике и белой шляпе.

И она опять расхохоталась, показывая красивые, сверкающие зубы. Рабочие тоже смеялись, глядя на меня. Мне дали в руки ружье и так со смехом сфотографировали.

Ко мне подсел топограф, русский, с волосами, казавшимися почти белыми по сравнению с загорелым лицом, на котором голубели светлые глаза.

– У нас тут отряд интернациональный, – сказал он шутливо. – Всякой твари по паре. Вот, видите, там сидят под деревом два брата-мохевца, хорошие, крепкие, только очень молчаливые ребята. Зато поют хорошо грузинские песни. Вечером услышите. Вот тот, кудрявый, видите, – ингуш, учитель из Гюли; учительский институт в Казахстане кончил; решил это лето у нас поработать. А вот тот долговязый, рыжий, мрачный – чечен. Только он послезавтра уходит, расчет взял. Из-за Эльвиры. Это девка такая, что им тут только головы кружит. Пришел он три дня назад к нашему геологу, сейчас по делам в партию уехавшему, и говорит: «Увольте меня, не могу здесь больше работать». – Ну, а товарищи его смеются, да и мы знаем – невтерпеж ему стало около нее быть, весь извелся, на нее глядя.

Кто-то позвал моего собеседника, и он отошел. У костра сели братья-мохевцы и учитель-ингуш. Братья были тяжеловесны, медлительны, с квадратными лицами, крупными чертами, густыми, широкими бровями. Учитель же, – молодой, лет тридцати, – легок, строен, худощав, с тонкими чертами, с орлиным профилем, с серыми глазами под пышной шапкой темных вьющихся волос над высоким лбом. Все молча смотрели в огонь, а Эльвира, раскачиваясь пышными бедрами, откидывая золотистые волосы, падавшие на ее разрумянившееся лицо, ходила вокруг, занятая приготовлением еды.

– Ты сегодня мой помощник, дежурный, – сказала она младшему мохевцу, улыбаясь ему голубыми глазами с непроизвольным кокетством. – Помнишь это?

– Да уж помню, – отвечал тот флегматично.

– Ну, так принеси мне воды. Вся кончилась.

Он молчал.

– Ну, лапушка, – шутливо погладила она его по жестким волосам. – Принеси! Мне ведь тяжело.

– Что хочешь проси, – мрачно ответил тот. – Дров наколю, хворосту принесу. Только за водой не пойду. И не проси. Знаешь ведь сама – это у нас не мужское дело.

– Ну и упрямый же, – надула она розовые губы, – Давно бы забыть пора, что мужское и что немужское дело. Кто тебя тут позорить будет? Не хочешь – не надо, другой принесет.

И она отошла, чтобы послать за водой мальчика-ингуша, послушно исполнившего ее просьбу.

– Разбаловали мы ее, – сказал медленно старший мохевец. – Все почти за нее делаем. На что тогда и повариху держать? Сами могли бы уж и обед сварить. Нехитрое дело, когда понадобится.

– Ну, не ворчи, – голосом более высоким и мягким, чем у мохевцев, сказал учитель-ингуш. – Нам ведь без нее скучно было бы. Пусть даже и ничего не делает, а все же хорошо, что она у нас есть.

Он улыбнулся тоже неожиданно мягко, и в его серых глазах мелькнуло что-то неуловимо мечтательное и поэтичное.

– Так-то оно так, – согласился старший мохевец, как будто нехотя, но примиренно.

Он встал, ушел в палатку, и оттуда раздались звуки пандури и вполголоса, на низких нотах напеваемый мотив грузинской песни.

К костру опять вернулся топограф и заговорил со мной. Как-то незаметно, но разговор с неизбежностью коснулся Хызыра и истории с похищением девушки.

– Нет, он не похищал ее, – вдруг сказал, медленно качая головой, младший мохевец. – Она сама с ним ушла. Это при мне было.

– Как же это было? – спросила я с любопытством.

– Да так. Сидел я у ее отца в доме, а она вокруг нас хозяйничала, в простом темном платье ходила. А потом, вижу я, вышла из другой комнаты в платье светлом, нарядном. На праздник, что ли какой собралась? – подумал я про себя. Старик-то ничего не заметил. А она вышла и больше не возвращается. Прошло немного времени, – вдруг крики, шум, люди прибегают, говорят: Хызыр на краю селения ждал, она к нему прибежала, и они вместе ускакали. Поседлали лошадей, оружие схватили, какое было, в погоню бросились. Только разве поймаешь? А девушка сама с ним сбежала.

– Да, это правда, – подтвердил учитель, и опять в легкой улыбке на его губах и в блеске его глаз из-под густых черных ресниц мелькнуло выражение романтически-мечтательное. Будто тайная, неопределенная, потенциально

богатая страстями игра чувств, как отблески костра, трепетала в тонких и нервных чертах его лица.

– Вот этого парня чуть не ухлопали в прошлом году вместо Хызыра, – сказал топограф, указывая на молодого ингуша, сидевшего поодаль. – Он, как и сейчас, подрывником на канавах работал, – ведь здесь второй год изыскания ведутся. И вот мимо канавы, где он работал утром, проскакал Хызыр, а за ним погоня. Он свернул в сторону и исчез в скалах, а те, что гнались за ним, видят, что из канавы какой-то человек поднялся и опять скрылся. Подумали, что это Хызыр спрятался, и давай стрелять по нашему парню. Он ничего понять не может, одно ясно – пули кругом цокают. Что делать? У него уже шнур от запала был наготове, зажег он его и рванул прямо перед погоней. А потом, воспользовавшись паникой, выскочил, и тут уж разобрались, в чем дело.

Пока я слушала эти рассказы, стало совсем темно. Снопы искр летели от костра к рассыпанным по небу искрам звезд. Еда была готова, и, наконец, усталые и в общих чертах закончившие работу, вернулись мои спутники. Уезжать на другой день никому не хотелось, но и остаться на неделю для Ренэ и Вахтанга было невозможно. Решено было ехать завтра с Махар-беком по прежнему пути.

Рано утром мы сфотографировали весь маленький отряд вместе с Эльвирой, потом Эльвиру на лошади Махар-бека, поблагодарили за гостеприимство и отправились в обратную дорогу. Несмотря на то, что теперь была чудесная солнечная погода, переход опять занял у нас шесть с лишним часов хорошего спортивного хода. На этот раз верхом ехала все-таки Ренэ, и ее тощая фигурка с тоненькими ножками в бриджах до колен, ее благородно очерченный профиль, горбинка носа и белая войлочная шляпа с небольшими полями очень напоминали мне Дон-Кихота в тазике цирульника на голове, только Дон-Кихота женского рода, субтильного и миниатюрного. Я невольно улыбнулась про себя, почувствовав это сходство, но улыбнулась с нежностью, а не с насмешкой. Образ отрешенного от будничной прозы, экстравагантно смешного, но верного идеалам, благородного, чистого и доброго сердцем рыцаря всегда был для меня дорог. И разве сходство с ним Ренэ было только внешним?

Дорога была та же, но воспринималась как новая. Ведь мы ее видели такой впервые, – туманы не клубились, заполняя долины, дождь не застилал дали, тропа не висела над краем ущелий, как над краем небытия. Еще раз с высоты первого перевала окинули мы взглядом место слияния долин, грандиозный простор,

широкие формы рельефа, отвесные стены гор, замкнувшие горизонт, снеговые вершины, рощи, скалы и разбросанные, как руины замков, развалины старинных аулов. На одной из конусообразных вершин, на фоне леса белела тонкой стрелой башня Хызыра. Все сверкало в лучах утреннего солнца таким богатством красок, такой щедрой зеленью и голубизной, что опять я подумала: какое райское место… И ни одной живой души, кроме временного маленького геологического отряда… Люди отсюда изгнаны.

За последим, самым высоким перевалом, где жар солнца не мог прогреть холодного воздуха, мы стали полого спускаться в долину Армхи и вскоре попали в такое море шелковистых трав и сверкающе-ярких цветов, что даже среди обычной роскоши субальпийских лугов это показалось нам необычным.

Усталые, опаленные солнцем, мы были к обеду уже в столовой геологической партии. Нам хотелось съездить в Гюли, – мы обещали посетить на прощанье Бунухо, и только в этом случае он обещал, что разрешит его сфотографировать. Но получилось так, что сразу после обеда представилась возможность доехать на машине до курорта; когда придет следующая машина, было неизвестно, мы могли, пропустив эту машину, застрять здесь на сутки, а то и более. Пришлось наскоро прощаться с Махар-беком, отношения с которым за дорогу установились самые хорошие, и попросить его передать Бунухо, чтобы он на нас не обижался.

До заката солнца мы были уже на курорте. Вероятно, нам предстояло здесь заночевать, хотя Вахтанг и пошел на разведку относительно идущих в Орджоникидзе машин. Не надеясь на скорый отъезд и не очень даже его желая, так как мы были слишком утомлены, но не имея еще пока места для отдыха, мы пошли в клуб санатория, где выступал самодеятельный осетинский ансамбль из Орджоникидзе. Меня совсем не тянуло на этот концерт, но Ренэ звала, и я за ней последовала. Остальные наши спутники куда-то исчезли, и мы остались вдвоем в одном из последних рядов переполненного зала, недалеко от двери, в него ведущей.

Лезгинка, когда ее танцуют горцы в национальных костюмах, всегда красива, и я смотрела то на танцоров, то на публику, заполнявшую зал, думая все о том же: как невыгодно сравнение со старой, самобытной, природной культурой горцев той «полукультуры», которая ломала в них старое, а к новому приобщала на таком низком уровне, так неорганично и грозя такой стандартностью все

нивелирующего, мещански-обывательского «среднего уровня»… Так же невыгодно, как сравнение затянутых в черкески стройных фигур танцоров с неуклюже сидящим полугородским одеянием и кепками тех, кто окружал нас в зале.

И вдруг я вздрогнула и, переглянувшись с Ренэ, увидела, что она вся насторожилась от той же мысли, что у меня, и от чувства, сходного с моим. В дверь вошел и остановился в проходе совсем близко от нас горец лет тридцати пяти, среднего роста, широкоплечий, в суконной куртке, перетянутой ремнем и облегавшей его мощную грудь и тонкую талию подобно бешмету. На нем была очень большая, расширявшаяся кверху папаха из редкого темно-коричневого барашка с тугими завитками шерсти. Несколько сдвинутая назад, она позволяла видеть, что голова его была выбрита по старинному обычаю горцев-мусульман, что теперь встречается очень редко и только у стариков. Небольшая густая, темная, завивающаяся крупными, волнистыми завитками борода обрамляла снизу веером его бритые смуглые щеки и бритый, выступающий вперед, волевой подбородок. Усы тоже были выбриты над красивым, твердо очерченным, сжатым ртом. Правильный нос с горбинкой, большие темные глаза под черными, густыми, слегка нахмуренными бровями, большой выпуклый лоб дополняли его внешность. Он был очень красив мужественной, гордой, властной красотой. Уже это не могло не привлечь к нему внимания – перед нами был редкостный, великолепный образец человеческой породы. Но еще больше поражали в нем манера себя держать и выражение лица. Его голова была высоко поднята и даже несколько откинута назад, поэтому казалось, что эта прекрасная крупная голова выше всех окружающих, хотя в действительности это было не так. В лице читались гордость и неустрашимость, одновременно и настороженные, и полные сдержанного вызова. Все в этом человеке дышало таким достоинством, такой непреклонностью и силой, что окружающие люди показались серыми и мелкими рядом с этой героической и романтической фигурой, рядом с этой самобытной, яркой, мощной личностью. Непокорностью, несгибаемостью, вольностью веяло от этого горца, будто сошедшего со страниц лермонтовских поэм или романов Бестужева-Марлинского[99]. Более идеальное воплощение созданных ими образов трудно было себе представить. Будто орел или олень ворвался неожиданно в темный зал…

Незнакомец явно пришел не для того, чтобы смотреть представление. Быстрым, испытующим взглядом горячих, зорких, орлиных глаз окинул он зал. Его прекрасный, по-орлиному гордый профиль еще раз застыл перед нами, будто изваянный из твердого, темного камня искусной рукой романтического художника. Потом он повернулся и, быстрым, легким, сильным движением развернув плечи, вышел из зала.

Не сговариваясь, но под влиянием одного и того же импульса, мы с Ренэ вышли вслед за ним. Однако, пока мы выбирались из своего ряда мимо сидевших в нем зрителей, прошло несколько мгновений. Незнакомца уже не было около клуба, – он исчез так же внезапно и стремительно, как и появился.

– Хызыр должен быть таким, – сказала я уверенно.

– Да, я думала о том же, – взглянула на меня Ренэ. – Подумайте, какой великолепный тип, какая героическая фигура! Пойдемте, походим вокруг, может быть, мы еще раз его увидим. Вот бы сфотографировать его незаметно! Хотелось бы на память сохранить этот образ.

– Но такой образ забыть нельзя, – покачала я головой. Я затрепетала, увидев этого человека, и знала, что никогда уже его не забуду, как не могу забыть стихи Лермонтова.

Мы обошли территорию санатория. Уже темнело. Незнакомца нигде не было. Вахтанг, Тенгиз и Лелико отыскали нас, чтобы сообщить о машине, которая собралась идти в Орджоникидзе. Ренэ взволнованно рассказала им о виденном. Лелико по-детски открыла глаза. Положительный и трезвый Вахтанг добродушно посмеялся над нашей впечатлительностью, но трезво добавил, что мы безумные, если думали сфотографировать Хызыра. – он бы нас пристрелил на месте; Тенгиз выслушал внимательно, но молча. Он всегда молчалив, всегда сосредоточен в себе и всегда смотрит вокруг внимательным взглядом, будто старающимся запомнить увиденное. Редко он делает даже беглые зарисовки, в блокноте, а этюды не пишет совсем. Говорят, так всегда. А потом, когда приезжает домой, вдруг из памяти его возникают и переносятся в рисунок, в акварель, в гравюру стилизованно-упрощенные, но свежие и живые образы виденного. Жаль, что он не видел горца, завладевшего нашим воображением, – он мог бы по памяти набросать его портрет.

Было совсем темно, когда мы выехали на машине из Армхи. На Военно-Грузинской дороге мы оставили Тенгиза, спешившего поймать попутную машину

прямо до Тбилиси, а сами ночью опять попали на альпинистский перевалочный пункт в Орджоникидзе.

На другой день, когда мои спутники закончили какие-то дела в городе, Вахтанг опять пошел на автостанцию узнать о машинах, а я сидела на бульваре, где мы обещали его ждать, но где осталась я одна, так как Ренэ увлекла Лелико на базар, посмотреть на гладиолусы, – здесь, действительно, прекрасные цветы и их много продается на улицах. Я сидела и писала стихи.

– Где же остальные? – торопливо сказал Вахтанг, подходя ко мне.

– Любуются цветами на базаре, – улыбнулась я.

– Ну вот, я так и знал! – раскипятился он при всей своей добродушной флегматичности. – Я мог взять сейчас автобус и привезти его сюда за вами. Но не рискнул. Надо же знать психологию Ренэ! Цветами любуется! Разве можно при этом о чем-нибудь по деловому договариваться?

И он сел рядом со мной, безнадежно махнув рукой.

– Муж мой часто говорит, что у меня в голове одни цветочки, – сказала я. – Но уж куда мне тягаться в этом отношении с Ренэ! Да вот и она. Ренэ, как гладиолусы?

– Дивные! Мы стояли около них и любовались. Могли бы еще долго так простоять. Жаль, что купить букет не было ни денег, ни смысла…

– Еще бы! – буркнул Вахтанг. – А я из-за вас какой автобус упустил! Нет, больше я вас не отпущу. Идемте искать машину вместе.

На улице нам встретился ветеринар-ингуш, с которым мы разговаривали в Армхи. Он бросился к нам как к друзьям, как к родным. Так всегда бывает, когда горцы встречают в городе людей, с которыми они познакомились в горах, но которые, конечно, не проявили себя в горах как люди, относящиеся к местному населению высокомерно, недоверчиво или враждебно.

И вот мы опять мчимся по Военно-Грузинской дороге в маленьком, почти пустом автобусе. Тени удлиняются. Близок закат.

Рядом со мной сидит москвич, музыкант, дирижер какого-то оркестра, аккуратненький, белобрысый интеллигентик, тщедушный столичный житель, с шаблонной восторженностью реагирующий на окружающее и расспрашивающий меня о пережитках «дикости» и нравах «туземцев». Я отвечаю нехотя, со скрытой раздраженностью, но он безумно словоохотлив и не замечает моего отношения к нему. Для этого он слишком поглощен и доволен собой, этот столичный, средний,

но все-таки «деятель культуры», носитель цивилизации, полный превосходства над всякой «дикостью».

Когда мы мчимся вниз по петлям Млетского спуска, я вижу, что он бледнеет, не стыдясь сказать, когда спуск кончен:

– Это все-таки слишком рискованно и страшно. Я себя чувствовал весьма не по себе. Мне даже было немного нехорошо.

И это порождение цивилизации – мужчина!

Между тем его жена и теща терзают Ренэ не столько расспросами, сколько ахами, охами, восклицательными знаками, придя в восторг от того, что они едут вместе с авторами путеводителя по Военно-Грузинской дороге, – Лелико проговорилась им об этом. Участь Ренэ хуже моей.

На одной из остановок Ренэ шепчет мне, смеясь:

– Развратный Татьян! Как всегда захватили единственного мужчину, а я должна путаться с этими несмолкающими восторженными дамами, похожими на кудахтающих кур.

– Не завидуйте, Ренэ, то, что сидит рядом со мной, едва ли может называться мужчиной, а по болтливости тоже не уступает курице.

Зато как они потом будут рассказывать в Москве о пережитых опасностях и страхах, о своем знакомстве с Кавказом, о спутниках-авторах, которые сами рассказывали им обо всех достопримечательностях дороги! Они уже осаждают Вахтанга, не давая ему мирно подремать.

Мне скучно от них. Почему у меня такое отношение к обывательской, самодовольной столичной интеллигенции, оторванной от настоящего мира, настоящей жизни, настоящей природы, настоящего познания и мужества, смотрящей на мир из окна комнаты, из окна поезда или автобуса, еще лучше – из окна своего автомобиля и удовлетворенной этим, собой и своей куцей цивилизацией? Едва ли они могут прожить без водопровода и электричества несколько дней, не теряя душевного равновесия, и думают, что это и есть цивилизация.

В Пасакаури была сделана остановка, и Вахтанг, отбрасывая на этот раз обычную в экспедициях строгую «коллективность» существования, угостил нас в увитом зеленью ресторане роскошным после всего того, что было в поездке, ужином с вином и даже коньяком. Конечно, Ренэ не пила коньяк, да и вино едва-едва, – она завзятая трезвенница, хотя отнюдь не склонная требовать того же от

других. Но я проявила свою геологическую способность пить. И Лелико первый раз в жизни попробовала коньяк и к шутливому ужасу Ренэ нашла его приятным. Я пожелала ей успеха в самом заветном, о чем она мечтает, и она вспыхнула, чокаясь со мной.

– За вашу любовь к нам, – сказал мне Вахтанг.

– За самую красивую и милую для меня республику после Ленинграда, – ответила я.

– Грузия очень польщена, – засмеялся он. – Тем более что ведь Ленинград – не республика, и, значит, из республик первенство в вашем сердце все-таки остается за нашей.

Остаток пути прошел в темноте, озаряемой светом фар, вырывавших из мрака дорогу. Я уже почти не отвечала своему соседу и почти не слушала его. Но это было несущественно, – он сам себя великолепно слушал. Когда мы выгрузились в Тбилиси из автобуса, пожилой, добродушный шофер, по типу выходец из Западной Грузии, сказал Ренэ:

– Знаешь, ты очень хорошо рассказала о дороге. Сколько я по ней езжу, а всего этого не знал. Теперь сам тоже рассказывать пассажирам буду. Даже деньги с тебя брать не хочется. Многому от тебя научился.

И он пожал руку Ренэ.

***

Сколько нитей тянется от гор и встреч, – нитей, которые уже не оборвать!

Осень того же года. В нашей ленинградской комнате на диване сидит Ренэ и говорит:

– Нет, вы подумайте, Татьяна! Мы с вами гениально проницательны, сколько бы ни смеялись такие скептики, как Вахтанг Долидзе. Тот человек, которого мы увидели в концертном зале курорта Дарьял, был Хызыр. Это абсолютно точно. Когда я вернулась из Сванетии, у меня дома лежало письмо от Эльвиры, – помните белокурую Эльвиру? Она писала, что ровно на третий день после нашего отъезда к топографу, работавшему около Хаба-Ерды, прискакал Хызыр со своим помощником, одним из своих оруженосцев. Он сошел с лошади и спокойно заявил, что геологический отряд должен через семь дней убраться в Грозный, если не хочет подвергнуться поголовному истреблению. «Я предупреждал год назад, что не дам вести геологические работы в верховьях Ассы, пока не

освободят моего брата», – добавил он. – «Я не люблю убивать, поэтому и говорю вам заранее: если вы не прекратите работу, вы будете перебиты». – Конечно, в отряде началась паника. Не зная, что делать, радировали о создавшемся положении в Грозный. Оттуда ответили: «Пришлем солдат». На третий день в лагерь опять прискакал Хызыр, сидел на том самом месте у костра, где сидели мы. Это мне потом рассказывал уже геолог, к тому времени вернувшийся в отряд, а в конце лета приезжавший в Тбилиси и со мной повидавшийся. Он лично разговаривал с Хызыром и выслушал от него новую, спокойную, но вескую угрозу: «Три дня прошло. Я напоминаю, потому что не люблю убивать мирных людей. Через четыре дня вас не должно быть здесь». На следующее утро прибыл большой отряд солдат. Прочесали все вокруг, по ошибке ухлопали какого-то хевсура, но Хызыра и след простыл. Ради престижа продолжали две недели геологические работы под военной охраной. Кое-как основное закончили. Но уж как работали и какое было нервозное состояние – легко себе представить! Потом все свернули и убрались в Грозный. Когда геолог все это мне рассказывал в Тбилиси, я описала ему человека, которого мы видели в Дарьяле. «Так это же Хызыр!» – воскликнул он. – «Тут нет никаких сомнений. Все, вплоть до папахи, деталей одежды, не говоря о лице, бритой голове, бороде, принадлежит ему и никому другому. Он был в тот день, несомненно, в районе курорта, потому что направлялся в Ассу через единственный удобный перевал, через который прошли вы. Видимо, он помирился со старейшинами аулов в верховьях Армхи, где живет его возлюбленная. И на другой день направился через перевал, чтобы еще днем позже явиться в наш отряд». – Подумайте, Татьян, если бы мы выехали с Ассы днем позже, мы встретились бы с Хызыром на тропе, в горах, а не в Дарьяле. А если бы мы еще на день задержались в Ассе, он бы приехал туда при нас, да еще в Хаба-Ерды, где, конечно, мы были бы. Какая мимо прошла интересная возможность! Хорошо, что мы его хоть в Дарьяле увидели. Геолог описал мне его в точности, а ведь он сидел с ним совсем рядом и долго разговаривал. Но подумайте, правда, что было бы, если бы мы тогда попытались его сфотографировать! Как бы он это воспринял! Разве он допустил бы?! А вот разговор с ним, если бы встретились в отряде, мог бы быть очень интересным.

Биография Хызыра по рассказам тоже для нас уточнилась. Он действительно не был среди высланных в Казахстан, так как его отец с семьей своевременно скрылся в горах. Он был из числа тех «бандитов», которые все

десять лет ингушского изгнания отстаивали свою свободу и жизнь в районе Столовой горы, делая этот район далеко не безопасным для всех, кто туда вторгался. Как и чем они жили? Вероятнее всего, в пещерах и в значительной мере разбойничьими набегами на осетин, занявших ингушские земли. Здесь и сформировался Хызыр, здесь он приобрел своей неукротимый дух, отчаянную привычку к свободе, ловкость и силу вольного дикого зверя. Но когда началась для него такая жизнь, он был уже юношей. До того он учился в школе, хотя школьное образование у ингушей было распространено слабо. Он научился читать по-русски и, говорят, что он обычно или даже всегда возил с собой томик Лермонтова.

Возил! Да, теперь, когда я добавляю эти последние строки зимой, о Хызыре надо говорить уже в прошедшем времени. Он уже заплатил жизнью за свободу, слишком большую и недопустимую для человека в эпоху всеобщей цивилизации. Совсем недавно в одном из писем Ренэ написала мне: «Я слышала, что Хызыра поймали». Без комментариев. Но я знаю, что она чувствует. Хорошо, если он был сразу убит. Вольная горная птица не может жить в клетке и влачить цепи принуждения. Конечно, пойманный, он должен был бы пытаться бежать и его должны были при этом застрелить или уже застрелили. Но лучше, если он погиб сразу, на родной земле, среди любимых гор, не узнав ужаса и унижения неволи… Потом я слышала, что он действительно не сдался живым в руки противника.

Август 1961 г.
XI. Зерехдераны – Златокузнецы

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока…
М.Ю. Лермонтов[100]

……

…….

Ночь в поезде, и опять день в Баку. Бретаницкие разъехались, и мы провели этот день с Ниной Владимировной Минкевич-Мустафаевой. Она повезла нас на гору Кирова, куда мы поднялись на фуникулере и откуда с большой высоты любовались великолепной панорамой моря, островов, порта, набережных. Это было, действительно, очень красиво. На бесплодной горе, раньше голой, теперь разбит парк с разными увеселительными сооружениями. Мы прошли по аллее дальше до недавно созданного и еще далеко не благоустроенного Пантеона. Остановились над могилой Рустама Мустафаева[101]… Был теплый, ясный вечер; город внизу тонул в золотистой пыли, пронизанной косыми лучами. И вдова Мустафаева, сильная, живая, моложавая, все еще цветущая женщина, одна из крупных археологов Баку, всегда очень разговорчивая, внешне веселая и смешливая, вдруг погрузилась в мысли и чувства, рожденные воспоминаниями. Она говорила и говорила, может быть, почти не замечая нас. О том, как они познакомились, как он искал возможности встретить ее на улицах, как он объяснился в любви, как она не хотела сразу оформить их любовь браком, – ведь она была на шесть лет старше него, боялась его связать, боялась, что его чувство к ней недостаточно серьезно, чтобы стереть эту разницу…

– Год мы жили вместе, но ничего не оформляли. Он потом смеялся, что этот испытательный срок ему туго достался, – он каждый день боялся в чем-нибудь провиниться, чтобы я от него не отказалась как от не выдержавшего испытание. А это было ему не легко! Ведь у него был бешеный характер. Когда он стал его проявлять, сначала я не знала, что делать, – оскорбляться, плакать, уйти? А через мгновение после вспышки он мог на коленях прощенье просить, целуя руки, клянясь в любви. Он со всеми был таким. И на работе. Там он бывал особенно буен, несдержан, прям, ни на какие компромиссы не шел. Работал только так, как ему хотелось, как подсказывало внутреннее чувство. Поэтому сколько было врагов, сколько скандалов и официального, и неофициального характера! А я

научилась постепенно быть тем сдержанней, чем он был вспыльчивей. Иначе не могло быть совместной жизни. А ведь мы так любили друг друга! Он через год испытательного срока настоял на браке. И странно, – мусульманин и с таким характером, – он не стеснил моей свободы, он уважал мои интересы, мою работу, мою самостоятельность. Я ездила в экспедиции. Он верил мне, во всем верил. Вначале у нас не было детей, хотя я не возражала против того, чтобы иметь одного ребенка. Но если бы даже он не появился, ему было достаточно одной меня. Это было для него главным, остальное в нашей семье могло быть или не быть.

Она задумывается.

– Мы были очень счастливы, мы входили в занятия друг друга, поддерживали друг друга, он делился со мной всеми своими делами, всеми замыслами. А то вдруг вернется домой поздно, когда я уже сплю, и говорит: «Вставай, едем в ресторан, я неожиданно деньги получил». – «Но уже поздно… Я не одета…» – «Ну оденься! Неужели я, заработав, не могу провести ночь со своей собственной женой, как мне хочется?» Всегда он умел придать оттенок романтики и поэтичности даже обыденной повседневной жизни.

Когда мы возвращаемся в тесную, неказистую, единственную комнату Минкевич, она вытаскивает папки рисунков, эскизы декораций, монографию о муже, не в силах отрешиться от нахлынувших на нее воспоминаний.

– Почему вы не напишете сами книгу о нем? – спрашивает Ренэ.

– Трудно. Слишком все это личное для печати.

Она уходит, хлопоча, чтобы нас накормить, а Ренэ говорит:

– Как они, действительно, любили друг друга! Когда он утонул, это случилось так нелепо, случайно, во время купанья в море он потерял сознание от солнечного удара, а никто во-время этого не заметил… Она покончила бы тогда с собой, если бы не маленькая дочка. Но ни тогда, ни потом, когда эта дочка выросла, она и отдаленно не значила для нее столько, сколько значил он. Скорее любовь к работе ее спасла и поддержала. Видимо, результат этого и то, что дочка не очень удачная выросла. Мало ей было уделено души и сердца, отданных другому слишком всепоглощающе. Она и сейчас живет воспоминаниями только о том счастье, хотя не часто говорит об этом и умеет быть внешне такой веселой и общительной.

Мы углубились в рассмотрение набросков Мустафаева.

– Это не дает никакого представления о его творчестве, – заметила Ренэ. – Сильной стороной его был не рисунок, часто даже слабый и неточный. Его стихией были краски, его постановки поражали фантазией, размахом, темпераментом и безудержной красочностью Востока. Первый национальный художник Азербайджана, он был действительно необычайно национален и самобытен.

На другой день мы заходим в Музей Изобразительного Искусства имени Рустама Мустафаева. В вестибюле стоит его мраморный бюст.

– Он очень похож здесь, – говорит любившая, нет, и теперь любящая его женщина, и тень пробегает по ее лицу, когда она смотрит на тонкие, красивые черты лица, неподвижные в белом холоде мрамора.

Когда мы остаемся на мгновенье с ней вдвоем в пустынных залах музея, она вдруг обращается ко мне, – или даже не ко мне, ведь я здесь нечто случайное:

– Я никогда после его смерти не считала, что я должна хранить физическую верность ему. Но все, что было в моей жизни потом, только подчеркивало неизмеримость и несравнимость этого настоящего, что было у меня с ним.

Странно, как неожиданно иногда открывается человеческая душа в порыве откровенности!

Опять ночь в поезде, и опять мы в Тбилиси. Всего на три дня. Раньше, чем Ренэ со своими спутниками отправилась в Сванетию, я вылетела на самолете в Кутаиси. Но за эти три дня произошел странный разговор, отделивший меня незримой стеной от Александра Цибулевского[102].

В это лето он был весь издерганный, измученный, усталый, вечно небритый, и, видимо, часто голодный, – мать его лежала в частичном параличе, тетка, работающая в Рустави, приезжала только по выходным дням, женщина, которую он нанял, то приходила, то не приходила. Он сам часто по нескольку дней не мог быть на работе, так как не с кем было оставить больную. Я предложила ему чем-нибудь помочь – он хмуро отказался.

Перед отъездом в Ингушетию я принесла ему портфель с рукописями.

– Мне не хочется оставлять это у своей хозяйки, – сказала я. – И потом… Когда едешь в горы, все может случиться. Если я не вернусь, перешлите это, пожалуйста, по адресу, который здесь указан.

– Хорошо. Вы можете быть спокойны.

Потом он добавил:

– Я читал ваши стихи о Дагестане. Простите, что без спросу. Мне давала их Ренэ.

– Ну и как? – спросила я рассеянно.

– Не знаю, может быть, я уже не могу отделаться от слов, которые вы сами сказали, что пишете стихи для себя, а не для стихов. Между тем стихи должны писаться для стихов, – это закон искусства. Во всяком случае, в результате вы идете часто слишком простыми и легкими путями, мало ищете форму и ее новизну, повторяете уже известное, сами повторяетесь. Мне понравились всего три – четыре стихотворения. Простите за резкость суждения. Но я ведь не совсем обычный читатель, с несколько особыми требованиями.

– Да? Но я так и думала, что вам мои стихи не понравятся.

В тот момент, в том настроении мне это было все равно. Я даже не сказала, что с моей точки зрения стихи все-таки не для стихов и искусство не для искусства… Что задача стихов

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?[103]

… Что художественная форма не цель, а лишь лучшее средство для осуществления этой задачи, дающее возможность полнее всего выразить сердце и подействовать на другого через ощущение красоты… Что холодны те стихи, которые пишутся для формы, а не от избытка чувства и мысли, неудержимо ищущих выхода… Что как бы ни были мои стихи небрежны и недоделаны, в силу создавшейся привычки писать для себя, я далеко не безразлична к форме… Но конкретность эпитетов, много раз подчеркивающая нечто в действительности существующее и для меня важное, ценнее мне, чем его произвольно выбранная оригинальность и необычность… И тот, кого не подкупают в стихах искренность и непосредственность переживания и мысли, пусть не читает мои стихи, конечно, предназначенные не для эстетов и снобов, не для рассудочных ценителей и не для любителей во что бы то ни стало новинок формы… Да, впрочем, если я пишу их просто так, как они пишутся, разве я их вообще для кого-нибудь предназначаю с преднамеренным расчетом?

Я ничего не сказала. И, казалось, это не могло испортить мои отношения с Александром. Я принимаю людей такими, как они есть, – а его я вполне принимаю с самой дружественной симпатией, даже если мы в очень многом расходимся… В том числе и в отношении к искусству. И можно ли обижаться на

утверждение, что в моих стихах много недостатков и слабостей? Ведь это действительно так, независимо от того, могут ли они кому-нибудь нравиться и кого-то трогать или нет. Но Александр резко потерял ко мне всякий интерес, как это, по моим наблюдениям, было вообще свойственно его характеру после периода увлеченного интереса к кому-либо. Много странного бывает в человеческих отношениях. И только лишний раз убеждаешься, как, в сущности, одинок каждый в глубинах своего «я», отгороженных от других, проницаемых и доступных лишь для большой любви, да и то не до конца, не совсем, не полно.

Вечером я была у Блёткина, смотрела его летние этюды и абстракции, для него самого являющиеся лишь поисками цветовых сочетаний и закономерностей их выразительности. Он дал в этот раз заглянуть и в такую лабораторию своего творчества. Но особенно я насмотрелась на пастель, изображающую крыши в дождь, и на один из этюдов, передающий то полуреальное, полусказочное впечатление, которое произвела на меня Алазанская долина с высот Сигнага при закате солнца.

– Вам это нравится? – спросил художник, следивший за выражением моего лица.

– Да, очень.

– Считайте, что этот этюд ваш. Я его пришлю вам в Ленинград.

– Я слыхал, что вы собираетесь в Италию? – спросил он потом.

– Собираюсь! Но разве можно быть уверенным, что поедешь в Италию, пока не сядешь в самолет, туда летящий? Я себя не обольщаю надеждой.

– И все-таки… Если вы будете во Флоренции, обещайте мне, что хоть раз вспомните там обо мне.

– Обещаю, – улыбнулась я.

Август, 1961 г.
XII. От южных гор до Ленинграда

О южные горы…
Чтоб вечно их помнить, там надо
быть раз…
М.Ю. Лермонтов[104].

На другое утро я одна выезжала в Шови. Еще со времени маршрута по Военно-Осетинской дороге мне хотелось как-нибудь отдохнуть в этом мире снеговых вершин и лесов, открывшихся передо мной когда-то с горы, называемой туристами «Кругозор».

Сорок пять минут самолетом до Кутаиси. Через два часа я уже лечу четырехместным самолетом до Амбролаури. Лечу не над ущельями, а внутри их, так что кажется, – самолет вот-вот заденет крыльями острия скал, отвесные стены склонов, зубчатые верхушки густого леса. Вот-вот он зацепится за ветви деревьев… Красные крыши деревень, виноградники, – все это местами возникает так близко, что можно почти потрогать. Да есть ли самолет? Ведь это всего лишь невидимый стеклянный колпак над нашими сиденьями. Других стен и крыши у кабины нет. Не повисла ли я в воздухе без всякого аппарата, на узком сиденьи, рядом с летчиком, напряженный строгий профиль которого я вижу так близко около себя? Он весь – такое воплощенье внимания и точности управления, что можно уловить лишь легкие движения глаз и твердые движения рук. Малейшая ошибка – гибель.

Остановка в Амбролаури среди кудрявых, зеленых гор Рачи. И опять полет, – уже на вертолете. Опять внутри ущелий. Но как они сузились, стали выше, грандиозней! И скалы, и пихты превратились в великанов. А вертолет – всего лишь маленькая стрекоза, с треском летящая и лавирующая в узких горных щелях. Вот внизу на острой скале, отдельно высящейся на стыке ущелий, поднялись прекрасные развалины замка, такого сказочного, заколдованного среди сказочной природы… Кажется, мы почти коснулись его. Не так ли подлетали к замкам на коврах-самолетах и на крылатых конях фантастические герои? Мир древних эпосов приобретает непреодолимую, осязаемую реальность, а реальность, наоборот, превращается в волнующее, с детства знакомое сновиденье.

Наконец, вертолет опускается на белоснежную, будто снегом засыпанную ромашками, поляну среди курорта Шови. Я нахожу директора курортоуправления, отдав ему письмо, которое мне достал Капанадзе. Но директор новый, письмо

адресовано не ему, – прежний недавно уехал. На курорте нет мест. Частным образом тоже не устроиться, ведь здесь нет даже селенья, только жилища обслуживающего персонала. Единственно, где можно найти пристанище, это турбаза, – говорят мне все. Мне не хочется на турбазу. Но не уезжать же сразу обратно?

Напрасно попросив пристанища у нескольких служащих курорта, я добиваюсь только одного, – мне разрешают пока оставить в камере хранения портфель и сумку. Ведь до турбазы два километра. И вот я иду одна по лесной дороге в ущелье шумной Чанчахи, среди сплетения лесных зарослей, среди цветов, узкими, извивающимися тропами, огибающими каменные глыбы.

На турбазе мне сразу же предлагают отдых в качестве радиальной туристки на две недели в 4-х местной комнате. Один из экскурсоводов, которого я не помню, улыбается и здоровается со мной.

– Да это ведь заядлая туристка, весь Кавказ изъездившая. Кандидат наук, работает в Эрмитаже и в университете.

Я вспоминаю, как семь лет тому назад, пройдя Военно-Осетинскую дорогу, переехав верхом с осетинами через Мамисонский перевал, я впервые вступила здесь на территорию Грузии. Все как будто не изменилось. Та же небольшая турбаза с деревянными постройками на небольшой, отгороженной прямо от леса площадке. Тот же самодовольный, сытый, занятый ловким обделыванием своих дел директор. Та же тишина лесистых гор, остающаяся фоном и для шума бурной Чанчахи, протекающей рядом с базой, и для голосов туристов, и порою для излюбленных песен пешеходных туристских маршрутов. И те же склоны ущелья, поднимающиеся вокруг высокими стенами, покрытые густым, мощным лесом, сначала смешанным, потом хвойным, с гигантскими пихтами, вонзившими в небо острые верхушки. Белые ромашки на полянах. Белые снеговые пики к северу, среди которых высится седовласая голова Бубы, сверкающая днем, голубеющая и угасающая к вечеру. А к югу, вниз по ущелью, многослойными, многоплановым силуэтом голубых, четко оконтуренных вершин, разделенных серебристой или золотящейся к вечеру дымкой, замыкает даль Шолда. В новолуние сверкающий месяц цепляется за ее вершину и потом прячется за ней, выглядывая и дразня золотым рогом. Все так же. В чем-то, во многом, в основном, и я та же. И вместе с тем другая, столько видевшая, столько узнавшая на манившем меня Кавказе…

Первые дни я просто отдыхаю в лесу в одиночестве. Лежу среди огромных камней, оплетенных «сеткой изумрудной», на мягких подстилках моха, более узорчатого, более богатого, чем самые драгоценные бархаты. Смотрю как венчики цветов колышатся и трепещут, подобно бабочкам, а бабочки порхают, как сорвавшиеся со стеблей разноцветные венчики цветов. Я беру с собой книгу стихов Галактиона Табидзе[105], но почти не читаю. Поэзия и красота природы мне кажутся более увлекательными и соблазнительными, чем поэзия человеческая. Временами я ложусь на спину и смотрю на острые вершины пихт, которые кажутся до того высокими, что касаются белоснежных на яркой синеве облаков, а облака проплывают вверху медленно, цепляясь за эти острые хвойные пики. У меня кружится голова от этой небесной глубины и от смолистого аромата хвои.

Одна поднимаюсь я в ясный день и на «Кругозор» и долго сижу на поляне, увенчивающей его вершину. Кольцом, широким, обращенным внешней стороной к таким же высокогорным далям, поднимаются вокруг меня снеговые вершины, сияющие снегами, сверкающие алмазными потоками ледников. Они кажутся олицетворением вечной, бесстрастной, прекрасной, мудрой Вселенной с ее незыблемыми законами. И я чувствую не ничтожество свое, а гордость, что я одна, лицом к лицу, с этими великанами, высящимися, как столпы мироздания. И все та же тишина, – боже, какая великая тишина вокруг меня.

Даже когда я познакомилась с несколькими еще «отдыхающими» туристами вроде меня, я проводила день от завтрака до обеда в полном уединении лесов и гор. Три женщины, со мной жившие, были мне скучны и неинтересны, и общение с ними ограничивалось лишь тем минимумом, которого требовали правила вежливости. Мне было очень жаль, что в другом доме жили две молодые женщины Нуну и Ламара, родственницы, хотя я вскоре почувствовала неприязнь между ними. Обе работали в детских садах, но Ламара кончила философский факультет университета по психологии, принуждена была работать не по специальности из-за двоих собственных маленьких детей и извлекала из общения с детьми материал для статей по детской психологии. Маленькая, хорошенькая, живая, энергичная, она очень притягивала меня к себе. Нуну не была так умна и обаятельна, но умела производить привлекательное впечатление и приветливостью, и разговорами о грузинской литературе. Приятным и милым оказался из отдыхающих также «батоно» (вежливая грузинская форма обращения) Георгий (Георгий Георгиевич Лордкипанидзе), приветливый старик, шутливый и

вспыльчивый, очень живой, очень сангвиничный. Естественник, учитель и заведующий учебной частью одной из тбилисских школ, он втихомолку пишет по ночам исторические повести и новеллы… Это является для нас источником интересных разговоров. Калбатоно Ксения (мне нравится называть их по-грузински, а не по имени-отчеству) – сестра его покойной жены, старая дева с соответствующими причудами и капризами, но все же вполне приемлемая соседка по комнате. Она ботаник, преподаватель сельскохозяйственного института. Я сижу с ними за одним столом в столовой, вручив свои талончики на еду заботам Георгий Георгиевича.

В один прекрасный день я подстрекнула Георгия Георгиевича, Ксению Ивановну и Нуну на восхождение на одну из ближайших диких лесистых гор с целью обязательно достичь ее вершины. Мы вышли очень рано. Не тронутая туристами гора была совершенно лишена протоптанных троп. Крутой подъем по руслу ручья сменился еще более крутым подъемом то по чаще леса, которую даже приходилось расчищать топориком, то по траве, достигающей высоты наших плеч и полной ярких цветов. Воздух становился все прозрачнее, все чище; казалось, он очищает и врачует легкие, удаляя накипь и перегар отравляющей за год городской атмосферы. Я фотографировала своих спутников и дивные виды на снеговые вершины, открывающиеся перед нами. Идти приходилось очень медленно, приноравливаясь к темпам Ксении Ивановны, которой было трудно, хотя она не хотела в этом сознаться. Мы шутили, болтали, отдыхали под гигантскими лапами развесистых пихт.

Чем выше мы поднимались, тем труднее становился подъем, тем дальше уходила вершина. Но мы не хотели отказаться от цели. Часы шли за часами. И, наконец, среди густого леса перед нами открывалась зияющая, голая, скалистая, покрытая мертвым пеплом осыпей, бездна, в которую обрывался обратный склон нашей горы, за пропастью повторенный таким же противоположным страшным, ободранным склоном. Будто грандиозная трещина расколола на две половины одну лесистую гору и в эту мертвую безжизненную трещину еще никто никогда не заглядывал. Ни один кустик не цеплялся за ее утесы и оползни. Даже по дну ее не струилась живая струйка ручья. Это был безжизненный мир гибели, смерти, угрозы, будто расселина готова была сомкнуться и раздавить все живое, что осмелилось бы вторгнуться в ее безмолвные грозные пределы.

– Вы нарочно не одели сегодня свое красное платье, – смеясь, говорит мне батоно Георгий, – а то мы оставили бы вас здесь, на вершине, как красный флаг, как знак победы в нашем отважном восхождении.

Он называет меня за мой коричневый загар «Африка» и «супруга Лумумбы».

Мы садимся отдыхать над обрывом. Далеко внизу, извивается змейка русла, оживающего, вероятно, весной и осенью.

– Вот бы перенестись туда вниз и по этому ущелью вернуться обратно! Какое оно дикое, голое и суровое, даже таинственно страшное! Может быть, никогда никто не проходил по этой бездне.

И вдруг серые, голые стены ущелья сами хотят напомнить о том, что горы бывают не только дружественны, но и враждебны к человеку. В прозрачной тишине, повторенные и усиленные звонким эхо, раздаются звуки, подобные пушечным залпам. Это катятся по склону, будто рукой горного духа приведенные в движение, тяжелые камни и над местом камнепада вздымается столб пыли. Что-то грозное и пугающее в этом самопроизвольном движении глыб, в этом грохоте. Кажется, мы подсмотрели украдкой потаенную жизнь природы, не предназначенную для человеческих глаз, и замираем на мгновенье, не смея проронить ни слова. Забывшись, я придвигаюсь к краю обрыва, заглядывая вниз, сливая свое «я» с этой дикой, влекущей меня природой…

– Осторожнее, – хватает меня за руку батоно Георгий. – Край обрыва не прочен. Один миг и можно покатиться в пропасть, в упскрули.

Так называется пропасть по грузински.

– Я люблю упскрули, меня к ним тянет, – говорю я, стараясь, чтобы слова мои прозвучали как шутка. – Разве это не самая приятная и романтическая смерть? Зачем ждать старости, бессилия, болезней? Упскрули лучшее спасенье от этого! – И я смеюсь и беспечно, и тревожно в одно и то же время.

– Африка, будьте благоразумны и все же сядьте подальше от края. А то представьте себе, какой конфликт между Россией и Грузией может возникнуть, если вы упадете сейчас в упскрули? Как мы докажем, что мы, трое грузин, не сбросили вас, русскую, в пропасть? – добродушно шутит он.

– Хотите, я напишу записку, что прошу никого не винить в моей смерти, особенно Грузию, к которой отношусь более, чем дружественно?

– Кто же поверит такой записке? Нас заподозрят в том, что мы заставили вас ее написать.

Смеясь, скользя по крутым склонам, падая, повисая на ветках, мы начинам спускаться вниз, осложняя путь тем, что собираем попадающиеся нам грибы, разламывая и бросая слишком большие и уже червивые шапки боровиков, мелькающих перед глазами. Солнце начинает клониться к закату. Время обеда уже давно прошло. Поэтому мы не удивляемся, когда, достигнув подножия горы, слышим в лесу крики. Это ищут нас. Из лесу выходит экскурсовод Виталий, обрадованный, что поиски окончились.

Солнце заходит, когда умывшись и переодевшись, я сижу одна на скамейке во дворе турбазы. Мимо проходит тот экскурсовод, который знал меня раньше, грозит мне пальцем, садится рядом со мной на скамейку и приятельски говорит:

– Одной участнице этого безумного похода уже досталось как следует! А где еще этот дядя, который с вами увязался? Придется и с ним поговорить.

– Он очень милый дядя. А он тут ни в чем не виноват. Это было по моей инициативе. Он просто присоединился, когда ему предложили идти на гору.

– Нечего ходить на горы, не умея.

– Но мы умеем ходить.

– Уметь ходить, это значит возвращаться в контрольный срок.

– Но мы ведь не назначали контрольного срока. А учесть время подъема и спуска было трудно, не зная заранее ни пути, ни расстояния. Мы лезли по такой чаще, что даже прорубали себе путь топором. Как в джунглях – улыбаюсь я шутливо.

– Слышишь, – обращается он, смеясь, к севшему рядом инструктору, – они были в «шовских джунглях»!

– Ну что ж! И еще пойдем. В следующий раз на снеговую вершину.

– С инструктором, с инструктором, одни не пойдете. А то я вас на Бубу с ночлегом и палатками отправлю. Стоило вам появиться на турбазе, как начались сумасшедшие и, – поверьте, – слишком рискованные самодеятельные вылазки. Обещайте, что этого больше не будет и мы не должны будем посылать спасательные отряды, даже не зная, где вас искать. Вы же знаете порядки горных турбаз. – Потом он добавляет серьезно:

– Несколько групп туристов погибли в это лето благодаря своей неосторожной самодеятельности в горах.

И он уходит.

Весь следующий день в моей голове роятся стихи, и так продолжается даже после обеда. Я не могу писать их при других, как часто пишу под вечер куски своей книги, говоря, что это статья, которую мне хочется сделать до начала работы. Поэтому я опять ухожу одна в лес и сажусь на камни у Чанчахи. Над шумящим горным потоком, среди сверкающей на солнце зелени, я записываю навязчивые, против воли моей возникающие строки.

– Милая Африка, – говорит вечером Георгий Георгиевич, – нельзя столько писать в лесу. Вы приехали отдыхать, а к концу дня выглядите усталой.

– Но я пишу не только стихи. Я пишу о многом, увиденном в это лето. Жаль потерять свежесть впечатлений. И, когда начинаешь что-то писать, мысли цепляются за мысли, нельзя остановиться, пока не разовьешь их до конца, иначе утратишь их нить и уже ничего не выйдет.

За это время сын Георгия Георгиевича, двадцатидвухлетний толстяк Заза, привык ко мне и нередко ведет со мной разговоры на скамьях во дворе турбазы или бродя после обеда вдоль берега Чанчахи. Он – забавное и вместе с тем, невеселое, – если задуматься, – воплощение предельной лени, склонности к плотоядным удовольствиям, откровенного скептицизма, доходящего до наивно откровенной циничности, и вместе с тем скрашивающего все это добродушного простодушия. Он более циничен на словах, чем на деле, – для активной развращенности он и слишком пассивно-ленив, и, видимо, слишком безобиден. При этом он искренен и не хочет казаться лучше, чем есть. Скорей даже хуже, и в этом проявляется неизжитое мальчишество.

– Заза, вы учитесь в ВУЗ'е?

– Нет. Зачем учиться? Учись, не учись, все равно потом надо работать, и все равно работать скучно, и нужно это только ради денег, без которых не проживешь. Не знаю, может быть, мне когда-нибудь и захочется учиться, а пока не вижу в этом никакого смысла.

– В чем вы видите смысл?

– В удовольствиях.

– Ну в каких, например?

– В девочках, в вине, в веселой компании.

– А вы были когда-нибудь влюблены? – шутя, спрашиваю я его в другой раз.

– Что вы! – восклицает он даже обиженно. – Конечно, нет. Разве я похож на того, кто способен на такие глупости?

– А все-таки вы верите, что такие глупости бывают?

– В виде исключения все бывает, – и безумие, и самоубийство, и мало ли еще что. Но в среднем, являющемся правилом, – а лишь об этом и стоит говорить, – никакой любви нет. Просто это слова для соблазна и для прикрытия желанья, направленного к получению удовольствия. А в остальном это только писатели придумали для романов, чтобы их интересно было читать.

– А вы когда-нибудь женитесь?

– Почему же нет?

– Но для чего же жениться, если нет любви?

– Как для чего? Может быть, скучно станет одному, – мало ли что? Захочется такого развлечения, как дети. А потом надо же, чтобы кто-то заботился, стирал, гладил, обед готовил.

– А девочки останутся для удовольствия?

– Конечно. Это всегда так бывает. Нельзя каждый день есть все одно и то же изо дня в день, из года в год. Разве вы думаете иначе?

– Вы странная, – говорит он мне сам. – Вы ничем здесь не развлекаетесь, ни с кем не заводите флирт. Что вы делаете ночью?

– Сплю.

– И не видите того, что делают туристы, туристки и прочие за оградой турбазы, а иногда и в турбазе? – фыркает он презрительно как тюлень.

– Но у меня есть другие удовольствия, – я читаю, гуляю в лесу, любуюсь горами.

– Читаете стихи? – еще более презрительно растягивает он слова. – Можно подумать, что вы маленькая девочка. А я всех бы поэтов утопил. Не понимаю, для чего стихи?

– Ты что же совсем ничего не читаешь?

– Теперь нет, надоело. А раньше читал. Но, конечно, не стихи.

У него хорошая память, он выкладывает порой кучу сведений по статистическим данным какой-либо страны, по космографии, по лингвистике. Порой он рассказывает о каких-либо исключительных случаях. Но вообще исключительное, хотя оно и интересует его, не имеет с его точки зрения значения. Важно статистически среднее, как единственно нормальное и закономерное.

Гуляя по лесу, со мной и с Нуну он ничего себе не позволяет, хотя и балуется, как медведь или как неуклюжий ребенок, то брызгая водой, то ломая нам руки в

ответ на какую-нибудь насмешливую шутку, то пытаясь схватить нас в охапку, чтобы бросить в бурные воды Чанчахи. Но на словах чего только он не говорит, развивая с добродушной чистосердечностью самые циничные теории аморальности и поверхностно-легкомысленного гедонизма!

Как-то один раз, когда мы целой компанией сидели под деревом на курорте Шови, я расположилась полулежа на земле.

– Не лежите, – сказал мне вдруг Заза, так, что я слышала его одна.

– Почему? Вы боитесь, что я простужусь?

– Нет, ваш вид, когда вы лежите, слишком сильно действует. Вы сами должны это знать.

– Как вам не стыдно! Ведь рядом со мной вы ребенок. И при том испорченный ребенок.

– Для желаний возраст не имеет значения, – возражает он и смотрит на меня чувственно, но так лениво, что ясно, – даже для того, чтобы вкусить какой-то привлекающий плод, он не сделает ни одного лишнего движения, – плод сам должен упасть в его рот.

– Я расскажу все сейчас вашему папе, и не смейте больше так со мной разговаривать, – говорю я с шутливой рассерженностью. Его невозможно принимать всерьез.

– Обломадзе, – называю я его и все смеются, подхватив это прозвище.

Когда я выражаю удивление, что Заза в его возрасте так смотрит на жизнь, на людей, на человеческие отношения, он возражает:

– Но ведь большинство такие. Большинство моих товарищей, моих сверстников смотрят так. Кому хочется учиться, кому хочется работать? Это делается только потому, что иначе не проживешь. Всем хочется только удовольствий, – девочек, вина, веселых развлечений. Конечно, есть чудаки, которые любят свою работу и работают не ради денег. Есть чудаки, которые влюбляются и страдают. Есть разные чудаки, и даже поэты. Но ведь это только исключения, подтверждающие правило. Важны не они, а то, что является правилом. Вот вы, видимо, из таких чудачек. Пишете что-то во время отдыха, думаете о чем-то… У вас даже глаза бывают такие же, как у Аэлиты…

– Такие же красивые? – шучу я.

– Нет, такие же широко открытые, напряженные и будто удивленные, – простодушно поясняет он.

Я не знаю, большинство ли таких, как Заза, среди «золотой молодежи» в Грузии, – но таких, конечно, слишком много. И даже не таких, а гораздо худших. Если отнять у Зазы в известной мере присущую ему ленивую любознательность, а главное отнять его добродушие, заменив это бóльшей пустотой ума и сердца, лживостью, сухостью, жестокостью, хищностью, наглостью и ничем не смягченным цинизмом не только слов, но и дел, – разве это не будет широко распространенный тип его сверстников в Тбилиси? Разве, – как я уже писала, – не таковы те, кто толпятся в ожидании туристок против улицы Сулхан-Саба, толкаются по Руставели, нахально и вместе с тем с нечеловеческим безразличием к человеку оглядывая проходящих женщин и отпуская вслед наглые замечания? Бездельники, готовые на аферы, спекуляции и нередко даже преступления, если родители не дают им достаточно средств для «веселой жизни»… И это значительная часть молодежи! Конечно, далеко не вся, конечно! Но как много такой…

Последние вечер Георгий Георгиевич, Ксения Ивановна, Заза и я иногда проводим за круглым столом во дворе, играя в дурака. Я не люблю карты, но мне не хочется выпасть из компании. И карты спасают меня по вечерам от надоедливого внимания Матвея Георгиевича, жеманно-высокопарного доцента-химика из Тбилиси. То яблоко, то стакан хванчкары стали появляться в последние дни на моем столе за обедом, как знаки этого внимания. Боясь жары и педантично заботясь о своем здоровье, он однако даже днем готов сидеть со мной на солнце, долго и скучно ведя «умные» беседы, вычурно строя фразы и произнося слова в нос и слегка нараспев. Он так самодоволен, самовлюблен, неумен и однообразен, что быстро делается надоедливым и скучным. Мы все над ним смеемся. А его любезность, увы, встречает в ответ минимум необходимой вежливости и желание уклониться от длинных разговоров.

– Скажите, – тянет он слова, – правда ли, что у вас в Ленинграде на Зимней канавке, где утопилась Лиза, повешена мемориальная доска?

И это самым серьезным тоном.

Или:

– Неужели можно играть в карты вместо того, чтобы побеседовать о великом Леонардо да Винчи? Ведь вы могли бы столько рассказать нам о величайших гениях!

– Но я о каждом из них рассказываю студентам в течение не менее шести лекционных часов. Короче я не умею. Вас это устраивает? – говорю я с насмешкой, которую он все равно не способен заметить.

– Конечно! Я был бы в восторге! – отвечает он, жеманно склоняя голову.

– Да? Мне это очень лестно, но меня, к сожалению, это мало устраивает, – я слишком устаю зимой от лекций, чтобы читать их еще летом.

И я продолжаю играть в карты, сохраняя, по возможности, любезный вид.

В обратный путь я с семьей Георгий Георгиевича выехала на машине в Кутаиси, по той же дороге, что и 7 лет назад. Утренний холод горного воздуха быстро исчезает. Я ощущаю, как по мере спуска вниз, с горных высот, удушливый зной охватывает меня, переходя во внутренний жар. В Кутаиси мы застаем температуру 41 градус в тени и горячий, как из пекла дующий ветер. Голова у меня раскалывается от боли. Я договариваюсь на турбазе о ночлеге с директором, к которому у меня записка от моей тбилисской хозяйки. Тем временем Георгий Георгиевич со своими родными устраивается в гостинице. Когда я прихожу к ним в номер, я уже еле держусь на ногах.

– На вас лица нет, – говорит Георгий Георгиевич. – Не стесняйтесь, ложитесь на диван и поспите. Мы не будем вам мешать.

Я сначала отказываюсь, но потому чувствую, что теряю последние силы. Я почти падаю на диван и засыпаю тяжелым, давящим сном, похожим на кошмар. Я не могу пошевелиться, но слышу сквозь сон как меня чем-то накрывают. Потом Георгий Георгиевич говорит Ксении Ивановне по-русски, а не по-грузински, как они обычно говорят между собой:

– Мне кажется, что она больна. Может быть, позвать врача? Ей, видимо, очень плохо.

– Подождем, – отвечает Ксения Ивановна. – Пусть она выспится. Вероятно, сказалось резкое изменение давления и температуры. У меня самой голова раскалывается от боли.

Только через четыре часа я прихожу в себя, просыпаюсь и встаю. А ведь я почти никогда не сплю днем… Сильный организм выдерживает все, не так ли? Не поэтому ли он нашел в этот раз спасенье в таком странном, но поддержавшем его сне?

Я ночую на полу в кабинете директора, – больше мест на переполненной турбазе нет, а отказать в ночлеге мне не хотели. Меня давит все та же

невыносимая духота после прохлады Шови. Кутаиси вообще удивительно жаркий и душный город. Утром, как только появляется уборщица, я освобождаю свое место, и позавтракав, еду с туристами в Гелатский монастырь. Погода изменилась, низко повисли облака, духота осталась, но не такая тяжкая. Ожидается дождь. Над знойной котловиной Кутаиси дорога делает петли и уходит в кудрявые, лесистые горы. На склоне одной из них среди лиственного леса издали виднеются шатры над куполами монастырских церквей. Сквозь каменные ворота мы входим в стены монастыря, построенного царем Давидом Строителем. Это бывшая средневековая Академия и один из главных культурных центров Грузии времен–– расцвета. Здесь сохранились фресковые росписи разных периодов от XII до XVIII века.

В абсиде главной церкви находится единственная уцелевшая в Грузии мозаика очень высокого технического качества и художественного мастерства, с прекрасным, мерцающим нежными оттенками смальт изображением богоматери. Это буквально галерея грузинской стенной живописи почти всех столетий, показывающая наглядно и ее развитие, и ее подъем и ее падение. Под одной из плит старой надвратной церкви покоится тело царя Давида, пожелавшего, чтобы люди, входившие в монастырь, ступали ногами на его надгробную плиту, ибо перед лицом смерти все равны и одинаково ничтожны. Археологи собираются теперь вскрыть эту могилу, еще никогда никем не исследованную.

Как во сне скользят в моем сознании красота и романтика этого исключительного места. Дважды была я в душном Кутаиси, дважды собиралась в Гелати и дважды неожиданные препятствия вставали на пути к этому. Если бы я была здорова, я бы осталась в монастыре на два-три дня. Теперь мне этого не хочется, нет для этого сил. Как и многое другое, я откладываю подобный замысел на будущее… А что сбудется из отложенного таким образом? Кто знает!

Пересев в Кутаиси с одной машины на другую, я еду в тот же день в Сатаплию, где осматриваю следы динозавров на плитах мергеля и сталактитовые пещеры, еще недавно никак не использовавшиеся, а теперь подлежащие такой же отделке, как знаменитые пещеры Чехии или Гарца. Пока в них только проведена рабочая линия электричества и причудливые столбы, колонны, натеки мерцают в узких проходах и широких залах, создавая впечатление сказочности, чего-то с детства знакомого, жившего в воображении, связанного с образами карликов, гномов, духов земли и гор. Может быть действительно скоро все это будет отмыто,

освещено замаскированными прожекторами и из естественной красоты природы будут извлечены для туристов новые эффекты средствами цивилизации. Впрочем, гораздо легче «цивилизовать» эту пещеру, чем очень большую массу самих наших туристов… Я не говорю о той части молодежи, которая сознательно, полная любознательности, идет в тяжелые переходы с тяжелыми рюкзаками. Жаль только, что (как подтвердило и пребывание в Шови) даже эти пешеходные туристы не все таковы, не мало среди них случайных, клянущих даром «распределенные» или со скидкой «навязанные» трудные путевки. Но что же тогда говорить об «автомобильных дамах», к которым вновь возвращаются мои мысли и среди которых столько узких обывательниц или искательниц легких удовольствий? Невольно я опять возвращаюсь к грустным итогам о таком дорогом моему сердцу в принципе туризме…

Вечер мы сидим в гостинице у Георгия Георгиевича, вспоминаем Шови.

– Без вас скучает Матвей Георгиевич, – со смехом говорит мне батоно Георгий. – Несколько раз выражал сожаление, что вы так рано уезжаете, и винил в этом меня. «Если бы вы не уезжали, и она бы еще не уезжала»… – повторял он мне. Вот видите, супруга Лумумбы, ко мне еще можно ревновать. И он передразнил ломаную манеру говорить и изящно отставлять в стороны кончики оттопыренных пальцев, присущие моему ухажеру.

– Нужно же, чтобы в мужчине было столько кокетства! На нескольких женщин хватит.

Вечером все уезжают в Тбилиси поездом, а я утром еду туда же автобусом через живописный, кудрявый от лиственного леса Сурамский перевал, мимо тех мест, с которыми связана описанная Чоникадзе [106] легенда о Сурамской крепости[107] и о юноше, замурованном в ней из-за жестокой страсти женщины… Может быть, жестокая женщина еще страшнее, чем жестокий мужчина? – думаю я, когда мимо проплывают развалины былой цитадели. И вспоминаю, что Сурами связаны также с пребыванием здесь уже смертельно больной Леси Украинки[108]…

Сколько романтических легенд дало прошлое! А что бы ни дало наше время, не становятся ли легенды все менее совместимыми с ним?

***

Еще несколько дней в Тбилиси, откуда разъехались в экспедиции или на отдых все мои знакомые. И опять я сталкиваюсь здесь и с обычными и с

необычными попытками завязать со мной знакомство. Запоминается опять маленькая встреча среди больших встреч… Но ведь встречам посвящена эта книга – пусти же и этот мимолетный след останется в ней.

Высокий, седеющий, довольно красивый человек смотрит на меня в автобусе и затем садится рядом, когда освобождается место.

– Можно сесть рядом с вами?

Я, как всегда в таких случаях, ничего не отвечаю. Но в его лице нет наглости, скорее, наоборот, есть что-то располагающее. Это лицо гладко выбрито, без обычных здесь усов. Он очень чисто говорит по-русски, совсем без акцента. Во взгляде чувствуется прямота и насмешливость.

– Вы думаете, что я такой же нахал, как многие в нашем городе? – говорит он. – Но уверяю вас, что это не так. Можете меня не опасаться. И все-таки мне почему-то хочется с вами познакомиться. Просто так, без всякого умысла и расчета. У вас странное выражение лица, – я сразу обратил на это внимание.

Я молчу, а он разговаривает так, как будто мы уже давно знакомы, с полной приятельской непринужденностью.

Когда я поднимаюсь, чтобы выйти, он говорит:

– Можно я вас провожу? Если это вас рассердит или если вы меня боитесь, я беспрекословно поеду дальше. Но у вас тяжелая сумка. Разрешите я донесу ее до вашего дома?

Странно, но он как-то незаметно завоевал мое доверие и мне не хочется обидеть его резкостью или полным невниманием.

– Если вам не жалко потратить время напрасно, – подчеркиваю я последнее слово, – я не препятствую вам меня проводить.

Когда мы выходим, он берет мою сумку и, непринужденно болтая, идет со мной.

– Послушайте, почему вы так бежите? – останавливает он меня вдруг.

– Просто я привыкла быстро ходить.

– Но ведь мы в Тбилиси, а не в Москве. В Тбилиси не полагается ходить быстро. Разве тбилисцы быстро ходят? Вот в Москве все вечно куда-то бегут. Но это мешает жить и наслаждаться хотя бы тем немногим, что дает жизнь. Я долго жил и работал в Москве, но не выдержал, вернулся обратно.

– А почему вы думаете, что я тбилиска? – я удивлена, потому что все в Тбилиси всегда угадывают во мне приезжую.

– А кто же вы? Ну давайте, я пофантазирую. Мне нравится идти рядом с вами и догадываться о том, кто вы. Только вы меня не перебивайте. Я не сомневаюсь, что вы, как и я, выросли на этих улицах, в этом районе Сололаки. Я здесь бегал мальчишкой, хотя сейчас живу не здесь, а за Курой. Может быть, мы с вами даже встречались, когда вы были девочкой? Почему я тогда не обратил на вас внимание? Досадую… Вообще же в этом районе у меня и сейчас осталось много товарищей детства, армян.

– Вы армянин?

– Нет, я грузин. А вы что, плохо относитесь к армянам?

– Нет, вовсе нет. Я ни к одной нации не отношусь плохо. Я всегда индивидуально подхожу к каждому человеку, независимо от его принадлежности к той или иной нации.

– Да? Такое отношение вполне справедливо. Но почему же вы опять ускоряете шаги? Может быть, вы боитесь, что кто-нибудь вас здесь увидит со мной? Я отстаю от вас и покорно плетусь сзади с вашей сумкой. Вам не кажется, что мы похожи на супружескую пару через десять лет после свадьбы?

– Ну что ж, это не плохой итог, если через десять лет муж сопровождает жену, неся за ней ее сумку, – усмехнулась я.

– Вы правы. Но все-таки не бегите так. Вы же видите, что я совсем ручной и безопасный. Или вам действительно неудобно, если кто-нибудь из ваших знакомых вас со мной увидит? Может быть, вас шокирует мой вид? Я ведь прямо с работы, да еще немного выпил. Кто из строителей не пьет? А может быть вам скучно со мной? Я не о том говорю? Ну, о чем бы нам поговорить?

– Хотите об искусстве?

– Нет, что вы! – он комично морщится и чистосердечно сознается: – Я же терпеть не могу искусства. Я ничего в нем не понимаю.

– Но вы же строитель, а архитектура тоже искусство.

– Эх, уж что за искусство та архитектура, которой я занимаюсь? Это всего лишь капитальный ремонт, весьма прозаическое дело. Вот если вам надо балкон поправить или крышу починить, я могу быть очень полезен. Имейте это, пожалуйста, ввиду. А вы занимаетесь искусством?

– Да.

– Послушайте, не бегите так. Ну, на одну минутку остановитесь и выслушайте меня, не думая, что я нахал, что я пристаю к вам или способен вас

обидеть. Ничего этого нет. Я прямой и простой человек. Живу я на улице Калинина. Работаю в стройконторе. У меня отдельная квартира и никого нет, кроме матери. Пью я совсем немного. Ну что еще рассказать о себе, чтобы вы считали меня своим знакомым? Я много болтался по свету, работал несколько лет в Москве. И вот мне хочется, мучительно хочется познакомиться с вами. Мне кажется, что я вас очень давно знаю. Когда вы вошли в автобус, я сразу почувствовал, что мимо меня может пройти что-то такое, что не должно пройти. Понимаете вы это? Вы мне нравитесь. Мне нравятся ваши глаза, их выражение. Я не хочу пока говорить иных слов, признаваться в любви, вам это покажется смешно и вы этому не поверите, если так, сразу, с первого взгляда. Но не исчезайте так. Хотите, пойдем сейчас в кафе, в ресторан, потанцуем? Впрочем, я знаю, что вы не пойдете, – поздно… И вы меня не знаете… Но договоримся на завтра. Мы можем даже посмотреть какое-нибудь «искусство», – подчеркнул он, улыбаясь, – если вы так его любите. Все, что хотите, хорошо?

– Нет, – я покачала головой. – Я никуда не пойду, и завтра тоже. Я не могу с вами познакомиться. И не только потому, что не знакомлюсь так с незнакомыми или не доверяю вам…

– Почему же? – перебил он меня. – Вы замужем? Вы любите другого?

– Да.

Мы прошли некоторое время молча и опять он меня остановил, опередив меня и встав передо мной.

– Но ведь все это выдумка, не так ли? У вас нет мужа. И вы никого не любите. Я вижу это по выражению ваших глаз. В них нет покоя. Зачем вы меня обманываете?

– Я не обманываю. У меня есть муж и я люблю. Да и зачем вам нужно обязательно знакомство со мной? Мало ли вокруг молодых, красивых девушек?

– Но вы тоже красивы. И для меня вы молоды. Мне ведь тридцать девять лет. Видите, – я даже почти седой. А потом, разве поймешь, почему нужна именно та, а не другая? Вы сами должны это понимать. Я же не понимаю ничего, а плетусь за вами, как ненужная вам собака.

– Но ведь я предупреждала вас, что вы напрасно потеряете время, если пойдете меня провожать. Я ведь достаточно знаю здешние нравы, чтобы понимать, что просто разговор – это потерянное время.

– Нет, я все равно не жалею, что пошел, и не считаю, что потерял время.

Мы уже стояли у моих ворот и я протянула руку за своей сумкой.

– Итак вы не назначите мне время и место встречи ни завтра, ни послезавтра? – спросил он серьезно.

– Нет. Послезавтра меня уже вообще не будет в Тбилиси.

– Но ведь вы же здесь живете, вы вернетесь.

– Да, рано или поздно.

– И больше вы мне ничего не можете и не хотите сказать?

– Нет.

– Мы больше никогда не увидимся?

– Вероятно, никогда.

– И вам на прощанье жаль для меня даже одного поцелуя, здесь в безопасном для вас месте, где светло и ходят люди, но все же этот поцелуй никто не увидит? Один поцелуй! Чтобы мне хоть что-то осталось на память.

– Нет, не могу.

– У вас нет сердца.

– Вы ошибаетесь. Я не хотела и не хочу вас обидеть. Я почувствовала к вам человеческое расположение, иначе я бы не разрешила вам меня проводить. Но большего я не могу.

Он взял мою руку и поцеловал.

Я повернулась и исчезла во дворе.

Что, женское тщеславие, интерес к людям или присущая мне черточка авантюризма и любви к неожиданному, толкают меня порой на допущение подобных мимолетных разговоров и романтических соприкосновений с незнакомыми мне людьми? Не знаю. Вероятно, смесь всего этого. Но иногда сталкиваешься с чем-то, что кажется чистосердечным, непосредственным и не совсем обычным среди пустого, пошлого, обыденного. Даже если это бывает только иллюзия, в своей случайности и краткости остающаяся не развенчанной, все-таки для создания таких иллюзий нужно иметь в душе хоть немного романтики, а значит хорошо, что такие иллюзии на миг вспыхивают, украшая жизнь мыслью о том, что в мире есть и люди, и чувства, и вспышки поэзии.

И еще одна маленькая встреча на другой день. В кафе напротив меня садятся армянин и армянка, он лет тридцати, очень красивый, она совсем молодая, довольно хорошенькая. Оба вполне интеллигентные. Он заказывает завтрак, но

она, вспомнив что-то, вскакивает и говорит терпеливо сначала по-армянски, потом по-русски. Я понимаю только конец разговора:

– Ну, все равно, съешь сам. А я тебя буду ждать там через полчаса.

– Хорошо, – кивает он головой, и она убегает.

Я несколько раз рассеяно останавливаю глаза на его лице, невольно отмечая то, что уже заметила раньше: армяне не часто бывают красивы, гораздо реже, чем грузины, но если они красивы, то это великолепная красота, тяжелая и яркая, экзотичная и облагороженная отблесками давних веков, в ней что-то древнее, какие-то черты Ассиро-Вавилонии и эллинистического Востока… Вероятно, я часто помимо воли привлекаю к себе внимание на Кавказе той свободой и непринужденностью, с которыми я смотрю на людей, в том числе и на мужчин, без всякого женского кокетства, но и без смущения… Свободой слишком «западной», слишком эмансипированной женщины. Может быть, не случайно в самом начале нашего знакомства Александр мне сказал:

– Даже если бы вы жили здесь, вы всегда казались бы приезжей. В вас что-то слишком европейское.

Вероятно, и в этот раз, не думая о том впечатлении, которое я могу произвести на сидевшего против меня человека, я невольно привлекла его внимание.

– Извините меня за любопытство, – выводит он меня неожиданно из задумчивости, – но мне хочется спросить вас, откуда эти серебряные кольца и браслет на ваших руках?

– Из Дагестана.

– А я думал, из Индии или Индонезии, – говорит он шутливо. – Я принял вас за иностранку и удивился, что вы одна могли попасть в такое скверное, вовсе для иностранцев не предназначенное кафе. Задавая вопрос, я сомневался, что услышу ответ по-русски. Вы не похожи на русскую. Да русские и не носят такие вещи. Они выглядят очень экзотично.

– А разве Дагестан не экзотичен?

– Я должен сознаться в своем невежестве, – он сверкнул в улыбке ослепительными зубами. – Но я, хотя и кавказец, смутно представляю себе, что такое Дагестан. И в искусстве ничего не понимаю, поэтому такого серебра раньше не видел. Но как вы попадаете в такие места, как Дагестан? Вы, выглядящая иностранкой?

– Я искусствовед.

– Но, значит, вы знаете и наше искусство?

– Армянское?

– Почему вы говорите об армянском? Ведь мы сейчас находимся в Грузии.

– Но я достаточно знаю Армению, чтобы отличить типичного армянина от грузина.

– Вы так изучили армян?

– Во всяком случае я имею о них представление.

Он вдруг посмотрел на меня по-новому, не светски заинтересованным, а меланхолично-горячим, скрытным и откровенным, сумрачно-вызывающим и лукаво-улыбающимся взглядом, – все эти оттенки переплелись и мгновенно смешались в иссиня-черных, огромных глазах.

– Да? А вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы изучили меня, – сказал он и опять сверкнул белоснежными зубами.

Я так привыкла не изображать из себя жеманно оскорбленную невинность и оставаться на равной ноге с мужчинами, давая им отпор в подобных ситуациях, что не вскочила от гнева, не отвернулась, а выдержала его взгляд и проговорила с оттенком насмешки:

– А вы думаете, что интересны для изучения?

Он вспыхнул.

– Не знаю. Для кого как. Во всяком случае вы сама представляетесь мне какой-то очень интересной книгой незнакомого для меня содержания. Я хотел бы иметь возможность прочитать такую книгу.

– Вы слишком для этого молоды, – улыбнулась я, невольно поддразнивая его и опять заставляя вспыхнуть.

– А разве вам не кажется, что только тот, кто еще достаточно молод, может быть настоящим, не скучающим, не холодным читателем, а полным жадности и любознательности? – парировал он мои слова.

– Да, такой читатель может не мало извлечь из книги значительного жизненного содержания, но что может он внести в эту книгу? И потом вы напрасно думаете, что все книги так легко и просто открываются.

Я расплатилась с подошедшей официантской, посмотрела на часы и добавила:

– Полчаса протекли. Не забудьте, что вас ждет хорошенькая, молодая девушка.

Он молча смотрел на меня великолепными в своей ослепительной красоте глазами, выдававшими раздражение и недоумение. Я вышла из кафе и зашла в книжный магазин, так как мой собеседник уже тоже торопливо расплачивался, когда я была в дверях, и мог последовать за мной, чего мне вовсе не хотелось. Перебирая книги, я опять думала: почему я вчера дала себя проводить, а сегодня слегка подразнила этого красивого сына страны Наири? Почему во мне столько жадности к жизни, вернее ко всем проблескам ее красоты и романтики? И это даже после тех болезненных уроков, которые она дала мне на Кавказе? Сколько же авантюризма в моей натуре!

Последний день до отъезда я провела с Дерзибашевым, – мы ездили осматривать Пантеон в Дидубе, который он давно собирался мне показать. Всегда дружески внимательный и приветливый, обо многом мне рассказывавший, он, однако, редко касался своей теперешней личной жизни, или касался вскользь, недоговоренно. Я же никогда не расспрашиваю, не желая толкать людей на откровенность помимо их воли. В этот день я узнала подробнее о том, что его жена, всегда уезжающая на лето в родную Казань, никак не может ужиться в Тбилиси, тоскует, чувствует себя одинокой и, видя это, он склоняется к переезду в Казань, о чем он уже говорил мне раньше, но годы идут, а решиться на это он не может.

– Она мягкая, несколько замкнутая, болезненно на многое реагирующая… Во многих отношениях совсем не такая, как вы, – улыбнулся он. – Ее ранит и коробит все то, что вас забавляет или развлекает экзотичностью. Вам нужны яркие краски, необычность, романтика. А ей – бледные полутона, поэзия тишины, лирика домашней жизни. Она и внешне – воплощение средне-русской природы. А вы на русскую мало похожи. Я уже говорил вам, что теперь и меня самого порою тянет к русской природе. На север. Может быть, мы с женой и в Ленинград соберемся.

– В таком случае я буду рада видеть вас и вашу жену у себя.

– Обязательно. Но все это только отдаленные планы. Ведь у нас сын пяти лет.

Я взглянула на него с удивлением.

– Что, я стар для такого сына? Вы видали эту мысль взглядом. Но я ведь переменил несколько жен, пока нашел ту, с которой получилось нечто прочное, а потому и сын. А он, хотя и маленький, уже проявляет такие же склонности к бродяжничеству, как и я. Мы часто с ним совершаем длительные прогулки.

Мы остановились у могилы Паоло Яшвили[109].

– Одна из жертв страшного времени, – сказал он. – Как и Тициан Табидзе[110]. Вы ведь знаете.

Я печально склонила голову.

У надгробия Наты Вачнадзе[111] мой спутник рассказал мне о ее последнем романе с моряком, улетая от которого из Мурманская, она погибла в самолетной аварии, в сорок пять лет.

– Она вовсе не была так хороша в жизни, как на экране, – заметил он. – Кроме того она была плохой актрисой и далеко не умной женщиной. Только ярко выраженный национальный тип и исключительная фотогеничность ее лица были причиной ее успеха и славы. Последний же роман ее был вообще ни к чему… Ведь она была много старше этого моряка. К чему ей это было нужно?

– Но если она любила? Если это была ее последняя любовь? Разве бывает любовь к чему и ни к чему? Она приходит, не спрашивая советов разума. И хорошо, что в данном случае смерть пришла в миг упоения любовью, раньше разочарования, которое неизбежно принес бы конец этой любви.

– Вы говорите, что она любила? Но разве женщины любят? Нет, это не их дело. То есть, конечно, они любят, но иначе: любят потому что любимы, любят потому что привязываются и привыкают, любят потому что эта любовь – часть любви к семье. А любовь избирающая, активная, любовь желания и страсти – не их дело. Они на это не способны. Если они проявляют что-либо подобное, это обычно просто распущенность. Нет, на страсть женщины не способны.

– Вы так думаете?

– Во всяком случае редко способны. И едва ли им это подходит.

Вот и в Дерзибашеве, – казалось таком европейском по складу ума и характера, по культуре и даже по облику, – неожиданно для меня проявились черты Востока.

– Нет, вы не правы, – сказала я, качая головой. – Что подходит и что не подходит, это, конечно, субъективное суждение, как всякое «нравится» и «не нравится». Но только женщины способные также любить, желать, безумствовать,

и при том по собственному выбору и даже без ответной любви, а не потому, что они любимы. Конечно, далеко не все женщины умеют любить и тем более далеко не все знают, что такое страсть. Но ведь далеко и не все мужчины это знают. И в том и в другом случае настоящая любовь и настоящая страсть встречаются не часто. Но женщины вовсе не лишены этой способности.

– Вы это знаете по опыту?

– Да, знаю.

– В таком случае я должен верить. Я не могу не верить вам, – склонил он голову.

– Но скажите… Могу ли я вам задать один вопрос? – посмотрел он на меня.

– Можете.

– Такая любовь, если она увенчается успехом, полная ли гарантия для женщины, что она не сможет влюбиться еще раз?

– Не всегда… Могут ли быть вообще гарантии в любви? Разве чувство (я говорю о нем, а не о поступках) от себя зависит?

– И ни за что никогда нельзя поручиться в области чувств?

– В конечном счете ни за что.

– А может быть это просто распущенность, пустота, бессердечность? Во всяком случае у женщины.

– Почему же только у женщины? Если у женщины, то и у мужчины. Но когда речь идет о страсти, дело не в распущенности. Кто может ручаться за себя или бросить камень в другого, когда речь идет о чувстве, способном толкнуть человека на смерть? Только тот, кто сам не знал и не способен знать, что такое любовь, что такое страсть.

Он слушал меня серьезно. То, что я говорила, видимо, казалось ему неожиданным в моих устах и он как будто колебался между привычными внутренними предубеждениями и уважением к моему мнению. Может быть, я не убедила его, но что-то поколебала в нем. Вокруг было пусто и тихо, розы ползли по скромным могильным плитам, зеленые кусты с белыми, как будто восковыми, ягодами склонялись над каменными бюстами.

Мы проехали еще и на новое тбилисское кладбище против парка в Ваке. Дерзибашев хотел, чтобы я почувствовала контраст между тем, что я только что видела, и тем, что его раздражало как воплощение кичливого и самодовольного мещанства, «кекельства», определенных, наиболее благоденствующих кругов

Тбилиси. Среди тяжелой, аляповатой нарядности и чисто внешних знаков внимания к памяти умерших он обращал мое внимание то на одну, то на другую могилу, показывая безвкусные памятники, называя баснословные суммы их стоимости и отмечая должности усопших, удостоенных подобных надгробий на деньги, полученные при жизни от взяток, казнокрадства, бесчестного использования своей власти и мелких низких махинаций. Было душно и от жары, и от приближавшегося дождя, и от окружающего.

На Руставели мы попрощались до будущего лета.

Перед рассветом следующего утра я спустилась с улицы Чонкадзе в аэрофлот. Вокруг не было ни души. Город еще спал. Еще горели фонари, и листва деревьев бросала на асфальт и на стены домов колеблющиеся тени.

Когда самолет летел над центральной частью Кавказского хребта, впервые за пять или шесть моих перелетов, передо мной предстали полностью открытые, сиявшие в лучах вершины самых гигантских гор… Мы так близко обогнули вершину Казбека, что почти готовы были коснуться ее, – так мне казалось. Я видела, что эта вершина не вся покрыта снегом, и различала трещины камня, его отдельные глыбы. Ниже все было покрыто густой, сплошной массой облаков и горы вздымались как скалистые острова или айсберги над белоснежным, бездонным, непрозрачным морем. Вершина Казбека была самым высоким, осязаемым, прочным и близким из этих островов. Слева впереди на большом расстоянии появился также Эльбрус. Весь белоснежный, он не был ни осязаем, ни реален, – это было только величественное и таинственное виденье, сотканное из сияния. Вершины Куро не было, – над ней клубились тучи, будто она склонилась вниз и пряталась от взгляда. Затем другие вершины хребта открылись передо мной, но глубже я не могла проникнуть в бездны, не могла пронизать взглядом облака, скрывающие склоны и подножия гор, долины и ущелья, их разделявшие, мрачные трещины, их прорезавшие, и светлые луга, сверкавшие цветами.

***

На Ренэ в эту зиму валились одни беды за другими. Сначала ее вечером чуть не ограбили. Какой-то бандит вырвал у нее сумку, но при сильном его рывке сумка упала не землю. Тогда он нагнулся, чтобы ее поднять, Ренэ, не растерявшись, схватила большой камень и стукнула им врага по голове так, что он сам свалился.

Она же торжествующе схватила сумку и успела добежать до дома, пока он пришел в себя. Вполне достойный героического характера Ренэ подвиг обсуждался всюду в Тбилиси и весть о нем докатилась до Ленинграда. Гораздо худе были другие происшествия. Потеряв летние развлечения в районе турбазы, «золотая молодежь» Тбилиси развлекалась другим способом, например, в томные осенние вечера натягивала веревки поперек плохо освещенных улиц. Ренэ упала, зацепившись за такую веревку или проволоку, сильно разбилась и пролежала некоторое время с сотрясением мозга. Не успела она вполне от этого оправиться, как зимой сломала себе левую руку, поскользнувшись при осмотре каких-то развали в окрестностях Тбилиси. Руку слишком передержали в гипсе и, несмотря на мучительные, доводившие Ренэ до обмороков процедуры, рука осталась неполноценной. И это у Ренэ, которая не может существовать без вечных трудных поездок, в которых так нужны обе руки!

От Ренэ же я знаю о тяжелой драме бедной, милой Лелико. Уже почти была назначена ее свадьба с Джейраном в феврале. И вдруг за какой-то месяц до этого он сказал ей, что все с его стороны было ошибкой и им нужно расстаться. Легко представить себе, как она должна была мучиться, но молчаливо, скрыв от всех свою муку, тогда еще никому неизвестную, как и их договоренность о браке! Прошло некоторое время и вдруг один из друзей Джейрана по секрету сообщил ей, что он в действительности ее любит и только не считает себя в праве жениться на ней, так как у него не может быть детей. Тогда она бросилась к Джейрану и сказала, что она его любит больше всего на свете и согласна не иметь детей, – это вопрос второстепенный по сравнению с любовью к нему самому. Как трудно, вероятно, это было застенчивой, робкой девушке! Что он ей сказал, – неизвестно, но что-то резкое, чтобы ее оттолкнуть. Тогда она чуть не утопилась в Куре, – не знаю, как это предотвратили. И только тут в порыве безумного страдания она рассказала все Ренэ, просившей меня, чтобы и я написала что-нибудь Лелико, пытаясь ее поддержать. Я написала… Ведь я была ее первой поверенной в этой любви. Я убеждала ее и теперь не проклинать любовь, потому что даже несчастная любовь и даже гибель от любви лучше, чем неумение любить, а значит и обесцвеченность жизни. Я попыталась передать ей и свои предположения о том, что для Джейрана дело было не в том, что он ее не любил и лишь обманывал своим отношением, и, конечно, не в том, что он не может иметь детей… Из-за этого не отказываются от женитьбы, если любят и так любимы, как любим он.

Дело, может быть, в гораздо худшем, в невозможности жениться вообще, в мужской неполноценности, явившейся результатом болезни после ранений, но о которой он узнал точно только тогда, когда, невольно поддавшись чувству и надеждам, вопреки всем горьким сомненьям и неуверенности в своих возможностях, он уже зашел слишком далеко в своих отношениях с ней. Разве так не бывает? Его влекло к ней… И он откладывал установление того, чего в тайне боялся, но на отсутствие чего втайне надеялся. Ведь для мужчины так страшно понять это! И так невыносимо для мужского самолюбия признаться в этом, особенно женщине… Ему могло быть легче оттолкнуть ее резкостью… Конечно, все это предположение. Но оно кажется более правдоподобным, чем предположения просто о легкомысленной бесчестности этого человека. Если же эта догадка верна, то понятны и слова его друга, намекнувшего на то, что он не мог сказать прямо молодой девушке о причине разрыва. Самой Лелико, кажется мне, легче будет многое понять и простить, чем думать о любимом ею человеке как об обманщике и бессердечном негодяе.

В Дагестан, чтобы как-то отблагодарить Расула и Манабу [112] за гостеприимство, я отправила осенью довольно-таки необычные подарки – несколько килограммов синьки, книги по искусству и полное собрание сочинений Жюля Верна (это для Ахмата и прочих подрастающих мальчиков «отряда» Манабы). В ответ я получила ряд писем и даже поздравительную телеграмму от Расула к Новому году. «Ахмат совсем перестал работать, даже ишака не пасет, только книжки читает», – добродушно пишет Расул. А недавно он приезжал на три дня в Ленинград еще с одним мастером и был у меня. Это был заезд из Москвы, куда ему пришлось отправиться из-за своего альбома, – в Махачкале его отказались принять. Теперь он договорился о его издании в Москве. Как он волнуется, что этот труд, такой для него дорогой и важный, может пропасть даром! Когда Расул и его спутник – тоже великолепный мастер Хаджи Бахмут, – в последний раз перед отъездом пришли к нам на званый обед, оба они, прощаясь, достали сужающиеся стержни, унизанные кольцами разной величины. У каждого из них оказалась, так сказать «фирменная» форма кольца. К моему изумлению и даже некоторой растерянности оба одели мне кольца на все пальцы один левой, другой правой руки. В знак благодарности и на память!

В Италии, где я впервые была этой осенью, я носила кольцо и браслет Расула, кубачинское ожерелье, и мастера художественных изделий,

предназначенных теперь более всего для туристов, но сохранивших отблеск высокоразвитого ремесла, спрашивали меня с любопытством:

– Откуда у вас такие красивые вещи, синьора?

– Из Дагестана.

– Из Дагестана? Где это?

– Это на Кавказе.

– А! Там еще умеют делать так красиво и искусно?

Очень забавное письмо прислал мне Магомед[113] из Закаспия, проявив память обо мне.

Теона по-прежнему в Дрездене. Нотки неудовлетворенности и хандры проскальзывают по временам в ее письмах, хотя, казалось бы, все хорошо – у нее интересная работа художника и искусствоведа, прекрасные условия жизни, много новых друзей, любящий муж… Что во всем этом, если она не любит и не умеет любить? Куда может уйти от неудовлетворенности и тягостного чувства внутренней пустоты человек, сердце которого не настолько холодно и мертво, чтобы не иметь запросов любви, но который все же любить не способен? Опять и опять я думаю, – она могла бы полюбить по-настоящему только ребенка и лишь он заполнил бы ощущаемую ею пустоту жизни. Таков склад ее натуры, – все прочее ее не захватывает и не поглощает. Но я знаю, что она сказала одной из своих подруг, когда приезжала в Тбилиси: «Ребенка надо иметь только от любимого человека». Получается заколдованный круг.

Гурген соединился со своей женой, после стольких лет разрыва и такого непоправимого разочарования. Видимо, сказались годы, одиночество, потеря последних надежд на то, что жизнь может дать новую любовь и новое счастье… А для нее, вероятно, оказалось решающим то, что он получил отдельную квартиру, из ссыльного превратился во вполне подходящего мужа, а ее годы тоже прошли и расчетов на что-то более выгодное уже быть не может. Думаю, что он и сам отдает себе во всем этом отчет со свойственной ему мужественной и суровой прямотой. Но, значит, так ему все-таки легче. Недавно я получила от него книгу, написанную им для детей. Он зовет меня опять побродить по Армении… А сборник стихов его еще не вышел в свет.

На стене у меня, прямо против тахты, висит этюд «Питера» (как я теперь называю его вместе с друзьями) Блёткина, присланный мне зимой. Когда я

открываю утром глаза, я обычно прежде всего вижу чистые, светлые и яркие краски заката над Алазанской долиной…

Часть 3. ГОРЫ И ВСТРЕЧИ. 1962–1970

III–я часть рукописи «Горы и встречи» не была написана во время самих путешествий и доработана сразу после завершения каждого из них. Я уже слишком уставала к лету от зимней работы, начинавшей превышать мои силы, и в экспедициях иногда успевала написать в литературной форме лишь отдельные отрывки, в то время как остальное вносилось в блокноты в виде всего лишь заметок для будущего. Это будущее не наступило. Я уже потеряла способность к литературной обработке написанного и потеряла интерес к этому, как и к самой жизни. Горе сломило меня[114], и последнее, что я смогла сделать за год, – автобиографический очерк, посвященный моему любимому, нашей с ним жизни, нашей любви. Поэтому III–я часть «Гор и встреч» – это только сводка сделанных раньше записей отрывочного или даже просто «блокнотного» характера, с трудом и лишь слегка приведенных в удобочитаемый вид. Материал, заключенный здесь, стоил лучшей участи, лучших разработки и оформления. Но ни мозг, ни душа моя уже на это не способны. Сделать даже то, что я сделала, было мне невыносимо тяжело. И сделано это только в память о моей прошлой любви к жизни в благодарность ей за все, что она мне дала.

1962 г. Июль.
XIII. ХЕВСУРЕТИЯ – ПШАВИЯ.

Покрыта ясенем и дубом,
Гора взметнулась, как копье.
Большие башни телом грубым
Венчают выступы ее.

Важа Пшавела[115].

Во время войны Вера Белецкая – единственная женщина-альпинист в группе мужчин, включавшей Закро Майсурадзе, учила в военных целях альпинизму хевсуров. На первый взгляд кажется странным, – кто же лучше горцев ходит по горам? Однако горцы не лазают на вершины, не берут с кольями и канатами снеговые пики. Им это кажется бессмысленным. Из снеговых вершин не извлечешь никакой пользы, а погибнуть там можешь. И по преданьям эти пики принадлежат злым духам-дэвам, которые их стерегут. Поэтому даже просто склонить горцев к альпинизму – задача трудная.

И Вера, и Закро с удовольствием вспоминали эту трудности, и вообще время, проведенное в Хевсуретии. Они застали ее в полной сохранности местных обычаев, самых своеобразных на всем Кавказе. Хевсуры – язычники, которых упорно, но напрасно пытались христианизировать грузины, совершая в течение веков многие походы в эту страну и в соседнюю Пшавию. Оберегая свою свободу, свой родовой строй, еще не знавший никакой государственности, обе вольные народности упорно держались за все свои обычаи и верования. Они усвоили знак креста как священный, имена некоторых святых (особенно архангелов), но безо всякой связи с христианскими представлениями. Сохранялись многобожие, свои особые святилища, жрецы – хевисбери, хранители древних обрядов. Так дошло и до нашего времени. В святилища под страхом смерти остался запрещенным вход для женщин, и Вера вспоминала, с каким содроганием она, в мужском костюме, в группе мужчин все-таки осмотрела одно из святилищ. А вокруг на возвышенностях настороженно стояли вооруженные хевсуры, подозрительно вглядываясь в эту группу.

И у хевсуров, и у пшавов сохранились пережитки, с одной стороны, группового брака, с другой – запрета смешения крови в одном роду после того, как групповой брак был изжит. Каждое селение имеет до сих пор всех членов только одной фамилии, и, хотя роды уже крайне разветвились за столетия

существования селений, браки внутри селения запрещены законом. Платоническая же любовь среди молодежи, наоборот, осталась давним обычаем. Каждая девушка имеет поклонников, «друзей», чем больше, тем больше она может гордиться. Время они проводят вместе, весело, в работе, играх, забавах. Зимой собираются компаниями в каком-либо доме, девушки шьют и вышивают, юноши поют, рассказывают легенды. У хевсуров самый богатый на Кавказе эпос, причем исключительно устный. А между тем, все так или иначе умеют сочинять стихи, начиная от любовных и кончая бранными. Вера рассказывала, какое красивое зрелище представляли собой еще носившие исключительно национальные, вышитые с головы до ног, самые нарядные на Кавказе костюмы девушки и юноши, скачущие на конях, купающие их в горных потоках, хохочущие, сбрасывающие друг друга в воду… Эта вольность обращения, эта вольность девушек и уважение к ним – нечто, нигде больше на Кавказе не виданное. Девушки настолько горды, что не могут снести обидных слов даже от отцов и часто из-за обиды стреляются.

Среди поклонников каждая девушка выбирала себе «друга», или «братца», с которым она спала летом на сеновале, которому она пришивала сзади к плечу вышитый ею особый знак, делавший его ее рыцарем. Однако счастье оборачивалось противоестественной мукой, ибо всякие ласки были возможны между выбравшими друг друга, кроме самой последней. Это держало обоих в болезненно возбужденном состоянии, заставляя вместе с тем добиваться обычая позднего брака, так как брак должен был их навсегда разлучить: мужем или женой мог стать только кто-то из другого селенья. Поэтому установился обычай не выходить замуж ранее 25, а то и 30 лет. Детей у хевсуров в результате всегда бывало мало, а на женщину вместе с замужеством ложилось бремя не только, как правило, сожительства без любви, но и тяжкой, изнуряющей, рано старящей работы. Видимо, вышедшие замуж добивались еще одной отсрочки: после свадьбы они год жили у родителей и лишь потом уходили в чужое селенье к мужу. На мужчинах же хевсурах, в результате долгого нарушения естественных законов природы, при всей их мужественности и прославленной храбрости, лежала после достижения зрелого возраста печать известной вялости.

Как печать вольной жизни хотя бы в молодости, женщины-хевсурки носили стриженые в кружок с челкой волосы. При этом они в старину мыли их конской мочой, отчего они были очень густыми и приобретали соломенный цвет. Потом

эта же цель в XIX веке достигалась мытьем головы водой, смешанной с золой. Сохранялись некоторые вольности у женщин и после их свободной, задорной юности. Так, брак все-таки решался в согласии с их волей, – родители не могли их принуждать в этом. И для мужа, и для жены была установлена свобода развода, с сохранением женщиной всего, что она принесла в дом в качестве приданого. Если разводился муж, то он даже должен был приплатить оставляемой жене часть своего имущества. Дети остаются у мужа, – как правило, их бывало не больше двух. Иметь больше было даже просто не принято. Женщины и мужчины жили в разных этажах, и жена не часто и тайком, ночью, приходила к мужу по специальной приставной лесенке, – иначе считалось неприличным. Иногда жена после развода оставалась в доме бывшего мужа, женившегося на другой; тогда ей выделялась отдельная комната, и она смотрела за своими детьми, помогая также в хозяйстве. Порою в результате этого практически создавалось двоеженство.

Вера с удовольствием рассказывала о зимних вечерах, когда юноши топили заготовленными дровами очаги, дым от которых выходил прямо в отверстие над очагом, и под звуки очень примитивных бандури пели песни. При обилии песен само пение у хевсуров тоже примитивное, только одноголосное. Но сколько драм скрывалось за всем этим, отраженных в старинных песнях! Сколько безнадежных любовных страданий! Иногда какая-нибудь пара не выдерживала запрета. Тогда девушке ликвидировали возникшие последствия и поскорее выдавали ее замуж на сторону, а юноша подвергался поруганию со стороны общины и его изгоняли из селения, устраивая ему брак где-нибудь тоже подальше. Бывали и такие случаи: чтобы не принадлежать нелюбимым, любящие давали клятву безбрачия, и нарушение ее было неприемлемым позором. Можно было еще вдвоем уйти из Хевсуретии, но практически это было почти невозможно: в чужом месте пришельцы не имели никаких прав, никаких средств к существованию.

Так как искусствоведы почти не ездят в Хевсуретию, и даже Ренэ ни разу там не была, она устроила мне знакомство с хевсуркой-этнографом Тиной Очиаури, и та уговорила взять меня в экспедицию Грузинской Академии наук, возглавлявшейся академиком Георгием Спиридоновичем Читая и его женой, доктором наук Верой Варденовной Бардавелидзе[116]. Сама Ренэ не могла вступить в эти переговоры, так как еще в юности поссорилась с Бардавелидзе. Она рассказывала мне, что по фамилии первого мужа Веры Варденовны, Ломия, ее до

сих пор называют «Вероломия». Но как о крупнейшей ученой Ренэ отзывалась о ней с восторгом.

Экспедиция, включая взятых на практику студентов, насчитывала человек 40, и я была среди них единственная русская. Это дало мне возможность еще раз убедиться и во внимании к гостье, и в воспитанности интеллигентной грузинской молодежи. Экспедиция была обставлена поистине академически. На нескольких грузовиках мы тронулись в Душети. Там Читая продемонстрировал нам образец старинного, превращенного в музей, грузинского дома-дербази, просторного, с прекрасными резными столбами, поддерживавшими балки, с резной деревянной обстановкой и утварью и, главное, с пирамидообразной, выложенной чередующимися балками крышей-потолком, придающей жилищу большую высоту и красоту. Затем, после ночлега в гостинице, мы выехали на Военно-Грузинскую дорогу и свернули с нее по новой, недавно проложенной дороге от Джавали вдоль шумной и пенистой Хевсурской Арагвы. Дорога была пока проведена немного дальше Барисахо, районного центра всей Хевсуретии, который стал и нашим центральным пунктом. В гору взбегали хевсурские хижины, а внизу стояло несколько новых, современных домов, в самом большом из которых, – школе-интернате, – мы расположились. Сюда каждый день из Душети приходил грузовик со всякой снедью и зеленью. Нанята была женщина, которая готовила, и рано утром, а потом вечером после походов, мы роскошно питались за огромным столов в самом большом зале школы. Я была посажена рядом с Верой Варденовной, и она неизменно проявляла ко мне знаки внимания, так что между нами установились хорошие отношения. Каждый в экспедиции имел свою тему, и, так как все уже этими темами друг другу порядком надоели, я оказывалась для всех благодарной слушательницей. А для Веры Варденовны особенно, – она очень интересно рассказывала, и тема у нее тоже была самая интересная: религия, святилища, мифология хевсуров. Читая был более историк, чем этнограф, и не был разговорчив. Это был сухонький, но крепкий старик, с лицом не очень привлекательным. Бардавелидзе же была высока, стройна, хотя ей было порядочно за шестьдесят. На длинной гибкой шее красиво сидела ее маленькая головка с тонкими, точеными чертами лица, с породистым горбоносым профилем. Ее облик был очень похож на те карандашные портреты разных грузинских княжон, которых не мало оставил в первой половине XIX века князь Г. Гагарин[117]. Она оказалась поразительным фанатиком своего дела. Я узнала

вскоре, что вопреки всем моральным устоям и принятому в Грузии воспитанию женщин, она с юности твердо решила не иметь детей, чтобы семья не отвлекала ее от работы, ставшей для нее страстью. Оба ее мужа явно тоже не значили для нее слишком много. Это была полная противоположность Тине Очиаури, которая тоже не слишком любила мужчин и на невзрачного мужа смотрела, скорее всего, как на необходимого для семьи трутня. Ей нужны были прежде всего дети. Их было трое, и, хотя она с интересом относилась к работе, обычно она повторяла, что лучше иметь одного ребенка, чем десять изданных книг. Зато она была, конечно, совершенно незаменима в экспедициях, потому что перед хевсуркой и перед ее хевсурским диалектом раскрывались сердца и уста хевсур, как это не могло бы быть перед грузинами. Она была интересная, крепкая, плотная женщина, очень выносливая и предприимчивая. Сейчас она уже доктор наук. Читая пребывает в глубокой старости, а Веры Варденовны нет на свете.

Среди членов экспедиции выделялся по-иному Мириан Хуцишвили, уже полысевший, но все еще красивый, могучий, высокий богатырь, которому следовало бы быть не этнографом, а эпическим героем. Его деятельность и носила в большой мере такой характер. Он мчался на грузовике за продуктами, ставил сети для форели в речках, доставал у хевсуров их ячменную водку джипитаури, скакал верхом к чабанам и возвращался с притороченными к седлу барашками. Его громкий, жизнеутверждающий голос раздавался повсюду, всюду вносил бодрость и энергию. Был он правой рукой во всяких делах у Веры Варденовны, которую мне хочется по-грузински называть Калбатоно Вера. Отличался он хорошим, добрым, расположенным к людям характером, и без него экспедиция казалась бы опустелой. Его товарищ Амиран Цамцишвили стал моим поклонником на весь путь. И еще вскоре нагнал экспедицию старый, крайне симпатичный архитектор Владимир Ливанович Циласани, с которым я подружилась и часто шла в маршрут вместе, выслушивая его интересные истории. Это был обломок тех вежливых, галантных стариков, одним из которых являлся и милый профессор Бугданов в Орджоникидзе.

На Кавказе всегда масса необыкновенных историй. Одну из них рассказал мне Циласани. Его дед и еще один мальчик (оба мингрельцы) были украдены турками и проданы в Египет какому-то пашé. Тот воспитал их как своих сыновей, желая женить старшего из них на единственной дочери от главной жены, тоже грузинки, и сделать его наследником своих земель. Выбран был именно дед

Циласани, и для завершения образования его отправили в Париж в какую-то военную академию. Однако жених не любил невесту и твердо помнил свое происхождение и свою родину. В Париже он отдался под покровительство русского посольства и таким образом вернулся в Грузию. Здесь он был произведен в офицеры и стал переводчиком наместника Кавказа в Тифлисе, составив первый арабско-русский словарь. Самому Владимиру Ливановичу было уже за 70 лет, и хевсурское путешествие совсем загубило остатки его сил и здоровья, настолько оно было тяжело. Но он не стремился к продлению жизни, – наоборот. Слишком несчастен был бедный старик. У него от позднего брака был единственный сын, в котором он души не чаял. Когда мальчику было 12 лет, он пошел из дома к родственникам и по дороге бесследно пропал. Мать его даже стала полупомешанной. Что можно было предполагать? Что он стал жертвой хулиганов, проигрывающих достаточно часто в Тбилиси первого встречного, появившегося на улице? Впрочем, такие случаи, только гораздо реже, известны и в Ленинграде.

Благодаря рассказам этнографов и прежде всего Веры Варденовны, я в общих чертах много узнала о Хевсуретии уже в первые дни, перед первыми нашими походами по ее земле и во время этих походов с короткими передышками в густых лесах.

Хевсуретия издавна делилась на людей и земли: с одной стороны, общины, с другой – святилища, хотя и то и другое тесно переплеталось и по составу, и по существованию. Общине принадлежала основная масса земли, которую ежегодно делили между родовыми ветвями или отцовствами.

Каждое отцовство имело равный надел, деля его внутри между семьями, в него входившими. Но к последнему времени неравенство семей в отцовствах было уже так велико, что создалось и имущественное неравенство, – первый признак начавшегося разложения родового строя. Только пастбища для скота оставались общими, – они были для этого достаточно обширны. Земли с посевами в долинах и горных ложбинах размножившиеся отцовства, бедневшие от недостатка таких земель, порою уже захватывали силой, начиналась внутренняя борьба. Она доходила до того, что были случаи даже полного захвата земель прежних владельцев и превращения последних в разбойников, уходивших в леса и оттуда действовавших против своих противников. Тут вопрос решала сила, а не «общинное право», охраняемое святилищем. Святилище было слишком слабо,

чтобы вмешиваться в исход подобных конфликтов. По существу, к XX веку часть общинных земель вообще находилась в частном пользовании без переделов, но и без прав их отчуждения. Внутренние дела общины решались ею сообща. Ее старики были, наряду со святилищем, хранителями «общего права». Как отмечено, порой оно уже нарушалось. Кроме того, в интересах святилища его прорицатель вносил иногда в него изменения. То же самое делалось и наоборот, под давлением общины в ее назревших новых интересах.

Святилище имело свои земли и пастбища. Эти земли частью обрабатывали члены святилища, частью же общинники, которые обязаны были святилищу также другими повинностями и приношениями. Во главе стоял главный священнослужитель – хевисбери, жрец, постепенно превратившийся также и в старейшину общины. Иногда их бывало одновременно два-три. Это место занималось или по наследству, или по прорицанию. Как указание на выбор божеством нового священнослужителя расценивалась, в частности, длительная болезнь в юности с последующим выздоровлением. Однако и в том, и в другом случае жрец выбирался из самых древних семей общины, имевших особые права, в отличие от пришельцев более поздних. Главное божество данной общины было когда-то родовым божеством этих семей. Основная часть святилища – его служители, или давтуры, в число которых входили казначей, пивовар, работники на землях святилища, те, которые принимали дары и работу, приносимые общиной святилищу. Эти служители выбирались из общинников на два-три года. Воинство святилища выбиралось священнослужителем по его прорицанию тоже из общинников, но пожизненно. Если среди них оказывались члены старейших родов, они становились знаменосцами. Нестарый и способный к этому хевисбери бывал военачальником общины вообще. Но обязанностью войск святилища была охрана самого святилища и выполнение для него ряда функций. При жреце существовал совет (дербази) из членов святилища, но в последние времена уже лишь наиболее зажиточных, так как для этого необходимо было отправление дорогостоящих обрядов.

Собственно «святилище» – участок земли в священной роще, деревья которой никогда не рубились. Территория эта ничем не огораживалась. Она включала здание совета-дербази, являвшееся обычно одновременно и храмом, в котором происходили ритуальные обряды. Внутри этого сложенного из неотесанного камня прямоугольника по стенам стоят скамьи из шифера; крыша

деревянная, теперь часто перекрытая сверху белой жестью. Из необделанного камня сложены столь же примитивные, но меньших размеров помещения для складов ячменя и для варки из него священного пива к праздникам. Не члены святилища имели право вступать на его участок только в дни праздников, когда здесь собирались все мужчины общины, происходило заклание жертвенных животных, затем жгли костры, варили мясо, пили пиво, устраивали разные состязания, в том числе поединки с мечами и щитами, но без убийств друг друга. Пиршество происходило под открытым небом. Женщины же пировали отдельно, тоже под открытым небом, но на значительном расстоянии от участка святилища. Под страхом смерти они не имели права никогда вступать в последнее. Раньше в святилищах было много серебряной утвари, – богам ставили на специальном алтарном камне девять серебряных чаш с пивом.

Хевсуры обладали очень богатым фольклором, разнообразными формами стиха. Все они так или иначе владели стихотворной импровизацией. Она может быть и любовной, и приветственной, и иронической, и оскорбительной. Мне рассказывали о хевсурах, которые в пьяном виде могут сидеть за столом вдвоем и обмениваться руганью и насмешками в стихах. Известно, что один хевсур стал жертвой таких насмешек настолько, что все селенье над ним смеялось. В случаях подобных оскорблений и осмеяний жертва обращается к старейшинам, и те подвергают оскорбителя штрафу. Однако, как я уже отмечала, весь фольклор и вся поэтическая деятельность у хевсуров только устные. Своей письменности у них нет, грузинскую многие издавна знали, у них находили даже Руставели, но сами они ничего не записывали и исторические преданья их очень темны по смыслу.

В письменных источниках Грузии название этой говорящей на певучем грузинском диалекте народности встречается с XVI века. Но в рукописи, переведенной с грузинского языка на армянский, и в одной из арабских рукописей о них под другим названием говорится уже с XIII столетья. Существует гипотеза, что они пришли в высокогорный район из долин, потому что они издавна держат в основном крупный рогатый скот и используют участки, пригодные для посевов. По образному выражению В. Шкловского, Хевсуретия как бы сидит верхом на Главном Кавказском хребте, – на южном склоне хребта находится ее Архотская сторона, на северном – Шатильская, или, иначе, Пиракетская и Пирикитская Хевсуретии. Перевалы между ними называются пирикители. На Шатильской

стороне, граничащей с мусульманскими народностями (ингушами, чеченцами, которых хевсуры, пшавы и тушины зовут «кистинами»), находятся компактные селенья-крепости с домами, которые одновременно являются боевыми башнями. На Архотской стороне селенья имеют развалины башен или их как бы символические, в настоящее время уменьшенные воспроизведения, дома же трехступенчатые, прижавшиеся к склонам, так что более низкий этаж выступает вперед и каждый имеет свою плоскую крышу. Построены они частью из необработанного камня, на сухой кладке, с большим употреблением дерева и с очагами без труб. Поэтому они черные, закопченные, грязные. Хевсуры живут грязнее любой другой кавказской народности. Длительный застой в развитии, видимо, для хевсуров был обусловлен рядом исторических и географических причин. Их земли представляли собой пограничную зону, с одной стороны, непрерывно защищавшую собой родовой строй и свое язычество от Грузии, стремившейся хевсуров феодализировать, христианизировать и подчинить себе, а, с другой стороны, непрерывно воевавшую с кистинами путем набегов и увода скота. Находившиеся в таком же положении тушины были гораздо более недоступны для вторжений в силу крутых подступов к их высотам, а пшавы более поддавались грузинским влияниям, хотя, видимо, отстаивание и ими самостоятельности поддерживалось их постоянной опорой на хевсуров. Для сохранения своей независимости хевсуры в результате особенно были привержены до последних мелочей к собственной самобытности, не желая перенимать у грузин ничего в области культуры, строительства жилищ и т. п. Каждая даже самая мелкая особенность быта становилась упрямо охраняемой от всяких внешних влияний. Этнографы считают, что это вело в последние века даже к деградации. За редкими исключениями где-нибудь на окраинах области это сохранилось до последнего времени. Вера Варденовна рассказывала, как в одной из недавних экспедиций проводник-хевсур доказывал, что не надо прокладывать к ним дороги, ибо по ним придут к ним дурные стороны современной цивилизации и убьют их культуру; не надо им никакой культуры, пусть их оставят в покое.

Естественно, что изменить установившийся у хевсуров и лишь изнутри постепенно перерождавшийся строй было особенно трудно. Вместо того, чтобы действовать постепенно, здесь были применены почти те же меры, что и у народностей Северного Кавказа. Обвинить их в сношениях с немцами было

невозможно. Хевсуры находились далеко от арены войны и вообще ею не интересовались. Исстари они вступали для помощи Грузии только в те войны, в которые решали сами вступить на собственных советах и сборищах, спускаясь затем с гор со своими знаменами как грозная и героическая боевая сила. Но взять хевсура на войну, если в их области не принято подобное решение, – это недопустимый для него позор. Поэтому попытки прибегнуть к этому в последней войне кончились неудачей и были оставлены: взятые хевсуры выпрыгивали из грузовиков в самые крутые пропасти и разбивались насмерть. После войны приняты были местные решения о постепенном выселении хевсуров, раз они не доступны надзору в своих горах и нельзя перевести их в колхозы хотя бы в такой степени, как сванов. Численно же эта народность гораздо меньше, чем сваны. Стали распускать среди них слухи, что если они не переселятся сами в район Самгори в Грузии, то их выселят в Казахстан, как кистинов, отняв у них все. В Самгори же чуть не райские места и даже готовые дома их ожидают. Это переселение началось в 1948 году, но в начале 50-х годов кончилось все более массовым бегством переселенцев обратно. В 1948-м году один из рода Арабули, живущего в Барисахо, с отрядом в 8 человек ограбил военный арсенал, перебив гарнизон. Участники этого набега были приговорены к расстрелу, но до сих пор скрываются в горах, а похищенное оружие не найдено.

Бежали обратно уже остатки населения, так как основная переселенная масса не могла приспособиться ни к климату, ни к воде, ни к образу жизни на новом, жарком, сухом, ровном месте и стала катастрофически вымирать. Этнографы рассказывали о хевсуре, который в полной национальной одежде и вооружении был выделен и прислан из Самгори в Тбилиси, чтобы довести до властей сведения о создавшемся страшном положении дел. Кто-то из этнографов встретил его на проспекте Руставели с толпой ротозеев-стиляг, которые с насмешкой следовали за ним, а он озирался вокруг в ярости и растерянности. Представитель гордой народности, к которой лично приезжал когда-то царь Ираклий II с просьбою о военной помощи! Этнограф заговорил с хевсуром на его диалекте, и тот бросился к нему с вопросами: почему на него смотрят, как на зверя? Почему он уже три дня в городе, обобранный, истративший все деньги, голодный, не может добиться, чтобы его принял если не сам Мджаванадзе, то хотя бы кто-то из его помощников? «Разве мы не люди?», – говорил он. – «Разве можно с нами

так поступать?». Этнографы помогли ему, дали денег, кормили, но добиться для него приема им тоже не удалось.

Одни вымерли, другие бежали обратно, выжившие дети остались, чтобы из хевсуров превратиться в обычных грузин. Сначала бежавшие, все потерявшие, возвращавшиеся на груды развалин вместо прежних домов были как бы вне закона. Но с 1954 г. их переселение обратно было решено и положение их узаконено. Хевсуретия была превращена в один скотоводческий совхоз, и хевсуры были уже на все согласны, даже на то, что больше четырех коров семья не имела права держать. Однако не только дома были разрушены и разорены, – скота почти не осталось. При всем своем ничтожестве количество индивидуального скота было больше, чем совхозное стадо. Альпийские луга были почти пусты. Нужны были годы и годы, чтобы на новой основе добиться какого-то улучшения хозяйства. В таком состоянии только еще начинавшегося улучшения мы и застали эту область дикого нагромождения камней, покрытых непроходимыми лесами. Деревни все еще были грудами развалин, лишь в немногих восстановленных домах возродилась жизнь. Национальные костюмы уже каждодневно не носили, – сохранялись лишь праздничные, которые вытаскивались для показа нам, и этнографы с удовольствием в них наряжались и фотографировались. Мыться хевсуры не научились. Дома восстанавливали по старому обычаю, но вместо очагов ставили теперь железные печки с трубой, выходящей в окошко. Ночевать у них по-прежнему было невозможно, хотя известно, что нося будничную одежду без белья и без стирки, до тех пор, пока она не начнет рваться, и живя в черных жилищах, хевсуры сумели не обзавестись никакими насекомыми, потому что пропитывали ткани и дерево соками трав, спасавших от этого. Дорога, доведенная до Барисахо, строилась дальше, – первая колесная дорога в области. Но сама область была опустошенной и разоренной после проделанного с ней эксперимента. Один грузин уверял меня, что хевсуры настоящие дикари, всегда таковыми останутся, поэтому единственный выход – их уничтожить; при этом он проявлял полное незнание их истории и культуры, даже их религии. Второй – хевсур, но учившийся где-то в грузинском городке и теперь заведовавший библиотекой в Барисахо, утверждал, что так как хевсуры привыкли работать только на свои семьи и общины, а не на государство, надо все у них отобрать и опять совсем выселить; пусть перемрут, если не могут стать сознательными.

Когда хевсуры согласились на все в имущественном отношении, они все же отстояли наличие святилищ, принадлежность им земель и сохранение их общинной обработки. Но, конечно, при резком уменьшении населения и при том, что все старинные обычаи уже расшатывались, мы – женщины – ходили в святилища, если поблизости не было хевсуров, а Вере Варденовне вследствие ее возраста (более 60-ти лет) сами хевисбери позволяли это делать открыто. Все серебро, вся дорогая утварь из святилищ была унесена стариками в какие-то потайные места в горах, чтобы спасти ее от осквернений. От молодежи эти тайники скрыты, и, таким образом, еще через многие столетия в горах хевсуров будут находить клады. Насколько до сих пор у хевсуров сильны древние суеверия и обычаи, хотя и разрушающиеся, мы наблюдали не раз. Мы слышали и обмен рифмованными и нерифмованными строфами в разговоре молодых людей. Хевсур, который на своей лошади привез в экспедицию запоздавшего топографа, числился в воинстве Лекокского святилища. Он во время всяких переселений осел в Кахетии, но теперь заболел, и это было для него знаком, что божество требует его обратно в святилище, для чего он и выехал в родные места. Гостеприимство в Хевсуретии ограниченное еще более, чем у сванов, по тем же причинам. На экспедицию оно никак не распространялось, как и вообще на грузин, не говоря о русских, которые здесь и бывали в редчайших случаях. Женщины и почти все дети, даже значительная масса мужчин, по-русски не говорят совсем. Зато гостя-хевсура из чужого селенья приветствуют песней, прославляющей его род и предка-героя. Поющий аккомпанирует себе на пандури, стоя на одном колене, а гость слушает стоя, с чашей в руке, из которой отпивает джипитаури (водку из ячменя), а потом дает пить тому, кто его приветствовал песней. Старший в доме тоже становится перед гостем на колено, тот протестует, что не достоин этого. Вообще всяких церемоний масса.

Уже в первый день пребывания в Барисахо мы с высокого склона над Хевсурской Арагвой видели конные ритуальные состязания, которые организуются семьями в память умерших членов этих семей. Скачут все желающие, обязательно без стремян, а затем победитель получает небольшой приз и все садятся за трапезу. При конном искусстве, процветающем на Кавказе, кажется мне, что никто не ездит так красиво и так сверхъестественно искусно, как хевсуры. Видишь их на таких откосах или силуэтами на таких зубчатых гребнях, что для лошади подобный путь вообще представляется невозможным. Лишь козы,

олени, туры могут здесь не только карабкаться, а еще и скакать! Сами хевсуры легкие, поджарые, небольшого роста, часто в движениях их много непроизвольной грации, а в говоре на своем диалекте (как я уже отмечала) много певучести. Часто они красивы. Сваны в массе по сравнению с ними крупнее, тяжелее, грубее во всех отношениях. Но в общем они молчаливы, нередко тень сумрачной грусти лежит на их лицах. В дома свои они не зовут, хотя принимают в них вошедшего со сдержанной вежливостью. Девушки по отношению к нашим часто были задорны, иногда даже вызывающе. В дни, когда они не чисты, как и женщины во время родов, они и теперь уходят в особые маленькие полуземлянки с крохотными окошками (боссели, самравло). Мы видели их сидящими там, вышивающими и болтающими. Когда мужчин этнографы расспрашивали о «подругах» их юности, они смущенно улыбались, но вспоминали явно с удовольствием. Мужчины носят перстни. Раньше здесь вообще было развито серебряное художественное ремесло, изделия которого более тяжеловесны и грубы, чем в Дагестане, но от этого кажутся эпически-древними и особенно интересными. В Лекоке мы слышали об одном из последних таких мастеров. Сохранились еще и мечи, и маленькие круглые щиты, и боевые кольца. Это своего рода кастеты, усаженные зубчатыми остриями. Они использовались не на войне, а в драках и поединках, в которые вступала молодежь, соревнуясь в силе и ловкости, или во время ссор. При этом закон строго запрещал повреждение глаз. За прочие раны родители расплачивались скотом, подводя итог, у кого больше ранений. У многих хевсуров в результате шрамы на лицах, которые обычно их не портят, а лишь увеличивают впечатление их мужественности. Что-то и меланхолическое, и разбойное часто ощущается в их взгляде. Убийства друг друга у них не допускаются, – за них надо десятки лет выплачивать выкуп и подвергаться унижениям.

Теория, которую мне весьма осторожно и предположительно высказывала Вера Варденовна, заключалась в стадиальной аналогии между состоянием и строем хевсуров до начала их переселения и кельтских племен Британии, Ирландии в начале новой эры, когда Британию завоевывали римляне. Те же священные рощи, в них святилища, друиды-жрецы, они же старейшины. Тот же, примерно, ход разложения родового строя теократическим путем: превращение жрецов в старейшин общины. В основе их власти только авторитет, единственные наказания – штрафы, общественный позор. Наличие хозяйства и имущества

общины и святилища, стремление второго постепенно подчинить себе общину, ввести отработки в пользу святилища, но, видимо, община у кельтов была тоже еще сильнее святилища. Напрашивающиеся параллели между друидами и хевисбери. Для решительных выводов, однако, слишком мало данных осталось о кельтах, поэтому все находится в стадии только соблазнительных предположений. Интересно, что в хевсурском эпосе есть сведения о появлении порою рабов, как пленных, так и долговых.

Этнографы Грузии очень спешно и напряженно занимаются Хевсуретией, потому что надо успеть собрать устные сведения и наблюдения, – ведь скоро ничего этого уже не останется. Последнее же описанное путешествие по этому краю, – сейчас драгоценное для сравнений и понятий об исторической динамике, – это книга Г. Родде "Хевсуретия и хевсуры", вышедшая в Тифлисе в 1881 году.

В Барисахо есть только одна легендарная достопримечательность, – низенькая башня, на месте которой будто бы когда-то стояла большая башня кистина. Имя его было Санаг. Как мусульманин, он на родине имел 8 или 9 жен, а наложницей у него некоторое время была пленная хевсурка. Как-то ей удалось вернуться в Хевсуретию, и здесь она родила сына. Когда мальчику исполнилось пять лет, она в праздник прислала его к отцу. Тот возлежал на пиру. Мальчик подошел к нему и выстрелил в него из лука игрушечной стрелой. На удивленный вопрос Санага он ответил, что является его сыном. Так он отцу понравился, что тот переселился к хевсурам, принял их веру и построил в Барисахо башню, где и жил с хевсуркой. Всего у них выросло три сына, начавших род Сисанаури. Однако гуданцы вытеснили их из Барисахо, и они ушли в Лекокское ущелье. Дом себе здесь они построили на месте бывшего святилища, не зная об этом. Божество этого святилища стало делать им знаки, чтобы они оттуда ушли. В очаге их вдруг выросло деревцо, которое они срубили. Деревцо выросло снова, по одной версии – с яблоком, по другой – с чашей. Братья опять его срубили. Третье деревцо выросло со змеей. Тогда они поняли, сожгли дом и ушли в другие селенья. Один из них, уходя, обернулся, и летящее от пожара по ветру дерево сожгло ему нос. На месте же этом было создано и долго существовало очень богатое святилище. Много песен поется о том, как Арагвский эристави Зураб предпринял поход на Хевсуретию и был разбит хевсурами. По легенде он во время этого похода уничтожил и башню Санага, и святилище, бывшее на месте дома его сыновей в Лекокском ущелье. Развалины последнего, однако, до сих пор сохранились в виде

кучи камня. А вместо большой кистинской башни была построена маленькая, имеющаяся сейчас. Местные жители говорят, что в нее сажали потом пленных кистинцев.

Первый наш поход и был в Лекокское ущелье (Лекокисцхали). Здесь мы сразу окунулись в гущу хевсурских лесов, которыми со сплошным спутанным подлеском заросли глыбы камня, образующего и покрывающего крутые склоны гор. Тропа вилась по склону над горным ручьем, то уходившим далеко вглубь, то журчащим все ближе, пока тропа не спускалась к нему в расширявшихся местах зеленой долины. Попадались маленькие, брошенные каменные водяные мельницы. В конце ущелья находятся три селенья, похожие на хутора. Все три имеют около себя святилища. Одно из них посвящено Атче – богине, которая слилась с христианским представлением о богоматери. Второе святилище – божества Карати. И в этом святилище имеется золоченое, сквозное, напоминающее купол перекрытие с крестом. Это, насколько я знаю, единственный случай во всей Хевсуретии и объясняется, видимо, тем, что Барисахо и Лекок ближе всего к Грузии и более всего эта местность была подвержена грузинским походам. Третье святилище посвящено пшаво-хевсурскому богу Копале, о котором легенды говорят, что он был воителем против злых духов-дэвов. Джвари у хевсуров (в отличие от грузин) всегда означает "святилище", а не крест, как неверно переводят это слово у Пшавелы русские переводчики, даже мой любимец Заболоцкий. Слово же "хаты" (по-грузински "икона") означает у хевсуров и святилище, и крест. Существует легенда о змее (змееподобном тумане), который каждое утро сползает от Каратисджвари по Лекокскому ущелью к Арагве, чтобы позаботиться о хмеле, растущем в устье ущелья, и затем уползти обратно.

Я и еще несколько человек были только в одном хуторе Лекока – Чадисопели. Вошли в старый, уцелевший, низенький закоптелый дом. Попросили хозяйку показать национальные костюмы, в которые нарядились наши этнограф и архитекторша, а я их фотографировала. Нижняя часть костюма осталась на них собственная, но верхняя была прекрасна. Вышивка всегда геометрическая, часто с белым бисером, сплошными большими ковровыми пятнами по черному фону. Нашлись и меч, и маленький круглый щит. Но чего мы ни здесь, ни в других местах почему-то не находили, это мужские круглые шапочки с железным кругом внутри, служащим для предохранения головы от удара.

В доме в углу сидела старуха в почти истлевшем старом национальном костюме, вышивка которого совсем выцвела и покрылась грязью. Седые растрепанные космы волос выбивались из-под вышитого головного женского убора. Она вся была как бесформенная, расплывшаяся куча тряпья, но глаза на морщинистом лице смотрели осознанно и внимательно. Кто-то из этнографов вступил с ней в разговор.

– Что она говорит? – спросила я.

– Она рассуждает о том, что странные настали временя, хотя и вообще жизнь всегда была странной. Вот мы ее так же совершенно не можем понять, как и она нас, хотя говорим на одном языке. Она нам должна казаться такой же нелепой, какими нелепыми мы кажемся ей.

Вечерело, и приближалась гроза, а Веры Варденовны и нескольких ее спутников-мужчин, которые ушли в святилища вместе с хевисбери, все еще не было. Ведь теперь она могла с разрешения самого хевисбери осматривать джвари, поэтому она забыла и о времени, и о дальности обратного пути. Я вспомнила ее рассказ о том, какой отчаянной она была в молодости, когда запрет проникновения женщин в святилища был в полной силе. Дождавшись сумерек и времени, когда в святилищах никого не оставалось, а чабаны загоняли стада на ночь, она брала верховую лошадь и скакала во весь опор в джвари, как можно скорее все осматривала, запоминала для последующей записи и мчалась обратно. При этом, конечно, она рисковала жизнью. Но самое страшное было, когда она не удержалась и похитила из святилища маленький крест необыкновенной научной ценности. На другой день в дом, занимаемый экспедицией, пришли представители хевсуров и сказали, что они заметили несколько раз проникновение грузинской женщины в святилище, но пока это терпели. Теперь же, когда пропал крест, являющийся для них давней святыней, они требуют, чтобы им дали произвести в доме обыск, и, если крест найдут, экспедиция будет перебита. Обыск тут же был сделан, хевсурские женщины осмотрели и Веру Варденовну. Однако крест не нашли. Ночью у Веры Варденовны был приступ страшной горячки, высокая температура, она бредила и все время говорила о кресте. Мужчинам-этнографам пришлось дежурить снаружи у дома, чтобы хевсуры не подошли к нему и не подслушали бред. На другой день, ввиду болезни, ее срочно отправили из экспедиции.

В этот раз, когда мы, наконец, пустились в обратный путь, сразу стемнело и началась гроза. Все окутал черный мрак, разряжаемый только вспышками молний, и полил дождь. Огромная группа шла гуськом, держась за одежду или за плечи друг друга, по узкой и теперь все более скользкой тропинке над скрытыми в зарослях леса крутыми обрывами в сторону все более ревевшего на дне ущелья ручья. Было только два карманных фонарика, которыми освещали кое-как путь лишь в самом начале и в самом конце этой опасной процессии. Под ногами торчали корни и острые ребра камней. Сломать или вывихнуть ноги ничего не стоило, поэтому продвигались очень медленно, наощупь. Все время слышался окрик "нела!" (по-грузински "осторожно!"). Меня вместе с Читая и Верой Варденовной поставили впереди в сфере слабого освещения первого фонарика. Так мы прошли путь, наверное, километров в 10. Наконец, уже где-то в середине ночи доползли до устья ущелья, и перед нами в свете молний открылась Арагва, превратившаяся в разлившуюся, по сравнению с нормальной величиной, бушующую, бешеную реку. Деревянный мост через нее уже был разбит на отдельные бревна, еще не потерявшие окончательно связи, но уже ходившие ходуном, с большими разрывами между ними, захлестываемыми водой. По этим бревнам-клавишам, перескакивая промежутки между ними при помощи мужчин, мы кое-как перебрались через разъярившуюся реку. А на утро, когда мы встали и вышли на берег, уже не было никаких следов моста, – его разбило и унесло течением.

После этого начались наши ежедневные радиальные маршруты километров по 12 в селенья, лежавшие над Барисахо по правую сторону от Арагвы. Каждый день крутые подъемы по извивающимся лесным тропинкам, горные ручьи, поляны с крупными зонтичными белыми цветами, стебли которых научила меня есть Тина Очиаури. Заселенные лишь частично деревни с трехступенчатыми хижинами, со стогами сена у домов, а порой и на крыше, с примыкающими к ним ложбинами расширяющихся ущелий, где располагались посевы. Когда мы поднимались в смешанную лесную и уже частично луговую зону, перед нами открывались дивные виды. В просвете ветвей и высокой травы, где мы отдыхали, внизу селенья казались крохотными гнездами птиц, а посевы кругом – коврами из квадратов и прямоугольников разных сдержанных тонов, как будто это была вышивка хевсурской одежды. Не от подобных ли посевов в ложбинах выработался сам ее строгий геометрический узор, сами ее изысканно-

сдержанные красочные оттенки, среди которых так много желтоватых и оранжевых? Когда же мы смотрели вверх, мы видели, как леса еще пытались длинными языками взобраться по крутым склонам, но у них будто не хватало силы на такой подъем и они оставляли вершины голыми, зелеными от лугов, серыми от скалистых обрывов. За эти вершины цеплялись облака, завихряя и окутывая их, разрываясь, оставляя просветы и потом переходя в массы, за белизной которых уже сияла голубизна неба. Лето стояло на редкость сухое и знойное, поэтому обилие хевсурских лесов было благодатью для наших переходов.

Около селенья Гвелети мы всей группой впервые оказались если не в святилище, то непосредственно перед ним. Два больших темных камня, подобные клыкам слона, вертикально торчали, создавая подобие ворот, в него ведущих. За ними в глубине мы увидели только пришедшее в упадок сравнительно небольшое, примитивное, грубо сложенное из камня и как бы забросанное ветками здание, – скорее расползшуюся низкую хижину. Ничего больше. Подошел хевисбери – среднего роста старик с маленькой седой бородой, в ватнике и высоких сапогах, с низкой папахой на голове из длинного, свисающего вниз бараньего меха. Это характерные для хевсурских стариков папахи, очень отличающиеся от обычных кавказских высоких, из короткого барашкового меха, расширяющихся кверху. Вера Варденовна и мужчины были приглашены стариком в святилище, под сень древних деревьев. А потом он долго сидел с ней вдвоем на склоне ложбины, и они без конца о чем-то разговаривали, – видимо, она спрашивала, а он отвечал с удовольствием, найдя в ней понимание и живой интерес к тому, хранителем чего он еще был, но что уже явно все меньше привлекало к себе чье-либо внимание. Еще выше мы поднимались в селенье Моцмао, затем в несколько ином направлении в Бучукурту, Чардили и в другие такие же полупустые, полуразвалившиеся поселки. Около одного из них мы не только попали в отсутствие хевсуров всей группой в пустые святилища с низкими, покрытыми сланцевыми плитками постройками, но и нашли внутри постройки для совета завернутые в белые куски материи серебряные чаши, предназначенные явно для того, чтобы ставить в них пиво девяти богам на находящийся здесь же снаружи алтарь, покрытый плоским камнем, не обработанным, как и все прочие. Осмотрев, описав и сфотографировав эти сосуды, мы их так же аккуратно завернули опять и

положили в одну из ниш, которые обычно имеются внутри святилищных сооружений.

Мне удалось во время этих походов купить и боевое, и очень хорошее обычное мужское кольцо, и характерную подвеску на цепочку, которыми обшивают края праздничных одежд. А в Бучукурте нам встретилась особенно красивая, веселая, задорная девушка Этери Гогочури, которую я сфотографировала как образец местных красавиц и зимой послала ей фотографию. Иногда на девушках были надеты какие-нибудь части национальной одежды, но уже никогда не носили они ее повседневно целиком, сменив прозаическими ситцевыми блузками и юбками, а на босых ногах – стоптанными башмаками грубого ширпотреба. Однако из сундуков часто удавалось извлечь их праздничные наряды, в которые продолжали с удовольствием наряжаться молодые этнографши, особенно студентки. Хевсуры готовы были уже за большие деньги распродать и эти последние самобытные наряды, после выселения и возврата на опустошенные места утратившие для них былое значение. Я купила образцы носков (циндеби) и пачичи (узорные гетры, надевавшиеся от щиколотки до колена), очень красиво и красочно связанных из шерсти. Купила и ящичек для рукоделья, деревянный, резной (тагрцуи). Все это находится сейчас в Ленинградском этнографическом музее.

Вслед за этими вылазками мы несколько раз ходили вверх по правому берегу Арагвы в Гудани, где находится одно из самых знаменитых и почитавшихся святилищ всей Хевсуретии. По пути туда мы каждый раз любовались удивительно красивым, образующим каскады водопадом Рошкисцхали, впадавшим в Арагву. И каждый раз кто с легкостью серны, кто с шестом и с помощью протянутых рук, переходили через достаточно широкий, прозрачный поток по перекинутому через него дереву. Гудани – чуть ли не единственное селенье, где сохранились все дома и все население, потому что самый молодой и очень энергичный хевисбери воспротивился переселению в Самгори, где вымерло такое количество хевсуров. Для этнографов это селенье было кладезем не только всяких распросов, но и образцов утвари, орудий труда, сбруи коней и тому подобных предметов быта. Здесь были и самые полные наборы одеяний. Хевисбери расположился к экспедиции благодаря Вере Варденовне и Тине Очиаури. Нам всем разрешили сидеть около святилища, которое выделялось как отдельная небольшая роза среди широкой площади посевов около деревни. Он же

смотрел сквозь пальцы на то, что несколько раз в пустое святилище ходили женщины помимо Веры Варденовны, в том числе и я, ставшая для нее чуть ли не главным фотографом. Это святилище находилось в хорошем состоянии и было образцом хевсурских джвари вообще. Под сенью старых, больших деревьев стояло здание совета из грубой кладки. Внутри него были каменные, покрытые чешуями сланца скамьи вдоль стен и нечто вроде стола или алтаря. Вокруг находилось еще несколько низеньких построек типа складов. На самых старых и мощных деревьях висели колокольчики. Отдельно стояла невысокая колокольня, открытая с одной стороны в виде глубокой ниши во всю высоту и увенчанная загнутыми красивыми рогами. В нише висел небольшой колокол, возвещавший о праздничных днях и о сборищах в святилище. Тут же красовался большой пирамидальной глыбой священный белый камень – матовый кварц. От всего веяло древностью, действительно рождавшей в уме воспоминания о друидах. А с крыш селенья Гудани и с возвышенностей вокруг открывался вид на величавые ряды хребтов, увенчанные просвечивавшей через облака горой Теухе.

Между тем подготавливался большой поход в Шатиль. Кроме очень трудной тропы, туда ничего не вело, селенья так редки и в тот момент были так бедны и разорены, что еду почти всюду надо было брать с собой, не говоря о палатках и спальных мешках. Для всего этого был нанят десяток лошадей, мулов и лошаков вместе с их хозяевами хевсурами, которые должны были служить нам проводниками. Так мы и тронулись в путь, самый тяжелый в моей жизни, с которым я, однако, успешно справилась.

Пройдя мимо Гудани, мы миновали Хахматы, где особенно рельефно выделялись на склонах трехступенчатые дома, расположенные друг над другом, и, кроме того, сохранились остатки нескольких очень простых, сужающихся кверху, грубо сложенных башен, утративших свои верхушки. В знаменитое Хахматское святилище местный хевисбери никого не склонен был пускать. За Хахматами лес стал все больше редеть, склоны долины постепенно оголялись и даже трава на глинистой почве была выедена скотом. Сама же Хевсурская Арагва быстро теряла ширину и полноводность, превращаясь в ручей. Так мы дошли до голого, зеленовато-рыжего, изъеденного дождевыми рытвинами перевала Дагвисджвари, что означает «Медвежье святилище». Иногда этот перевал называют также Велкитили. Высота его – 2800 метров. Перед ним был привал и еда. Потом начался подъем, крутой, под обжигающим солнцем, хотя, конечно,

воздух таких высот был пронизан холодком. Читая и Вера Варденовна ехали всю дорогу верхом, – им этот путь был не под силу. Я, благодаря давним горным путешествиям, как всегда в последние годы, выработала строгий ритм подъема и в результате оказалась идущей вверх одной из первых. Меня нагнал посторонний конный хевсур и поехал рядом.

– Откуда ты? – спросил он по-грузински.

Я по-грузински же ответила, что я русская и могу разговаривать только по-русски. Он перешел на ломаный русский язык.

– Русская! – воскликнул он с удивлением. – А так хорошо на гору идешь. Садись на мою лошадь.

И вот я оказалась красующейся в своем желтом сарафане на гнедой лошади, с красочными расшитыми хурджинами, а мой спутник шел рядом и вел со мной всякие разговоры, расспрашивая об экспедиции и обо мне самой. Только на вершине, где из-за перевала подул свежий северный ветер, мы с ним распрощались, и я еще раз доставила удовольствие одной из студенток, дав ей сфотографироваться верхом на лошади.



Ил. 14. Хевсуретия. 1962 г. Перевал через Дагвисджвари. Т. П. Знаменовская на лошади

С перевала мы стали спускаться по свежим, зеленым лугам вдоль речки, которая у хевсуров на разных участках меняет свое название, но фактически является верховьем реки Аргуни, уходящей затем в Чечню. Все еще в луговой части, среди начавших появляться скалистых гор, мы достигли к закату дня первого, почти пустого селенья Лебайскари. За ним на фоне пылавшего неба и туч с золотыми краями великолепно рисовалась ингушская башня, стоящая отдельно и построенная пленными кистинами со всем присущим им в отличие от

хевсуров искусством. Само селенье уже тонуло в тени. Мы расположились около жилого дома, где достали молока. Ночь была холодная, но мы надели лыжные костюмы и в спальных мешках крепко спали среди руин.



Ил. 15. Хевсуретия. 1962 г. Путь Лебайскари – Шатили. Т. П. Знаменовская



Ил. 16. Хевсуретия. 1962 г. Путь Лебайскари – Шатили. Т. П. Знаменовская

На другой день долина речки превратилась в ущелье со все более крутыми склонами, сначала голыми, потом поросшими прекрасным сосновым и лиственным лесом, среди которого круто то вверх, то вниз над обрывами вились трудные узенькие каменистые дорожки. Как я уже говорила, это был самый трудный путь в моей жизни. Тропа то и дело пересекала речку, бурную, ледяную, через которую приходилось перебираться вброд, забираясь в воду среди огромных камней на глубину до пояса, а потом высушивать на горячем солнце брюки или юбки. Еще хуже, когда речка прижималась к отвесным скалам и была

слишком глубока в этих местах для перехода. Обход же скал поверху был слишком крут, высок и удлинял бы путь, поэтому хевсуры подобных обходных троп не протоптали. Тропа вообще пересекалась и сменялась маленькими зарубками на отвесных скалах для рук и ног, на разной высоте над бурлящей внизу водой. Всем телом прижавшись к скале, мы буквально переползали по ее поверхности, на ощупь находя зарубки, за которые можно было бы ухватиться на миг пальцами рук и на которые можно было поставить кончики ног.

– Только не смотрите вниз и вокруг, – кричали нам перешедшие раньше нас эти участки мужчины, – а то голова закружится и сорветесь. И не задерживайтесь, только не задерживайтесь.

В одном таком месте последняя зарубка для ноги оказалась сколотой, и я напрасно шарила ногой в ее поисках, еле удерживаясь от того, чтобы сорваться в бушующий поток с высоты не меньше трех метров.

– Протяните мне руку и прыгайте, – услыхала я голос одного из мужчин, уже перебравшегося на кусок устойчивого берега. Я протянула руку, и он выдернул меня мгновенным усилием из моего гибельного положения. За мной последовали другие женщины.

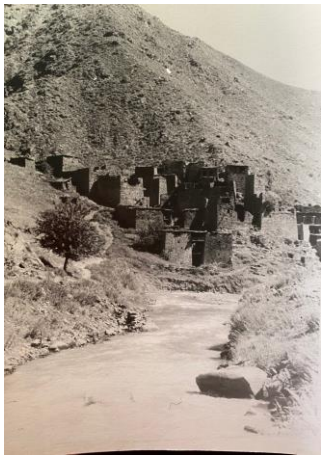
Лошади перебирались вдоль более мелкой противоположной части речки прямо по воде, но один мул чуть не утонул, упав и вымочив все вещи, которые были на нем навьючены.

Так добрались мы до расширения долины, где речка разлилась спокойнее, и за деревянным мостиком перед нами предстал Шатиль. За два дня пути до него мы прошли 70 километров, с теми трудностями, о которых я говорила.



Ил. 17. Хевсуретия. 1962 г. Шатиль

Шатиль – город-крепость совершенно необыкновенного характера. Вероятно, другого такого места нет вообще нигде. Каждый дом представляет собой высокую и массивную башнеобразную крепость в четыре этажа, с плоской кровлей, с бойницами вместо окон. Между ними то узенькие щели проходов и лестниц, то они жмутся друг к другу, образуя как бы насторожившиеся в ожидании врага грозные комплексы. Построено все из нетесаного камня с очень малым количеством связующего раствора, во многих местах и совсем без него. Поэтому необходим постоянный надзор за постройками, замена каждого выпавшего камня, чтобы здания стояли, как простояли они неизвестно сколько времени. Крепостных стен нет. На башне у входа в это фантастическое боевое убежище красуется доска, выражающая шатильцам благодарность наместника Кавказа Воронцова за отражение предпринятого мимо Шатиля похода войск Шамиля в Грузию. Арки хевсуры выводить не умели, – они образованы выступающими друг над другом уступами горизонтальной кладки, вверху которой порой вставлен иногда специально вырезанный замковый камень. Машикули сделаны в виде каменных, необработанных разной величины навесиков. Эти башни-дома хевсуры зовут просто домами. В нижнем их этаже помещался скот, во втором – спальни женщин и детей, в третьем – спальни мужчин и столовая (дербази), в четвертом – хозяйственные помещения, боевые припасы. Старики оставались в таком доме с семьей младшего сына; более старшие сыновья, женясь, строили себе отдельные дома-башни. Последнее нападение кистинов на хевсуров произошло недалеко от Шатиля в 1950 году, перебита была целая семья, угнан скот, но счет убитых с обеих сторон в целом был равен.



Ил. 18. Хевсуретия. 1962. Шатиль

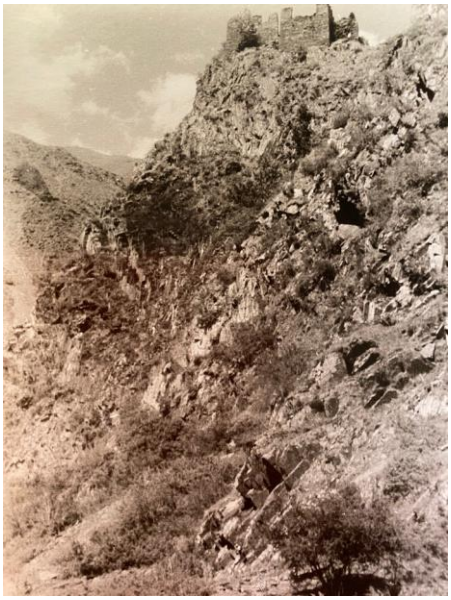
Вокруг Шатиля (по-грузински – Шатиль – Шатили) расположено четыре святилища. В одно из них мы попали и любовались там особенно высокой и интересной колокольней с большим по здешним масштабам колоколом и огромными турьими рогами наверху. В другом видели издали священные деревья с колокольчиками и низкое здание дербази. Очень интересно кладбище, склепы которого имеют вид низких квадратных построек с пирамидообразными перекрытиями из горизонтальных слоев сланцев и более толстых слоев камня. На верхушках красуются куски белого кварца. Эта форма захоронений близка к кистинской, – я вспомнила могильники ингушей в верховьях Ассы. Как живописен, необычен, красив Шатиль с разных точек зрения, при разном освещении, – передать словами невозможно. А как он выглядел по рассказам бывавших здесь раньше, когда он полон был жизни и все его жители были одеты в расшитые национальные костюмы! Это казалось даже нереальным, а театральным или сказочным. До выселения, произошедшего в 1949 году, здесь жило около сотни семей. Теперь сюда вернулось восемь семей. При строительстве на сухой или почти сухой кладке все быстро рушится. Некоторые башни уже рухнули, другие часто превратились в остовы без этажей и перекрытий. Надо спасать этот уникальный памятник архитектуры. Сейчас, через 10 лет, уже близко к нему прошла дорога, начатая при нас от Барисахо. Кажется, возят туда туристов и ведут реставрационные работы. Но, как вздыхал даже такой трезвый человек, как Мириан, вместо самобытности и экзотики остается только искусственно законсервированный остов прежде живого организма. Таков вечный ход истории…



Ил. 19. Хевсуретия. 1962. Шатиль

Мы расположились против Шатиля на другой стороне реки, на этом участке называющейся Шатилисцхали. Палаток было мало, только для пожилого начальства. Прочие, – в том числе и я, – спали прямо под открытым небом в спальных мешках. Вечером разводился большой костер, на котором кипятилось добытое у хевсуров молоко. Консервы днем, а вечером – это молоко в кружках, хлеб, сахар, – были нашей единственной, но вполне достаточной едой. У хевсурских коров особенно жирное молоко, и они в прошлом, когда семьи имели от 30 до 300 голов крупного рогатого скота, продавали в Грузию в очень больших количествах не только мясо, но и топленое масло. Конечно, о чистоте их продуктов говорить не приходится, поэтому свежее масло никто не стал бы покупать. И пить их сырое молоко, а не горячее, кипяченое, прямо с костра, мы тоже не могли.

Немного выше Шатиля к реке вертикальными, ребристыми пластами обрывается отвесная высокая скала, даже скорее целая гора. На вершине ее удивительно живописно рисуются развалины замка, с этой стороны прикрывавшего подступы к Шатилю. Это поразительное по романтической красоте место, куда мы, конечно, забирались с другой, пологой стороны. Называется оно Анаторисцихе. Трудно представить себе более классический образец расположения неприступной средневековой твердыни, которую, как и все в Хевсуретии, очень трудно датировать из-за отсутствия письменных источников. Видимо, это XII–XIII века. Вид, открывающийся с этой вершины, тоже величественно-прекрасен. Впрочем, я забыла написать еще об одном необычном по красоте месте, которое мы прошли по дороге в Шатиль. Это большие, глубокие пещеры, входы в которые занавешены струями водопадов, сверкающими серебряными нитями как в какой-нибудь феерической декорации. Поистине, ничего человек не придумает более причудливого, чем можно найти в самой природе!



Ил. 20. Хевсуретия. 1962 г. Анаторисцихе

В 5 км ниже Шатили по реке находится Анатори – Город мертвых. Время его образования неясно. По преданью во время страшных эпидемий больные уходили туда умирать, чтобы не заражать окружающих. Ущелье, по которому мы ходили в это страшное место, сначала с одной стороны покрыто лесом, а другой склон сложен голыми, пористыми, довольно рыхлыми песчаниками или туфами с брекчией[118], серых и серо-голубоватых тонов, перемежающихся серо-желтыми. Затем этот голый склон превращается в сплошные обрывы брекчии, заключенной в оползающих рыхлых породах, не разделенных на пласты, а близких к колонообразным формам выветривания. Получается впечатление мощных, неровных по толщине и очертанию, прилегающих друг к другу полустолбов. Светло-желтые тона переходят в мертвенные синие и голубые, с холодными пепельными потеками на них. Впечатление жуткое и фантастическое. Гора, на которой расположено Анатори, находится на слиянии этого ущелья с другим, в него впадающим. Сложена она теми же пористыми песчаниками и туфами с брекчией, на которых лежат слои то сланцев, то толстые твердые пласты вероятно метаморфических пород. Могилы-склепы, являющиеся по существу полуземлянками, врыты в туфо-брекчию, пористость которой делала ее породой, всасывающей испарения и превращающей тела, заключенные в ней, в высыхающие мумии. В темноте этих каменных хижин-склепов видны нары и распростертые на них тела. Но некоторые умерли сидя и остались в тех позах, в которых их настигла смерть. Напротив выхода из одного склепа сидит женщина с

ребенком, а в другом склепе – мужчина, оскаливший зубы, будто он смеется. На них уцелели и остатки одежды. Кинооператоры экспедиции все засняли. Зрелище же было таким страшным, что с одной из студенток потом в лагере сделалась истерика. А хевсур, бывший нашим проводником, не поднялся с нами на гору, – по обычаю, живые не должны ходить в подобные места.



Ил. 21. Хевсуретия. 1962 г. Шатиль. Хевсуры в национальных одеждах идут на праздник

21 июля в Шатили был праздник, и мы ждали его, чтобы тоже заснять на кинопленку и описать. В одном из святилищ весь день звонили мелкие колокольчики. В другом, где находится описанная мною выше колокольня с турьими рогами, колокол звонил только иногда. Утром из Шатиля вышли мужчины, одетые в праздничные национальные расшитые одежды. Но обувь на многих была современная городская, на головах случайные головные уборы – от осетинской шапки с полями до папах и даже современной кепки. Они несли торжественно пироги и лепешки. За ними прошли еще мужчины, которые вели рыжих баранов для заклания. Наши мужчины, конечно, пошли в святилище, пировали вместе с хевсурами, пили пиво, и кинооператоры производили съемку. Мы же могли вместе с хевсурскими женщинами смотреть на все это лишь с большого расстояния. Видели мы издали, что кончилось все поединками на мечах со щитами.

Среди всех выделялся молодой хевсур Вхтисо Гогочури, с которым мы уже до этого хорошо познакомились. Он был из числа выживших при переселении в Самгори детей и теперь учился в Тбилиси в художественном училище. По-русски он говорил вполне сносно, и потом я даже получила от него пару писем, выслав

ему книги о интересовавших его художниках. Был он полукультурен, но как породиста, изысканна и вместе с тем мужественна была внешность этого юноши! Как и многие хевсуры, он не был черным, – довольно светлые волосы вились над продолговатым лицом, бледным, нежным, с тонкими чертами и красивыми карими глазами. Движениям его, манерам, позам была присуща врожденная грация. Когда он на праздник надел полный (только с обнаженной кудрявой головой) национальный костюм с роскошной узорчатой саблей, он стал похож на идеальный образ средневекового рыцаря. Стройный, изящный, непринужденный, ловкий, он в любом положении пластичного тела просился быть запечатленным в художественном произведении. Я так любовалась им и фотографировала его, что Амиран, будто пытаясь его затмить, тоже надел хевсурский наряд, взял огромный кинжал, сел на коня и попросил его сфотографировать. Но никакого сравнения тут, конечно, не могло быть.

После праздника лагерь наш свернулся, и мы отправились в обратный путь, но по новой дороге, более длинной, – за два дня мы, лишь приблизительно учитывая извилистость пути, прошли 80 км.



Ил. 22. Хевсуретия. 1962. Село Муцо.

Удивительно живописным местом оказалось Муцо, – на горе развалины крепости с башней в центре, башни, спускающиеся по склону и рисующиеся красивыми темными силуэтами на фоне неба, живописный мостик внизу, обрамленный скалами и деревьями. Одна из башен связана с эпическим героем Торвой. Расположенное внизу более позднее селенье мы даже не видели, оставив Муцо в стороне в его живописной древней руинности. Широкие ущелья, поросшие больше травой, чем лесом. Полдневный отдых у древних могильников вблизи селенья, рисовавшегося башенным силуэтом. Но туда поскакал верхом только Мириан, чтобы добыть там барашков. И опять бесконечный путь по

пастбищной зоне. Я шла в числе первого десятка очень растянувшейся по тропе группы, иногда с кем-нибудь, иногда одна, чтобы вместо разговора углубиться в созерцание окружающего и в свои мысли. Дважды в связи с этим мне пришлось пережить страшные моменты из-за овчарок. Один раз на одиноком участке моего пути впереди показался пустой кош, из которого выскочили две огромные собаки и побежали прямо ко мне навстречу. Поняв опасность положения, я села на камень и застыла в полной неподвижности. Какое же было мое облегчение, когда следом за ними из-за ограды вышла маленькая девочка и, крича на собак, побежала бегом ко мне! Собаки при ней не посмели даже залаять, а она взяла меня за руку и так провела мимо коша на значительное расстояние, с удивлением поняв из моих грузинских фраз, что я «рус». Вероятно, она еще ни одного «руса» в своей жизни не видела. В другой раз я шла на небольшом расстоянии следом за маленькой группой Мириана. Кош был на другой стороне речки. Там яростно лаяли, бегая по берегу, овчарки, и именно к тому времени, когда я миновала его, они позади меня перебрались через реку. Однако, наверно, к моему счастью, я уже прошла ту границу, которую они должны были стеречь, потому что в определенном месте они остановились и не побежали за мной дальше.



Ил. 23. Хевсуретия. 1962 г. Путь Апхоты – Хахабо

К вечеру мы шли по неглубоким, узким ущельям ручьев, поросших то лесом, то высокими цветами и огромными листьями, а позади нас на ясном небе рисовались то изрезанные полосами снега, то снеговые вершины, розовые в закатном свете. Только фотографировать всю эту несказанную красоту было уже слишком поздно, жаркий день сменился, угасая, леденящим дыханием вечера. Так мы дошли до селенья Хахабо, полупещерного, с домами, врезанными внутрь вертикальной стены серого каменного обрыва. Перед нами раскинулось поросшее короткой зеленой травой широкое плато, на котором мы наспех разбили лагерь. За путь в 40 км все так устали, что даже не пошли ближе к селенью, в

которое отправилась лишь группа мужчин во главе с Мирианом, чтобы добыть молока. Справа от селенья, утопавшего в дымчатых сумерках, за краем плато, как будто совсем близком от нас, горела яркими закатными красками и постепенно гасла великолепная снеговая гряда. Пока она не потухла, зрелище было ослепительное. Стало совсем холодно. Все жались к запылавшему под большим котлом костру и натягивали на себя лыжные костюмы. Я не могла оторваться сразу после еды от красоты этого необычного места. Слева совсем потемнела каменная стена с черными отверстиями входов и окошек, в которой местами замерцали огоньки. Прямо перед нами догорали багрово-красные и сине-лиловые вершины гор, как будто подступая еще ближе к нашей поляне. Догорал и костер под котлом, молоко из которого было выпито с небольшими кусочками хлеба, – хлеб достать в селеньях было невозможно, а прочие запасы наши кончились. Вокруг двух больших палаток мы расположились в спальных мешках, разбросанных под пологом низко нависавшего и бесконечно глубокого, буквально переполненного звездами неба.

Утром, когда мы проснулись на рассвете, по поляне шло стадо огромных племенных быков. Мы в страхе поглубже спрятались с головой в свои мешки, выглядывая только в их щели. Но и быки явно боялись незнакомых, странных предметов, разбросанных по пастбищу. Они шли с опаской, шумно обнюхивая нас с некоторого расстояния. Косо и настороженно смотрели на нас их глаза, налитые кровью. Это длилось довольно долго, а затем они ушли своей дорогой.

На завтрак мы получили по куску хлеба и ломтику баранины. Мириан успел проскакать к чабанам и достать трех барашков на 40 человек экспедиции. Впереди предстояли 40 км, уже безо всякой еды. Повезло нескольким человекам, – в том числе и мне, мы натолкнулись на чабанов, которые дали нам хоть по ломтю лепешки.

После умыванья на лугу в ледяном ручье, путь наш с восходом солнца начался подъемом на голый, травянистый перевал Цубровани, высотой больше 3000 метров. Тропа была крутой. В ложбинах лежал снег. В одном месте на тропе спали прямо на земле, ничего не подстелив, два хевсура, а их кони с роскошно расшитыми хурджинами по бокам седел мирно щипали траву около своих хозяев. Это здесь обычное явление, с которым мы сталкивались и раньше: если хевсура в пешем или конном пути одолевает сон, он тут же, где попало, ложится на землю и мертвецки засыпает.

Чем выше мы поднимались, тем больше перед нами разворачивались вздымающиеся волнами хребты, плавно очерченные, безлесные и не скалистые, покрытые коврами альпийских лугов. Одних из лучших на всем Кавказе для разведения крупного рогатого скота! Но эти дали были почти абсолютно пустынны, лишены стад, лишены должного использования на том сложном историческом переломе, который переживала Хевсуретия. Снеговые же горы, красовавшиеся перед нами вчера, куда-то спрятались за другие хребты.

Перевалить через Цубровани в лежащую за ним зеленую котловину было тяжко, но сразу из этой ложбины мы должны были взять второй, уже знакомый нам перевал – Дагвисджвари. Здесь скрестились и слились наши пути в Шатиль и обратно. Так как вся еда была съедена, часть лошадей освободилась, и не только дошедший до полного изнеможения бедный Циласани, но и наиболее слабые девицы из студенток плелись по тропам верхом. Я отклонила предложение Читаи сесть сзади него на круп лошади и шла только пешком.

– Как вы невероятно загорели, – сказал он мне, окидывая взглядом мою фигуру (я шла в сарафане, без рукавов, с обнаженной до половины спиной, – грузинки не привыкли к загару и боятся его). – Вы стали как бронзовая статуэтка, покрытая благородной патиной, – добавил он.

Моя склонность часть пути проходить в одиночестве, между ушедшими вперед и следующими позади группами, привела меня в этот раз к опасности. Идя мимо Хахмат, я не учла, что вверху лесного участка над рекой находится местное святилище, в котором мы не были и которое почитается в Хевсуретии не менее, чем Гуданское. Я поднялась, проходя этот участок, по слишком высокой тропе и вдруг услыхала над собой мужские голоса. Сообразив в чем дело и испугавшись, я постаралась тихо и незаметно спуститься вниз и пройти над самой рекой. Но нарушение запретной зоны было сразу обнаружено. Когда я по берегу огибала скалу, на которой в деревьях пряталось святилище, в меня сверху был брошен очень большой камень, пролетевший на расстоянии 2–3-х метров от моей головы. Бегом я обогнула скалу и оказалась за ней в безопасности.

Между тем, за время нашего отсутствия дорога от Барисахо, хотя и в черновом виде, была протянута почти до Гудани, и здесь поджидал нас наш грузовик. Сэкономить даже несколько километров пешеходного пути для нас, усталых, измученных, голодных, было большой удачей. На грузовик сложили все вещи, развьючив лошадей. Сгущались сумерки. Нанятые экспедицией вместе с

лошадьми их хозяева-хевсуры сели верхом и пустились вскачь перед фарами машины, еще не способной развить на новой дороге полную скорость. Никогда мне не забыть это зрелище! Казалось, и кони, и всадники хотели доказать свои преимущества перед пыхтящим, вонючим, безобразным сооружением, каким казался грузовик по сравнению с их красотой, легкостью, стремительностью. Как будто сама природа насмешливо протестовала против искусственного и противоестественного при всей своей целесообразности человеческого изобретательства, против техники, грозившей ее самобытной красоте…

***

Так вон она – молельня пшавов!
Важа Пшавела[119]

В начале августа экспедиция захватила еще кусок Пшавии, представляющей сейчас тоже один животноводческий совхоз с центром в Магаро, на начале Пшавской Арагвы, которая ответвляется от Арагвы Хевсурской. Сюда ведет дорога, здесь находится районный центр Пшавии. Но он меньше, чем Барисахо. И школа-интернат тоже гораздо меньше, – просто двухэтажный вытянутый дом с галереей вдоль второго этажа, опирающейся на столбики. Так как в результате здесь было тесно для нашей экспедиции и шумно, а я всегда ложилась спать рано, я расставила полученную мною «раскладушку» со своим спальным мешком за столбиками под галереей. И тут же во дворе Мириан с Амираном установили свою палатку. За школой был кусок отгороженного леса, где местные районные власти устроили нам обильное пиршество. Дальше вверху буйно поднимался густой лиственный лес.

Основная часть Пшавии, среди которой мы расположились и по которой бродили в этот раз, лежит в зоне самых великолепных лиственных лесов, которые я видела на Кавказе. Это не непроходимые заросли, буреломы, сплетения ветвей и огромных листьев, громоздящихся вместе с нередко сильно искривленными деревьями, на навороченные беспорядочно глыбы камня, как по большей части в Хевсуретии. Здесь, наоборот, рельеф более мягкий и склоны покрыты или буково-грабовыми, чистыми, белоствольными могучими лесами с ковром шуршащих листьев под ногами и с широко раскинутыми над головой кронами, или

сияющими в скользящих солнечных бликах свежими кустарниками густого подлеска среди мощных стволов роскошных кленов, лип, ясеней и многих других красавцев лиственной древесной породы. В густой, то молчаливой, то шуршащей под ветром, таинственной чаще извиваются мягкие, лишь местами пересекаемые камнями и корнями тропы, взбегающие на склоны или спускающиеся к чистым, звонким, но не бурным ручьям, часто образующим красивые маленькие каскады. Изумительное, спокойно-величавое, сказочно-прекрасное лесное царство! Даже голоса и перелеты птиц в нем приглушенно-мягки, будто пернатые не хотят нарушить чуть шепчущую тишину листвы, ее тени, чуть прорывающиеся вглубь и трепещущие в ней солнечные отблески. Трудно представить себе что-нибудь более пышное, роскошное, щедрое по растительности. И трудно представить себе удовольствие от ходьбы по этим тропам, где зеленая чаща спасает от всякой жары.

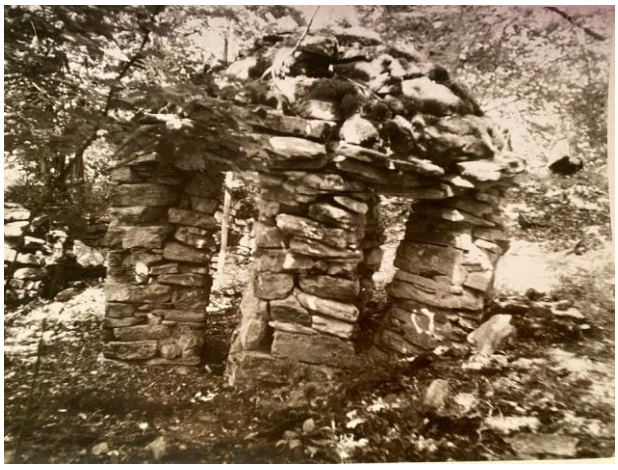
Селенья с открытыми вокруг прогалинами для посевов редки и теперь почти или наполовину пусты. Испугавшись участи хевсуров и вообще всяких выселений, основная часть молодого и сильного населения Пшавии сама разбежалась по разным местам Грузии (с которой оно было более связано, более близко, чем хевсуры), чтобы устроиться на какую-нибудь работу. Край опустел. Немногие селенья, в которые мы заходили, – и последнее из них Гомецери, кажется местом жительства только стариков и пожилых женщин. Сами же эти деревни отличаются от хевсурских. Остатков башен нет, тем более нет башнеобразных домов-крепостей. Все имеет мирный характер. Длинные дома с двухскатными крышами покрыты черепицей. Много вокруг служебных хозяйственных построек, часто с соломенными крышами. Во дворах, отгороженных сквозными оградами из тонких стволов и веток, много хозяйственной утвари. Колесных дорог здесь, как и в Хевсуретии, нет – одна только проведена неглубоко, соединяя Магаро, Чергали, Шуапхо. В Чергали, в дом Пшавелы, возят туристов, но сейчас он у нас пока остался в стороне.

Учитель школы-интерната, высокий худой пшав, водил нас прежде всего в святилище божества и эпического героя Копалы, прославленного борьбой с дэвами – злыми чудовищами, жившими будто бы за Кавказским хребтом. Они решили запрудить реки и потом затопить земли пшавов. В одном из ущелий им это удалось, но жившие там пшавы спаслись, принеся в дар дэвам двух златорогих коров. На Арагве же, сколько дэвы не громоздили камней, у них никак ничего не получалось, хотя следы этого нагромождения пшавы показывают и

теперь в узком месте реки, носящем название «ворота». Надо было дэвам для достижения цели достать огромный камень из святилища Копалы, находящегося в Лекоке, у хевсуров. Когда дэву Автенгилу удалось его украсть, Копала погнался за ним через горы. На берегу Пшавской Арагвы Копала бросил в дэва свою булаву, но дэв уклонился от удара, и булава попала в скалу. Вмятину от нее, сохранившуюся по преданию, учитель нам показал. Однако дэв в испуге бросил камень. Несколько родов пшавских, исходивших из Гоголаурты, устроили немного выше этого места святилище Копалы и положили там этот камень. Образовав род Гоголаури (из которого происходил и носивший эту фамилию учитель), они стали раз в год собираться здесь для празднования дня Копалы. Здесь же потом по другому берегу Арагвы Автенгил шел по склону и нес на одном плече оленя, на другом – ясень. Увидел он Копалу и так испугался, что бросил ясень. Тот покатился, ломая другие деревья, и теперь это место камнепадов и снеговых лавин. А сам Автенгил упал в Арагву и волей божества превратился в камень, темный, длинный, этот камень и сейчас лежит в реке. О мощи дэвов сохранилось представление, что, когда они шли, камни под их ногами проваливались на четыре метра в глубину. Когда пришла их целая толпа, сам Копала испугался, но увидел, что бог Квири махнул плетью и дэвы попадали на землю. Это подняло мужество Копалы для героической борьбы с ними.

По радиусам из Магаро мы ходили в скрытые в лесах святилища без хевисбери, в стороне от селений, так что могли все свободно их осматривать. Это были Миграулка на высоте 1600 метров и Кучеча на высоте 1100 м. Они находились в такой лесной чаще, что найти их можно было, только хорошо зная эти места, или набрести на них случайно. Высота никогда не рубившихся здесь деревьев была просто гигантской, казалась сказочно-сверхъестественной, а сами эти места выглядели завороженными тайниками каких-то волшебных существ, являющихся воплощением стихийных сил природы. На четырех столбах, как на коротких, неуклюжих лапах, стоят грубо сложенные из глыб неотесанного камня колоколенки. Под ними нельзя выпрямиться, и они сами кажутся странными, небольшими, но могучими и тяжеловесными чудовищами. Полуврытые в землю и часто уже полуразрушенные, прямоугольные, опять из диких камней на сухой кладке построенные здания для совета – дербази. Невысокие квадратные склады для ячменя, из которого готовилось священное пиво. Перекрытия их и колоколен, которых иногда две-три в одном святилище, пирамидальные, сложены они из

убывающих в сечении горизонтальных слоев сланца с белым камнем на верхушке. Из промежутков между сланцами часто растет длинная, выцветшими прядями свисающая трава, будто седые, густые, растрепанные волосы. Это придает сооружению еще более фантастический, живой характер, колокольни же совсем превращаются в существа на «каменных, сильных, кривых ногах» вместо «избушек на курьих ножках». А потом из этих чащ, куда водили нас старики-пшавы, вдруг выходишь на опушку леса, перед которым открывается большая, глубокая, полная цветов ложбина, похожая на гигантскую зеленую, солнечную чашу, противоположные края которой окаймлены уже опять кудрявой бахромой леса. Выше поднимаются лесистые вершины. Из леса выходит стадо коз со старым пастухом, он тоже садится вместе с нами. Начинаются бесконечные расспросы этнографов, старающихся выжать всякие сведения из обломков прошлого. Кроме черных шапочек, ничего уже не осталось в скудной, «ширпотребной» одежде этих обитателей райских лесов. Впрочем у них и не было таких роскошных и расшитых национальных костюмов, как у хевсуров. Зато стихосложением они владели еще больше, чем хевсуры, и более лирическим, более мягким, как они сами. Недаром именно из их среды вышел гениальный Важа Пшавела, соединивший поэтические и эпические традиции двух родственных народностей – более героически-суровые хевсуров, более лирические – пшавов.



Ил. 24. Пшавия. 1962 г. Первое святилище – Кучеча



Ил. 25. Пшавия. 1962 г. Мигриаулка. Второе святилище.

Ночи в этот период были лунные. Перед сном мы с Мирианом несколько раз сидели внизу между его палаткой и моим навесом, и он с неожиданной для меня потребностью высказаться говорил о своем романтическом прошлом. 15 лет после окончания войны и университета он прослужил офицером в зенитной артиллерии на Дальнем Востоке. Военные поселки были маленькие, замкнутые, скучные, он был молод, весел, красив. Вечера с танцами в клубе делали его героем среди военных дам. Однажды одна из них, молоденькая, хорошенькая, имевшая уже маленького сына, но не любившая грубоватого и примитивного мужа, в упоении, отдавшись вся музыке и несбывшимся мечтам, протанцевала с ним целый вечер. Муж дома устроил ей скандал, и она ночью пришла к Мириану вся в слезах. Он был страшно смущен. Случай оборачивался необходимостью серьезных решений. Она нравилась ему, но не настолько, чтобы он был готов на ней жениться. Что было делать? Он отвел ее в комнату хозяйки своего дома и поручил ее заботам. Утром она ушла домой и начальство поторопилось поскорее перевести ее мужа в другое место. Через некоторое время получил новое назначение и сам Мириан. Как-то это стало известно, и в поезд, проходивший мимо того места, где жила его поклонница, она села, нашла его и ехала с ним до Владивостока. Он понял, что это настоящая любовь, что она все, – даже сына, бросит, если он позовет ее с собой.

– Часто я вспоминаю ее, длинные ее косы, красивые глаза… Думаю, что сам никогда по-настоящему любить не умел, а настоящую любовь один раз на пути своем повстречал и не взял ее у судьбы. Иногда так жалею об этом, что сердцу больно. Только был я легкомыслен и не сумел этого оценить…

Он сидел некоторое время молча, потом продолжал другим, более обычным своим тоном:

– Это была большая любовь… А другие чужие жены просто на меня вешались, легких романов искали, потому что танцевал я хорошо… Сколько скандалов и у них, и у меня с их мужьями было! Вот один раз вызвал меня полковник и говорит: «Тебе пора в отпуск ехать, Мириан. Поезжай домой и женись. Надоели мне все эти неприятности с тобой. Чтобы холостой не возвращался». Ну, я поехал, понравилась мне у нас в Гори одна девушка-студентка, медик. Только очень молоденькая была. Я ни на что не решился. Вернулся холостым. А полковник рассердился. Через короткий срок дал мне внеочередной отпуск и то же напутствие повторил. Что было делать? Поехал я опять в Гори и женился на той девушке. Хорошая жена она мне. Дети хорошие. Жаловаться не на что. А только нет-нет да и вспомнится та русская женщина, глаза ее, полные слез… Никто меня так не любил. Может, большое счастье пропустил между пальцев…

***

После Пшаво-Хевсуретии до конца месяца, недели две, я прожила в Тбилиси. Как всегда, почти все знакомые разъехались из города. Но были иногда прогулки с Дерзибашевым и были вечера у Блёткиных. Вечера, неожиданно меня связавшие, поздние и заставлявшие долго спать утром после возвращения домой в час ночи. Когда сразу после приезда из Хевсуретии еще не упорхнувшая в Сванетию Ренэ пришла к Блёткиным с Теоной и со мной, Питер окинул нас быстрым восхищенным взглядом художника, посадил рядом и сказал:

– Вот это так контраст! Два противоположных типа красоты и характера!

Конечно, и то, и другое он воспринимал, прежде всего, в красках, со свойственным ему колоризмом. Теона приехала погостить у матери из ГДР. Она была вся выхоленная, вся бело-розовая от нежнейшей поверхности лица и полных, округлых рук, до пышной пены модных в то время нейлоновых легких платьев. Я же после похода была черна, как мулатка, почти как негритянка, от черного загара гор, была мускулиста и подвижна, клипсы и бусы из неотделанного коралла с острова Капри оттеняли лицо вместе с губной помадой, а платье, открытое, без рукавов, было из отливающей переливами яркокрасной тафты, буквально пылавшей при электрическом освещении.

– Что же? – сказала довольно Ренэ, – которую из двух гаремных красавиц, мною вам приведенных, вы будете писать?

– Татьяну! – воскликнул он. – Тем более, что Теона все равно уезжает отдыхать.

И он тут же сделал общий, красочный, лишенный даже черт лица, набросок моей полуфигуры.

Тут же произошла договоренность: я буду приходить к Блёткиным каждый вечер, потому что мое платье создает особенно огненный эффект именно при электричестве. Я буду сидеть на тахте, на фоне паласа, тоже среди богатых горячих тонов. Я не должна позировать. Мы будем разговаривать, а Питер будет наблюдать за мной в динамике движений моего лица и лишь мгновеньями брать кисть и их фиксировать. Ему нужно много сеансов, но он постарается, чтобы я не соскучилась. И еще одно условие: пока портрет не будет закончен, я не должна его видеть, не должна заглядывать на мольберт.

Я согласилась на все, и со следующего вечера начались сеансы и целые вечера, проводимые с Питером, при тихих и заботливых появлениях его жены, милой Джики, то приносившей фрукты, то напоминавшей, что уже поздно, что пора пить чай и уходить мне, – иначе будет опасно. Добираться до дому мне приходилось пешком, так как транспорт был неудобный, а вечером ждать его на пересадках было дольше, чем быстро перейти мост через Куру, пересечь имевшую дурную славу Колхозную площадь и после все еще шумной площади Ленина пробежать вверх по зеленым улицам Сололаки.

Естественно, что здесь не могло обойтись без обычных в Тбилиси приключений, может быть, одних из самых и смешных, и опасных для меня.

Когда я только что приехала из Хевсуретии, я, как всегда, отправилась смывать экспедиционную грязь в Синюю, или Орбелиановскую, серную баню, в номера, где мылся Пушкин. Во избежание очереди, это надо было делать очень рано, и я утром возвращалась от бань пешком в белом платье, в котором я, поистине, должна была казаться негритянкой. Через некоторое время за мной увязался толстый пожилой грузин с огромными усами. Он шел по моим пятам, однообразно (за отсутствием воображения) повторяя одно и то же:

– Вот это так загар! И где только можно так красиво загореть, на каком курорте? Ай, какой красивый черный кожа! И какой красивый женщин!

Я шла быстро, как всегда, делая вид, что не слышу этих слов, что они вовсе ко мне не относятся. Тогда, проявляя бóльшую агрессивность, мой «поклонник» вдруг сказал: – Интересно, до какого места такой загар, – оглядывая мои ноги и как бы стараясь заглянуть под короткую юбку. Я по-прежнему шла, не оглядываясь, хотя забавность ситуации заставила меня усмехнуться. Тогда он забежал вперед, встал передо мной и проговорил решительно: – Пойдем ко мне… Хоть на одну ночь! Десять рублей за ночь дам.

– Дешево же ты меня ценишь, – не могла я не расхохотаться.

– Но ведь это сто рублей на старые деньги, – подчеркнул он важно, напоминая о только что произошедшей денежной реформе и привычке все еще расценивать рубли по-старому.

– А ты думаешь, что все продается за деньги? Разве ты не знаешь, что есть вещи, которые ни за какие миллионы не купишь? – поддалась я желанию подшутить над ним.

– Ну, речь ведь не о деньгах, – несколько смутился он. – А разве сам я ничего не стою? Разве я сам не хорош?

И он вытянулся передо мной, выпятил живот, тараща глаза и шевеля огромными усами.

– Слушай, – переменила я тон на свирепо-холодный. – Я живу здесь недалеко. И у меня страшно ревнивый муж. Если ему скажут, что ты приставал ко мне, он вспорет тебе живот своим кинжалом, понял?

И я вошла в находившуюся рядом лавку, где было много народа. Когда через некоторое время я вышла, его и след простыл.

Еще один маленький эпизод. Вечером от Блёткина я иду через людную площадь Ленина, невольно привлекая к себе внимание и чернотой, и огненным блеском платья. За мной идет и шепчет мне банальные предложения и комплименты хорошо одетый, производящий внешне интеллигентное впечатление человек, на которого я не оглядываюсь и лица которого не вижу. Я только молчаливо ускоряю шаг, чтобы поскорее от него избавиться. Но он вдруг берет выше локтя мою руку, останавливая меня и останавливаясь сам передо мною. Я вижу высокую стройную фигуру и удивительно красивое лицо типичного имеретинца, белокурого, с голубыми глазами под пушистыми черными ресницами и густыми черными бровями.

– Вы хотите, чтобы я позвала милиционера? – спрашиваю я резко, отдергивая руку, и делаю шаг к милиционеру, который действительно оказывается поблизости. Тогда, явно не желая себя скомпрометировать, мой «ухажер» быстро сворачивает в полутемный переулок. Но, исчезая, он говорит, нагло, сверкая безукоризненными зубами из-под темной полоски усов:

– Напрасно, мадам. Все равно красивее меня вы никого не найдете.

И, наконец, самый опасный случай. Когда я, еще под вечер, иду к Блёткиным по шумной в этот час Колхозной площади, мимо базара, ко мне привязывается какой-то проходимец и бродяга, вероятно, один из люмпенов и мошенников с соседнего, расположенного за Курой, Авлабара, считающегося самым опасным местом в Тбилиси. В ответ на мое обычное защитное невнимание к расточаемым, на этот раз достаточно грубым комплиментам и уговорам, этот растрепанный тип, в вызывающе пестрой, развевающейся по ветру и распахнутой на груди рубашке (тоже новая мода, пока в основном у «шпаны») хватает меня с силой за руку и говорит:

– Ты что, даже разговаривать со мной не хочешь?

– Не хочу. И сейчас позову милиционера.

Место людное, и около нас уже останавливается несколько любопытных базарных зевак. Милиционера не видно, и я, повернувшись, иду дальше через мост.

– А, – шипит он сзади. – Ты меня при всех осрамила. Здесь все меня знают. Так подожди же, я все равно с тобой разделаюсь. Вот только посмотрю, где ты живешь. А потом так бритвой лицо изуродую, что всю жизнь будешь меня помнить.

Он сворачивает за мной на набережную и останавливается у парапета Куры, когда я вбегаю во двор к Блёткину и бегом поднимаюсь по шаткой, старенькой лестнице во второй этаж. День жаркий, и окна в комнате занавешены темными занавесками.

– Взгляните, – говорю я удивленному Питер, – стоит ли на набережной бродяга в яркой рубашке, только незаметно.

– Да, стоит.

– Он подстерегает меня, чтобы изуродовать бритвой, – шепчу я и рассказываю все случившееся. Питер полон боевой готовности пойти «набить ему морду», но я вцепляюсь в него, умоляя не вмешиваться. Про себя я соизмеряю

его тщедушную фигурку с фигурой этого громилы, в руках которого я действительно видела в последний момент сверкнувшее лезвие. И я уговариваю его лучше взяться за обычную работу над портретом, за что мы и принимаемся не открывая занавеси и затем, с сумерками, зажигая электричество.

Бродяги за окном уже нет, хотя он ждал там не менее часа.

С этого вечера Блёткины провожают меня до автобуса на Колхозной площади и терпеливо ждут его прихода. А к ним я добиралась окружным путем, переходя через Куру около Метехи и долго идя затем с другой стороны к их дому по набережной.

Конечно, именно за это время я особенно подружилась с Блёткиным, узнала его. Сидя на тахте и разговаривая с ним, я изучала вечер за вечером развешанные по стенам картины. Здесь не было потемневших, к сожалению, от времени и неудачного использования красок масляных полотен, одним из которых так неудачно представлен ранний период творчества художника в Тбилисском музее, – «Карнавалом», передающим буйное смешение форм и цветов, вихрь движения, типичные для тбилисских народных карнавалов, уже ушедших сейчас в прошлое. Не было и «серебристого» периода живописной красочной манеры в масляной технике с привязанностью уже не к праздничным народным феериям или театральным представлениям, а к спорту, который Питер любит и сейчас, сам никогда им не занимаясь. Картины на стенах более поздние, – нежнейшими переливами сиреневеющие акварели с видами Алазанской долины из Цинандали, и еще более новое увлечение – прекрасные пейзажи гуашью и темперой, поиски самого звучного, чистого, определенного, интенсивного красочного звучания мира. Я особенно люблю смотреть на кусочек Кахетии, с скрытыми, но угадываемыми нахмуренными горами, заволоченными более материальными, чем они, свинцово-синими грозными тучами; и в последнем проблеске света перед грозой, внизу, в долине, вспышка красной черепичной крыши на маленьком, прижавшемся к земле домике. Когда глаза художника вдруг внимательно впиваются в мое лицо, он берет кисть и говорит:

– Минутку посидите так, как вы мне позируете.

И я устремляю глаза именно на эту картину. В других случаях меня отвлекают роскошные подсолнухи и серебристое в полдневном свете, осязаемо влажное, обнаженное стройное женское тело, распростертое на тоже серебрящемся песке пляжа. Это Джика в молодости… Все разговоры – об

искусстве, о моей поездке в Италию, откуда (из Флоренции) я прислала Питеру лавровый листочек садов Боболи. Он без конца меня расспрашивает, а я стараюсь передать ему все, что могу. Часто он берет цветные репродукции фресок Пьеро делла Франческа и допытывается о сходстве и различии цветов, оставшихся в моем впечатлении. Этот мастер особенно его пленяет.

– Боже, что это были за художники! – вздыхает он. – Иногда мне кажется, что я тоже мог бы создать большие фресковые росписи, светлые, холодно-серебристые, свежие… Но где и как возможно их осуществление, да еще в моем собственном замысле?

Время приближается к моему отъезду. Портрет явно движется к концу, вызывая одобрительные замечания Джики. И вдруг… Я прихожу и застаю Питера больным, в постели после нервного припадка. Джика виновато и растерянно смотрит на меня и еле решается сказать мне:

– Петя вчера уничтожил портрет. Он дописал его, посмотрел и решил вдруг, что безнадежно его засушил. И тут же уничтожил. Такие приступы с ним бывают. А потом пришлось неотложку, врача вызывать. Портрет же был хороший, вы были так похожи на нем. Только он давно не писал маслом, а тут решил к нему вернуться и счел свой опыт неудачным.

– Питер, дорогой, почему же вы не оставили портрет мне, даже если он вам самому не понравился? Для меня бы это было такое удовольствие.

– Нет, Татьяна, нет, я всегда уничтожаю то, чем сам совсем не доволен. Тут уж с собой ничего не поделаешь.

Я вижу, как он волнуется, как стенокардический спазм готов опять сжать его сердце, и вместо сетований начинаю, наоборот, его утешать и уверять, что я вовсе не огорчена, – ведь так приятно было проводить с ним эти вечера.

Печально иду я от него через мост и ловлю на себе взгляд пожилого красивого человека, по типу рабочего или ремесленника, мастера, с густой порослью на лице, серебрящейся от седины. Он сам тоже поймал только что мой взгляд, обращенный к хорошенькой тоненькой девушке, прошедшей мимо меня. Пишу об этом потому, что после всяких «нахальных» грузинских «приставаний» к русским женщинам мне хочется снять неприятное впечатление от них. Как я уже и раньше писала, далеко не все сводится только к ним. Человек обращается ко мне ласково и говорит задумчиво: – Что ты оглянулась на эту девушку? Вспомнилось, как сама была такою же молоденькой? Но ты не грусти. Ты и сейчас

еще хороша, я на тебя загляделся, как на розу. Хочешь, познакомимся, вечер хорошо с тобой проведем?

Я только отрицательно качаю головой.

– Ну, как хочешь, – говорит он все тем же ласково-задумчивым тоном. – Все как ты сама захотела бы. И ты на меня не сердись. Понравилась ты мне.

Чуть улыбнувшись, он кивает мне головой и уходит своей дорогой. А мне грустно. Время летит. И я чувствую, что Питер никогда не напишет мой портрет. А если через годы соберется, я уже не соглашусь сама. Не буду я уже хоть и близящейся к отцветанию, но все-таки еще «дикой розой», как называла меня Ренэ.

1963, июль. 1964, июль–август.
XIV. Тушетия – Пшавия – Тушетия

Но горы как будто для песен
Спокойно расселись вокруг,
И круг их возвышенный тесен,
И выпуклы мускулы рук.
«Будь добр и разумен на деле», –
Твердит человеку гора,
И каждое дышит ущелье
Дыханьем любви и добра.
Важа Пшавела[120]

У меня была договоренность с Мирианом Хуцишвили, что он возьмет меня в Горную Тушетию с маленькой этнографической экспедицией, а до того я буду купаться в Сухуми и ждать его телеграмму.

Опять я остановилась у Ады Гулиа в ее новой прекрасной квартире, где мы спали с ней в одной комнате, перед большим открытым окном, а в 6 часов утра я тихонько вставала, что-то наскоро съедала и еще до выезда служащих, в пустом автобусе, доезжала до Каштака. Здесь сначала в полном уединении, а потом разделяя пляж около дома Контарева всего с двумя-тремя парами, расположенными достаточно далеко друг от друга, я купалась и загорала до полудня. Потом вскоре возвращалась, читала в прохладных комнатах, ела вкусные обеды Марии Спиридоновны и рано ложилась спать. Мария Спиридоновна была уже вполне нормальной после нервных заболеваний, но я видела все острее, как отношения между матерью и дочерью становились напряженнее и напряженнее. Взаимное непонимание, кекельские планы в отношении «зря пропадающей» красоты Ады, ненависть и ревность к Лоре, – все это кипело в старухе, такой добродушной, гостеприимной, приятной.

[В рукописи с. 59–62 закрыты автором до 2050 г.] «...ли я простить ей это? Нет, я не только не нахожу ей оправданий, но я чужая ей с тех пор. Часто я ее даже ненавижу, хотя знаю, что должна выполнять в смысле забот свой долг перед ней».

К Контареву я заходила редко, зная, что крепкий старик все еще много пьет и будет заставлять меня тоже составлять ему компанию. После обеда, поболтав с Адой, я или читала на балконе, а вечером купалась на городском пляже, или после этого купанья еще заходила к Шервашидзе и Бубновым. Особенно часто к последним. Не только общительная Варвара Дмитриевна («Варварушка» Павлуши), но и все еще похожая на стройную, элегантную седую леди Анна

Дмитриевна были интересны. Одна показывала свои новые работы, другая, – при своей молчаливости, – со мной находила интересные темы разговоров, часто с романтическим оттенком. Как эти сестры, очень любившие друг друга, не похожи! Однажды мы шли с В.Д. по городу, и она вдруг, придав себе чуть комический вид, сказала:

– Вы-то знаете, что такое настоящая любовь. А вот меня этим судьба обделила. Не то, что я такой сухарь, что никогда никого не любила. Нет, и романы знала. А все-таки настоящей, поглощающей страсти, о которой в романах пишут, не довелось мне в жизни испытать. – Она вздохнула. Потом вдруг скосила на меня лукавый смеющийся голубой глаз и добавила: – Но ведь это несправедливо! А что, если я еще все-таки влюблюсь так, что постигну настоящую страсть? Обидно умереть без этого!

И она засеменила дальше своей быстрой походкой. Ей было уже около 80-ти. А на днях до того она «перепрыгнула» через канаву и упала лицом на землю, так что все ее царапины сейчас были в зеленке и она сама себя завала папуасом.

А.Д. спрашивает меня:

– А вы, имея такого интересного мужа, не боитесь уезжать от него почти на два месяца? Ведь страсти так неожиданно могут вспыхивать, и тогда уже они сильнее человека.

Она религиозна и в основном потому, как она мне призналась, что это дает ей силу жить, надеясь, что она еще увидит тех, кого любила; а без любви нет жизни.

Какой страстью надо было загореться, чтобы во времена ее юности решиться на брак с японцем и уехать в Японию! Правда, казавшийся европейцем, предмет ее страсти у себя дома все-таки проявил себя японцем, при всей своей образованности настолько далеким ей внутренно, что страсть угасла, и она ушла от мужа. Какой это должен был быть мучительный и долгий процесс для ее сердца! Единственный сын ее умер в 14 лет, и тогда она ушла. Но блестящая скрипачка Анна Оно ушла со страниц журналов и с афиш, – она могла теперь, после перерыва, связанного со страшным пережитым горем, только преподавать в консерватории. Так кратко рассказала о ней В.Д.

Как-то купаясь в море, в сильный прибой, я потеряла гранат из золотого кольца, которое никогда не снимала с 16-тилетнего возраста. Рано в детстве я прочла в старинной книжке у бабушки, что мой счастливый камень, – поскольку

я родилась в январе, – гранат. Когда мне было 10 лет, а Боре 7, он нашел на улице в Киеве, около дома, золотую запонку с камнем, принес ее маме и сказал, чтобы мне сделали из нее кольцо. Камень оказался гранатом. Как с моим пантеистическим мироощущением и рожденными ими суевериями моего эмоционального отношения к природе, да еще в 10 лет, могла я не принять эту находку за предвестие счастья, а кольцо – за талисман? В 16 лет мама отдала мне его носить, и отношение к нему как к талисману сохранялось во мне, став буквально частью моей натуры. Теперь потеря совершенно вывела меня из равновесия, я ощутила ее как приближение какого-то страшного горя. Прямо с пляжа я поехала к Бубновым, и на мне буквально лица не было. Они набросились на меня расспросами и, когда я все рассказала, А.Д. проговорила:

– Вы должны совсем под другим углом зрения подойти к этой потере. Помните легенду о перстне Поликрата? Наступил в его жизни момент, когда море потребовало, чтобы он принес ему в дар самое для него ценное, и только это отвратит от него страшное несчастье. Для вас пришел такой же момент, и тоже именно море потребовало жертвы, даже само взяло ее у вас. Бойтесь найти ваше кольцо. Помните, именно после того, как рыбак вернул Поликрату его перстень, его постигла гибель.

У меня в тот период еще не кончилась до полного завершения одна душевная коллизия, и я с готовностью, как знак ее скорого конца, приняла версию Анны Дмитриевны. И еще одна мысль мелькнула: молодость прошла, моя запоздалая, щедрая зрелость идет к концу. Значит, уходят лучшие годы жизни, впереди начало старения. Уместен ли уже талисман, который сыграл свою службу, дав мне в жизни столько счастья?

– А теперь, – весело заявила Варвара Дмитриевна, чтобы вывести меня совсем из тревожно-мрачного состояния, – помните, вы обещали пригласить нас в ресторан на Сухумской горе, а то мы так долго здесь живем, а ни разу никто не догадался свозить туда такую старую рухлядь, как мы. Давайте-ка поедем. Мы сейчас нарядимся.

Через несколько минут сестры прихорошились, и мы пошли к началу дороги, серпантином ведущей по парку на склонах к видневшемуся вверху ресторану. В.Д. предлагала даже идти пешком, но для А.Д. это было слишком тяжело, и мы стали ждать такси, а пока я сфотографировала спутниц и снялась вместе с ними. Можно ли было сказать, что они близки к 80 годам? Поднявшись на такси, мы долго

любовались панорамой города и моря, которую они еще не видели. Потом заняли столик, заказали всякую зелень, фрукты, бутылку псоу и сидели, разговаривая и потягивая вино. Когда сгустились сумерки, загорелись гирлянды цветных лампочек над рестораном под открытым небом. Начались танцы под музыку небольшого оркестра. В.Д. продолжала болтать, а А.Д. задумчиво смотрела перед собой, будто переживая давние минуты, когда она тоже отдавалась танцам в чьих-то далеко не безразличных объятьях.



Ил. 26. Сухуми. 1963. Подпись на фотографии: «Я и А. Дм. Бубнова (Аля)».

– Оглянитесь на седого мужчину, сидящего за соседним столиком позади вас, – сказала она мне. – Очень интересный. Наверно, объявят танец, на который дамы должны будут приглашать мужчин. Пожалуйста, пригласите его. Если бы я была помоложе, я сама бы это сделала, но теперь, вы понимаете, я не могу. Доставьте мне удовольствие, – я, глядя на вас, буду думать, что это я танцую с ним.

Я оглянулась. Сзади сидел очень крупный, седой, но с молодым загорелым лицом человек, похожий по типу на донского казака. У него было красивое, мужественное лицо с крупными чертами, сероглазое, чернобровое. Когда объявили, «дамы приглашают кавалеров», я выждала чуть-чуть. Пара, сидевшая за его столиком, поднялась, и он остался один. Тогда я подошла и его пригласила. Он оказался прекрасным танцором. Завязался разговор. Я узнала, что он инженер из Ростова. Но в целом разговор носил шаблонный курортный характер, и, когда он посадил меня на мое место, Я сказала с разочарованием:

– Он гораздо интереснее внешне, чем внутренно. Во всяком случае, я не заметила в нем ничего романтического и поэтичного.

А.Д. вздохнула и проговорила:

– Как обидно, что это слишком часто бывает в жизни!

Через пару дней я была у Контарева и выпрашивала на память какой-нибудь живописный этюд.

– Ничего не осталось, дочка. Хоть хожу с чабанами в горы и живу там, но пишу мало, стар стал. И сразу кто-нибудь из приятелей отбирает. Ну вот только этот этюд камня около снега и травы, хочешь? Да и тот мухи засидели.

– Ничего, я отчищу. Спасибо. А что хотите, чтобы я в знак благодарности сделала?

– Что? Знаешь, послезавтра мое рожденье, – 75 лет исполняется. Приведи-ка ты ко мне Адочку. Ведь ты у нее живешь. Знаю, что в моей грязи, да еще в монастыре черных кошек ей не место. А хочется на нее последний раз взглянуть. Так вспоминается стайка хорошеньких девочек, которых я тогда часто на пляже близ своей халупы видел. И среди них она – как мотылек, как птичка, самая хорошенькая. Скажи ей, – хочется мне на нее еще раз посмотреть.

– Обязательно скажу и приведу ее. Только что это вы свое кошачье черное царство монастырем называете? Что ни год, то в этом монастыре новые котята.

– Ну, это уж их внутреннее монастырское дело. Я их за стены комнаты, ведь ты знаешь, никуда не выпускаю, чтобы черная порода не переводилась. У меня котят охотно знакомые берут, – где таких черных сыщешь? – смеется.



Ил. 27. Сухуми. 1963 г. А.М. Гулиа, В.С. Контарев и его знакомая. День 75-летия В.С. Контарева

В день рожденья я прихожу к нему действительно с Адой. Что за контраст – ее выхоленность и нарядность по сравнению с запущенностью, грязью и черными кошками художника, на старости лет ставшего «кошководом», как бывает обыкновенно со старыми одинокими женщинами, но не мужчинами. Даже

воздух, при открытых зарешеченных окнах, напоминает мне атмосферу в комнате Ренэ. Конечно, тактичная и воспитанная Ада не проявляет ничем своего отношения к окружающему неряшеству. Мы едим приготовленный еще одной пришедшей знакомой примитивный салат и пьем вино, в то время как хозяин глушит чачу и с удовольствием, улыбаясь во весь рот, любуется Адой. Потом мы выходим из дома на берег, и я всех фотографирую. Особенно новорожденного. Вспоминаю, как он мне рассказывал:

– Ну что говорить о гражданской войне? Разве я раздумывал, на чьей стороне быть? На чьей были все мои родичи и товарищи по войску донскому, на той и я был. И воевал так же просто, не раздумывая. С детства нас учили рубить чучела и колоть их, приучали к мысли о войне. И я, верно, на скаку голов 25 срубил в разных сраженьях, без злобы к неприятелю, просто потому, что полагается так на войне, и понимая, что тебе тоже каждый день могут башку снести, в претензии быть нечего. Художник уже был, в Москве учился, красоту понимал, а в этих прочих вещах ничего не понимал. Больше всего, дочка, люди так и живут, не сами голову ломают, а делают, как все кругом делается.

Когда я еще раз зашла к нему, перед ним стояла бутылка чачи, загоравшейся от спички.

– А я вот по собутыльнику скучал. И настроение такое, – Восток вспоминается. Много раз ты хотела, чтобы я тебе о своих путешествиях рассказал, так уж давай расскажу. Только ты должна со мной пить, а то мне скучно, и рассказ не пойдет.

Мы пьем чачу, я поменьше, он побольше, закусывая вареной картошкой с зеленым луком. Он в ударе. Красочно, живо рассказывает о Ближнем Востоке, о ночлегах с дервишами (денег было совсем мало), о людях, о нравах, о переходах пешком из города в город, о продаже на базарах своих сделанных в пути произведений. Так и до Кабула добрался. А на другой год отправился в Индию (в Египте уже успел побывать прежде). Немыслимые истории с факирами, приключения, и, наконец, высылка всех иностранцев англичанами, потому что должна начаться война. К этому времени чача выпита. Я выдержала павшую на меня ее дозу. Он уговаривает выпить еще стаканчик вина, и это меня губит. Мне нехорошо. Я лежу на его как будто от копоти почерневшей кушетке, на меня удивленно смотрят черным кошки. Он заботливо ставит возле меня таз, – похоже, что я «поеду в Ригу». А сам всплескивает руками и приговаривает:

– Ай, бабонька, казалось, ты хорошо пьешь, не думал, что напьешься!

– Валентин Семенович, я лучше выйду на свежий воздух, в море окунусь.

– Это пожалуйста. Только лучше бы ты сегодня у меня переночевала. А то как доедешь до города?

– Не могу. Ада будет очень беспокоиться. Надо ехать.

Мы выходим на берег, и я, сбросив с купальника сарафан, с головой окунаюсь в море, от чего мне не делается лучше. Он сидит на берегу, готовый меня спасать, если я стану тонуть. Потом провожает до троллейбуса.

Когда я вхожу к Аде, у меня такой вид, что она восклицает в тревоге:

– Что такое? Солнечный удар?

– Нет, – качаю я тяжелой головой. – Хуже! Рассказы Контарева о путешествиях под бутылку чачи.

***

У меня до того только один раз в жизни, во время переезда в Ленинграде в начале этого же года на новую квартиру и крайнего переутомления, был приступ гипертонии. И теперь, хотя голова осталась угарной, я не придала этому значения и в ответ на вызов Мириана выехала в Тбилиси. Экспедиция была маленькая: Мириан, два молодых архитектора для обмеров святилищ, фотокорреспондент Тенгиз Пурцхванидзе и я. Как меня взяли в эту мужскую компанию – не знаю. Просто Мириан считал по опыту Хевсуретии, что я прекрасный ходок и товарищ. Чтобы доставить мне удовольствие, Мириан избрал для нашего грузовика путь в Телави не по обычной дороге, а через Гомборский перевал. Мы сделали остановку у развалин бывшей могучей царской крепости Уджермы и дальше поднимались все выше, пока не оказались на широком перевале. Это было буквально море цветущего шиповника разных окрасок, а посреди него торчала несколько наклонно высокая, голая, каменная вершина. От перевала, тая в дали, волнами расходились более низкие гряды гор. Что говорить об этой красоте? У хорошо оборудованного источника на перевале был устроен привал и роскошный завтрак, так как каждый вез что-нибудь вкусное из дома. Конечно, появились и бутылки сухого вина, и я не могла не выпить стаканчик, чтобы не обидеть окружающих. Это тоже явилось неосторожностью, хотя от бóльшего я воздержалась. И не только из-за болевшей головы, но потому, что привыкла к грузинским нормам поведения. Если русская женщина принята в грузинскую компанию, к ней

относятся в обществе так же почтительно, как к женщине грузинской. А для грузинской женщины неприлично много пить.

В Телави мы пробыли в гостинице только день, – надо было дорожить летной погодой. Утром мы уже поднялись на вертолете за полчаса с высоты примерно 500 метров до 2000. Тоже прекрасный эксперимент для больной головы! Зато какая была красота – покрытые полосами снега хребты прямо под нами и снеговая даль, открывшаяся вплоть до Казбека. Опустились мы на единственную посадочную площадку в Горной Тушетии около селенья Омало. Какое великолепное зрелище предстало перед нами, когда, испугавшись вертолета, целые табуны пасшихся на обширной площадке коней понеслись во все стороны, будто дикие мустанги! Только гривы и хвосты развевались по воздуху. Луг, на который мы спустились, был покрыт сочной зеленой травой. Вокруг все было оцеплено кольцом снеговых вершин. Тушины исстари были очень богаты, так как у них лучшие альпийские луга. Скота была масса. Тушинский сыр, который и сейчас имеет широкое распространение, тогда в огромных количествах вывозился в Турцию, Персию и другие страны. Отцы любили давать сыновьям высшее образование и, как это ни странно, больше всего посылали их учиться в Париж. Но почти никто из обучавшихся не оставался за границей, – городская жизнь обычно казалась им неприемлемой, и они возвращались в тишину своих гор пасти стада и жить в соответствии со своими обычаями. Как хевсуры и пшавы, они не знали государства, находились примерно на такой же стадии разложения родового строя, были язычниками. Вера и Ренэ, когда не хотели, чтобы их разговор был понят, переходили с русского и грузинского на французский. И они еще встретили в Тушетии несколько стариков, которые вступили в разговор тоже по-французски. Остатки этой повышенной культурности сохранились у тушинов до сих пор, не говоря о том, что они считаются на Кавказе самым добрым, благородным и рыцарственным народом.

Посреди посадочной площадки стояла небольшая харчевня, на вывеске которой по-русски и по-грузински было с юмором написано: «Ресторан «Космос». Вокруг бродили овцы и валялись рога баранов, которых пригнавшие их чабаны тут же резали и передавали повару для приготовления свежего хинкали, шашлыка и других кушаний. Мы вошли в этот «ресторан» и увидели несколько столиков, которые были сдвинуты вместе компанией чабанов. Рядом стояли ящики с вином, – водку они пьют редко и мало, хотя самогонку делают для праздников, как и

прочие горцы. Я уже знала, что они так же любят поэзию, владеют импровизацией стиха, как хевсуры и пшавы, но среди них много знающих даже русскую грамоту и читающих русские книги. Мы тоже заняли стол, и я стала прислушиваться к длинным тостам, которые произносили тушины, спрашивая, о чем они говорят. Мои спутники объяснили мне, что речь идет не только об обычных здравицах, но и о вещах возвышенных: о мире, о добрых отношениях между народами, о том, чтобы Грузия достигла опять такого же расцвета, как при царице Тамаре. И вдруг я услыхала среди чужой речи сказанные по-русски слова: «Исчезли юные забавы, как он, как утренний туман». Только ударение получилось «утре́нний». Конечно, я была очень удивлена, а мои спутники сказали, что такое здесь услышать не редкость. К нам на стол стали пересылать бутылки, наши ответили чабанам тем же. Было много взаимных тостов, пока все не оказались навеселе.

Мы устроились в интернате десятилетней школы, единственной в Горной Тушетии. Теперь вся Тушетия превращена в один животноводческий совхоз с центром в Нижней Тушетии, в селеньи Ахмета, на склонах, спускающихся в Кахетию. Все работающие в совхозе, кроме чабанов, тоже переселились вниз, так как все дела сконцентрированы там. Высокие селенья остались почти пустыми и осуждены на исчезновение. В них только летом частично живут женщины с детьми ради хорошего воздуха и климата. На зиму остаются обычно старики, которые смотрят за собственным скотом этих семей – гонять его вверх и вниз несколько раз за год слишком трудно. Тропы, имеющиеся кроме вертолета, крайне трудны и круты. Едут по ним семьи летом верхом, посадив маленьких детей в висящие по бокам пустого седла хурджины. Это выглядит очень забавно – вдруг из хурджинов идущих гуськом лошадей торчат детские головки, при том совсем спокойные, хотя путь повисает над пропастями. Ни одной колесной дороги в Горной Тушетии пока нет, – можно передвигаться только или пешком, или верхом.

В Омало значительная часть домов оказалась пустующей даже летом. А дома у тушинов хорошие, прямоугольные, с двускатной, сложенной из чешуйчатых плит сланца крышей, с длинными балконами вдоль фасада во втором этаже. Они разбросаны в пространстве свободно, часто окружены заборчиками, за которыми стоят и хозяйственные постройки. В домах очень чисто. Тушины славятся своей привычкой к чистоте. В главной, большой комнате стоит обычно посредине стол, вокруг скамейки, а вдоль стен еще длинные скамьи. Потолки деревянные. Печки – с выходящей наружу трубой. Полы навощенные, и на них

часто разостланы турьи шкуры. Над Омало высятся остатки крепости на горе, – теперь это живописная группа башен, потерявших уже свои верхние части. А за горой начинается великолепный хвойный лес. Этими сосновыми и пихтовыми лесами Тушетия очень богата. Лес покрывает горы, над которыми вдали почти всюду выступают снеговые громады. А вниз ведут тропы к скалистым берегам одной из двух Алазаней, прорезающих этот район. Здесь слово «алазань» означает просто «река». Ущелий много и они узки, глубоки, имеют почти вертикальные склоны, – будто действительно в камне прорезаны щели, а лес стремится спуститься по их уступам к сверкающим на дне и уходящим в глубокие тени потокам.



Ил. 28. Тушетия. 1963 г. Омало.



Ил. 29. Тушетия. 1963 г. Омало.

Через пару дней мы отправились в пешеходный маршрут к селенью Дикло, откуда с огромной высоты, говорят, открывается великолепный вид на лежащие внизу земли лезгинов. Я себя чувствовала по-прежнему плохо и сказала

ободрявшему меня Мириану, что это будет мой пробный выход. Если окажется, что я не способна сейчас ходить по горам, я вернусь в Телави и пойду к врачу. Связывать кого-либо своим недомоганием я, конечно, ни в коем случае не хотела. По ровному месту до ущелья я шла прилично, спустилась в зияющую щель по крутой тропе. Но когда начался такой же крутой подъем на другую сторону ущелья, я идти не смогла. у меня так закружилась голова, так потемнело в глазах, что я легла на тропе и сказала, чтобы из-за меня не задерживались, а я дождусь здесь чабанов с лошадьми и попрошу отвезти меня в Омало. Конечно, мои спутники решили сами меня устроить в обратный путь, а не бросать одну, и ждать пришлось недолго. Чабаны все время с разных сторон Тушетии по головокружительным тропам, через ущелья, везут для отправки вертолетом сыр и прочие молочные продукты, а вертолеты привозят им тоже нужные продукты и соль для сыра. Во всей Горной Тушетии нет ни одной лавки, только маленькие склады, рассчитанные на чабанов, а не на «выезжающие на дачу» тушинские семьи, которые почти весь запас еды на целое лето должны везти с собой, за исключением того, что им дает их единоличный скот. Чабаны же создают целые караваны, так называемые «джоги». Едут верхом впереди два-три человека, а сзади разворачивается цепь навьюченных, идущих гуськом лошадей с грузами. Такой джоги пришел и в этот раз. Пара чабанов – его водители – посадили меня на оседланную лошадь, переложив с нее груз на другую, и я с ними благополучно доехала до посадочной площадки, на прощанье их сфотографировав и потом прислав им карточки, что я всегда зимой аккуратно делала. Оба были немного пьяны, но вели себя почтительно.

Когда вечером мои спутники вернулись, оказалось, что на лошади обратно пришлось везти и Тенгиза. Тут я узнала, что он бывший военный, кончавший в Ленинграде Академию Тыла и Транспорта, он работал потом с атомным оружием и получил белокровие. Пришлось уйти на пенсию и каждый год подлечиваться от неизлечимой болезни в Москве, в военном госпитале. Теперь несколько дней ему надо было приходить в себя и потом воздерживаться от непосильных походов. Эти несколько дней я тоже еще провела в Омало, имея спутника для небольших прогулок. Он очень любил природу и был раньше искусным фотографом-любителем. Выйдя в отставку, он занялся всерьез художественной фотографией, особенно цветной. И вкус, чувство цвета, его сочетаний, – все это оказалось у него превосходным, как я тогда убедилась из наших разговоров об окружающих

нас дивных красотах, о цветах, травинках, о больших панорамах. Позже он мне не раз дарил свои чудесные произведения. Но, – странно, – искусство он вовсе не любил и им не интересовался. «Зачем живопись, когда сама природа так прекрасна?» – говорил он обычно. Однако и от тихих прогулок мне легче не становилось. Надо было спускаться с высот, и я опять села в вертолет. Перед этим мои спутники меня роскошно накормили в «Космосе», и я, глядя, на этот «салун», на чабанов в клетчатых ковбойках, на несущиеся с вертолета табуны коней, почему-то вспомнила Джека Лондона. Прежние национальные костюмы здесь не носят, как и всюду на Кавказе, за исключением дагестанских женщин. Только черные маленькие шапочки мужчин сохранились и под названием «тушинки» используются также кахетинцами. Я вспомнила, как мне подарил такую шапочку Закро в Телави, когда он еще и не думал о навалившихся на него болезнях…

В Телави я сразу пошла в поликлинику, и докторша, смерив мое давление, пришла в ужас от моего полета в Тушетию.

– Вы могли вообще не вернуться оттуда, – сказала она, качая головой. – Сейчас вы должны приходить к нам каждое утро на уколы и принимать прописанные лекарства, в которых будет снотворное, и только отдыхать. Даже любой транспорт вам противопоказан.

Пришлось опять в гостинице снять отдельный номер, оплачивая его за двоих, и усердно лечиться. Ни души знакомых в Телави у меня не было, кроме быстро привыкших ко мне женщин, дежуривших по этажу и охранявших мой покой. Я ходила из поликлиники на базар, покупала себе деревенские лепешки и буйволиное мацони. Обедала, когда спадала жара, в самых тихих кафе и, начав выздоравливать, бродила по тихому уютному городу. Под вечер я садилась в кресло на пустом, верхнем, угловом балконе и любовалась все отчетливее выступавшим из дневного марева Главным Кавказским хребтом, пока он не становился совсем синим, а внизу исчезали черепичные крыши и загорались фонари. До того над моей головой стоял звон от рассекавших воздух крыльев ласточек и стрижей. Их была такая масса и они так близко проносились, что, казалось, крылья их вот-вот коснуться моих волос вместе с начинавшимся предвечерним ветерком. Днем я много спала от лекарств и дорабатывала сонеты Шекспира, перевод которых начала 20 лет тому назад на Дальнем Востоке. Они были закончены именно тогда, в тихой гостинице Телави.

Наконец, через 10 дней давление у меня пришло в норму и мне было разрешено улететь самолетом в Тбилиси. Здесь взволнованные члены семьи Аситашвили направили меня к какому-то большому специалисту по гипертонии, и тот запретил мне и пребывание пока в городе – будь то Тбилиси или Ленинград, – и выезд на море. Он рекомендовал мне предгорья и какую-нибудь деревню. Услыхав об этом, один из моих приятелей, театровед Тариел увез меня в деревенский дом их семьи, где уже отдыхали его милая жена Ламара, знакомая мне по Шови, и двое детей. Мне отвели веранду во втором этаже, чтобы я спала на открытом воздухе, и конец моего путешествия прошел в настоящей карталинской деревне Кавтисхеви, в кругу заботившихся обо мне людей, в саду, где обеденный стол стоял под решетчатым перекрытием, густо увитым зреющими гроздьями винограда. Необычный конец путешествия. К сентябрю я, как всегда, улетела в Ленинград, где меня ждали не только ласка, но и упреки Павлуши, сердившегося на мое легкомысленное отношение к здоровью. Опыт этого лета меня действительно многому научил и сделал осторожнее в следующих путешествиях. Поняла я и то, что прошла пора, когда я могла много выпить без опасности испортить себе долгое время болезнью, с которой теперь приходилось считаться.

***

В первых числах июля 1964 года я уже была в Пшавии с экспедицией грузинской Академии наук, возглавленной на этот раз Верой Варденовной. Я так и не столкнулась с той стороной ее натуры, которая обусловила прозвище «Вероломия». Наоборот, она в экспедициях держала себя строго, без романтического тонуса Ренэ, но вполне расположенно к людям, а ко мне была расположена после первой общей поездки особенно. В этот раз она даже разрешила в ответ на мою просьбу, чтобы со мной приехала Лена Кожина[121], которую я раньше уже дважды устраивала в поездки с Ренэ.

Опять академическая машина, большая группа. Поворот с Военно-Грузинской дороги на Хевсурскую Арагву, а потом вскоре на ее ответвление – Пшавскую Арагву. Заезд в дом-музей Важа Пшавела в Чергали – простой, каменный, прямоугольный, с двускатной крышей, как у всех пшавов, а рядом – новый деревянный, построенный как литературный музей. Здесь на склонах поэт пас своих овец, вынашивая стихи, которые выливались на бумагу при свече в то

время, когда его семья спала. Здесь он седлал лошадь и, положив в вышитые хурджины свои рукописи, ехал на Военно-Грузинскую дорогу, чтобы в Тбилиси отнести их в журнал. Великий поэт, который, вероятно, даже не подозревал о своем величии!



Ил. 30. Пшавия. 1962 г. Дом Важа Пшавелы. Чаргами.

Дальше по реке расположено небольшое селенье Шуапхо. Впрочем, все эти селенья пшавов теперь невелики или ничтожно малы, – как я уже писала, они уже очень заброшены пшавами, ушедшими в разные стороны Грузии, боясь участи хевсуров. Обращает на себя внимание преобладание всюду только стариков. Черные тушинские шапочки на седых волосах… Иногда седые усы или небольшая стриженная бородка. Лица мягче, приветливее, чем у хевсуров. Нет того разбойного огонька, который часто пробегает в хевсурском взгляде. В Шуапхо дома разбросаны далеко друг от друга, – это тоже характерно для пшавов, как будто любовь к окруженности роскошным лесом, к чувству широты вокруг свободного, только деревьями, их листвой, заполненному пространству. Здесь так же отдельно стоит дом родителей Тины и знаменитого Ираклия Очиаури, здесь летом живут их дети. Очень красивого старшего мальчика Тины зовут по хевсурски – Миндия. Мы сделали первую остановку с ночлегами именно здесь. Спали и внутри, и на деревянном балконе, и в палатках. Спаниель Очиаури по прозвищу Санчо бегал среди нас, ожидая своего главного хозяина – художника Ираклия, который, приехав, ходил с ним несколько дней на охоту. Потом Санчо все время следовал за экспедицией.

Проводником (как во всех экспедициях, выезжающих в Пшавию) был взят пшав Ило, личность необыкновенная. Единственный пшав, получивший высшее образование (он закончил заочный сельскохозяйственный институт), он был в связи с этим назначен председателем животноводческого совхоза, который в целом представляет собой вся Пшавия. Человек с характером и умом племенного вождя, он пользовался у своих соплеменников огромным авторитетом. Но он не мог согласиться со многими новыми порядками, отстаивал многие традиции, родовые права и обычаи. Борьба его за них была активной, но он понял неравенство сил и отказался от должности. Отказался вообще от пребывания в совхозе. Стал единоличником. Кусок земли в Шуапхо в стороне от других участков, немного скота, пара верховых лошадей, дом, семья из жены с четырьмя детьми, охота… Внешность у него была интересная, фигура, полная силы и ловкости, сдержанность, достоинство, непроизвольная властность в каждом движении, в каждом жесте руки. Экспедиции относилась к нему с огромным уважением, и, казалось, с момента его появления именно он был не проводником, а организатором и практически – руководителем экспедиции. Когда поэтесса Анна Калантадзе гостила у Очиаури в Шуапхо, она пережила большое увлечение им, выраженное ею в стихах. Как относился к ней он, кроме дружеской почтительности, не ясно, так как у горцев очень строгие нравы, и никакой роман вне брака невозможен. Образ Ило, переведенные мне Тиной стихи Анны и живое представление о том, что она должна была пережить, – все это заставило меня не только сделать ряд фотографий Ило, но и написать несколько стихотворений, посвященных поэтессе. Когда Тина потом в Тбилиси передала ей и то, и другое, она вся вспыхнула и ничего не сказала…



Ил. 31. Пшавия. 1964 г. Пшавия. Удзелаурта. Лена Кожина.

Из Шуапхо мы поднялись по склону выше зоны лиственного леса прямо в луговую зону, в деревню Удзелаурта. Это отсутствие хвойного леса свойственно в значительной степени и Хевсуретии, но особенно Пшавии. Переночевали ночь в спальных мешках на полу большой комнаты в одном из домов маленького и как-то очень одинокого и голого селенья на высоте 1850 м. Дома пшавов намного чище, чем у хевсуров. Сам тип домов и хозяйственных построек вокруг, соединение в качестве материала дерева и камня, – все ближе по характеру к Грузии. Здесь как будто сопротивление грузинским влияниям, грузинской культуре не носило такого ожесточенного и вплоть до мелочей упрямого сопротивления, как в Хевсуретии. Вечером, когда мы сидели под облачным небом на крыше одной из плоских построек, горное гнездо селенья выглядело оторванным от всего мира и в своей полузаброшенности уныло. Маленькие святилища с конусообразными постройками были видны около небольших групп одиноких деревьев, одно ниже по луговому, волнистому склону, другое – выше, наверху этого голого горного хребта. Утром оказалось, что от второго из них открывается величественный вид на примыкающую с этой стороны Хевсуретию. В святилища, однако, пустили лишь мужчин и Веру Варденовну. Здешнему хевисбери 84 года, он очень строг и считается прорицателем. Пока мы ждали тех, кто ушел в святилища, Лена и я лежали на луговом склоне, на котором паслись несколько лошадей, мулов, ишаков. И вдруг через нас, сверху, видимо, из-за хребта, заструился, понесся густой, широкий поток желто-коричневых бабочек. Мы буквально купались в нем, удивленные и восхищенные красотой этого невиданного зрелища.



Ил. 32. Пшавия. 1964 г. Имерткало. 1964. Лена Кожина.

Из Удзелаурты мы поднимались по крутому склону другого, более высокого хребта. Субальпийские луга сменялись все больше альпийскими, с низкой травой и пятнами цветов с короткими, толстыми стебельками. Мы были уже значительно выше двух тысяч метров. Когда горячее солнце пряталось за облако, становилось свежо, тем более, что дул очень прохладный ветер. На гребне хребта маячила какая-то точка, оказавшаяся святилищем Имерткало, что в переводе означает «Оленье гумно». Постройка была не обычная, на голом, открытом месте, довольно высокая, украшенная многочисленными оленьими и турьими рогами, – приношениями охотников. Но был на этом чисто языческом святилище и склонившийся набок крест, чего мы не встречали в Хевсуретии. Пока велись описания и обмеры, вплоть до топографической съемки участка, Ило затеял для тех, кто был свободен, стрельбу в цель, прикрепив к камню мишень. Стреляли в нее лежа. Лена тоже принимала участие. Последним несколько раз выстрелил Ило, – каждая пуля была всажена им в одну и ту же точку. После завтрака мы еще прошли по хребту и начали спускаться со склона по направлению к Шуапхо. Пришлось пересекать широкие полосы снега и выдерживать нападения овчарок. Женщины шли тесной группой в центре, а мужчины вокруг, бросая в разъяренных собак большие камни, которые злобно хватали зубами и потом опять рвались к нам. Так, конечно, до появления чабанов, при окрике которых они садились и лишь следили за нами налитыми кровью глазами. На склоне в отдельно стоящих группах деревьев мелькнули еще раз два святилища. Опять женщины, кроме Веры Варденовны, в них не заходили, а сидели и ждали на почтительном расстоянии. Власть строгого хевисбери нарушать не следовало, чтобы не вызвать гнев населения, начиная с чабанов с их грозными овчарками.

Около Шуапхо находятся святилищ Яксара – собрата Копалы, тоже борца против дэвов. Вера Варденовна водила нас в них, потому что, как и в Имертаклю, посещение их для женщин теперь уже не строго запретно. Она же рассказывала связанные с ними легенды. Дэвы, когда-то здесь жившие, были великанами. Оставшиеся больше груды камня – места их древних жилищ. Яксар в борьбе с ними возглавлял пшавов, которые все погибли, кроме пяти семей. Позже сюда пришли другие семьи, а эти опять сильно разветвились, но священнослужителей выбирали только из них. В первой священной роще Яксара мы увидели пивоварню, в которой сохранилась обложенная камнями печь, над ней котел на цепях и рядом два больших керамических сосуда для вина. Около пивоварни –

нечто вроде алтаря из камней с каменной доской сверху. Здесь ставилась огромная серебряная чаша с вином, в которую каждый бросал серебро на нужды святилища и выпивал глоток прямо губами, касаясь лишь поверхности вина и произнося тост за всех защитников Пшавии, живых и погибших. Тут же находятся полуврытые в землю развалины стен какого-то большого помещения, может быть, для совета старейшин. К нему спереди сбоку пристроен как бы каменный шкаф с полками, на которые, видимо, ставили чаши. Две колоколенки. Одна новая, более высокая, построена стариком хевисбери, который нам все это показывал. Его современная черная одежда благодаря перевязке широких брюк у колен и косматой папахе, закрывающей лысый череп, и бахромой спускающейся на длинное морщинистое лицо, кажется очень экзотичной. Церковка христианского типа, с двускатной крышей, с узенькими щелями-окнами, с крестиком и даже маленькой шатровой башенкой, вероятно, и сделала это место давно доступным для женщин. Опять – проникновение по Пшавской Арагве грузинских влияний. Во второй священной роще Яскара остались руины загона для его волов, его ток для молотьбы, руины его крепости и кузницы.

В Пшавии на землях святилищ сеяли пшеницу и меняли ее у общинников на ячмень для священного пива, а не прямо выращивали ячмень, как в Хевсуретии. Кроме того, торжественно привозили вино из Кахетии ко дню слитого с образом одного из местных богов святого Георгия, а пили это вино на праздник новогодия.

Из Шуапхо мы перекочевали в чудесный лесной участок около деревни Хошара, довольно населенной по сравнению с другими. Высота здесь 2000 метров. Очень живописное место. Лагерь широко раскинулся на поляне, среди огромных лиственных деревьев. На все палатки молодежь пришила смешные надписи с соответствующими картинами. У нас с Леной была отдельная палатка. Такая роскошь была возможно потому, что это близко от Шуапхо, – всего семь километров – и можно было привезти всякое оборудование и запас еды без больших затрат, вьючными лошадьми, которых достал Ило. Мириан опять добывал барашков, хлеб, ловил форель, был по хозяйству правой рукой Веры Варденовны. Внизу, невидимая за кустарниками и деревьями склона, шумела Арагва. Мы с Леной нашли удобное уединенное место в ее пышных зарослях и потихоньку купались там. Мириан ухаживал за Леной, на что она с удовольствием отвечала своим кокетством, имевшим, как всегда, жеманный характер. Ему это, однако, явно нравилось. Амиран опять состоял в поклонниках при мне. Мы

совершили несколько радиальных маршрутов, но вообще больше отдыхали, потому что Вера Варденовна вела длинные разговоры с тем хевисбери, который показывал нам святилище Яксара. Он перешел вслед за экспедицией в Хошару и каждый день проводил в лагере, делясь с этнографами ценными, уже ускользавшими по воле времени сведениями. Один раз, когда Мириан привез барана, мы все под руководством этого старика, лепили из свежей баранины хинкали. На Кавказе это всюду делается мужчинами, а не женщинами, потому что это постоянная и любимая еда чабанов на пастбищах, где нет женщин.



Ил. 33. Пшавия. 1964 г. Хошарский лагерь. Т. П. Знаменовская и Лена Кожина у палатки.



Ил. 34. Пшавия. 1964 г. Хошарский лагерь. Т. П. Знаменовская и Лена Кожина



Ил. 35. Пшавия. 1964 г. Хошарский лагерь. Лена Кожина. 1964 г. Лагерь в Хошаре.

В Кахетии есть песня: «Не ходи в Хошару – там три волка с шипами; я ходил и еле вернулся, а многие жизнь свою там потеряли». Вопреки этой песне наша стоянка в Хошаре была веселой и очень приятной. Грустное впечатление произвело только посещение деревни Ахаты, последней перед началом перевала из Пшавии в Тушетию, высокого, сурового и трудного. Перейдя Арагву, мы сначала шли по очень крутой, совсем потонувшей в пышной зелени леса тропе. Вера Варденовна, как всегда, ехала верхом, и юноша-пшав вел еще одну лошадь с топографическим оборудованием и едой. Когда кончилась лесная зона, под ее последними деревьями мы увидели маленькие каменные пирамидки святилища, которые можно было сфотографировать, хотя женщин, кроме Веры Варденовны, туда не пустили. Мы поднялись еще выше по уже безлесному склону и увидели унылые остатки селенья Ахаты. Оно не только очень одиноко ютилось в безлесной обожженной, неприютной зоне, овеваемой непрерывным высокогорным ветром, но от его построек в большинстве случаев остались лишь груды камней. Все молодое население ушло, и мы столкнулись с его жалкими остатками, – слепым стариком и несколькими пожилыми женщинами. Как они еще могли жить здесь, добывать себе пропитание работой из последних сил, зимовать здесь тяжкие и страшные зимы? Последнее перед перевалом и уже обреченное селенье! Это и было последнее наше впечатление перед отъездом из Пшавии в Тбилиси.

***

В Тбилиси мы переночевали только одну ночь у Веры и на следующее утро уже отправились в новую поездку – с маленькой группой Мириана в Тушетию. Поездка была короткой, но явилась вознаграждением мне за прошлогоднюю неудачу. Хотя с точки зрения самой экспедиции, она явилась тоже неудачной.

Мириан, буду прекрасным исполнителем направляющей воли Веры Варденовны, сам не обладал искусством организатора и умением руководить людьми. Теперь он прежде всего не сумел отказать двум прошлогодним архитекторам в их желании взять с собой жен, отнюдь не отличавшихся экспедиционными достоинствами, зато обладающих соответствующими привычками молодых дам. При наличии еще нас и присоединившейся к нам на другой день в Телави Веры, экспедиция разрослась и стала слишком неоднородной, а, учитывая особенности снабжения в Тушетии продуктами, неудобной и трудной.

День в Телави мы с Верой использовали для того, чтобы показать Лене Цинандали. И вот опять вертолет в выси Омало. Теперь я была здорова, и, так как в вертолете царил «домашний», свободных дух, я фотографировала горы, высунувшись в открытое круглое окошечко вверху, еще усерднее и удачнее, чем прежде.



Ил. 36. Грузия. 1964 г. Цинандали. 1964. Вера Белецкая и Лена Кожина

В Омало мы заняли один из пустовавших домов, и, хотя хозяйка его вскоре приехала, она с чисто тушинской добротой не только не была в претензии, но устроилась в нижних худших комнатах, оставив весь верх неожиданным гостям. Несколько дней прошли в достаточно бсплодной суете. Мужчины доставали на ферме что возможно из продуктов, а мы по очереди готовили в летней кухней во

дворе нашего обширного дома и любовались природой, совершая прогулки. Наконец, Мириан сказал нам с Леной по секрету, что мужчины (среди них теперь еще Амиран вместо Тенгиза) должны выехать для работы в отдаленное селенье, но брать «дам» они туда не хотят. Надо же поработать! Однако не взять их и взять нас было бы большой обидой для них. Ну что же? Мы втроем с Верой решили самостоятельно отправиться тоже в другое селенье, в которое Вера давно стремилась, чтобы там порисовать. Путь наш совпадал, наша цель была только ближе, и мы заявили Мириану, что пойдем в намеченное нам Дартло пешком. Они же договорились для себя о верховых лошадях.

В утро отбытия я зачем-то спустилась в центр селенья, а потом поднималась к нашему дому в гору. Меня нагнал пожилой, довольно полный, – что редко у горцев, – тушин верхом на серой лошади и вдруг заговорил со мной на русском языке, конечно, с сильным акцентом.

– Здравствуй. Зачем пешком гора идешь. Садись на мой лошадь.

Он спешился и остановился.

– Не могу сесть на лошадь, – ответила я. – Юбка узкая.

– А где твои брюки?

– Здесь, в рюкзаке. В дорогу их надену.

– Сейчас надевай. В кусты спрячься. – И он добродушно выругался по матушке.

Я послушалась и, переодевшись, села на его лошадь, – ведь предстоял в этот день длинный путь пешком. Спутник же мой пошел рядом, рассказывая, как он был на войне, сидел в немецком плену вместе с русскими солдатами, подружился с ними и они многому учили его по-русски. В том числе и ругаться по-русски, с солдатским добродушием употребляя ругань не в бранном смысле. Сам он показался мне вдруг похожим больше на старого русского солдата, а не на горца. В свою очередь я сказала ему, что мы направляемся сегодня после завтрака в Дартло.

– А лошадь у тебя есть? – спросил он.

– Есть, – ответила я.

– Я больше, чем полпути, в ту же сторону еду. Поедем вместе. К товарищу зайду, а потом к твоему дому подъеду, – заявил он вдруг.

Действительно, когда мы поели и вышли, он уже дожидался у забора. Мужчины должны были выехать по той же тропе немного позже, чтобы «жены» думали, будто мы направляемся вообще в разные стороны.

– Зачем неправду говорил? – покачал головой укоризненно тушин. – Пешком идешь, лошади нету. Так нельзя, если мужчина едет, а женщина идет. Садись. – И он соскочил с лошади.



Ил. 37. Тушетия. 1964. Омало. Лена Кожина на лошади

Я была в лыжном костюме, – день стоял холодный и для дороги удобнее. Уговаривать меня не пришлось, – я мигом оказалась в седле. Но мой покровитель этим не удовлетворился. Мимо проходил небольшой караван-джоги. Он остановил его главу, – худого старика на рыжей лошади, – поговорил с ним. Мигом была сделана перетасовка грузов, для отдававшего мне лошадь тушина и для Лены были освобождены две вьючные лошади, а для Веры крупный вороной лошак. Когда нас после небольшого перерыва нагнали наши мужчины, они были изумлены, особенно увидев подо мной прекрасного серого в яблоках коня с расшитым седлом и в руках моих – красиво отделанную ременную плеть. Но тут же началась ссора между ними и предводителем джоги. Знавшая грузинский язык Вера рассказывала потом, что он на них гневно накинулся за то, как они могли отпустить женщин идти одних пешком, а сами ехали на лошадях. Между тем вокруг была такая красота, которая заставила меня находиться в отдалении от этих справедливых нападок и только любоваться все более раскрывавшейся над лесами и полянами панорамой снеговых вершин, одна из которых, чуть уступавшая Казбеку по высоте, вонзалась в небо, сверкая в лучах солнца. Затем тропа пошла по лесу, снеговой хребет исчез, и владельцу моей лошади надо было

сворачивать в другую сторону. Он предоставил мне взамен лошадь из каравана, на которой до того ехал. А на прощанье сказал:

– Мы с тобой будем теперь, как брат и сестра. Если еще к нам приедешь, во всей Тушетии я тебе заступник и помощник.

Он обнял меня и скрепил побратимство троекратным поцелуем.



Ил. 38. Тушетия. 1964 г. Омало. Подпись на фотографии: «Мой побратим – тушин». 1964 г.

Тропа в густом лесу была не только каменистой, но ребристой от косо обнажившихся на ней каменных тонких пластов. Привычные лошади шли осторожно, чтобы не поскользнуться и не споткнуться. Пахло хвоей. Шиповник на этой высоте еще не успел отцвести и осыпал на тропу белые, красные, розовые лепестки, местами лежавшие густым ковром. Пахло прогретой солнцем хвоей и этими свежими лепестками. Затем лес остался только слева, уходя стволами вверх по склону, а вниз крутой склон зазеленел травой. Еще ниже открылась большая котловина, и на дне ее, у сверкающей, как серебряная нить речки, обрисовались очертания селенья с многочисленными башнями. Это был Дартло, а выше над ним торчала башня еще маленького селенья Квавло. Мы спешились, с благодарностью попрощались с предводителем джоги и направились вниз по совсем уже узкой тропе. Как мы узнали позже, в более далеком селенье, куда ехали наши мужчины и где заночевал караван, его вожаки опять яростно начали стыдить наших мужчин за то, что они смели ехать на лошадях, а не отдать их женщинам. Мириан и Амиран были смущены и не спорили, но один из архитекторов, грубый и мало приятный Зураб, стал браниться в ответ, и ссора разгорелась так, что чуть не были пущены в ход вытащенные ножи.

Между тем мы мирно спустились к реке и увидели на ее берегу большой оледенелый массив. Это были остатки ледяного моста, который в холодное лето сохраняется над рекой, и даже в жару концы его на берегах не могут растаять. Мы были на больших высотах, но погода в проведенные здесь дни стояла солнечная, теплая и только ночью становилось холодно. Конечно, наш приход был событием для полупустого селенья. Нас окружили дружелюбные лица женщин и детей. Повели прежде всего к свободному дому, хозяева которого на лето не приехали, и отдали его в наше распоряжение. Большая комната, вощеный пол, скамьи для сна вдоль стен, стол посередине, деревянный потолок, шкуры туров на полу… Пристроенная к дому летняя кухня с треножником. Своя башня! Здесь каждый дом, небольшой, с двухскатной, крытой чешуей серых сланцев крышей, имеет отдельную каменную постройку для скота и башню «кистинского» (чечено-ингушского) типа. Ведь за сравнительно не далеким отсюда перевалом уже «злые чечены», которые даже в начале мировой войны умудрились вспомнить отцовские обычаи и совершили набег на Дартло и ряд других селений, угнав к себе скот и оставив среди противников несколько жертв. Когда-то раньше тушинам, как и хевсурам и пшавам, постоянно приходилось враждовать с «кистинами» и здесь тоже был обычай отрубать правую руку у убитого врага. Среди летних обитателей Дартло оказался молодой инженер-тушин, работающий в Телави. Ему понравилась Лена, и он часто к нам заходил, даже помогал ей разводить огонь под треножником в кухне. Его отец был до самой смерти хевисбери Дартло, и отрубленная им когда-то рука кистина красуется до сих пор в телавском музее.

Несколько чудесных дней в удивительно живописном Дартло с подъемом также в более древнее по типу высоких, похожих на крепости, домов Квавло. На маленьком складе, которым пользуются чабаны ближайших стад, нам дали хлеб, сыр, масло. Но всегда, когда мы возвращались в наш по местному обычаю не запиравшийся дом, мы находили на столе приношения: лук, молоко, сметану, лепешки, сахар. Учитывая трудности пропитания здесь самого населения, это было больше чем трогательно. Причем никто не признавался, откуда берутся у нас подобные дары. Это нас очень смущало.

Утром спуск сквозь кусты цветущего шиповника к шумному ручейку для умыванья. Ручей выбегал к нам из лабиринта каменных глыб, нагроможденных друг на друга, и, казалось, радостно звенел, вырвавшись из их сурового плена. Днем сначала Вера рисовала в самом селеньи. Женщины и девочки или

хозяйничали, или вязали яркие полосатые носки и такие же туфли на шерстяной, похожей на веревочную, подошве. Во вторую половину дня уже почти все были этим делом заняты, сидя компаниями и болтая. С нами обращались не только приветливо, но как-то особенно тепло, – черта, характерная для тушинов.

По ту сторону маленького ручья, где мы умываемся, стоят прочные руины двух огромных по габаритам башен не того типа, который характерен для селенья. Говорят, что это башни какого-то более древнего крепостного гнезда, где жил другой народ, до того, как сюда пришли тушины. Перед башнями на лугу маленькие склепы уже тушинского характера, с двухскатными крышами, выложенными сужающимися кверху рядами сланцев и увенчанные белыми священными камнями. В самом селеньи есть дома, необделанные камни в кладке которых покрыты выскобленными на темно-сером фоне фигурками людей и животных, сходными по стилю с неолитическими. Когда и откуда они принесены? Местное население не знает. Может быть, эти камни – тоже от более древних здешних строений? Когда мы позже обо всем этом спрашиваем у наших этнографов, они тоже не могут дать ответ.

К концу дня подростки и молодежь на лужайке начинают играть в разные игры, бегают, догоняют друг друга, водят хороводы. Игры, их обилие и разнообразие являются особенностью Тушетии. Языческие праздники при святилищах, не имеющих здесь такого развитого архитектурного характера, как в Пшаво-Хевсуретии, сопровождаются прежде всего именно играми, состязаниями, скачками на лошадях. Обычно все это приурочено к концу лета. А в конце каждого дня тоже играют на лугах среди ярких и пышных цветов. Всегда приглашают нас, и мы или играем в наиболее спокойные игры или любуемся бегающими друг от друга подростками. А когда темнеет, за нами приходят, чтобы пригласить нас на танцы. На вытоптанной специально площадке, при свете нескольких фонарей «летучая мышь», уже взрослые развлекаются под звуки нескольких простых инструментов пляской лезгинки. Прекрасно пляшут чабаны, один из которых становится верным поклонником Веры и специально за ней заходит в наш дом. Удивительны какие-то особые, идилличные черты в быту тушинов, чего нет в такой мере в жизни какой-либо другой кавказской горской народности.

Когда мы уходим обратно в Омало, мы со всеми дружески прощаемся, но не знаем, как и кого отблагодарить за ежедневные приношения всего вплоть до

крупы. Оставляем просто деньги на столе в покидаемом нами доме. Идем обратно пешком, но уже по знакомой дороге. И вдруг километра через четыре нас нагоняет мальчик, чуть ли не бегом бежавший за нами. Он протягивает нам деньги, которые мы оставили, со словами:

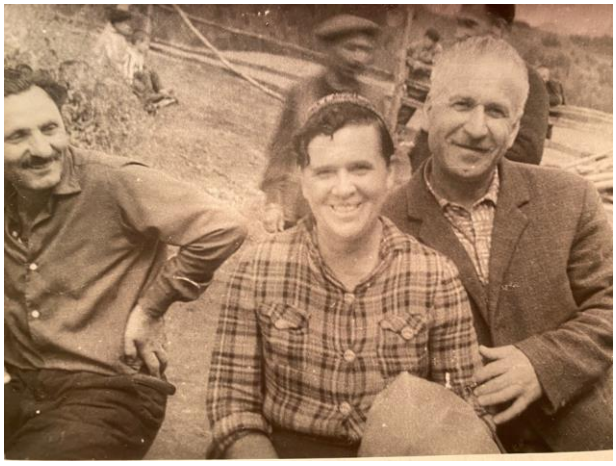
– Возьмите это! Разве можно, чтобы у гостей брали деньги? Вы были наши гости. Если не возьмете обратно, все селенье наше обидится.

Конечно, мы смущенно берем наши бумажки и передаем через него слова самой сердечной благодарности гостеприимному селенью.

Почти одновременно с нами в Омало вернулись наши мужчины, очень мало сделавшие за все это время и теперь настроенные вообще возвращаться в Тбилиси. У Мириана был смущенный вид. Активнее всех и наиболее по-деловому проявлял себя Амиран. Но улететь из Омало оказалось совсем не просто. Стояла облачная нелетная погода. Каждый день хоть на несколько часов она могла проясниться, поэтому удаляться надолго было невозможно, даже в Дикло, куда нам с Верой очень хотелось пойти. Все было в состоянии готовности к отлету, каждый день часть времени мы проводили на летной площадке, узнавая прогнозы погоды. С каждым днем на эту площадку прибывало все больше караванов-джоги, росли кучи привезенных грузов, увеличивались и табуны пасущихся коней, и толпы чабанов, резавших пригнанных баранов и пировавших в «Космосе», чтобы скоротать время. Архитектор Зураб как будто нарочно был наказан за свою грубость с ними и протест против их требований уважения к женщинам. Как-то он сел на оседланную лошадь одного из чабанов, стоявшую у «Космоса» и поскакал зачем-то вверх к селенью. Однако лошадь не хотела слушаться незнакомого и грубо хлестнувшего ее седока, она стремилась не отделяться от джоги, с которым пришла сюда. Мы были на площадке и видели, как она вертелась волчком, споря с уздой, направлявшей ее в неугодном ей направлении. И вдруг она резко повернула обратно к площадке и понеслась к ней во весь опор. Зураб вылетел из седла, но нога его застряла в стремени и тело с бешеной скоростью волочилось по земле. Мы застыли в ужасе. Несколько тушинов вскочили на лошадей и, схватив веревки вроде лассо, понеслись догонять взбунтовавшегося коня. Хорошо, что посадочная площадка была вся травянистая, лишенная камней, а то бы Зураб погиб. Но в один счастливый для него момент толстая подметка его горнолыжного ботинка оторвалась, не выдержав. Он

остался лежать почти без чувств, в крови, со спиной, с которой была содрана кожа, но без переломов, без разбитой головы.

Среди прогулок по прекрасному хвойному лесу вокруг Омало, когда выяснилось, что в этот день вертолета не будет, были и еще происшествия все на той же площадке, ставшей центром очень шумной и многолюдной жизни. Кахетинским чабанам отведены теперь участки пастбищ у тушинов и из-за приезда к ним для ревизии начальства районного масштаба ими был устроен пир около их временного лагеря на площадке. Все они были из района Напареули, а начальство состояло из районного секретаря, тучного, самоуверенного, конечно, как полагается, в белом пиджаке, из ветеринарного врача и почему-то также заведующего аптекой, самодовольного, веселого старика. Среди чабанов выделялся Нудар, высокий, с видом задиристого и любящего обилие кур красавца-петуха, уверенного в своем неотразимом мужском очаровании. Прямо под открытым небом был поставлен огромный стол, ломившийся от обилия сыра, разных кушаний из баранины и ведер с сельским вином напареули, которое всегда во много раз превышало качеством продажное, как и всякое натуральное вино. Нас всех пригласили тоже. Голосистые кахетинцы пели много заздравных песен, вино лилось рекой. Потом к нему присоединился быстро проходящий дождь, от которого, не покидая стола, подвыпившие собутыльники прятались под плащами. Нам всем пришлось плясать лезгинку, как в Дартло, но с иной, весьма залихватской компанией.



Ил. 39. Тушетия. 1964 г. Омало. Т.П. Знамеровская на пиру кахетинских чабанов.



Ил. 40. Тушетия. Омало. 1964. Лена Кожина и Вера Белецкая. На «пиру кахетинских чабанов»

А на другой день, увы, мы встретили тех же чабанов в весьма жалком виде, с разбитыми физиономиями, начиная с Нудара, заклеенного пластырями и напрасно старавшегося при виде нас сохранить свой петушиный гонор. Выяснилось следующее. Три девушки-тушинки, с которыми мы уже встретились в Дартло, студентки телавского пединститута, одни путешествовали во время каникул по Тушетии, и это встречало среди местного населения только одобрение, покровительство и даже гордость, что теперь тушинки бывают уже такими образованными, свободными, городскими. У кахетинцев обратные представления, как я уже писала, – если женщина ведет себя независимо и свободно, где-то ходит и ездит, это позор и с ней можно сделать все, что угодно. Когда на посадочной площадке появились под вечер молодые студентки, спрашивавшие о вертолете, сильно подвыпившие кахетинцы начали развязно к ним приставать. Возмущенные тушины вступились за их честь, и произошло буквально побоище, в котором кахетинцы были посрамлены и избиты. Всякое мужское самодовольство собственной неотразимостью исчезло с их лиц. Только несколько, накануне державшихся более скромно и производивших мужественно-благородное впечатление, имели нормальный вид и остались в стороне от драки. Мы много смеялась, глядя на вчерашних петухов, и особенно на Нудара.

Наконец, погода исправилась, и самолет сделал несколько рейсов, после чего перевалы опять затянуло облаками. Мы улетели одними из первых. В Телави, только что мы хорошо устроились в гостинице, с видом на знакомый бастион, напоминавший Закро и песни юношей под звуки пандури по вечерам, как пришел

таксер искать пассажиров до Тбилиси, – ехать с одним пассажиром, которого он имел в наличии, в такую даль было невыгодно. Вера, Лена и я согласились на этот вариант скорой доставки, – ведь для нас это тоже был выгодный, редкий случай. Выехали вечером и ехали всю ночь через Гомборский перевал при свете полной луны. Тоже возможность редкая, а красота неописуемая, сказочная, таинственная. Сиявшие лепестки отцветавшего шиповника, силуэт дикой, голой горы, похожей на великана-дэва, пронизанные лунным светом лесные чащи и мерцающие струи потоков, развалины крепости Уджерма… Романтика потрясающая, прогонявшая всякий намек на сон, даже весь следующий день державшая в своей чарующей, полуреальной власти, которая сама была похожа на сновидение…

Остатки отпуска в Кавтисхеви у Тариела. И вот опять самолет несет меня домой, в Ленинград, над Кавказским хребтом. Даже не верится, что наши ноги ступали там, внизу, среди его отрогов, увенчанных снеговыми вершинами.

1965. Июль, август.
XV. По западной Грузии

О горы, здесь в краю скалистом
Несу я поздний вам привет!
Важа Пшавела[122]

Я соскучилась по поездкам с Ренэ, по особому приподнятому настроению этих поездок. Кроме того, ведь я так и не видела основного в Сванетии – Ушгула. Между тем, Ренэ каждое лето бывала в Сванетии, хотя изучила ее вдоль и поперек, – ее, кажется, буквально все там знали. В июле 65-го года она позвала меня поехать с ней не в экспедицию, а просто в небольшое путешествие. Вере зимой делали тяжелую операцию, – удаляли фиброму, – но она тоже решила ехать, чтобы осесть в спокойном месте и порисовать. К нам присоединилась Нина Константиновна (сестра Веры), еще их симпатичная знакомая и ее дочка Марина, кончавшая школу. Бедная девочка, умная, развитая, способная, была физически неполноценна – огромна, ненормально полна, тяжеловесна. Таким образом, и поездка, и компания отнюдь не носили делового характера.



Ил. 41. Сванетия. 1965 г. Нина Константиновна Белецкая. Ламтхвери

Мы вылетели маленьким самолетом в Местию из Кутаиси. Нас шумно встретила после нового для меня и красивого перелета Татьяна Сергеевна Шевякова, которая с внуком – подростком Олегом – копировала фрески в сванских церквах. Могучая, седая женщина все еще продолжала заниматься своей трудной, но любимой работой. Все вместе мы заняли в Местии отдельную большую комнату в гостинице. Мне бросилось в глаза обилие здесь теперь по

сравнению с прошлым моим приездом нарядной московской публики с собственными машинами. Ведь строительство плотины на Ингури привело к тому, что дорога от Зугдиди была очень улучшена и потеряла своей прежний весьма опасный характер. Эта публика, сделав несколько выездов вокруг Местии, обычно возвращается с гордостью, что побывала в таком экзотическом, а теперь все более модном месте. Мы тоже первое время провели в Местии и окружающих ее селеньях, но иначе, чем столичные нарядные туристы.



Ил. 42. Сванетия. 1965 г. Местия. Татьяна Сергеевна Шевякова встречает нас на аэродроме.

Прежде всего, осмотр музея, когда его показывает сама Ренэ, превращается в нечто необычное, художественное, увлекательное. Как она умеет говорить о рукописях, которые сама, даже с риском для жизни, добывала для музея!

У меня уже много дагестанского серебра, есть даже хевсурское. Но достать сванское, уже давно не выделываемое, очень трудно. Я прошу свана – директора музея, – купить мне что-нибудь, если принесут продавать. Наутро он таинственно вызывает меня в свой кабинет и протягивает красивую, старинную застежку от национальной женской одежды с тремя маленькими висящими пластинками, повторяющими ее форму.

– Спасибо! – восклицаю я радостно. – Сколько я должна за это?

– О, нисколько, дорогая. Это мой подарок, память о Сванетии.

Когда Ренэ видит на мне это украшение и спрашивает, как я его достала, ее веселым шуткам нет конца.

– Я вас больше не буду, Татьян, брать с собой ни в какие поездки. Ведь так скоро от наших музеев ничего не останется.



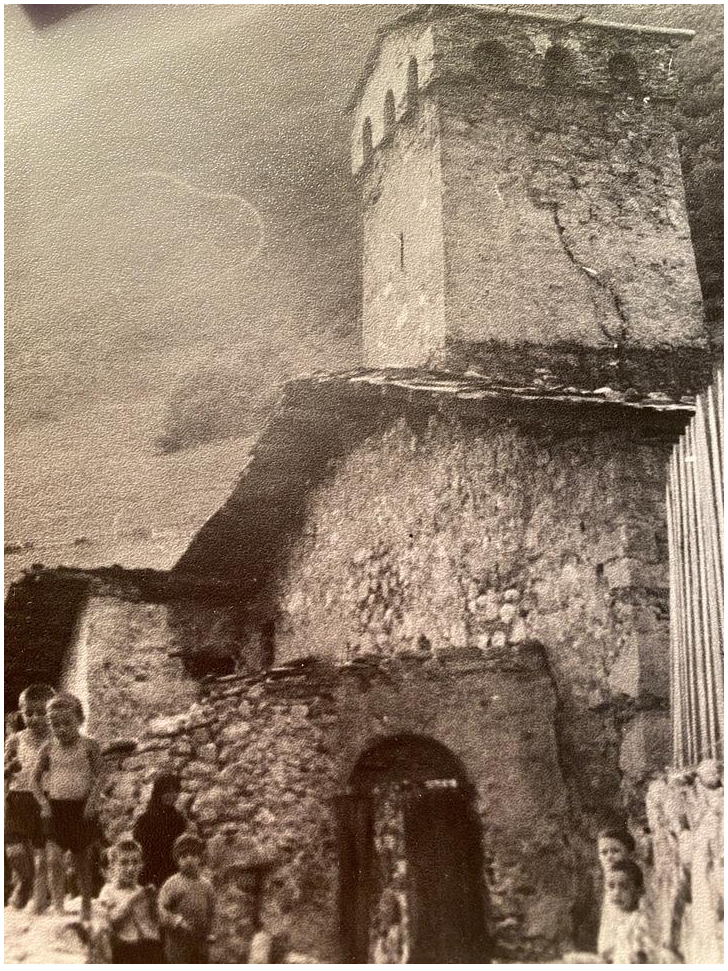
Ил. 43. Сванетия. 1965 г. Местия. По дороге идет Татьяна Сергеевна Шевякова



Ил. 44. Сванетия. 1965 г. Местия. Вид на гору Тетнулт.

Долго осматриваем мы сохранившийся на окраине Местии, теперь очень редкий в Сванетии, старинный зимний дом (мачуб). Поразительно огромное внутреннее помещение этого дома, отделенное от входа довольно большим коридором, рассчитанным на проход не только для людей, но и для скота. В центре высокого, просторного зала без окон, построенного из тесаного камня со штукатуркой, находится очаг под вытяжной дырой без трубы. Над ним – красивая цепь для большого котла, на могучей резной балке, называющейся «шгил». Вокруг – деревянные широкие скамьи и для сиденья, и для сна. С одной стороны

отдельно стоит кресло для главы семьи. Дальше в пустом пространстве видны еще скамьи и висящие люльки. По стенам в два яруса идут галереи (лечумпр), открывающиеся в зал внизу более крупными, вверху более мелкими аркадами. Сюда загонялся скот, – вниз лошади и коровы, вверх овцы. Они обогревались вместе с людьми от очага и своим дыханием давали тепло помещению, где коротали зиму люди. Деревянные предметы обстановки, вплоть до прялок, покрыты скупой резьбой. Все это производит величественное и очень суровое впечатление. В одном из помещений рядом с главным есть яма, в которой держали пленных. По рассказам, с ними обращались не зверски, потому что за них брали хороший выкуп. Снаружи все обросло всякими хозяйственными постройками, сообщающимися с главным жилищем. Поэтому все в целом бесформенно и только над куском фасада, ведущим в коридор центрального прохода, видно украшение в форме арочек, напоминающих машикули на башне. Конечно, надо всем высится обычная сванская башня.



Ил. 45. Сванетия. 1965 г. Местия. Старинный дом



Ил. 46. Сванетия. 1965 г. Местия. Часть старинного дома

Хозяева дома – Маргиани – хотят продавать его на слом! Но каким же это было бы варварством! Искусствоведы и художники хлопочут о его приобретении государством и о превращении его в музей. Однако теперь, когда Г. Н. Чубинашвили совсем уже болен и стар, труднее чего-либо добиться, – нет больше такого непререкаемого во всех инстанциях авторитета.



Ил. 47. Сванетия. 1965 г. Ламтхвери



Ил. 48. Сванетия. 1965 г. Ламтхвери. Вид на гору Ушба

Наши походы вокруг Местии начинаются с Ленджери и затем селения Ламтхвер. Здесь на обычной сванской небольшой церкви XII века, представляющей собою каменный кубик без креста со щелевидными прорезями окон, сохранилась еще достаточно хорошо различимая фреска снаружи – витязи в шлемах и доспехах сражаются с дэвами, изображенными в виде чудовищ. Вполне языческий, местный, эпический сюжет, исполненный примитивно, но выразительно, и с явным усвоением упрощенных навыков грузинской средневековой живописи.

При церкви имеется колоколенка.



Ил. 49. Сванетия. 1965 г. Ламтхвери. Звонница церкви XI в.



Ил. 50. Сванетия. 1965 г. Ламтхвери. Церковь XI в. Роспись на наружной стене.

Если мы возвращаемся рано или в дни, когда Ренэ объявляет их выходными, мы ходим за Местию, вверх по Ингури, и лежим среди кустов, обрамляющих впадающий в нее ручей. Место такое тихое, а вода в ручье, разливаясь, так прогревается солнцем, что я даже купаюсь в укромном месте. Нельзя, чтобы увидели сваны, – это нарушение их законов. В Сванетии имеется только несколько специальных мест, где разрешается купаться женщинам.



Ил. 51. Сванетия. 1965 г. Ренэ Оскаровна Шмерлинг и Этери. Ламтхвери



Ил. 52. По дороге в Ленджери. Р. О. Шмерлинг беседует со сванами.

Когда мы шли в селенье Ламтхвери, в лесу над ручейком, на сломанном стволе, сидела и пела хорошенькая, черненькая, молоденькая сванка Этери, вступившая с нами в разговор. Она рассказала, что у нее есть жених, через месяц будет свадьба, но этот месяц по обычаю обрученные не должны видеться, и она без него очень скучает. Мы, в свою очередь, изложили ей цели нашего путешествия. Она, недолго думая, стала нашей проводницей к отцовскому дому, где нас гостеприимно накормили и пригласили жить, сколько нам угодно. Для сванов семья была даже неожиданно крайне приветливой, лишенной суровости и скупости на слова. Мы провели у них трое суток. Отец Этери оказался председателем сельсовета общины Пари. Какое здесь получилось смешение коренных родовых и пока еще весьма поверхностных колхозных обрядов, введенных только после войны, привычки выбирать старейшин и теперь вместо них членов колхозного совета! Все это с большим обереганием своих вольностей и обычаев, – ни в какой инстанции властей в Верхней Сванетии до сих пор нет никого, кроме сванов. Среди учителей и врачей – то же самое. Слишком это вольная, большая и грозная народность, – резко воздействовать на нее еще опасаются. Только сеть дорог все расширяют и расширяют. По словам отца Этери, кроме колхозных стад, каждая семья держит столько скота, сколько может продержать, выгоняя его на лето на те же пастбища и там же заготовляя зимний корм. Только пасут его не чабаны, а подростки сыновья. Поэтому очень выгодно иметь сыновей побольше. У нашего хозяина сейчас на пастбище два сына,

десяток коров и штук тридцать овец. Посевы в долинах колхозные, а огороды – собственные разных семей.

На следующий день мы ходили в селенье Гешдер той же общины Пари. Осмотрели гораздо более маленькие, чем зимний дом, старинные летние каменные сванские дома, стоящие рядом с постройками для скота и соединяющиеся с башнями, но без стойл для скота внутри. Снаружи они здесь украшены опять арочными поясками под каменными, чешуйчатыми крышами. Посетили также знаменитого охотника Чхвимиани, крепкого, полуседого человека, чей дом весь, снаружи и внутри, украшен рогами и чучелами голов, принадлежавших турам, оленям, козам. Чучела делает тоже он сам. Стрельба крупных рогатых диких зверей является его признанной монополией в общине Пари. Стрельба таких же нерогатых животных – монополия другого охотника.



Ил. 53. Сванетия. 1965 г. Гешдер. Охотник с рогами тура

Вечером выяснилось, что завтра в селенье Пари будут похороны умершего мужчины и поминальный обряд будет длиться по всем правилам весь день. Мы ходили смотреть на это выдержанное в древних правилах зрелище. Снаружи дома стояли длинные столы с поминальной трапезой и сидели мужчины. Они пили, ели, пели заунывные песни, во время которых, – видимо, при определенных словах, – вставали и снимали сванки с голов. Некоторые отходили в сторону, стояли группами, тихо разговаривали, – ведь длилось это все долго. Внутри, в большом помещении, окна были завешаны черными занавесами. Просветом в одном из окон был выделен в мрачном помещении только усопший. Вокруг него были

поставлены сладкие пироги ему в дорогу. Около него то сидела, то вставала, простирая руки, плакальщица и рядом с ней – понуро склонившаяся жена. Обе были в черном и вся комната была густо заполнена женщинами в черных платьях и черных покрывалах. Плакальщица рвала на себе волосы и заводила причитание, жена подхватывала его, и им вторили все женщины, ритмично раскачиваясь вслед за напевом. Впечатление было жуткое, и веяло от него глубокой древностью.

На третий день мы из Ламтхвери ходили в Свип, тоже принадлежащий к общине Пари. Чтобы попасть к его церкви, надо было подняться на достаточно высокую и крутую гору по идущей прямо в лоб тропинке. Церковь оказалась очень маленькая, обычная, простая, с небольшой росписью XIII–XIV веков. Но в ней хранится драгоценность, которую местное население до сих пор не хочет отдавать в музей Местии. Это большой (выше роста человеческого) крест XI века (во всяком случае, не моложе начала XIII), оббитый материей того же времени с вытканными на ней рельефными узорами и изобразительными мотивами. Конечно, это огромная редкость. Пока мы со стариками-хранителями, открывшими для Ренэ церковь, все осматривали и фотографировали, в стоящем недалеко доме одного из них готовилось для нас пиршество. Оно было бы прекрасно, если бы не водка (самогонка), которую сваны готовят из бузины за неимением на их высотах ничего лучшего для этой цели и при привычке не тратить на это зерно, в котором они так нуждались в течение веков борьбы за свою независимость. Ренэ совсем не пьет, прочие пригубили свои стаканы. Я же привыкла пить, чтобы не обидеть хозяев, и прикончила свой стакан. Это был самый отвратительный напиток из всех, которые мне пришлось пить в жизни. В результате по возвращении в дом Этери мне было плохо, пришлось удалиться в лес, так как началась рвота. Желудок же мой испортился на всю поездку. Пришлось питаться почти исключительно сухим хлебом и толокном, – другой диетической еды не было. Видели мы в селенье и жениха Этери – красивого, кудрявого парня. Потом вернулись в Местию.



Ил. 54. Сванетия. 1965 г. Свип. Церковь XI в.



Ил. 54. Сванетия. 1965 г. Свип. Крест XI в. и сторожа церкви

Из Местии на грузовике, по обычной для этих мест страшной лесной дороге над пропастями мы доехали до общины Кала. Вера после операции не могла трястись на грузовиках и пешком пошла в Цвирми заниматься этюдами, – там была и дружественная ей сванская семья, где ей хорошо было жить. Мы же остановились в самом нижнем маленьком селенье Калы, прямо на берегу Ингури, утратившей свою мощь после раздела на Черную Ингури и Белую. Приятельница Веры и Ренэ тоже сразу нас покинула, вернувшись грузовиком в Местию, а потом на работу в Тбилиси. Но ее Марина, похожая на маленького слона, осталась с нами.

В доме знакомых Ренэ хозяйка отвела нам комнату, чистую, как обычно в домах сванов. Она снабжала нас, тоже как обычно, картошкой, молоком и яйцами за плату. Дом был уже нового типа, с открытой галереей. Близ него шумела река, а за ней высилась соединенная деревянным висячим мостиком гора, вершину которой увенчивала знаменитая церковь Квирика и Эвлали (Лагурка), главное святилище сванов. Историю с ее ограблением я уже рассказывала в главе о

Сванетии, написанной в 1957 году. Против нашего дома была площадка и висел набатный колокол, в который ударили при этом ограблении. На площадке же был забит камнями инициатор ограбления – мингрельский студент. От горы, на которой стоит Лагурка, тянется влево покрытый густым хвойным лесом хребет; через него идет тропа на Латпарский перевал, отделяющий Верхнюю Сванетию от Нижней. Но крутой склон горы к Черной Ингури теперь совсем черен от выгоревшего леса. Пожар последовал вскоре после ограбления, и сваны увидели в этом проявление гнева божьего. Церковь простая, маленькая, с закоптелым притвором для выпечки хлебов и с огороженным грубой кладкой двором – для собирающегося в праздник народа. Все это XI – начало XII века. Внутри – абсида, полуциркульный свод, пилястры между слепыми арками на стенах. Роспись начала XII века выполнена уже знакомым мне по Накипари и Цвирми «царским мастером» Тевдоре и снабжена здесь его подписью. Кое-что переписано в XV веке после землетрясения. В абсиде стерлось лицо Марии в Деисусе. На алтарной преграде изображены святые. Над ними на стенах, под слепыми арками, слева не белом коне св. Георгий, топчущий копытами маленькую фигурку Диоклетиана, и скачущий в другую сторону всадник Тевдоре. Хороши его рыжий конь и суровое лицо, сванское по типу. На правой стене перед царским троном св. Евлалия горько плачет над истерзанным телом маленького Квирика, а правее в следующей сцене ей же отсекают голову. На своде огромная фигура Христа в сцене «Сошествия в ад», «Рождество» и «Крещение»; на западной стене – стоящие святые. Фрески сильно закоптели от свечей, кроме того, в них много темных, холодных, серых, синеватых тонов. Орнамент из стилизованных дубовых листьев характерен для мастера Тевдоре. К сокровищам церкви принадлежат многие чеканные серебряные кресты, иконы XI–XIII веков, некоторые интересные по живописи. Однако все это очень варварское по духу, местных, самобытных мастеров, с хорошими штампованными орнаментами по металлу. Концентрические круги и мотив полуарочек являются чисто сванскими. Есть, однако, и вещи привозные, например, византийская икона, иранская кадильница VI–VII веков, медный кувшин из Сирии V–VI века, из которого до сих пор поливают для исцеления больных. Много всяких приношений от кивория в серебре до кинжалов. Все это связано еще с тем временем, когда эта часть Сванетии не была «вольной», а входила в состав Грузии, имея в разных районах стоявших над ними феодалов. Лагурку в XII веке украшали князья Шалиани, являвшиеся ветвью Шервашидзе

Абхазских, бежавшие сюда от кровной мести и обосновавшиеся здесь до того времени, когда все феодалы были изгнаны отсюда.



Ил. 56. Сванетия. 1965 г. Кала. Церковь Квирика и Евлалии (Лагурка) и ее звонница

Все это мы осматривали под наблюдением двух сторожей-стариков, как обычно, не спускавших с нас глаз, чтобы мы чего-нибудь не похитили. И это при такой известности Ренэ в Сванетии, что масса девочек в честь нее носит имя Рена, которого здесь никогда раньше не было! В музей отсюда еще не отдали ни одной вещи и не хотят отдавать.

Немного выше по Ингури расположено селенье Ипрари того же общества Кала, само по себе мало интересное, – даже башен почти нет, а церковь крайне невзрачная. Но в ней лучшая, с моей точки зрения, роспись мастера Тевдоре, меня поразившая. И дело не в иконографии, и не только в образах, в других местах тоже интересных и выразительных. Тот же Деисус, на алтарной преграде – святые в орнаментальных тканях одеяний, на стенах – св. Тевдоре топчет буйным конем дракона, и св. Георгий – лежащего Диоклетиана; по оси свода – орнамент и по бокам от него два огромных архангела, а ближе к входу – «Рождество» и «Крещенье». Западную стену занимает «Благовещенье». Дивные иконы. И все-таки – главное не это, и даже не обычное для художника обобщение, сила монументальности в маленьком пространстве тесного интерьера, динамика ритма,

красота драпировок, переходящих в почти орнаментальные завихрения. Главное – все пронизывающий огнем горячий, пылающий, рыже-золотой, красно-оранжевый колорит. Кажется, он заполняет даже воздух пространства и охватывает тело дрожью возбуждения. Удивительно много орнаментов, особенно полос из стилизованных, будто солнечной осенью зажженных дубовых листьев. В эмоциональной взволнованности я долго не могла оторваться от этих темпераментно-вдохновенных фресок. И как постепенно из их то вспыхивающего, то тускло тлеющего, но не угасшего огня, выступали отдельные не только сурово-победоносные, но грустные, тонкие лики и неизъяснимо прекрасное лицо Марии в Деисусе! Так же красно-оранжевые охры при более внимательном рассмотрении таили в себе серые и голубоватые оттенки пепла.

Из Калы в Ушгул дорога внизу, по ущелью Ингури, была уже в то время начата, но еще не закончена. Мы шли с рюкзаками пешком по хорошей тропе, вьющейся по склону над постепенно уходящей от нас все глубже в пропасть Ингури, ревущей и местами исчезавшей среди диких скал. Склоны, по которым мы шли, были в самом прямом смысле слова коврами цветов. При том они отличались от обычных субальпийских лугов, к которым мы привыкли на Кавказе. Казалось, чья-то заботливая рука нарочно посеяла цветы, почти не смешивая их, однородными участками. Расстилались то розовые, то голубые, то белые, сиреневые и золотистые поляны, расположенные наклонно и сбегавшие все более круто вниз к каменным ущельям шумевшей реки, чтобы повиснуть каскадами венчиков на ее обрывах. А сверху к нам склонялись желтые лилии, царские кудри, огромные колокольчики, ветви цветущего шиповника. Толпились группы кустарников и возникали редкие рощицы тоненьких, хрупких березок, стоявших среди цветов отдельно, на некотором расстоянии друг от друга, и трепетавших нежными листиками.

У небольшого бокового ущелья, скалы которого были похожи на извилистый ряд колючих зубов какой-то чудовищной пасти, мы встретили двух молодых сванов, тащивших волоком на лошади несколько больших бревен. Они поздоровались, остановились, глядя на нас с удивлением, потому что чужие люди появлялись здесь редко, – организованные туристы сюда никогда не попадали, самодеятельные – тоже, не имея знакомства в грозном Ушгуле, до этих мест почти никогда не доходили, а группой альпинистов мы явно не были.

– Что, – задорно сказала Ренэ, свойственным ей движением высоко поднимая голову, – какие настали времена? Одни женщины без мужчин ходят по Сванетии!

– Да, – чуть улыбаясь и вместе с тем делая округлые, как бы пугающие глаза, ответил один из сванов. – И даже дэвов около ущелья не боятся.

– Да сейчас бояться и нечего, – проговорил другой и таинственно добавил: – Ведь дэвы выходят здесь только после заката солнца, а сейчас в дальнаге царит добрая Дана.

Они засмеялись и дружески распрощались с женщинами, на которых были сванские шапочки. Объясняя мне смысл разговора, происходившего по-грузински, Ренэ объяснила также, что дальнаг означает у сванов «долина», по имени богини Дана, прекрасной охотницы и покровительницы охотников. Тут же она рассказала, что высекая слова нерушимых клятв на голых камнях высоких хребтов, сваны делают порой суеверно кресты из снега, называющиеся джаваринды. Так язычество переплетается здесь с христианством на равных правах, а само христианство переработалось совсем не в христианском духе.



Ил. 57. Сванетия. 1965 г. Ушгул

При приближении к Ушгулу тропа спустилась к реке, долина которой очень расширилась и покрылась прямоугольниками посевов. Мы увидели справа на зеленой горе развалины замка Тамарисцихе, называемого так, хотя царица Тамара здесь никогда не бывала. Под горой появился лес стройных башен первого ушгульского селенья Муркмел. Здесь мы и остановились у знакомых Ренэ, в семье замкнутой и мало приветливой. Сын из этой семьи кончил университет и был теперь там же в Тбилиси математиком-аспирантом. Вся семья этим очень кичилась, а он преисполнился совсем жесткого высокомерия и гордости. Говорят,

это поразительный красавец, с крайне тяжелым, действительно «ушгульским» характером. Уже несколько лет он добивается руки Эки, мать ее трепещет перед этой долгой любовью, но для Эки подобный брак, даже при некотором увлечении красотой претендента, невозможен.



Ил. 58. Сванетия. 1965 г. Ушгул, церковь XI в.



Ил. 59. Сванетия. 1965 г. Ушгул, церковь XI в.



Ил. 60. Сванетия. 1965 г. Ушгул, церковь XI в.

Выше по речке расположено второе, самое интересное селенье Ушгула – Чажаш. В нем есть нечто циклопическое. Башни здесь невиданной мощи, порой как бы сросшиеся друг с другом кускам. А между ними много древних домов-крепостей из огромных глыб камня разной величины, формы, расцветки. Такой дом, превращенный в склад, стоит и во дворе у наших хозяев. Окна в них заменили бойницами и внутри они имеют по два этажа. Сванетия сложена, в основном, изверженными породами, и это придает ее камням не только особую прочность, но и цветовое разнообразие, что делает непокрытые штукатуркой ушгульские дома-крепости живописными при всей их неприхотливой, мощной грубости. Еще выше после лугового перерыва, почти сливаясь, раскинулись два последние ушгульские селенья – Чвибиани и Тибиани. Они кажутся более поздними, потому что башен в них меньше, и они тоньше, стройнее. Наконец, последняя постройка по долине уже ставшей лишь бурным ручьем Ингури – обнесенная каменной крепостной стеной небольшая церковь с лужайкой перед ней. Именно с этим местом связана история гибели одного из князей Дадашкелиани, особенно активно стремившегося к подчинению своей власти Вольной Сванетии. Он скрыл за перевалом войско, а сам со свитой приехал в гости к ушгульцам. Узнав о готовящемся предательстве, они ответили тоже предательством, для охраны своей свободы поправ даже законы гостеприимства. Каждый ушгулец дал по маленькому кусочку свинца, из которого отлили одну пулю. Заряженное ею ружье поставили за церковной стеной, закрепив дуло в отверстии так, чтобы оно было направлено точно в то место за поставленным на поляне пиршественным столом, которое предназначалось князю. От курка протянули несколько веревочек, с концами которых залегли несколько выбранных для этого сванов. Таким образом, все селенье принимало участие в убийстве врага, – обычная для сванов система круговой поруки. Еще дальше за церковью замыкает долину грандиозная, снизу доверху снеговая, даже как будто нереальная в своем сиянии и дематериализованном блеске Шхара, всего в 15 км спускающаяся в долину языками ледников, из которых начинается Черный Ингур.

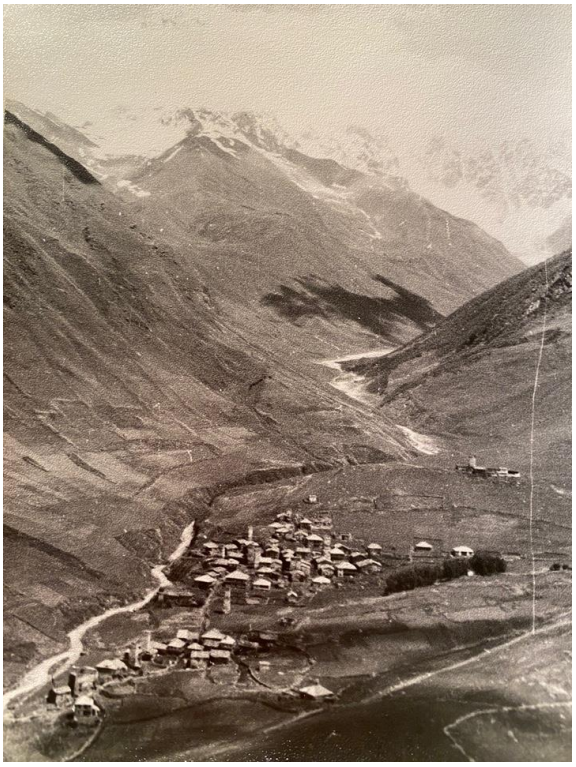


Ил. 61. Сванетия. 1965 г. Ушгул. Старинный дом-крепость.

Что может быть прекраснее, величественнее, даже ошеломительней панорамы, открывающейся с горы от руин Тамарисцихе на всю цепь селений и башен Ушгула вплоть до невесомой, сказочной, снеговой стены Шхары? Мне показалось, что ослепительной красотой она затмевает даже Ушбу и Тетнулт. Не видеть Ушгул – это значит, по существу, действительно, не видеть Сванетии.



Ил. 62. Сванетия. 1965 г. Церковь – последняя постройка перед горой Шхара



Ил. 63. Сванетия. 1965 г. Ушгул и вид на гору Шхара.

Три дня мы провели в Ушгуле, почти в невменяемом состоянии от этой красоты и дикой, грозной романтики. При нас прошли на Шхару болгарские альпинисты, и эта группа на ней погибла. Сваны спасли только одного человека, но с отмороженными руками и ногами. Вообще же не только сваны в целом, но ушгульцы особенно, не приветствуют проникновение сюда, в эти последние твердыни, чужих людей. Гостеприимства здесь по отношению к чужакам еще меньше, чем всюду. Здесь мы даже готовили себе сами, а не просили хозяйку, как в других местах. Опять за плату брали у нее молоко, яйца и хлеб, в рюкзаках же принесли необходимую на этих высотах при перемене погоды теплую одежду, а не еду. Поэтому прожили три дня совсем голодновато в путешествии, которое вообще лишь иногда баловало нас сытостью. Я несла еще только пачки толокна для своего еще не вполне оправившегося желудка.

Той же райской тропой, по цветущим коврам вернулись мы в Калу, а оттуда грузовиком доехали до Цвирми. Вера прекрасно жила и работала там это время. Здесь хозяева у нее были милейшие, и мы все хорошо расположились в большой комнате чистого нового дома. Много в Цвирми мне уже было знакомо по прежней поездке. Но многое было и новое. Ренэ, Марина и я отправились на покрытую хвойным лесом гору, с которой должна была открыться дивная картина на

окружающее. Но для Марины уже начало подъема оказалось не под силу, и Ренэ спустилась с ней обратно. Я одна совершила этот подъем, скользя по сухой, душистой, желтой хвое. На вершине оказалась маленькая площадка и остатки какого-то святилища. И вдруг, – о маленькое чудо, – из руин вышли мне навстречу два мальчика-подростка. Один – обычный, босоногий сван, другой – необыкновенной красоты, изящный, одетый в хорошенький, разглаженный городской костюм. Он улыбнулся мне и протянул пушистые, серые, в тон его костюму и глазам, цветы. Затем они остановились в стороне и ждали, пока я любовалась картиной, открывавшейся с горы и не менее ошеломляющей, чем вид на Ушгул от Тамарисцихе. Над темно-зелеными, лесистыми хребтами передо мной поднимались на некотором (казалось – небольшом) расстоянии во всем своем величии Ушба и Тетнулт. Не было ни облачка. Два грозные пика Ушбы рисовались на фоне синего неба, как два луча, исходящие из лба пророка Моисея, как два прямых рога на шлеме какого-то эпического великана, того же злого духа Аримана, которому обиталищем была Ушба, по легендам сванов. Чем были все прежние представления об этих двух исполинах до того, как я увидела их с этой точки? Я сидела долго, и так же долго ждали меня мальчики, порою тихо о чем-то переговариваясь в кустах.

Когда я очнулась, они предложили мне спускаться с горы вместе, не по скользской хвое, а по более пологой и каменистой тропинке, ведущей прямо в селенье. По дороге я узнала, что «маленький принц», прекрасно говоривший по-русски, но красивый красотою свана, живет в Тбилиси, является сваном, а его отец, которого война захватила не в родных в местах, был взят в армию и теперь имеет чин полковника.

Прекрасны были в Цвирми те несколько вечером, которые мы там провели. Перед закатом солнца мы спускались немного по склону плато, на котором расположено селенье. Здесь, на просторной зеленой поляне, перед ликом менявшего окраску и оттенки Тетнулта, мы садились на лежащий срубленный ствол и даже разговаривали мало, так завораживала нас красота окружающего. Розовея в лучах заката, с блеянием, густой массой проходили вверх к селенью стада овец. Веселая белая овчарка, прибегавшая с мальчиками, сгоняла в одну группу разбросанных по лугу коров. Удлинялись тени. В ароматы смолы все сильнее втягивались запахи свежей травы, вечерней горной прохлады. Один раз женщина в черном (как обычно ходят сванки), сидя на траве, затянула звучащую

диким и, вместе с тем, каким-то особым героическим унынием песнь, тоже характерную для сванских напевов.

– О чем она поет? – спросила я.

Вера перевела мне: – Белая Ушба начала свой плач, – почему погибают охотники, которые поднимаются в ее леса? Ветер спрашивает листья: где славный Джапаридзе? Шепчут листья: погиб Джапаридзе. Ох, как крепко спит он на Ушбе!

Когда мы поднимались на плато и шли к дому, на фоне золотистого, а потом лимонно-бледневшего неба ясно выделялись семь хребтов плоскими слоями от темно-синего, до голубых, ярких в контрасте с золотом неба. Последний слой – снеговая цепь Лайлы – еще светился оттенками неба, а потом все постепенно гасло и только огромное, тяжелое от переполнявших его звезд небо нависало над нами все ниже.

Из Цвирми в Местию все пошли пешком, только мне было поручено везти на грузовике наше имущество и Марину. Как по пути в Калу, так и теперь по дороге из Цвирми, мое внимание привлек лежащий в стороне Мужал, небольшое селенье с башнями, удивительно красиво расположенное у самого основания Тетнулта и прямо против ничем не отгороженной от него Ушбы. У Веры там были друзья, у которых можно было жить, а машинная дорога и маленький автобус связывали селенье с Местией, с ее базаром и лавками. Как мы с Верой один раз размечтались (особенно я!), что поживем там, когда Павлуша выйдет на пенсию, взяв также Нину Константиновну с ее хозяйственными талантами! Среди всех частей Кавказа Павлуша больше всего хотел побывать именно в Сванетии и завидовал мне, что я ее видела. Возможно, в этом жили сильные отзвуки романтики, которой были ярко окрашены Андреем Богдановичем Васенко[123] его путешествия в Сванетию в глазах его юных учеников… Еще одна, такая осуществимая и неосуществившаяся мечта! И опять мои слезы, слепящие глаза и прерывающие строки на странице…



Ил. 64. Сванетия. 1965 г. Местия. Церковь Ламария

В Местии мы еще задержались, живя во всегда открытой для Ренэ и ее спутников гостинице. Надо было досмотреть недосмотренное. В самой Местии нашими объектами явились церковь слившегося с ней Пусда, XI века, с росписью в алтарной части, церковь св. Марии (Ламария) XVII века, с росписью того времени и с надстройкой XIX столетия. Мы с Ренэ вдвоем побывали по ее желанию в гостях, в самой знаменитой здешней семье. При нынешнем состоянии памяти я не могу вспомнить прекрасно знакомую мне раньше фамилию главы семьи, первого свана, ставшего врачом еще до революции и основавшего в Местии первую больницу. Авторитет его в Сванетии, возраставший в течение его долгой жизни вплоть до преклонения перед ним, был бесконечно велик. И, хотя он был простым сваном, женой его стала княжна Дадашкелиани. Теперь оба старика редко выходили к гостям, – им это было уже трудно. Но с Ренэ они общались хоть несколько минут. Глядя на его энергичное лицо и на ее изысканно-породистые черты, легко было представить себе и весь тот энтузиазм, который он затратил в своей жизни на пользу родному краю, и то, как она когда-то ходила на

базар с домработницей и кончиком тоненького пальчика в кружевной перчатке указывала, что надо взять и положить в корзину для обеда. Теперь, летом, их большой дом был полон отдыхающих, приехавших из Тбилиси, весьма модных дочерей, невесток, внуков. Сидели на веранде, ели сласти, вели светские разговоры, которые никак в моей голове не связывались в тот момент со всеми волновавшими меня впечатлениями от Сванетии. Я оживилась только, когда Ренэ, рассказывая им вскользь о пире с бузиновой водкой, и о том, какой жертвой ее оказалась я, передала заодно и легенду, которую раньше забыла мне рассказать. Однажды враги напали на селенье Свип. Все защищались в башнях – мужчин в тот момент в селенье было мало, куда-то уехали, и оборона легла больше на женщин. Одна женщина прорвалась к церкви, которая посвящена Чкраку – св. Георгию. И вдруг сам Чкрак вышел из церкви, стал стрелять огромными стрелами, вырывать деревья на склоне и бросать их в бежавших неприятелей, охваченных ужасом. В тех местах, где вырвал он деревья, они больше никогда не выросли, и земля там красная, как пролитая на ней кровь. Копии огромных стрел до сих пор хранятся там в притворе церкви. Можно снаружи с трудом рассмотреть и изображения коня Чкрака, помимо внутренних росписей.

Когда мы вернулись в гостиницу, я получила выговор от Ренэ: – Боже мой, Татьян, вы совсем одичали. Бузиновую водку здорово пьете, а в светское общество я вас больше с собой брать не буду. Сколько слов вы за все время промолвили? И если бы вы знали, какая скука была написана на вашем коричневом лице. Сама его опаленность солнцем казалась неприличной среди тех оранжерейных цветов и тех нежнейших тканей, среди которых вы красовались. Что сказал бы ваш чудесный муж, увидев вас такой?

– О, Ренэ, не водите меня в «высший свет», – право же, я для него не создана, особенно летом. А муж мой любит меня и такой. Ведь мы с ним недаром вели в молодости геологическую жизнь с присущей ей «одичалостью».

Еще посещения музея. Еще Ренэ своими тонкими, в морщинках, но сильными руками перебирает любовно страницы найденных в Сванетии древних евангелий, еще говорит мне о деталях, раскрывающих их связи с сирийскими традициями. Еще одно маленькое, однодневное путешествие в Латали, где в 1142 году сделана в примыкающей к общине Бечо, к области Дадашкелиани, церкви редкостная здесь по феодальному духу роспись: два эристава опоясывают царя Деметре, сына Давида Строителя Имеретинского. Один из них – эриста Сванетии.

Художник из Имеретии – Микаэл Манлакели. Современник тоже учившегося в Имеретии, но явного свана «царского мастера» Тевдоре, – ведь роспись Ипрари датирована 1098 годом, а фрески Лагурки – годом 1113-м. Общность времени, школы, выучки, традиции, но какая разница в самом духе образов, чувств, характеров! Как чувствуется у Тевдоре самобытность свана! Еще немного времени пройдет после этого расцвета имеретинской Сванетии и Вольная Сванетия отпадет от всякой феодальной власти, поставив немного выше Местии, близ Мужала и Цвирми, камень с надписью: здесь кончается действие всех законов. Конечно, законов феодального, а не собственного родового общества. Местия же и Бечо с их окрестностями, хотя и останутся в руках князей Джапаридзе и Дадашкелиани, будут находиться под таким влиянием Вольной Сванетии, что и здесь, по существу, феодализм не восторжествует над родовыми традициями и сваны останутся вольными в своих общинах, лишь отделяющих долю, причитающуюся князьям, обязанным и привыкшим с ними считаться.

В прекрасный летний день мы перелетели на маленьком самолете в Кутаиси. Ренэ показала на много его уютных и красивых уголков, но более всего мы сидели в храме Баграта, наслаждаясь его красотой и рассматривая результаты уже начавшегося его восстановления из того же золотистого камня, из которого он был когда-то построен, хотя потемнел от времени. Реставрация велась тщательно и искусно, что еще больше повысило наше хорошее настроение перед возвратом в Тбилиси.

***

Чудесный, пышный край земли…
М.Ю. Лермонтов[124]

В начале августа Ренэ получила для поездки по Имеретии маленький автобус института. И нас было в нем только пятеро: сама Ренэ и Теймураз Васильевич Барнавели, – собственно сама экспедиция, продолжающая изучение художественных памятников Имеретии, чтобы выпустить первый научный путеводитель по ней; московская молодая художница Ира Иванова и я; пятым был шофер Валико, личность очень интересная, но я постараюсь показать его по ходу дела. Не все же сразу! Скажу только, что на сухом, энергичном лице у него были карие глаза, яркие, обрамленные буквально вьющимися от своей длины

ресницами, был он полон достоинства и тактичности, происходил из деревни, но из какого-то некогда могучего феодального рода, боровшегося против централизации власти грузинскими царями, потерпевшего поражение и низведенного до положения крестьян.

12 часов мы ехали от Тбилиси до Чиатуры с заездом в Боржоми, где Ренэ хотела повидать болеющего и тоскующего в санатории Г. Н. Чубинашвили. День был знойный, дали тонули в мареве. Широкие, высохшие за лето долины Куры и ее притоков были желто-серо-сиреневы. На полосах жнивья кишели снопы. Зелень стала темной. Жесткие кустики были разбросаны по ближним склонам мелкими темными пятнами. Сквозь горячую, белесую дымку лиловели хребты, но снеговую гряду даже нельзя было угадать за ними. А вдоль реки то здесь, то там широко раскидывались селенья с двухскатными черепичными крышами в густой и темной зелени садов с плетеньем винограда над дворами, с кладкой из речных валунов, простой, не узорчатой, в отличие от Кахетии. Но как эта кладка в любых вариантах с переходами в кирпичные или новые цементные обрамления по углам характерна для Грузии! А надо всем – огромные кроны орехов и стройные, до неправдоподобности высокие ряды тополей.

В Боржомское ущелье мы окунулись как в лесную свежесть, как в аромат хвои. Все выжженное, все дымчатое, лилово-серые оттенки исчезли и сменились шоколадным после ночной грозы цветом Куры, медью сосновых стволов, густой листвой леса, переходящего выше в сосновый бор, а еще выше – остриями пихт. Прохлада Ликанского парка, передышка на полчаса и опять мы вынырнули из Боржомского ущелья. Но теперь мы очень быстро доехали до Сурами. Между домов мелькнула уже знакомая, легендарной трагедией овеянная, крепость и подъем на Сурамский перевал. Я помнила, что он покрыт мелким кудрявым лесом и все же я видела его как будто в первый раз. Акации казались легкими, нежными, почти весенними. Кустарники сплетались в густую чащу, переплетенную ползучими растениями. Мелкие ягоды колючего боярышника, плети ежевики, сетка плюща и надо всем прозрачные, пронизанные солнцем, светлые, перистые листья, похожие на чуть колеблемые ветром опахала. А на дороге, на разрытых склонах и размытых откосах огненно-рыжие суглинки поверх розовых, ожелезненных гранитов. Какой яркой кажется от них зелень и какими рыжими и красными становятся они сами рядом с зеленью после освежившего и смывшего пыль дождя! Конечно, Гомборский перевал с его морем цветущего шиповника

вокруг фантастической, голой, скалистой горы еще прекрасней, но и здесь было восхитительно.

За перевалом, высота которого около 1000 метров, началась Западная Грузия, Имеретия, так отличающаяся от Грузии Восточной и Центральной. Здесь на нашем пути не было уже ни растаявшего в мареве Главного Кавказского хребта, ни параллельных ему синих горных цепей, вытянутых с запада на восток. Вместо этого – мелкие, чистые, прозрачные речки, вроде журчащей вдоль дороги светлой Дзирулы, и соответствующие им неглубокие, извилистые ущелья, лишь местами сужающиеся между скалистых обрывов. В целом, беспорядочный, как взволнованное море, рельеф невысоких, зеленых гор, со склонов которых каскадами падает зелень мелкого, густого, ярко-зеленого, свежего леса. Ниже него и среди него – квадраты посевов, виноградники, сады. То здесь, то там – утонувшие в буйной листве, уже иные, чем в Карталинии, яркие, четырехскатные черепичные крыши двухэтажных домов, с лоджией внизу, над которой нависает второй этаж, опираясь на кирпичные или каменные столбики и открываясь в одну или две стороны деревянными галереями. Живые ограды из кустов и деревьев, кукуруза выше человеческого роста, синеющие от купороса виноградные листья, сверкающие как огоньки цветы гранатов – все пышное, сочное, влажное. И всюду из-под зелени горячие вспышки красной, рыжей, желтой почвы, будто пылание самой земли, переходящее в роскошь растительного покрова. Красная, рыжая, желтая вилась также дорога перед нами и на нее ниспадали и буйно сбегали ползучие растения, обвившие кустарник и протягивающие к машине длинные лозы или колючие петли, в жажде зацепиться за что-то, ища опоры и не находя ее. На остановках, когда мы выходили из машины, ежевика отчаянно протягивала к нам гибкие побеги и цеплялась за платья мелкими упрямыми колючками.

Потом мы поднялись над расширившейся светлой Дзирулой, вскарабкались вместе с петляющей дорогой на склон, миновали широко раскинувшийся Зестафони с его трубами и заводскими корпусами и оказались среди высоких всхолмленных плато, с которых открывалась обширная панорама далей. Солнце заходило, и гряды далеких гор выступали нематериальными, призрачными, плоскими планами, бледнея по мере удаления. Широкие долины рек лежали между плато, спускавшимися в них то мягкими, пологими склонами, то вдруг скалистыми обрывами. Рощи, отдельные группы деревьев, отдельно стоящие орехи, дубы, липы, были разбросаны среди зон мелкого кустарника или

просторных коричневых пашен, посевов кукурузы, участков фасоли-лобио. И опять на тропах, дорогах, откосах, из-под посевов, из-под кустов просачивалась красная и рыжая горячая кровь земли. Мелькали опять большие селенья черепицею крыш и зеленью садов, а живые ограды из акаций чуть колыхали светлые перистые листья. По мере того, как заходило солнце, все становилось золотым и розовато-сиреневым. А потом мы помчались по серпантину появившегося асфальта вниз, в ущелье реки Квирилы, и увидели серые от выветривания, но белые и желтоватые на свежих изломах скалы известняков, стенами встающие над широким и глубоким ущельем. На его зеленых откосах, ниже скал, раскинулся город. Среди увитых зеленью и цветами черепичных крыш на дне ущелья, вдоль черной от марганца Квирилы, ясно рисовались улицы-аллеи. Ряды платанов и огромных тополей, вдоль них растущих, скрывали линию железной дороги, повисшие на золотом фоне неба вагончики подвесных канатных дорог, и еще дальше, на окраине рабочие движущиеся вагончики с рудой, подаваемой от штолен и шахт на плато, в обогатительные фабрики. Лишь иногда, то здесь, то там, все это мелькало среди листвы гигантских деревьев. Такой живописной, ни на что виденное не похожей предстала перед нами Чиатура, город, расположенный у месторождения марганца, чуть ли не самого большого в мире. И удивительно, что при том город красивый, зеленый, уютный. Только в одном его районе растут на голом месте стандартные дома-коробки, неряшливо построенные, серо-скучные. Этот район называется «Чиатурские Черемушки».

Мы остановились в новой, достаточно хорошей гостинице, расположенной внизу, в платановой аллее. Перед окнами у нас стоял ряд платанов, а над ними поднимались немыслимо высокие пирамидальные тополя. Засыпая, я думала о том, как понравилось бы и как интересно было бы это место Павлуше, как много мы с ним осмотрели бы здесь особого, геологического…

Только первый день из целого ряда последующих порадовал нас хорошей погодой. Но в этот день мы видели нечто необычное.

Километрах в десяти от Чиатуры находится небольшое плато, отделяющее ущелье Квирилы от долины другой реки. Эта долина мягко очерчена в нижней части, но в верхней мощные, горизонтально лежащие пласты известняка образуют отвесные стены. Их прорезают карстовые расщелины, между которым образуются местами утесы, а местами гигантские нависающие карнизы, опутанные то здесь, то там зарослями дикой, буйной, колючей растительности. И

на одном из зеленых выступов, образующих высоко поднятую площадку, на фоне безмолвных, грозно уходящих вдаль известняковых стен, высится отделившийся от них гигантский каменный столб, монолитный, сужающийся книзу, высотой метров 30 и настолько отвесный, что лишь альпинисты с помощью веревок дважды поднимались за последние десятилетия на его верхушку. А там расположена небольшая площадка и на ней часовня, келья, полуразвалившиеся остатки стены, различимые снизу. Все сложено из того же желтовато-белого, покрывшегося серой коркой выветривания, плотного известняка. Часовню украшает крест в круге, и такой же крест вырезан внизу, у подножия скалы-столба. Это знак VI века, того века, когда сирийцы принесли в Грузию идею отшельничества, не получившую впоследствии распространения в языческижизнелюбивом и жизнерадостном народе. Однако в VI веке все же были отшельники. И альпинисты, обследовавшие гигантский столп, нашли на нем скелет столпника, лежавший на пороге часовни. Какая вера должна была владеть этим человеком, обрекшим себя на страшный подвиг отречения и одиночества, – подвиг, служивший не жизни, а смерти, подвиг изуверский, противоестественный и все равно величественный, потому что он говорит о силе духа человеческого. Как поднялись на столп те, кто строил часовню? Как поднялся туда оставленный наедине с небом столпник? Без вбитых в скалу железных клиньев это невозможно! Но где остатки этих клиньев и крючьев? Конечно еду и воду передавали отшельнику на веревке. Но даже речь не могла долететь до него на эту высоту. Перед ним лежали широкие дали. Над ним сияли солнце, луна, звезды. Но мог ли он наслаждаться красотою земного мира? Разве и это не было для него запретно? На другой стороне ущелья над стеной известняка возвышается еще одна небольшая столпообразная скала, и в ней видна карстовая неглубокая пещера, которой придана правильная форма. Не сидел ли там другой отшельник? И не были ли они религиозными врагами, посылавшими друг другу проклятья? Сколько лет прошло так до смертного часа, когда умирающий нашел в себе силы, чтобы доползти до порога церкви и скончаться там? А потом истлел под дождем, солнцем, ветром не похороненный труп, и, наверное, птицы слетались, празднуя над ним страшную тризну. Почти полторы тысячи лет прошли, пока найден был чистый, дождями омытый, белый скелет.

Из расселины скалы кое-где растут маленькие деревца. А у подножия огромные священные, никогда не рубившиеся липы высоко вытянулись вверх. У

их корней – каменная кладка и чуть выше – законченная неглубокая пещера, в которой, наверное, веками жгли свечи и жарили жертвенных животных, прося таинственного, отрешенного от жизни святого о благах и радостях жизни. На площадке перед подножием столба стояла маленькая прямоугольная церковь с абсидой и двухскатной крышей под сводом. Теперь это развалины. Построена она, вероятно, в X веке. Сюда ведет заросшая дорога. По ней в праздник, видимо, шли пешие, ехали конные. И на площадке горели костры, стояли кувшины с вином, пели песни, танцевали и полуязычески праздновали память боровшегося с язычеством отшельника, имя которого не дошло до нас. Только столп стоит как памятник ему и страшной идее аскетизма. Когда к нему подходишь, он высится прямо на фоне неба. Когда лежишь у его подножия, он нависает своей далекой верхушкой, куском грубо сложенной стены над обрывом, растущими из расщелин деревьями. Кажется, он уходит в облака и они за него цепляются. Это прекрасно, но страшно и уныло. А вокруг молчаливо высятся колоссальные известняковые стены, и зелень буйно ниспадает в их расщелины, тянется вперед цепкими, жадными, живучими побегами. На площадке пахнет самшитом, – кусты растут вокруг столпа, кусты священного дерева, сажаемого всегда, как и тисы, в священных местах Западной Грузии, отмечая их на тысячелетия.

Кацхосвети называется этот столп. В километрах трех от него, ближе к Чиатуре, на гребне водораздела вытянулось большое селенье Кацхи, утонувшее в зелени. Среди него монастырь того же названья, построенный на рубеже X–XI веков при знаменитом Баграте III, имеретинском царе, объединившем под своей властью всю Грузию и почти все Закавказье, воздвигшем знаменитый храм в Кутаиси и скончавшемся в 1014 году. Надпись того времени точно датирует прекрасно сохранившуюся церковь за каменной оградой с квадратной башней. Церковь высокая, большая, светлая, редкого, сложного типа: внутри хоровод из шести одинаковых, по кругу расположенных абсид, увенчанных легким высоким куполом на тромпах; снаружи – многогранник, из которого гармонично вырастает тоже граненый барабан с нарядным шатром, дающим зубчатую линию у основания. Вокруг почти всей церкви идет более низкий многогранный ярус притворов и капелл. Удивительно гармоничны пропорции этих перерастающих друг в друга и стремящихся вверх масс. Удивительно также богатство резного орнаментального убранства стен, столбиков, арочек, карнизов, дверных и оконных обрамлений. Нарядное, изящное, виртуозно исполненное в светлом

известняке плетение богато растительными стилизованными мотивами. Внутри роспись не была сделана, хотя насечки на чудесной каменной кладке говорят, что она предполагалась. Белая грубая известка XIX века местами портит стены, скрывая благородство камня. Сохранился интересный иконостас XVIII века, красочный, принадлежащий не одному мастеру, потому что очень различно в нем сосуществование восточных, плоскостных, напоминающих персидские миниатюры, фигур с византийскими традициями и, может быть, даже с влияниями русской ушаковской школы[125]. Само появление иконостаса – влияние русское.

Но самое неожиданное и даже необъяснимое для меня (и не только для меня, как сказала Ренэ), – в боковой капелле с чудесным, вырезанным в камне многогранным куполообразным сводом каменный рельеф на стене. Круг, в нем крест, и между его перекладинами четыре ангела вращают этот круг за его концы. Нарочито искаженные пропорции закинутых назад в немыслимом движении тел, орнаментальный узор одеяний, графичность изображения, поразительная динамика ритма во всем – от рисунка тканей до сведенной к орнаменту композиции, точность и отработанность художественных приемов, бестелесная плоскостность рельефа, экспрессивный пафос чувства и взволнованная декоративность… Если бы мне показали этот рельеф отдельно, я бы сказала: это нечто вроде тимпана в Муассаке, это Южная Франция конца XI или первой половины XII века. Но ведь это начало XI века в Грузии! Были ли в Западной Европе в то время зрелые образцы романского стиля, его изысканно-разработанные формы? Откуда же такое сходство? Предположить влияние Грузии на Францию, позже пришедшую к тому же и в гораздо более широких масштабах, – это совсем невозможно. Наличие общего источника, откуда такие формы расходились и на Кавказ, и на Запад, в Сирии и Палестине? Но подтверждается ли это сохранившимися в войнах образцами? Или принесение с крестовыми походами оттоновского преромaнского искусства на Восток и в Грузию, развитие здесь раньше, чем на Западе, этих образцов в зрелые романские формы, струя которых, однако, затем быстро исчезает? Я недостаточно знала об этих возможных и невозможных связях и думала о них, как о загадке, любуясь изумительным совершенством этого рельефа.

А на другой день, когда небо было пасмурно, то и дело моросил мелкий дождь и сырость окутывала нас, оседая мелким туманом на окраине самой

Чиатуры мы были в монастыре Мгвивеми (Пещерном). Но это не просто монастырь с пещерами, подобный Шиомгвими[126], или монастырь, высеченный внутри горы, как Гегард[127]. Здесь примерно на половине высоты отвесного известнякового обрыва, поднимающегося почти от низа широкого ущелья Квирилы до плато, находится большая, глубокая карстовая пещера. Над ней обрыв голый, серый, мощные горизонтальные слои камня далеко тянутся огромными, дикими стенами. Ниже пещеры этот же обрыв скрыт сетью ползучих растений, и еще ниже, у подножия его, растут деревья, скрывая ряд домиков и спускаясь к дороге. В пещере же, фасадом выглядывая из ее темного зева, стоит церковь XIII века, двухнефная небольшая базилика, сложенная из прекрасно отесанных блоков того же серо-желтоватого известняка. Упругая вязь плетеного орнамента заполняет кресты и квадраты на ее стенах, наличники окон и входа. Слепые арки, изящные полуколонки членят стены, увеличивая нарядность оформления. Прежняя каменная крыша под сводами пещеры не сохранилась и теперь заменена деревянным навесом, опирающимся на деревянные столбики, которые образуют балкон перед церковью, повисший над увитой зеленью бездной. Узкий уступ дорожки ведет к башенке с шатром, проем которой образует проход к церкви. Слева от церкви такая же покрытая резьбой часовня, или служебное помещение. Еще левее – развалины низкой постройки. По легенде, это и была первоначальная церковь, но царица Тамара, посетив ее, осталась недовольна ее скромными размерами и велела построить новую, большую и красивую. Как все опять и опять связывается в преданьях с Тамарой, даже если это абсолютно недостоверно.

Стены церкви, скрытые в пещере, отделаны так же тщательно, как и фасад. Внутри большие, поблекшие, но хорошо расположенные куски росписи 60-х годов XIII века. Истории Марии и Христа. Мягкие сочетания охр с голубовато-серыми тенями. И на одной стене дивные портреты ктиторов – владевшего этим краем князя Абашидзе и его жены. За церковью в пещере две электролампочки. При их свете в глубине, как навес шатра, мерцает бахрома сталактитовых натеков и под ней – бугор натечных отложений. Вниз ведет темная дыра, мокрые ступени в нижний ярус удлиненной пещеры, свод которой укреплен под стеной церкви подпружными арками. Ее выход забран кладкой, в которой оставлены три маленькие окошечка, затянутые ползучей зеленой сеткой плюща.

Только новые безвкусные иконы и утварь в этой все еще действующей церкви нарушают очарование древности и необычайности. Но как удивительно другое – прямое соседство не только с окраиной города, на которую открывается красивый вид в широком пролете между двух обрывов известняка, но соседство с современным индустриальным пейзажем. Внизу, на дне ущелья, большой деловой двор с цистернами, бетонными постройками, складами, увы, такими некрасивыми и скучно-прозаическими. Однако в воздухе, над городом и складами, на фоне неба от плато к плато ползут вагонетки в одну сторону с рудой, в другую – пустые. Ползут, как живые существа, как странные насекомые, озабоченные, умные, понимающие свою работу. И в этом какая-то свежесть, бодрость, красота, которые новая жизнь противопоставляет красоте, запечатленной в камне далекими веками.

С вечера мне снились какие-то фантастические пещерные монастыри, и ночью я проснулась с реальным тяжелым чувством от совершенно реального воспоминания о Шиомгвими, но не моего посещения его 8 лет назад, а о трагических событиях, там разыгравшихся в прошлом году. Несомненно, Дадиани действительно ездил в Гори кутить с какой-то компанией и ничтожных денег, выдаваемых ему на существование церковью, ему было мало. Поэтому он обслуживал «бандитское», по его же словам, село Дзегви, сочиняя для семей, где были уголовники, всякие заявления юридического характера. Вероятно, он и обнадеживал истцов больше, чем могли дать эти бумажки. Явно его неоднократно били за это. Во всяком случае один раз Вера с компанией художников, возвращаясь из монастыря, где он отсутствовал в тот момент, встретили его по дороге с совсем окровавленной физиономией. Предложили помощь, но он решительно отказался и пошел дальше один. Из третьих уст я слышала рассказ «дедушки» отца Антония о том, что случилось летом 1946 года:

– Часто к Георгию приходили разные люди из Дзегви, по-грузински о чем-то спорили, иногда очень кричали. Я уходил к себе в келью и запирался, чтобы этого не слышать. Один раз под вечер пришли два с ружьями и тоже крика было много. Потом будто успокоились, темно уже стало и Георгий мне сказал: Все, дедушка, утряслось; можешь спокойно идти спать. Я и ушел. А утром не могу дверь свою открыть, – приперта снаружи ломом. У нас тогда в монастыре, на окраине его, старуха одна набожная жила, готовила нам еду. Я стал кричать. Она прибежала, открыла меня. Мы бросились к епископскому дому, а он тоже снаружи

ломом подперт, дверь на галерею. Совсем мы испугались. Открыли, вошли, побежали в комнату Георгия. А там все перевернуто, видно, драка была очень большая. И он лежит. Одежда изорвана, вся в крови, – защищался до последнего. Только все равно голову ему рассекли.

Это произошло в той комнате, где я когда-то ночевала и где жил своеобразный авантюрист, бывший со мной таким обаятельным. Конечно, «дедушке», которому было уже лет девяносто, после дачи показаний пришлось переселиться неизвестно куда, – ведь он убийц вечером видел и его бы теперь тоже уничтожили. Бедный старик! Любил он это выбранное им место, могилу уже себе, наверное, выкопал, и все пришлось бросить для какого-то непосильного скитания. С грустью вспомнила я ночью это страшное происшествие и цветок граната, который там с такой хорошей улыбкой отметил «дедушка» на моей груди…

На другой день мы ехали из Чиатури до Зестафони по плато, которое казалось просто равниной, потому что все, что было внизу, скрывалось густым белым туманом. Рыжая земля пашен, поля кукурузы, густая зелень соснового леса, иногда селенья со смягченными туманом красками садов, цветов, черепичных крыш. Было впечатление, что далей у этой равнины нет, нет и обрывов вниз, и горных гряд, – ничего не угадывалось и не существовало. Туман оседал мелким дождем.

Проехав окраину Зестафони и выехав на размытую, глинистую, рыжую проселочную дорогу, мы несколько раз спрашивали путь, и, наконец, в селении Табакени должны были оставить машину, подвезя туда веселого, болтливого старика с мешками кукурузы. Конечно, даром. Ренэ предоставляла полную возможность Валико зарабатывать, сажая пассажиров в наш почти пустой автобус. Но он никогда этим не пользовался, видимо, считая это ниже своего человеческого достоинства, написанного на его располагающем, но горделивом и решительном лице. Сажал только старух и иногда молодых девушек, но ничего с них не беря, презрительно отстраняя попытку оплаты. Зато, когда мальчишки на стоянках осаждали машину, он превращался буквально в тигра, разгоняя их с яростно горящими глазами. Спал он ночью только в машине и питался отдельно от нас, – бесполезно было его чем-либо попытаться угостить. Его молчаливое упрямство было в этом случае непоколебимо.

От селенья Табакени мы шли пешком к церкви, в нем находящейся. За плетнями, опутанными зеленью и превратившимися в живые изгороди, тяжело висели на ветвях зреющие фрукты, кусты «золотых шаров» густыми зарослями украшали чистые зеленые дворы, красный кирпич и серый камень нижних этажей красиво сочетался с деревянными столбиками и килеобразными арочками верхних ярусов и все с теми же четырехскатными крышами. Опять, как опахала, повисали над ними легкие листья акаций, стряхивая капли дождя. Ноги скользили и вязли в глине, рыжей, желтой, коричневой. К нам присоединилась ватага детей. Они вели нас и услужливо взяли из наших рук сумки. Селенье кончилось. Мы поднимались вверх по зеленой долине, вдоль звеневшего внизу веселого ручья, среди лесистых, покрытых все теми же сочно-зелеными, пышными зарослями склонов. Внизу огромные орехи раскидывали могучие кроны. Вдоль нашей тропы сверкали огненные цветы гранатов и здесь же в листве уже зрели их плоды, похожие на розовые головки, увенчанные маленькими коронами. Шиповник отцвел, и его ягоды усыпали нашу тропу как яркие, густые капли крови. Лесистые вершины впереди просвечивали сквозь туман, но затем, дальше, опять прятались в его пелену. Тропа ползла все выше на склон. Внизу над руслом появились отвесные скалы, над которыми свешивались буйные потоки зелени. И вдруг из них на одном изгибе берега серебряной струей вырвался водопад и, падая вниз, дробился о дно ручья, расширив его и создав маленькое кипящее озерцо, над которым сверкали брызги. А выше над водопадом, на выступе склона, среди свежих кустов появилась каменная простая церковь с черепичной крышей и рядом с ней – небольшая, со сквозными арками и шатровым верхом каменная колокольня. Туман клубился над ней, скрывая вершины все тех же лесистых гор, на фоне которых она рисовалась. Еще изгиб тропы, еще огромные, пышные, мокрые веера папоротников и красные капли шиповника на тропе. Мы выходим на площадку еще не изученного монастыря св. Георгия.

Большая, стройных пропорций, высокая церковь, однонефная, с абсидой, с полуциркульным сводом, с подпружными арками, как обычно. Но необычен притвор с южной стороны, отделенный от остального пространства мощными столбами и арками. Как бы боковой неф, но только с одной стороны, со своей абсидой, со своим сводом, превращающий церковь в полубазилику, но без окон под кровлей. Снаружи гладкие стены. Только один карниз с изображением креста и солнца на равных правах, – грузинское смешение язычества и христианства!

Была и луна, но стерлась. А внутри стены и своды хранят лишь местами осыпавшуюся, но еще очень легко читаемую роспись.

На стенах она выгорела от проникающего сквозь небольшие окна солнца и стала золотисто-голубой. В конхе абсиды – огромная, строгая, плоскостная фигура дана в таком интенсивном сочетании красно-коричневого и синего цветов, что можно себе представить густой, насыщенный колорит всей росписи. Рисунок груб, примитивен, но как смел и как динамичен! И какая удивительная повествовательность, какое использование необычных, порою явно апокрифических сюжетов, какая необычная, часто лишенная опоры на традиции иконография сцен! В абсиде под грузным Вседержителем еще традиционно развернута сцена причащения и неподвижно застыли святители в узорчатых церковных одеяниях. Но уже на западной стене рядом со снятым с креста Христом и прильнувшей к руке его Марией помещена вдруг сцена оплакивания с Христом, запеленатым в саван, – невиданный (насколько я знаю) случай трактовки сюжета. А вокруг! Не только остатки скачущих коней Георгия и Тевдоре, но на боковых стенах чудо в Кане Галилейской с огромными, грузными квеври, в которые льют вино из кувшинов такой формы, которая и сейчас обычна в Имеретии; с ложечки причащает священник наивно-обнаженную, с прочерченными ребрами Марию Египетскую; рыбы чинно лежат рядом с глиняным горшком на развернутом в вертикальной плоскости столе; в воздухе повисли полуобнаженные, с повязками вокруг бедер фигуры сильных, крепких женщины и ребенка, которым Христос дает зрение… А история Георгия! Парча сидящего на троне Диоклетиана, воины и палачи в узорчатых длинных штанах, в восточных шапках, то имеретинских, то, видимо, иранских, с такими персидскими лицами, а порой и с длинными, торчащими в стороны усами, что от них непосредственно веет не только персидскими миниатюрами, но и жизнью эпохи. Занесенные мечи, отрубленные головы; руки, хватающие за горло, жесты, движения, – какая наивная непосредственность, какая свобода от почти забытых в период упадка традиций, школы, выучки… И для пояснения всюду надписи. Опять упадок культуры, образов знания священных книг, литературного языка в надписях, искажение в них языка, самих слов, правильности их письменной передачи. И при всем этом упадке – смелость художника и его стремление сделать понятным все, о чем хотел он рассказать живописью.

Это 60-е годы XII века, как тут же точно определяет Теймураз Васильевич по подобной надписи, окружающей фигуру ктитора, известного феодала из рода Чхеидзе, владевшего в то время этими местами. Резкий контурный рисунок, абсолютная плоскостность, сочетание смелой непосредственности и очень малого уменья, все характерно для этого времени. Но не сама церковь. Она принадлежит первой половине X века, а, может быть, даже IX. В некотором отношении она совсем уникальна. Под ее алтарной частью большая, теперь полузаброшенная крипта, в которую ведет особый вход прямо под окном восточной стены. Такого второго в Грузии нет. Ренэ говорит:

– Я представляю себе, что эту церковь построил могучий феодал данных мест в конце IX или начале X века, когда особенно темна здешняя история по источникам. Но по замыслу его это была прежде всего не церковь, а огромная, величавая усыпальница, воздвигнутая над могилой или над могилами в крипте. Может быть, он строил ее для себя, потому что был честолюбив. А может быть, он кого-то очень любил и любовь заставила его воздвигнуть этот памятник.

– А может быть, это было для всего его рода, – говорит Теймураз Васильевич.

– Да, возможно.

– Но если могилы здесь еще не тронуты, надо бы раскопать крипту и тогда все бы выяснилось, – замечаю я.

– Нет, крипта уже достаточно откопана, от могил же ничего не осталось. Спуститесь и посмотрите.

Дети, замерзшие в церкви, начинают играть и бегать. Вспугнутая ими летучая мышь пролетает над самой моей головой. Мои спутники описывают церковь, списывают надписи, переговариваясь время от времени. А со стен смотрят то бестелесные лица мучеников и палачей, то удлиненные черные глаза восточных воинов, то опять и опять выступают рыжие квеври с вином, – символ жизни, торжествующей над смертоносными лезвиями сабель. Жизнь, и грозная, и полная страданий, и солнечно-пьянящая своей красотой, передана безвестным мастером, расписавшим церковь в соответствии со своим неумелым умением, собственным пониманием легенд и чувством живой, окружавшей его жизни.

Еще два дня дождей и туманов, среди которых по вязкой глине и рытвинам трясся наш «заблудившийся автобус». В деревнях и, встречая одиноких путников, Теймураз Васильевич выходил из машины и расспрашивал, как добраться до такого-то селенья, где по имеющимся сведениям есть старинная церковь, или

допытывался, нет ли где-нибудь церквей, еще неизвестных. Туман то сгущался, то редел. Плато были однообразными, дали растворялись, черепица и зелень были мокры, мы мерзли, а когда выходили из машины, пуды рыжей глины прилипали к нашим ногам. Валико с его огненными, то насмешливыми, то яростными глазами, с его сухим, ироничным лицом, на вопрос, «куда мы едем по такой немыслимой погоде», с чувством юмора отвечал неизменно: «в эклесию» (в церковь). Мы все перешучивались. Ели помидоры и арбузы с хлебом. А когда встречалось что-то интересное, забывали о еде. Я фотографировала и помогала делать обмеры зданий. Ирина делала зарисовки.

Самым прекрасным впечатлением были фрески в церкви около селения Перевиси, датируемой не позже XI в. Это простая зальная церковь с абсидой, полуциркульным сводом и слепыми арками над пилястрами, – обычная грузинская церковь такого типа. Прямоугольный план, немногие узкие окна, ничем не украшенные снаружи стены, двускатная крыша без креста. И все же в этой простоте столько благородства по сравнению с большой, стоящей рядом церковью XIX столетия! Это постройка известного здешнего архиепископа Габриэла, считавшего, что он делает большое культурное дело, портя старинные постройки и возводя новые.

Обе церкви на краю высокого обрыва, с которого открываются широкие дали с бесконечными плато и их склонами, покрытыми посевами, кустарниками, рощами. Внутри старой церкви два слоя фресок: из-под сочных охристо-красных росписей XIII века с голубыми фонами и голубоватыми сединами святых выступают фрески зеленовато-голубые, цвета морской воды, аквамарина, богатые нежными, тонкими, изысканными оттенками. Красота колорита поразительная. В абсиде хорошо сохранились святители. Лицо одного из них, принадлежащее нижнему слою, слева, так задумчиво, значительно, полно сосредоточенной жизни! Хорошо различим портрет феодала-ктитора. Но на боковых стенах – только мозаика из кусков расписанной штукатурки на выпуклых камнях неровной кладки. Мерцающие нежные краски, из которых возникает то обрывок узорчатой одежды, то руки, то глаза, то просто цветовые пятна. Уже невозможно связать все воедино, но как красив даже сейчас этот узор с утраченным образным смыслом!

В селеньи Мереви опять над живописным склоном с широкой далью, в густой роще над могильными плитами, стоит простая, но просторная однонефная церковь времен Баграта III. Габриэл перестроил западную часть, исказив ее

благородные пропорции. Росписей нет, но там, где на стене отвалилась штукатурка, на камнях низким, почти плоскостным рельефом вырезаны всадник на коне и фантастический зверь, наивно, народным мастером, совсем как на рельефах западного варварского искусства. В роще – свидетели древности церкви – не кусты, а целые деревья самшита и великолепные тисы не менее, чем тысячелетнего возраста. Хвоя покрывает зеленым покровом их красивую кору и узловатые корни, которые, выступая наружу, захватили и зажали навеки вырванные из земли камни. Что-то эпически-величавое, овеянное мифами чудится в этих необыкновенных деревьях.

В селенье Усахело вновь рядом с безвкусной церковью времен Габриэла нам попалась восточная половина маленькой, древней, сложенной из ракушечника церковки с ободранной внешней облицовкой, может быть, использованной для новой постройки. Стоит только абсида, с примыкающими к ней кусками стен. Над ней участок черепичной крыши и деревянный навес, возведенный работниками охраны памятников. А внутри – роспись, над которой с сомнениями ломают голову Ренэ и Теймураз. Какой век? Видимо, не позже XVI. Но, возможно, и XIII, и XIV. В абсиде длинные, плоские фигуры святителей. Две хорошо сохранились. У левого красивое, округлое, мягко переданное красноватой охрой лицо, доброе, спокойное и удивительно индивидуальное, далекое от византийских канонов. Правый святитель более традиционен. Чередуются желтые и рыже-красные нимбы. Крестчатый узор одежд передан тоже охрой, а фон серо-голубой. Под узким алтарным окном изображена чаша и на ней лежит младенец-Христос. На левой стене фрагменты белого коня с рыжей гривой и скачущего на нем всадника.

Женщины и дети из селенья стоят и тихо смотрят на нас. Но если детей собирается много и они начинают возню, Валико опять превращается в тигра (Вепхи, как мы вслед за Ренэ его называли), а Теймураз Васильевич с шутливыми вздохами вспоминает царя Ирода – мецената научных работников.

На другом конце того же Усахело, тоже в священной рощице из огромных деревьев, но уже без ограды, мы нашли рассевшуюся по швам руину еще одной церкви X–XI века, однонефной, давно заброшенной, о чем говорят растущие внутри нее два развесистые ясеня, заменяющие прежнюю крышу. Среди валяющихся обломков – камни с прекрасным орнаментом и каменная голова барана. Из-под обвалившейся кладки видны голосники – огромные квеври и глиняные красные кувшины, такие же, какие делают здесь и теперь. Валико,

которому надоело спать в машине, от избытка сил влез на ясень, чтобы срезать огромные, бархатные, красивые древесные грибы, а оттуда перебрался на стену руины и выковырял почти целый кувшин XI века, преподнеся его Ирине.

Ничего интересного не было в следующие три дня, когда «заблудившийся автобус» продолжал рыскать по рыже-зеленым плато и наталкивался только на «Габриэлов», как презрительно вслед за Валико стали мы именовать церкви второй половины XIX века. Но погода постепенно за эти дни исправилась, глина подсохла. В Чиатуре мы в конце разъяснившегося дня поднялись по канатной дороге в вагончике, любуясь городом и вздрагивая, когда казалось, что вагончик вот-вот сорвется с отвесной скалы или об нее разобьется. Удивительным зрелищем оказалась долина Квирилы темным вечером, когда мы ехали на машине по дороге, идущей внизу вдоль берега, а на другом берегу, расположенные почти вертикально ярусами друг над другом высокие застекленные, невзрачные днем обогатительные фабрики осветились теперь холодным дневным электрическим светом и превратились в одну сплошную, гигантскую, сияющую стену.

В солнечный день мы опять едем к Кацхисвети – Известняковому столпу. Лежа внизу, мы с Ренэ разглядываем чуть видный кусок кладки наверху.

– Какое величие, какая сила человеческого духа заключены здесь, – говорит проникновенно Ренэ! – Разве это не одно из проявлений красоты человека?

– Может быть, в этом можно видеть красоту, и уж величие во всяком случае, – отвечаю я. – Только такая красота меня отталкивает, как и вообще всякий аскетизм. В этом заключено нечто нечеловеческое, фантастически жестокое. Я противница бессмысленных страданий. Чем больше без вреда для собратьев по жизни взял человек от жизни радостей, тем лучше и разумней прожита жизнь.

– Ну, а революционеры, шедшие добровольно на муки, заточения и казни, не на меньшие страдания и лишенья, чем этот столпник? – вступает в разговор Теймураз Васильевич.

– Но ведь это не бессмысленные жертвы просто ради жертв или спасения собственной души в соответствии с христианской верой, – возражаю я. – Ведь для революционеров целью было именно умножить человеческое счастье и радости, уменьшить страданья и лишенья.

– Брось, Темо, спорить с этой плотоядной язычницей, – лениво поворачивает голову Ренэ. – Разве ты ее не знаешь?

Когда мы позже обедаем, как всегда, среди зелени у горного ручья и Ренэ смакует на диво удачный арбуз, я насмешливо замечаю:

– А ведь напрасно ваш любимый столпник отказывался безо всякой пользы для людей от подобных даров земных. Я думаю, вы сами бы из сострадания ему на веревочке кусок такого арбуза послали. Да еще добавили бы вашего любимого красного перца-цицаки.

Ренэ весело смеется в ответ.

Из Чиатуры мы перебазировались в Сачхери, маленький городок, не идущий с ней ни в какое сравнение. Собственно, в самом городе ничего интересного и не было, жили же мы в плохонькой гостинице. Только базар был роскошный, заваленный зеленью и фруктами. Но над Сачхери высится гора с великолепным силуэтом, образованным замком Модинахе, очертания руин которого меняются живописно с разных точек зрения. По легенде один из феодальных князей не хотел отдать свою дочь замуж за князя Церетели, роду которых принадлежал этот край, если тот не построит прекрасный замок. Церетели и построил эту крепость на горе, а потом послал к своему будущему тестю гонца со словами «Пойди посмотри» (по-грузински это и значит «модинахе»).

Около Сачхери находится имение, принадлежавшее отцу поэта Акакия Церетели[128], – Схвитатори. Свой нынешний вид оно после перестроек приобрело в начале XIX века и дает прекрасное представление о грузинских помещичьих усадьбах. Красивый, из светлого камня, с лоджиями двухэтажный дом выходит на просторную площадку с разбросанными по ней огромными тенистыми деревьями, под которыми стоят скамейки. Площадка кончается крутым склоном и с нее открывается прекрасный, широкий вид на волнистые, зеленые, лесные горные дали. Поэт родился здесь. Но по местному обычаю, не будучи старшим сыном, рос в детстве в деревне у кормилицы-крестьянки с ее сыновьями, его молочными братьями. Какой прекрасный демократический обычай! Директор музея-усадьбы и его жена, конечно, были давними знакомыми Ренэ и в честь нашего приезда был устроен роскошный пир, уже не с бузиновой водкой, а с лучшими красными винами Западной Грузии, среди которых я всегда так любила красную хванчкару и белое твиши. Кувшины с их лучшими натуральными разновидностями сверкали в изобилии на красиво убранном столе, а толстый и самодовольный хозяин без конца произносил тосты, поглаживая свой грузный живот.

В деревне Саванэ мы осмотрели тот деревянный, низкий крестьянский домик, в котором вырос Акакий, как просто называют своего любимого поэта грузины. Легко было представить себе этого красивого мальчика среди босоногих, черноглазых ребятишек, которые окружили нашу остановившуюся машину и вызвали рычание Веспе-Валико. Здесь же стояла большая, красивая, с резьбой вокруг окон и порталов церковь XI века. Ее строили на общие средства феодал и крестьяне.

Вокруг Сачхере уже не было больше разделенных долинами и ущельями широких плато, как вокруг Чиатуры. Горы раскинулись волнистыми грядами, покрытыми лиственным лесом. Среди них извивались лесистые ущелья, звеня ручьями. Пейзажи были свежи, пышны, идилличны. Деревни выделялись и здесь красными черепичными крышами, тонули в фруктовых садах, к которым примыкали огороды. Старинными церквами этот край очень богат и в хорошую солнечную погоду мы все время ездили по ним и проводили около них время. От бывших монастырей сохранились часто огромные, одичавшие теперь сады фруктовых деревьев и кустарников, а нередко и целые рощи благородных, съедобных каштанов. Их стволы, расположение ветвей, рисунок крон, листья, – все отличается от конских каштанов, к которым я привыкла с детства. Пока их плоды еще не поспели. Зато сколько было кизила и крупной, сладкой ежевики. Мы собрали полные целлофановые мешки и кастрюли, – кизил для Нины Константиновны, а ежевику ели каждый день глубокими тарелками на ужин. Одна из самых больших подобных рощ нам встретилась в бывшем монастыре Дуреви, от которого почти ничего не осталось, но где красовалась могила архиепископа Габриэла, меньше оставившего церквей-Габриэлей, как мы называли их вслед за Валико, в этом районе, чем вокруг Чиатуры. Это было весьма приятно для искусствоведов.

Церкви были просты по большей части, как и до того, – кубы однонефной постройки, с каменной двускатной крышей, иногда маленький более поздний притвор, узкие щели окон, часто с великолепной резьбой обрамлений. Самое изумительное окно такого рода с богатым лиственным орнаментом вокруг находится на восточной стороне церкви Цхвами. Имеющаяся всегда внутри абсида снаружи церкви, как правило, совсем не выражена. Так же и здесь – она украшает прямую белую стену. Вокруг церкви растут древние тисы, свидетельствуя о древности не только принадлежащей XI веку постройки, но,

может быть, и о наличии здесь священного места в дохристианские времена. С запада Габриэл все-таки построил маленький притвор, сейчас полуразрушенный. Пока мы с открывшим нам церковь стариком-стражем из селенья осматривали ее простой интерьер и несколько красивых икон, лежащих на алтарной преграде, Ренэ копалась концом палки в мусоре, груда которого образовалась в притворе от обвалившейся кровли. К вечеру мы вернулись в гостиницу, и только тут буквально дрожащими руками Ренэ развернула свою смятую в комок куртку. В ней оказалась ее редчайшая находка – бронзовая, украшенная раннехристианскими рельефами сирийская чаша, каких известно в мире пока всего 18, причем 8 находятся в музеях Грузии. Ренэ трепетала, чтобы старик-сторож не заметил это похищение и чаша немедленно была упакована со всеми предосторожностями. Ирине очень хотелось также похитить одну из небольших икон, не часто, но все же встречавшихся в церквах, однако они лежали на виду и Ренэ предупредила о тех неприятностях, которые создались бы в этих случаях не только для нашей группы. Последующие экспедиции население перестало бы пускать в как будто заброшенные, но всегда запертые и охраняемые церкви.

Порадовали нас чудесные, варварского типа, плоские рельефы таких же простых, маленьких, здесь нередко оштукатуренных и выбеленных построек, особенно похожий на большого круглоголового кота лев на боковой стене церкви Арагвети XIII века и тимпан с плоскостно выделенными над гладким фоном человеческими фигурками в Имапминде, принадлежащей XV веку. Удивительная изобразительная архаика рядом с великолепными, часто утонченно изысканными и богатыми орнаментами! Архвети оказалось уже только райским местом с рощами каштанов и одичавших фруктов. Зато долго пробыли мы в Чале. Здесь верхняя маленькая церковь посвящена Марии и к ней сбоку пристроена усыпальница с надписью, что в 1005 году она воздвигнута Абашем Абашидзе над могилой его жены Кеклуцы. Ниже стоит церковь св. Георгия, вероятно, конца XV – начала XVI века. В ней сохранилась народная, грубо-самобытная, но интересная роспись XVI века, обычная для мастеров этого столетия – периода потери прежнего, связанного с византийскими традициями, мастерства. Под одной из фигур имеется надпись, это портрет того князя Абашидзе, который построил церковь св. Марии. На западной стене выделяется распятие и ниже, может быть, изображен Иерусалим, – это уже плохо различимо. На сводах выше слепых арок, их украшающих, – «Сошествие св. Духа», «Христос в славе», «Крещение»,

«Благовещенье». Внизу на стене скачет св. Георгий и стоят ктиторы верхней церкви: Абаш Абашидзе, княгиня Кеклуца, их сын, их невестка и другие члены семьи. Все снабжено надписями, палеографически помогающими точно датировать роспись. Все портреты на одно лицо, все похожи на круглолицые идеальные образы персидских миниатюр, все мужчины имеют огромные черные, торчащие в стороны усы. В абсиде видны Христос и святители в медальонах, – все прочее стерлось. А снаружи только тисы, но и группа очень больших самшитовых деревьев.

Самая величественная, выделяющаяся среди других не только размерами, но и центрально-купольной конструкцией с шатром на высоком барабане, церковь монастыря Джручи, относящаяся к началу XI века. Она расположена, подобно Кинцвиси, на вершине среди густого леса, в лиственных зарослях которого внизу потонула деревня. Валико с большим трудом вывел машину вверх по заброшенной и превратившейся просто в широкую тропу дороге, круто змеящейся по склону. Первоначальная церковь в XVIII веке реставрировалась местными феодалами Паландишвили и с этого времени здесь был большой монастырь. Сохранилось не только кладбище с интересными плитами разного времени. но с одной стороны площадки, над крутым, густо заросшим деревьями обрывом остатки монашеских келий, очаги с трубами. еще пригодными для употребления, повисающие над зеленой и как будто бездонной пропастью перила деревянного балкона с навесом. Великолепная церковь украшена скупо, но очень выразительно пятнами рельефов, как орнаментальных, так и изобразительных с фигурками человеческими и звериными. Снова тот же контраст между искусством первых и наивным варварством вторых. Вообще же стадиально это все параллельно ранне-романскому стилю на Западе. Пока делались обмеры церкви и велись всякие записи, я забралась в примыкающий к вершине с одной стороны гребень, на котором раскинулся монастырский сад. К нашей трапезе на траве мною была принесена целая кастрюля гигантской по величине и дивно-сладкой ежевики, собранной в кустах, так разросшихся, что я была вся исцарапана. И за едой я развила созревший у меня план:

– Давайте как-нибудь, взяв Веру (и моего вышедшего на пенсию мужа, – думала я про себя), заберемся сюда маленькой компанией с рюкзаками и спальными мешками. Источник тут есть. Внизу деревня, откуда дежурные по очереди будут приносить хлеб, молоко, сметану, все, что понадобится. А жить

будем в развалинах келий, сохранивших крышу и достаточно хорошие очаги. Каждый возьмет что-нибудь читать или писать. Подумайте, какой это будет рай!

Темо улыбался. Ренэ с восторгом согласилась. Ирина жалобно протянула: – Только и меня не забудьте взять.

– Ну, конечно. А Валико нас сюда привезет, а потом через недели две или больше за нами приедет с разрешения Георгия Николаевича.

Опять мечты, рожденные красотой окружающей природы! И опять мечты, которым не суждено уже было сбыться…

***

После возвращения в Тбилиси наша группа, удвоенная другими присоединившимися искусствоведами, в том же автобусе и с тем же Валико, выехала в новый маршрут, – в среднюю часть Рачи, лежащую на Рионе и его притоках, выше Кутаиси, но ниже тоже в эту область входящего Шови. Во главе экспедиции теперь стоял Малакия Двали по прозвищу Кукури, то есть «бутончик», как называли его в детстве. Рачинец, выходец из местной деревни, где до сих пор жили в своем доме его родители, он был гордостью Рачи и пользовался там огромным авторитетом у всех, начиная с пастухов, кончая властями.

До XV века Рача в своих верхних частях входила в состав Сванетии. Затем эти земли захватили князья Джапаридзе, но сваны, не желая подчиняться, ушли в Вольную Сванетию за перевал. В том же XV веке царская крепость Миндацихе была передана рачинскому эриставу. Дикие острия хребтов, скал, пихт, дикие глубокие ущелья, обрывы, обвалы, – все это делает верхнюю Рачу необычайно живописной, как я уже описывала при перелете в Шови и пребывании там в 1961 году. Теперь мы ехали в район Рачи с менее изрезанным, более мягким, но все же очень гористым рельефом.

Дорога была для меня новая. Она долго шла вверх по реке Паце, пока не вышла на мало интересный перевал Эрцо. Поверхность его ровная, голая и даже лежащее на нем озеро не может его украсить. С перевала начался постепенный спуск по реке Джорджора, через молибденовый рудник Кваиса. Замелькали в воздухе ползущие в разных направлениях вагонетки, промелькнул большой поселок, даже скорее городок. И только тогда, когда мы приблизились к оставшемуся в стороне Шови, красоты Рачи вступили вполне в свои права. Остановились мы в районном центре Они, городке, где живет масса евреев,

особых, местных, издавна сюда переселившихся, возможно, прежде всего, прямо из Палестины. Раньше, когда местные крестьяне никуда далеко не выезжали для продажи своего урожая, они наживались на торговле, связывая деревню с городом. Самое большое и пышное здание Они – синагога с золотым куполом. Здесь хранится знаменитая библия IX века, изучать которую приезжают специально ученые из-за границы. Красивый, черный, стройный Кукури, холостяк, хотя ему больше 30 лет, принялся все очень хозяйственно устраивать. Мы поселились в гостинице, в двух больших комнатах, – одной мужской и одной женской. Была нанята старуха, в доме которой мы ели прекрасные грузинские обеды после выездов на изучаемые объекты. Эти выезды происходили каждый день, опять с заездом на базар и с едой в полдень в лесу, у горных ручьев, всякой зелени и фруктов.

Впечатлений в это лето у меня скопилось столько, что я уже не могла описывать Рачинскую экспедиция, даже почти не делала кратких заметок, предавшись лени. Только суммарное, общее впечатление могу я кратко передать на этих страницах. Переходы от волнистых горных гряд к ощетиненным остриям скал… Вознесенные к небу руины замков на вершинах: Хотеви, Квариспихе, Миндациха. Церковь Сори, ранняя, с перестройками вплоть до XIX века, но зато внутри с росписями XIV–XV веков. Чудесный образ Христа в «Преображении», интересные склоненные ктиторы. В поклонении волхвов (справа вверху) один из всадников дан в ракурсе при общей плоскостности всех форм. Нежный розово-сиреневый колорит. А у речки Чвесиуры белые цветы товлисседа («мать снегов»). Сколько вообще цветов на полянах среди густого пихтового чернолесья! Я снимаю Ирину с огромным букетом, – она очень хороша в окружении красочных венчиков. Мне кажется, что она нравится Кукури. Тяжкая и странная судьба у Ирины. Дочь, по существу, проститутки и случайного отца, она выросла у бабушки, необразованной, грубой, обычным выражением которой было «Чтоб ты сдохла!». И однако читала книги, полюбила стихи, проявила очень больше художественные способности. Кончила архитектурный техникум, но тянуло ее к рисованию, к живописи. Стала «белым негром» у профессиональных книжных иллюстраторов, которые платили ей гроши за выполняемую вместо них работу, а то и совсем обманывали. Ей приходилось голодать, приходилось ходить на базар и там в обмен на продукты делать быстрые перовые портреты продавцов, приехавших из деревни. Такой она сделала прекрасный портрет Валико и ему

подарила. Еще заработок – этикетки, конверты для патефонных пластинок… А в Кацхи она великолепно скопировала в маленьком масштабе, во всем красочном блеске иконостас. И как тянет ее к копированию фресок! Ренэ познакомила ее в Тбилиси с Т. С. Шевяковой, чтобы та ее использовала и поучила. Теперь она уже несколько раз начинает делать портрет Кукури, но почему-то именно он у нее не получается. Она передает сказанные им обо мне слова: «Счастлив тот, кого любит такая женщина, как она». Почему он это сказал? Ведь мы с ним очень мало знакомы, он меня почти не знает. Откуда такое впечатление?

Очень большое удовольствие от поездки в знаменитую Никорцминду, – церковь начала XI века, построенную при царе Баграте II. План ее напоминает Кацхи: пять венцом расположенных полукруглых абсид вписаны в квадрат и к нему пристроены два притвора. Снаружи эта золотистая, сияющая красотой камня церковь удивительно богато украшена резьбой. В тимпане одного притвора дивный рельеф, изображающий воителей Георгия и Тевдоре. В другом – резной купол и в тимпан перенесена композиция, сходная с Кацхи: ангелы, вращающие крест. Опять параллель южно-французскому и испанскому романскому стилю. Стройно поднимается над квадратом, а внутри над венцом абсид высокий барабан с узкими окнами, увенчанный шатром. Внутри роспись XVII века. Христос и ангелы парят в куполе. В сцене «Благовещенья» над алтарем изображен обычный грузинский глиняный горшок, как обычно в богатых жизненными деталями, но грубоватых фресках этого позднего периода. На западной стене – Страшный суд: Христос восседает в круге, без Марии и Иоанна по бокам, ярусами вокруг него расположены ангелы, трубящие в трубы; голых грешников обвивают змеи. Рай сильно стерся, но различимы «Лоно Авраамово» и Христос на троне, безбородый, будто образцом послужило какое-то раннехристианское изображение. Вообще сюжетов очень много и не обходится, конечно, без скачущего на коне св. Георгия.

Еще одно странное впечатление, суть которого сейчас мною забыта, хотя и в блокноте, и на фотографии остался его след. Глыбы камня и разбросанные черные пихты на берегу Риона. Место называется Теврешо и здесь среди камней маленькое святилище. Старуха в черном зажигает в нем свечи, а мы с Ренэ смотрим, и это выглядит очень таинственно…

Наконец, около Амбралаури церковь Баракона XVIII века. Строил эристав эриставов Ростом Церетели, поднявший восстание против имеретинского царя Соломона II. В борьбе он потерпел поражение и был ослеплен. И могила его

находится тут же. Опять кровавая поступь истории… Но насколько в Грузии феодализм отделен от временности узким промежутком времени! Я забыла написать о фигурах ктиторов, ряды которых опоясывают нижнюю часть стен в росписях Никорцминды. Это местные феодалы, украсившие внутри церковь, – все из рода Цулукидзе. А в нашей экспедиции работает молодая искусствоведка Цулукидзе, происходящая из этого рода.

Вечером мужчины собираются в женской комнате, садятся, начинаются всякие рассказы. Смеясь, передают, как Ренэ, противница уничтожения любых живых существ, однажды, войдя в церковь, изучать которую приехала группа искусствоведов, увидела там большую черную, ядовитую змею. Она сразу цикнула на тех, кто вошел за ней, и осторожно стала прутиком выгонять змею из церкви, оберегая ее от нападений. Змея послушно уползла. Сколько с Ренэ связано не только рассказов, но уже просто легенд, и у ее коллег, и у местного населения!

Все смеются, вспоминая квеври с винами, зарытые во дворе у родителей Кукури, и о тех пирах, которые выпадают на долю экспедиций, добирающихся до его родной деревни.

– А помните тот лесной, острый по гребню, как пила, хребет, который там около проходит? – задумчиво спрашивает Кукури, который умеет быть очень меланхоличным. – Стоит на его вершине церковь Лекнари X века. Раз в год там справляется престольный праздник и тогда по трудной, крутой дороге население деревни отправляется к церкви. Берут с собой вино, еду, барашков на веревках, а потом барашка и сама идет, к людям жмется, потому что там много волков. Празднование происходит обычным способом, с закланием барашков, с кострами и песнями. Одни раз я пришел со всеми, а потом остался там один, чтобы церковь замерить, изучить, в общем, приготовить к публикации. Конечно, еды у меня после праздника было много, а родник там тоже есть. Оттуда днем видно смутно отделимое от неба Черное море, а по вечерам и ночью – огни побережья. В черные ночи тоже со звездами на небе они сливаются. Так я один и жил там несколько суток. Только не совсем один. На противоположном склоне другого хребта, за ущельем, меня от него отделявшим, жил еще волк. Каждую ночь он выходил и выл, только в гости ко мне придти не решался.

Как живо представляю я себе эту картину! Но мой отпуск уже приходит к концу, в сумке моей лежит билет, взятый за десять дней на самолет Тбилиси–Ленинград. Вместе с Ириной мы уезжаем пассажирским автобусом из Они по той

же дороге, по которой прибыли в Рачу. Ирина осталась еще в Тбилиси помогать Шевяковой в работе над альбомом грузинских орнаментов. На следующее лето она также успешно помогала ей копировать фрески в Шиомгвими. Жаль, что сама Татьяна Сергеевна из-за возраста бросила потом это занятие, раньше, чем Ирина могла укрепиться на этом пути как специалист с именем. Теперь, при своих ярких способностях, она опять сидит над пакетами для патефонных пластинок…

1966 г. Июль, август, октябрь.
XVI. Последний раз с Ренэ

Нет смерти для того,
Кто любит жизнь...
И. Бунин[129]

В начале июля я прилетела на самолете в Баку, чтобы ждать там Ренэ и ее спутников для поездки в Кубачи, о которой мы договорились в прошлое лето. Остановилась я у Нины Владимировны Минкевич-Мустафаевой, жившей в центре города, но в запущенной, тесной комнате, как будто художественный музей Баку не носит имя ее мужа. Эта скромность и поражала и трогала одновременно. Ренэ задерживалась, и я пробыла у своей гостеприимной хозяйки почти две недели. Стояла такая жара, что даже ночь не приносила никакого облегчения, но я переносила жару легче, чем многие коренные бакинцы. В 6 часов утра я вставала и уезжала автобусом на пляж в 20 км от города, где купалась и загорала до 11 часов, если, конечно, ветер не дул со стороны нефтяных вышек и не нагонял нефть к пляжу. По дороге туда и обратно я пересекала участок голой, выжженой земли, которую долбили своими длинными носами качающиеся вышки, похожие на длинноклювых безобразных насекомых. Вернувшись в знойный город, я покупала на базаре зелень и фрукты и шла к приходившей на обед с раскопок в старом городе Нине Владимировне. Питались мы вместе. Затем я уходила в ханский комплекс, в нижний двор мечети-усыпальницы, взяв английскую искусствоведческую книгу. Здесь в тени, на каменной скамье под стеной было самое прохладное место. В центре маленького двора передо мной стояло сплошь покрытое крупными розово-сиреневыми цветами сказочное дерево, одно из тех, о которых могла рассказывать Шехерезада. И рядом сверкали струи фонтана, освежавшего воздух и падавшего в бассейн.

По вечерам я бывала не раз в милой семье Бретаницких, где меня называли Амнерис, потому что цвет моей кожи уже через несколько дней стал коричневым, а бело-черное узорчатое платье и серебряное кубачинское ожерелье на шее, вероятно, придавали мне действительно экзотический вид. Слыша слова их восхищения, я могла только вздыхать, что меня не может видеть Павлуша. Но Баку в такую жару, конечно, был бы для него невыносим. Время казахстанских геологических лет давно миновало для его здоровья…

Мы ездили, несмотря на пекло, с Ниной Владимировной в Мардакяны, – в сплошные горячие пески, на которых вызревал сладкий ползучий виноград, фиговые деревья почти стелили над песком ветви с большими, вырезными листьями, под их сень прятались полувросшие в песок низенькие домики с плоскими крышами. Такие же дома санаториев на морском берегу сливались с пейзажем бледно-желтого цвета, а надо всем высились несколько великолепных средневековых башен-замков, необычной для запада, специфически восточной формы. Пляж здесь оказался великолепный, широкий, из чистейшего золотистого песка на берегу чистейшего от всяких признаков нефти густо-синего моря. Конечно, пока Нина Владимировна сидела под тентом, я вдоволь купалась в теплой, будто искусственно подогретой воде.

Вторая наша поездка была автобусом на юг от Баку вдоль моря. Здесь километрах в семи от берега, среди пустынного, мертвенного серо-желтоватого плоского пейзажа находится гора Кобустан (или Гобустан), серая, скалистая, вся покрытая крупными обломками камня, образующими местами глубокие причудливые пещеры. И в пещерах и снаружи – масса процарапанных в камне рисунков неолитического периода: животные – быки, козы, олени, человеческие фигурки, лодки с людьми. Как всегда, люди изображены гораздо схематичнее и условнее животных. Из расселин камня кое-где растут редкие фиговые деревья со зреющими на раскаленном солнце крупными и уже сладкими плодами. Внизу под горой находится большая плита камня с латинской надписью, гласящей, что до этого места тогда-то дошел со своим отрядом римский центурион такой-то, во время правления римского императора Диоклетиана[130]. Эту плиту нашла Нина Владимировна, работавшая раньше здесь в экспедиции.

Наконец, прибыла Ренэ. В этот раз не с экспедицией, а с «дачной компанией», как я сразу назвала в душе группу просто отдельных ее знакомых, которые как туристы жаждали побывать в Кубачах. Здесь был и Александр Цибулевский с хорошенькой, но достаточно глупенькой женой-журналисткой, и Э. П. Гомберг [131] с дочкой, и Лена Кожина, и аспирантка тбилисской консерватории Лейла, и молодой физик Дато, сын заведующей библиотекой Института истории грузинского искусства. Компания «интеллектуальная», но разношерстная и, главное, вовсе не экспедиционная по навыкам и характеру, кроме умевшей хорошо ходить и достаточно бывавшей в экспедициях Лены. Так как Веры Белецкой не было, а Ренэ всегда требовался человек, который вел бы все

практические дела в поездке, в то время как она была королевой и витала в мире чисто духовных интересов, из любви к ней таким человеком оказалась я. Да другого выхода и не было. Я стала казначеем, закупщиком билетов и продуктов, распорядителем в передвижениях, в планах наших походов, которые были скорее «дачными прогулками». Не задерживаясь в Дербенте, мы на переполненном автобусе, теперь ежедневно ходившем прямо в Кубачи, отправились в путь.

……

……

***

……..

В Баку все бросились доставать себе билеты в разных направлениях, – большинство, конечно, для начала в Тбилиси. Я то же самое. Стояла и здесь жгучая жара. Ко мне на улицах и в кассе «липли», – по выражению лишенной этого «удовольствия» Элеоноры Петровны [132], – туземцы. Один раз один остановился и сказал, разведя руками:

– Я думал, что такие черные женщин бывают только в Африка! – и восторженно посмотрел мне вслед. Я вспомнила, как примерно с таким же возгласом ко мне обратился грузин, когда мы с Ренэ шли как-то по улице в Тбилиси.

– Что, нравится? – спросила насмешливо Ренэ, и мы пошли дальше.

– Постой, постой, – закричал он вслед. – Что хочешь? Все отдам.

– Не продается, – еще насмешливее фыркнула Ренэ.

– Татьян, – сказала она затем со своим обычным юмором. – Я скоро начну торговать вами.

Почему я имела на Кавказе такой успех, превосходящий средний выпадающий на долю русских женщин? Думаю, что не от превосходства своей внешности, а о возрасте и говорить нечего. Просто, видимо, ощущение моего темперамента незримо переливалось волнами через край моего существа, составляя контраст с гораздо большей вялостью и пассивностью в этом отношении здешних женщин в отличие от местных мужчин. Сказывалась моя «потенциальная распутность», как с ласковой насмешкой говорил мне Павлуша.

Когда я сделала все дела, бегая по раскаленному городу, я села под деревьями в сквере напротив памятника Навои за пустой стол и заказала себе

большую порцию мороженого. Наслаждаясь его холодом, я медленно ела. Дорожки заметал пожилой, красивый азербайджанец, босой, в выпущенной наружу и распахнутой на груди старой рубашке с платком, повязанным на голове вроде чалмы. Через некоторое время, оставив метлу, он сел за мой столик против меня. У него было удивительно правильное овальное лицо, правильные восточные черты, огромные задумчивые глаза, мягкие, как и лицо, плавные линии длинных бровей. Движения его тоже были мягки, как и выражение глаз.

– Из какого вы города, хорошая моя? – спросил он с восточным акцентом.

– Из Ленинграда.

– О, значит, наши города братья. Один на севере, другой на юге, так далеко друг от друга, а оба на берегу моря, оба связаны с портами, с кораблями.

Он говорил с той интеллигентностью, которая часто бывает присуща на Востоке людям из самого простого народа, как остаток былой высокой культуры мусульманского мира и его традиций.

– Раз наши города братья, значит – и мы тоже, дорогая сестра моя, – добавил он также тихо и задумчиво. – А когда вы уезжаете?

– Завтра. И еще сегодня у меня очень много дел осталось.

– А знает ли сестра моя, как хорошо здесь вечером, как прекрасно здесь ночью? Я ведь и ночую здесь. У меня никого нет. И так хорошо спать под деревьями, когда погаснут все лампочки и с моря сюда доходит дыхание ветра. Приходи сюда попозже вечером на ночь, – не пожалеешь.

Он тихо дотронулся до моей руки.

– Нет, я не могу придти, – покачала я головой, не обижая его тоном отказа, потому что в нем, в его словах ощущалась не наглость, а откровенная поэтичность восточных чувственных стихов сказок тысяча и одной ночи.

– У сестры моей есть кто-то, кого она очень любит? – совсем тихо и с участием спросил он, глядя мне прямо в глаза.

– Да, у меня есть тот, кого я люблю больше жизни.

– Ну, тогда сестра не должна ни к кому никогда приходить, – только к своему любимому, – задумчиво произнес он, уже не глядя на меня, встал, не поднимая глаз, и ушел с метлой заметать удаленный участок садика. Я поднялась и тоже ушла с очищающим чувством поэзии и тактичности, столь своеобразно проявившихся в этом босом человеке, спящем под деревьями и ночью, наверно, долго смотрящем на луну и звезды сквозь узоры черных веток.

Еще несколько дней в Тбилиси у Анны Гавриловны, посещение Веры, Блёткиных и Тариела с Ламарой, которые затем проводили меня на поезд, идущий в Ереван. Но главное – несколько утр с Ренэ, утр обычных во время нашего совместного пребывания в Тбилиси, но сейчас приобретающих особое значение. Ведь это были последние такие утра в нашей жизни… Ренэ всегда поздно читала, поздно ложилась спать, а вставала часов в 10–11 утра. У нее был, конечно, ненормированный день, – она вечно перевыполняла всякую нормально полагавшуюся ей работу. Спала она всегда, и в экспедициях, в длинных бледнорозовых, украшенных вышивкой и кружевами ночных рубашках. Подвязанные поясом, развевающиеся внизу и с развевающимися короткими рукавами, они одновременно служили ей утренними халатами, в которых ее маленькая фигурка меняла впечатление страшной худобы на впечатление невесомой, почти прозрачной легкости, а седая голова с тонким профилем особенно красиво возвышалась над пеной кружев. Такой я ее заставала до того времени, когда она упархивала, переодевшись, по тысяче дел, всегда заполнявших ее день. Она прежде всего кормила своих птиц, потом, в соседней пустой комнате, кошек. А потом мы садились за кофе с поджаренными в электрической решетке кусочками черного хлеба. Начинались разговоры и о прошлых, и о будущих путешествиях, об увиденном, о возбуждавшем вопросы и недоумения, и вообще о людях, о книгах, о стихах. Здесь это последнее было уже вполне уместно. А Ренэ вечно выписывала и тут же читала мне по новым выпискам новые стихи. Помню, как она декламировала много раз стихи о красных перцах какой-то поэтессы. Сама Ренэ всегда носила в карманчике красный перец, как приправу к любой еде, и он был для нее символом настоящей, полнокровной, яркой, острой жизни. Так проходило утро, и затем я ее провожала в институт или какое-нибудь другое нужное ей место. Выходя из дома, она уже надевала платье скромных тонов, а на голову и зимой, и летом рачинскую серую войлочную шапочку с маленькими полями. Она умела так элегантно надеть ее набок и загнуть с одной стороны край, что ее морщинистое личико с точеным профилем становилось неповторимо интересным. Ренэ… Да, ни одна женщина, – кроме матери и Евгении Леонардовны[133], моей учительницы, в детстве, – не занимала в моей жизни и в моем сердце такого места. При том места совсем особенного.



Ил. 65. 1970. Тбилиси. Мтацминда. Тариел Яшвили, Т. П. Знаменовская, Кетино, Олег Неверов.

***

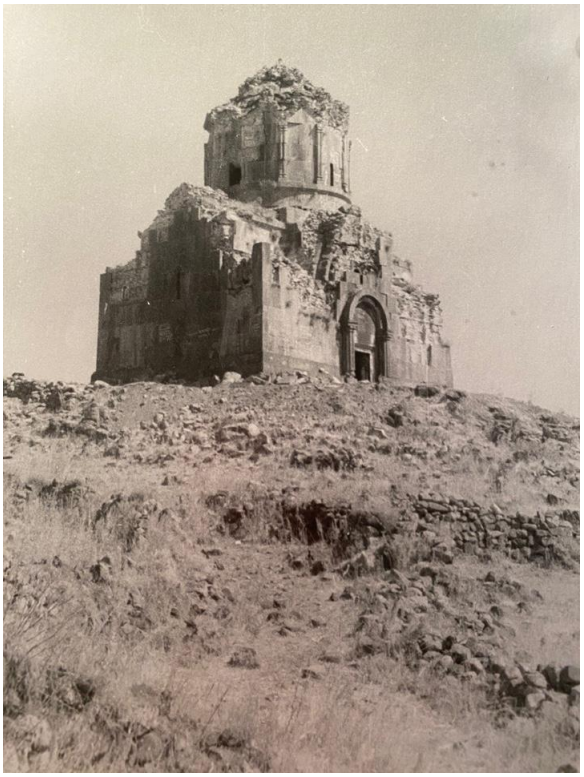
Через несколько дней я проводила Ренэ в Сванетию, а сама поездом поехала в Ереван с рекомендательным письмом от Ренэ к художнику Ованесу Зардаряну, или Онику, как она его дружески звала. Ученик Сарьяна, он был интересным, оригинальным, по-армянски сочным живописцем, картины которого я уже знала по музею. Теперь он построил себе дом-мастерскую в Бюракане, на территории знаменитой обсерватории, основанной на склоне Арагаца, на высоте 1 500 метров, не менее знаменитым астрономом Амбарцумяном. Около маленькой деревни со старой церковкой удалось добыть достаточное количество воды для того, чтобы создать райское место для науки о небе. Здания из красного туфа тонут в розах, в тени пышных деревьев, под которыми журчат фонтаны и зеленеет прямоугольник бассейна – места летнего купанья, которым и я сразу воспользовалась. Вокруг центра жилые белые двухэтажные дома сверкают солнечными бликами на стенах среди густой зелени ползучего винограда и фруктовых садов. Так на склоне горы стоит и дом Зардарянов, весь почти верх которого занят огромной мастерской. Сам Ованес – симпатичный, скромный, молчаливый, довольно светловолосый и внешне не похожий на армянина человек средних лет. Он всю зиму живет здесь один, пока жена уезжает на зимнюю квартиру из-за учебы детей. Их у нее двое: отсутствовавшая дочь-невеста и похожий на черного медвежонка удивительно милый школьник Микешка, влюбленный в археологию и в настоящее время уже ставший археологом. Сама их мать Марья Григорьевна похожа даже не столько на армянку, сколько на цыганку, черная, живая, темпераментная, очень разговорчивая. Сколько всякой всячины она мне успела рассказать о

художественной жизни Еревана, о смерти из друга Л. А. Дурново, которую несмотря на все ее огромные заслуги, все же запретили похоронить на армянском Пантеоне; о Сарьяне, которого она знала с детства, потому что, как и он, происходила из армян ростовской Нахичевани, рядом с которой родители Сарьяна имели небольшое имение… Познакомилась я сразу же и с другой семьей – астронома Маркоряна, брата известной поэтессы Маро Маркорян. Женой его оказалась невзрачная, скромная, но очень интеллигентная и милейшая русская, ленинградка Надежда Николаевна Дягилева. Из ее двух детей в Бюракане находилась старшая дочь Гаянэ, настоящая черненькая армянка, бывшая в то время аспиранткой консерватории. Теперь все дети в этих двух семьях так размножились, что занимают целиком зимние ереванские квартиры своих родителей, а матери, раньше зимой жившие с ними, живут круглый год в Бюракане, перенеся заботы на мужей и внуков, которых им «подкидывают» дети.

Я встретила очень теплое гостеприимство со стороны обеих семей. Вечером явился еще веселый их приятель астроном, и был в честь меня сделан роскошный шашлык, пили вино, объедались фруктами. В письме Ренэ я была отрекомендована как «отчаянная и знаменитая путешественница», поэтому никто не удивился, что я выразила желание добраться до древней крепости Амберд, расположенной в 17 км выше Бюракана на склоне Арагаца. Быстро организовалась компания из нескольких человек молодежи, но, кроме того, загорелась желанием принять участие в этом походе и Надежда Николаевна. Муж не разрешил ей это, но она на рассвете незаметно для него все же ушла с Гаянэ. Веселый астроном достал виллис, на котором забросил нас на высоту 7 км по дороге, ведущей вверх в снеговую зону, на научную станцию физиков. Однако дальше наш путь (наша тропа) сворачивала в сторону, и идти можно было уже только пешком.

Из Бюракана и тем более с Арагаца выше него в соответствующую погоду, при ясной атмосфере открывается панорама Арарата с его младшим спутником. Однако в жару, когда испарения Араратской долины окутывают все своим густым золотым маревом, даже эти грандиозные горы совсем тают в нем и становятся неразличимы. Так, к сожалению, было и теперь, хотя погода была абсолютно безоблачна и над нами вздымалось ярко-синее небо, под лучами которого темные лавы склонов представляли собой раскаленную массу, казалось, готовую опять расплавиться и потечь раскаленными струями. Травы было мало, она выгорела от

зноя, сухими стеблями пробиваясь лишь в трещинах камня, поверхность которого была бугристой и неровной как застывшее горячее месиво. Всего раза два мы встретили ключи воды, которые, блеснув в ложбинах ручейками, вскоре опять терялись, вызвав, однако, к жизни в месте своего появления небольшую жадно рвущуюся к жизни группу деревьев. В одном месте лежали большие каменные плиты с узорами и армянскими надписями, говорившими о том, что здесь было кладбище, а, значит, видимо, и церковь с селеньем или монастырь.



Ил. 66. Армения. 1966 г. Амберд

Силуэт развалин Амберда появился перед нами очень издалека на темной границе высокого каменного плато и раскаленного неба. По мере приближения становилось ясно, что две самые заметные точки – церковь и коронообразная руина какого-то большого главного сооружения. Когда мы подошли близко, оказалось, что нас отделяет от цели еще широкая долина ручья, которую надо было обогнуть со стороны истоков родника, дававшего начало ручью и жизнь крепости. Это верховье имело вид небольшого цирка, на задней стене которого изверженные породы застыли в виде солнца с исходящими от центра неровными, изломанными лучами. Как мы пили воду из ручья, кружками, прямо губами, лежа, как мы обливали друг друга после такого пути, который был нами пройден, легко себе представить! Кроме того многие обгорели. Мне, уже дошедшей ранее до

негритянской черноты, никакое солнце не было страшно. Молодежь в какой-то мере тоже загорела. Но что было с бедной Надеждой Николаевной! Сколько она ни куталась в платье с длинными рукавами и закрытым воротом, сколько ни обвешивала носовыми платками шею и лицо по образцу паранджи, все-таки она сгорела до болячек, и это дало возможность потом ее мужу ворчать, как он был прав, ее не отпуская. Для нее же однако удовольствие от увиденного превышало во много раз все страданья от ожогов и даже приступ высокой температуры.

Наконец, мы взобрались на площадку бывшей могучей крепости, расположенной так, что ни один завоеватель, начиная еще с арабов, не пытался взять эту твердыню, оставляя ее с ее гарнизоном в изоляции и рассчитывая на трудности выдержать саму эту изоляцию.

Зубчатые остатки главного, и оборонного и, вероятно, дворцового, здания сохранились в виде очень живописной руины. Еще более уцелела центрально-купольная большая церковь, как бы изъеденная временем снаружи. Вокруг были еще остатки построек и стен, груды камня, следы каких-то уходящих вглубь сооружений. Все вместе на выступающей огромной ступени лавового плато далеко доминировало над округой, а выше опять начинался подъем все на те же выжженные, бугристые склоны темных, даже черных изверженных пород. Говорили, что здесь много змей, но мы не видели ни одной. Дикое величие этого оторванного от всяких людских селений и жилищ места на всех действовало так сильно, что вначале даже не хотелось есть после такого трудного, начатого на рассвете пути. Потом стали увлеченно вспоминать историю, посидели в прохладе церкви, все облазали и пустились в обратный путь. Он был много длиннее пути в ту сторону, – ведь семь километров на машине нам уже не были возможны для его сокращения. Да и усталость накопилась, особенно от раскаленного зноя. Однако все прошло благополучно. Усталые до изнеможения, но довольные и жизнерадостные, мы вошли на закате в поселок вместе со стадом коров соседней деревушки. На нас смотрели, как на героев, а на меня в особенности, потому что я явилась инициатором такого интересного путешествия. Ведь, кроме нескольких мужчин, никто из знакомой мне теперь компании не видел Амберд, живя в самой близкой к нему населенной точке. Стали меня уговаривать еще остаться, пойти в монастырь, громада которого была видна на склоне Арагаца будто совсем недалеко от Бюракана. Но в действительности склон пересекался несколькими вертикальными щелями базальтовых ущелий, и таким образом путь к монастырю

был долог и труден. Меня уверяли, что без меня никто не сорганизуется для такого маршрута. Я, однако, уже не могла задерживаться. Отпуск быстро шел к концу, и надо было хоть немного отдохнуть. Тогда с меня было взято обещание, что я еще приеду и мы совершим ряд интересных путешествий. Я с радостью соглашалась, веря, что в моем с Павлушей возрасте, при наших силах, еще так много жизни осталось впереди. И ведь я достаточно трезво, реально представляла себе соотношение возраста и времени… Кто мог знать, что жизнь наша оборвется гораздо раньше, чем она должна была оборваться в соответствии с закономерностью?



Ил. 67. Армения. 1965 г. Ереван

В Ереване я остановилась у давно меня приглашавшего в полученную им однокомнатную квартиру Гургена. Уже три года, как он сошелся снова со своей первой женой Сусанной. И, как это ни странно, после всего того, что я от него же о ней знала, она, при непредвзятом подходе к ней, мне понравилась. Мягкая, тихая, заботливая, красивая седая женщина, она казалась воплощением беспомощного в жизненной борьбе начала женственности, не способного к испытаниям, текущего всегда по воле течения, но при том доброго, а не злого. Совершенно очаровал меня их сын Миша, кончивший политехнический институт, а теперь учившийся в Москве в Институте кинематографии, в соответствии со своими изначальными склонностями, на отделении кинокритики. Учился блестяще и потом кончил там же аспирантуру, получил работу, но уехал вскоре в родной Ереван. Сейчас он работает там и уже имеет семью. Тогда это был стройный, высокий красавец, воплощение армянской красоты в ее смягченном, как бы эллинизированном

варианте. Кроме того, он сразу очаровал меня своей культурой, образованностью, широтой кругозора, далеко выходившего за национальные рамки в мировые сферы нашей эпохи. Я с увлечением проговорила как-то почти целый день с ним о кино и эстетике. Был он и приветлив, доброта была написана в его красивом лице, в его черных глазах.

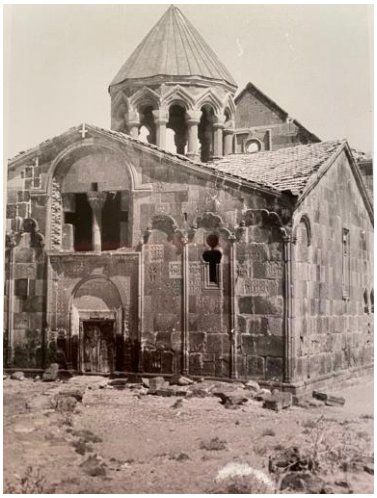
– Вы должны гордиться таким сыном, – сказала я Гургену.

– Да, только трудно ему придется в жизни с самостоятельностью и оригинальностью его взглядов на искусство, да и вообще с прямотой и независимостью его натуры.

Несмотря на тесноту, меня гостеприимно устроили в комнате вместе с Сусанной и Гургеном на раскладушке Миши, который ушел спать на пол в кухне. Когда я проснулась, прямо на меня в окно смотрела еще не затянутая пеленой дневных испарений вершина Арарата – самой любимой горы Павлуши, как я сразу подумала с пронзившим сердце лучом света.



Ил. 68. Армения. 1966 г. Оганованк. XIII в.



Ил. 69. Армения. 1966 г. Оганованк. XIII в.

В тот день я поехала одна осматривать церкви (бывшие монастыри) у подножия Арагаца. Доехав на автобусе до деревни Сагмусованк, я попала в развалины монастыря Оганованк XIII века. Церковь здесь кажется переходом от более раннего типа к квадратным с притворами церквям XIV столетия. Она вытянутая, но с куполом в центре, который не сохранился. Переход к куполу был на парусах, очертания которых угадываются в кусках уцелевших у основания пучков тоненьких полуколонок. С западной стороны церкви два входа в расположенные по бокам капеллы, а также наружные лестницы в верхние не сохранившиеся капеллы или, может быть, на вышку, находившуюся над притвором. Церковь завершается абсидой, а западная ее часть перекрыта полуциркульным сводом. Притвор хорошо уцелел. Стоящие в центре его четыре большие колонны с простыми капителями поддерживают балюстраду, увенчанную венцом сквозных колонок, на которых лежит купол, покрытый шатром. Такой конструкции я еще не видела в здешних местах. Вход из притвора в церковь заложен, но над ним сохранился тимпан с плоскостным, графичным, деформированным рельефом романского типа: видимо, в центре сидит Христос, а по бокам стоят фигурки меньшего масштаба. Все построено из рыжего туфа.

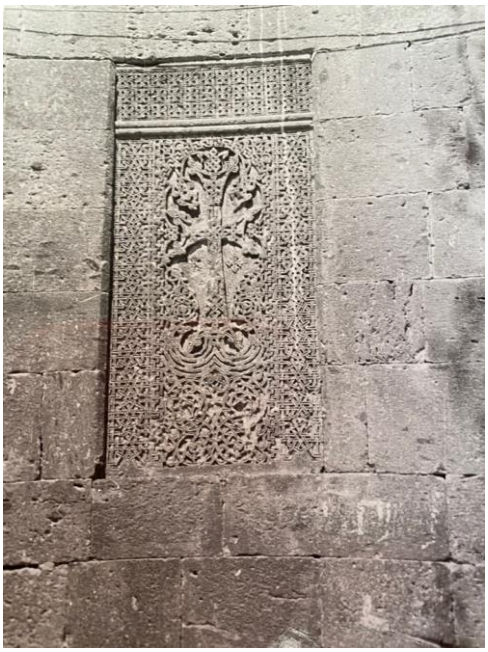
Вдоль почти сплошной сельской застройки я пошла по той дороге, по которой приехала на автобусе, в обратном направлении к Аштараку. Почти сразу же я подошла к церкви селенья Карпи. Сама церковь – простой, темно-серый прямоугольник с двухскатной крышей, поросшей сухой травой. Это XIII–XIV века. Над крышей поднимается маленькая сквозная башенка из желто-рыжего туфа. Перед церковью отдельно стоит колокольня, покрытая незакономерно чередующимися плитами желтого и темно-серого туфа, что создает красивый, оригинальный эффект.



Ил. 70. Армения. 1966 г. Карпи. XIII–XIV вв.



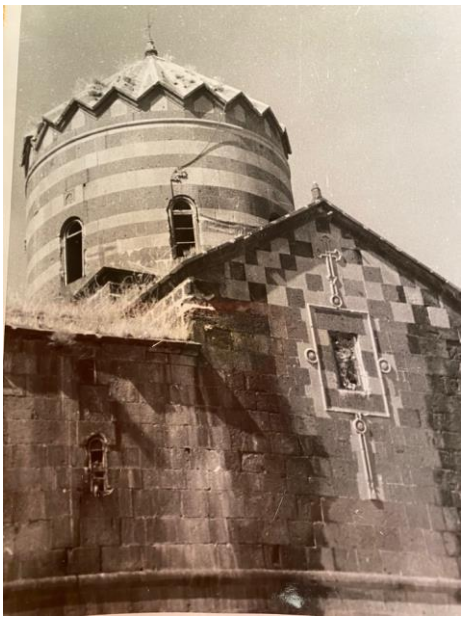
Ил. 71. Армения. 1966 г. Карпи. XIII–XIV вв.



Ил. 72. Армения. 1966 г. Карпи. Хачкар. XIII–XIV вв.

Нарядна и оригинальна церковь Мугни, стоящая в полной сохранности и запертая, так что мне не удалось попасть внутрь, – сторожа не было дома. Снаружи ее прямоугольник в центре перекрыт шатром и барабаном, над которым внутри явно должен быть купол. С западной стороны очень мощный портик с массивными приземистыми столбами, поддерживающими арки с усложненным сечением их внутренней стороны. Два крайних пролета портика перекрыты крестовыми сводами, в среднем пролете тромпы переходят в восьмигранник, в который вписан тоже восьмигранный звездчатый свод. Над ним поднимается снаружи сквозная башенка. На ней и на ее барабане – полосы желтого туфа на

сером фоне. На фронтонах над окнами церкви и под звездчатым сводом портика желтые и серые квадратные плиты туфа положены в шахматном порядке. Капители столбов и орнаментальная полоса, обрамляющая восьмигранник под звездчатым сводом, выложены тоже туфом. Боковые порталы и особенно главный над портиком покрыт богатой орнаментальной резьбой. Церковь собрала и усложненно переработала старые традиции местного строительства в XVII веке.



Ил. 73. Армения. 1966 г. Мугни. XVII в.

Дойдя до Аштарака, я прошла пешком в другую сторону вдоль подножий Арагаца, достигнув через несколько километров села Ошакан, где стоит простая, прямоугольная, большая светложелтая, древняя в основе, но много раз реставрировавшаяся церковь с могилой Месропа Маштоца – создателя армянской письменности. Сюда стекаются на поклонение армяне со всего мира и уже довольно много ожидающих сидело вокруг здания, которое было заперто. Села в ожидании и я, разговорившись с американским армянином, который был очень доволен, что русские тоже почитают святыню их культуры. Наконец, открыли церковь, такую же простую внутри, как и снаружи, и мы все спустились в неглубокий склеп с захоронением, полный цветов и свечей.



Ил. 74. Армения. 1966 г. Ошакан

Когда я вышла наружу, уже начинались сумерки. Автобуса прямо до Еревана не было, и я стала искать подходящий грузовик, чтобы доехать. Попался пустой бак молокосоюза и кудрявый шофер средних лет предложил, что он отвезет меня в кабине. Я была не в Грузии и потому сочла безопасным принять его предложение. Поехали, немного разговаривая о том, что я осматриваю в Армении. И вдруг машина свернула с шоссе и помчалась по боковой грунтовой дороге. На мой вопрос – почему, последовало молчание, и мы остановились в пустынном фруктовом саду, за которым начиналась такая же пустынная бахча. – Я хочу тебя угостить арбузом, – сказал мой спутник, быстро побежал на бахчу и при этом запер снаружи кабину. Это меня сразу насторожило. Когда он сел рядом со мной с арбузом, кабина была им заперта изнутри. Я отшвырнула положенный мне на колени арбуз и потребовала, чтобы мы немедленно ехали в Ереван. Но тут полился поток совсем грузинских излияний и домогательств «любви». Положение было весьма неблагоприятное. Я молчала с каменным лицом, пустив в ход только угрозу, что он попадет в тюрьму, если даже хоть прикоснется ко мне. Оказалось, он сидел уже в тюрьме за какую-то растрату и еще посидеть ему совсем не страшно.

– Да ты мне в сыновья годишься, как тебе не стыдно, – окинула я его презрительным взором.

– А такие женщины за сорок лет только и интересны, – не девочки же, – сказал он.

И вдруг в моей памяти ярко всплыла набережная Сорренто, ухаживающий за мной служащий гостиницы, стоящий передо мной при всей двойной группе

наших туристов и расточающий комплименты вплоть до того, что я «белла донна» и он жаждет быть моим гидом в Неаполе. – «Но вокруг вас столько красивых итальянок, и при том молоденьких, в отличие от меня» – говорю я ему. – «Что наши итальянки – они давно надоели, – отвечает он. – И интересны только женщины старше сорока лет, а не молоденькие девушки». – Подходит наш пароход, и он склоняется, целуя мне руку. Какое совпадение Европы и Азии! Я продолжаю разъяренно молчать.

– Никогда таких русских женщин не встречал, – говорит шофер, будто научившись этому у грузин. – Можно подумать, что немка – такая холодная.

– А я немка и есть, – поворачиваю я вдруг к нему ледяное лицо. – И если ты хоть прикоснешься ко мне, тебе придется иметь дело с немецким посольством, а потом уже с судом.

Выход найден! Он открывает окошко кабины, сплевывает в сумерках, заводит мотор и вывозит меня на шоссе. Здесь он предлагает мне сойти. Уже совсем темно, и я долго жду автобуса. Возвращаюсь к Стамболцянам, конечно, так поздно, что они волнуются. Но я объясняю все трудностями с транспортом, не заикаясь о своем приключении, на которые мне удивительно везет. Чересчур!

Еще осмотр удивительно хорошеющего с каждым моим приездом города и еще день, проведенный во вполне законченном, украшенном фресками Матенадаране. А на оставшиеся 10 дней, уже взяв билеты на самолет, я хочу полного уединения на Севане, чтобы там отдохнуть перед начинающимся рабочим годом. Турбаза, на которой Гурген совсем давно не работает, для этого не годится. Гурген теперь только преподает, заведует отделом для старших школьников в молодежном журнале, пишет для юношества стихи и рассказы, а для себя – лирические стихи, ожидая поры, когда и их можно будет опубликовать в печати.



Ил. 75. Армения. 1966 г. Севан у деревни Чкаловка

Следуя выработанному после всяких размышлений плану, я утром сажусь на автобус, идущий вдоль восточного берега Севана, где расположено только несколько деревень, и выхожу в селенье, которое теперь называется Чкаловка и является смешанным по русско-армянскому населению, но раньше было чисто молоканским поселком. Сюда в XVIII веке, как и во многие другие места Кавказа, в цепях пригоняли разных еретиков на бессрочные поселения. И эти еретики только в наше время стали изменять своим верованиям и обычаям, как и всюду, теряя постепенно свой стародавний религиозно-бытовой уклад. По совету попавшейся мне на единственной улице деревни пожилой «Тани-почтальонки», я обратилась с просьбой о жилье в выбеленный, как и прочие, простой одноэтажный домик, в котором жили только старик со старухой и приехавшей к ним погостить внучкой-школьницей, тоже Таней. Вторая комната в доме перестраивалась, маленькая застекленная веранда была холодна по ночам на высоте 2 000 метров, и мне предложено было жить в одной комнате с хозяевами, спать тут же на запасной для родственников постели. Я согласилась. Ведь я все равно собиралась только ночевать в доме. Хозяйка тетя Маня носит длинное, с длинным передником платье и платок, подвязанный под подбородком. У нее строгое лицо, она мало разговорчива. Хозяин, работающий в колхозе, оброс рыжеватой с проседью бородой, на голове его фуражка с лакированным черным козырьком, какие можно видеть только на старинных картинах и иллюстрациях и которые только молоканцы могут делать для себя по «старому фасону». Оба говорят на своеобразном русском языке, со своеобразным выговором, который, видимо, привезли из-под Самары их предки и который сохранился до сих пор

среди инородного населения в глухой деревеньке. Хозяин любит выпить в нарушение всех молоканских запретов и, когда выпьет, смелеет и начинает рассказывать мне, как они жили во времена молодости, как ишхан ловили и сушили, а за ним целые караваны купцов из Персии приходили, привозя взамен всякие фрукты, пряности, сушеные сласти. Теперь, – вздыхает он, – ишхан ловить имеет право только государственная артель, а прочим, – чтобы не было соблазна, – даже и лодки держать запрещено. Действительно во всей Чкаловке я не вижу ни одной лодки.

– Да и беда с шиханом-то, – вздыхает пьяно хозяин Алексей Петрович. – Как запруду сделали и озеро село на 12 метров, голыми стали те места, где он привык икру метать и его было раньше – кишмя кишит, а теперь с гулькин нос осталось. Тогда решили дела поправить, – сига вашего ленинградского в озеро поселили. А он, негодяй, глядь – стал и оставшуюся икру ишхана поедать, да и он тоже плохо привился. Мудрят-мудрят люди, прости господи, а бог лучше, небось, знал, где какой рыбе жить и куда какой речке течь.

– Дядя Алексей, да ведь теперь поднимут опять уровень Севана, уже работы большие для этого ведутся.

– Эх, дочка, то ли поднимут, то ли нет, а ишхан скоро совсем переведется.

Эти разговоры со мной ведутся, когда Алексей Петрович подвыпьет, – в трезвом состоянии он меня стесняется и не решается со мной вступать в разговоры.

– Очень она учена, – все читает да пишет что-то, – говорит он как-то зашедшим соседям, думая, что я не слышу.

А тетя Маня, как только он выпьет, молчит при нем, а потом мне душу изливает:

– Я уж о молодых, городских, ничего не говорю – отбились они от нас, другие стали. Но что наши-то мужики думают? Бороду носят и картуз по-старому одевают, а сами и пить стали, и цыгарку в бороду-то прячут. Будто господь-бог не видит, что они там под картузом да в бороде делают. Ведь бога-то не обманешь.

Сразу же после моего вселения тетя Маня меня спросила:

– То что же, Татьяна, есть-то будешь?

– Да у вас молоко буду брать и яйца, а остальное, что в лавке достану.

– Ничего ты в лавке не достанешь – только хлеб, арбузы… Кашу же сама себе варить не будешь. Хошь, обедай с нами – что нам господь пошлет, то и ты поешь.

– Ну, если вы мне это предлагаете и хлопот больших это вам не стоит, я с удовольствием.

– Какие хлопоты? Что троих, что четверых кормить – все одно.

Так я перешла на скудное питание, состоящее в основном из «штей» и картошки, а утром хорошего чая, молока, яиц. Я была вполне довольна, хотя надо сказать, что хозяйственными способностями тетя Маня не отличалась. Она меня вскоре полюбила за довольство всем самым неприхотливым в их доме и за умение слушать ее, когда ей вдруг хотелось поговорить о тех нарядах, кружевах, вышивках, которые раньше в праздники носили и сами же изготовляли молоканки времен ее молодости. Иногда и сейчас еще так наряжаются в праздники в более далеких от города деревнях. Но здесь это совсем вывелось. Да и жили здесь только старики и подброшенные им на лето внуки. Как-то мне пришлось по просьбе Тани-почтальонки сфотографировать группу ее родственников с детьми, приехавших к ней на какое-то семейное торжество. Это были уже обычные горожане отнюдь не отличавшиеся интеллигентностью и образованностью, но, к сожалению, крайне кичившиеся своим городским видом и современной новенькой одеждой перед старыми деревенскими родственниками. На их самодовольных физиономиях были написаны мещанское довольство и уверенность в том, что они «все культуры превзошли» во вполне достаточной мере.

Таково было мое общение с местным населением. Запомнился забавный случай, когда тетя Маня позвала зачем-то внучку:

– Танькё, а Танькё! – на что я машинально откликнулась. Она подошла ко мне, ласково погладила меня по плечу и сказала:

– Это же я свою дурынду зову. А ты ведь не Танькё, а Танечка.

В целом жизнь моя протекала на Севане, на одном из его заливов, где на белоснежных после оседания воды камнях росли живописные высокие кусты сухой травы, разного сорта репейников с цветными головками, стеблей, унизанных желтыми цветочками, мелких сухих сиреневых ромашек. После очень раннего завтрака, совпадающего с выгоном коров, я уходила одна в это излюбленное мною место и, раздевшись в холодном утреннем воздухе, окуналась

в озеро, температура которого не превышала даже в такое жаркое лето 18 градусов. Потом я лежала, пронизанная утренним горным солнцем и овеянная прохладой утреннего ветерка. Загорать мне уже было больше невозможно, ведь я и так была черна, как африканка. Часов в 11 я углублялась в книгу, закрывшись от все более горячего солнца соломенной шляпой и красным зонтиком. Раза два еще окуналась в воду, часто с немногими ребятишками, тоже приходившими ненадолго здесь покупаться. Красное пятно моего зонтика привлекало порой внимание шоферов, проезжавших вдоль озера по дороге, и они сворачивали в этом случае к моему заливу вымыть машину, выкупаться, а заодно удовлетворить свое любопытство разговором со мной. Обычно, проплыв в холодной воде, такой черный, порою поросший шерстью не менее орангутанга, ереванский или колхозный армянин растягивался рядом со мной и начинал расспросы. При их различных вариантах, они более всего сводились к двум темам. Во-первых, откуда я, что здесь делаю, есть ли у меня муж и есть ли дети. При сообщении, что у меня нет детей, начинались вопли, как же это может так быть.

– Значит, муж плохой, – заключали некоторые. – А ты с нашими попробуй – обязательно дети будут. А то как женщине без детей жить. – И затем следовали попытки договориться о свиданиях. А я, отклоняя все это «без гнева», но решительно, хохотала в душе не только над их простодушием, но и над тем, что я им кажусь достаточно молодой для обзаведенья детьми.

В других случаях разговор сворачивал на деловую почву, – что есть в Ленинграде, что по чем, и особенно – нет ли у меня знакомства, чтобы без очереди купить легковую машину, потому что здесь это хотя и возможно, однако очень дорого.

В основном же я проводила день одна, даже мало читая, а больше любуясь окружающим и физически наслаждаясь сочетанием солнечного зноя со свежестью высокогорного воздуха и радостью погружения в водную, синюю прохладу. Обедала я тогда, когда жара начинала спадать. Потом снова шла на озеро, но теперь уже сидела в разных частях его берега или бродила по его белым береговым камням. Мне не хотелось торопиться в шумный северный город на работу. Но как хотелось мне, чтобы хоть несколько дней еще провести здесь не одной, а вдвоем, слить с лаской, с любовью эту красоту, это одиночество, эту величественную под вечер тишину окружающего! Я читала «Геворк Марзептуни» Мурацяна[134] и, глядя на превратившиеся в полуострова прежние островки с

церковками напротив, у другого берега Севана, представляла себе съедаемого безнадежной страстью царя Ашота Железного, забывшего о стране, о своей борьбе с арабами, о своих подвигах и павшего жертвой любви там, на этих островках. Мне казалось, что передо мной в наступающих сумерках над озером проплывает тень его, закутанная в темную рясу вместо доспехов, предназначенных для того, чтобы заковывать его могучий, стройный стан. Я остро ощущала, насколько любовь сильнее и жизни, и смерти, всего на свете. И я была счастлива, что я объята все той же, вечной, при всех коллизиях не иссякавшей любовью, которая была почвой и стержнем моей жизни и без которой мне не нужна была сама жизнь.

Когда солнечный жар уступал вечерней прохладе, становилось все более холодно. Я надевала теплую куртку, поджимала под себя ноги, сидя уже не на ледяных камнях, а на каком-нибудь бревне, и поглощенно наблюдала за изменением пейзажа, его настроения, его красок. Эти наблюдения я вносила в блокнот, тщетно стараясь облечь в слова то, что было для этого слишком текуче и изменчиво. Вот страницы этих записей.

«Утром солнце всходит над Севаном среди холодно-белых облаков огромным красным шаром, на который можно смотреть не щурясь, который даже не окрашивает своим горячим тоном окружающее. Как чешуйчатое серебро, сверкает поверхность озера, отливая светлой голубизной. Его окружают горы голубые, легкие, не отделенные от него резкой гранью. Они кажутся воздушными, полупрозрачными, будто невесомыми».

«Днем озеро становится голубым, а затем все более густо синеет под густой голубизной неба. Ближние горы и остров на той стороне лежат на его берегах, как огромные, спокойные животные, покрытые бархатистой короткой шерстью верблюжьего, серо-рыжеватого и зеленовато-желтого цветов. Мягко темнеют их впадины и золотятся на солнце выпуклости боков. Плавно изогнуты их спины. Объемы их пластичны и тяжелы, краски их солнечно-прогреты, хотя и подернуты голубой прозрачной дымкой. Часто по ним скользят тени от больших белых облаков, стирая формы их рельефа. А иногда эти облака лежат на их хребтах, плавно изогнутых, как верблюжьи горбы. Более далекие горы в это время почти исчезают, растворяясь в потоках света и превращаясь в едва различимое марево. Чудесно в эти часы лежать на белых камнях берега, смотреть на озеро сквозь

мелкие кусты ярко-желтых цветов и оранжевых маков. Пронизанные солнечным светом, они горят на фоне чистой синевы и делают ее еще ослепительнее и синее».

«Но как разнообразно озеро к вечеру! Бледнеют краски неба и запад не пылает ярким закатом, потому что в то время, когда солнце прячется за горы и на их вершинах рождаются сумерки, солнце в действительности стоит еще высоко над горизонтом. Все отчетливее становятся дальние хребты. Все ближе подступают они к озеру, теснясь к нему чередующимися плоскими синими планами. Их число возрастает. Грани их делаются все резче, синева – все пронзительнее и звучнее. И вот она заливает ближние возвышенности по мере того, как их покидают лучи солнца. Их рельеф исчезает, они тоже превращаются в плоские кулисы с четким, волнистым контуром, будто вырезанные из густой, глубокой, неправдоподобной синевы, перед которой синева дальних планов кажется все светлей, светлей и прозрачней. В этих синих гранях, рядами уходящих друг за другом вдаль, лежит, угасая, зеленое озеро. Желтое небо над ним гаснет медленно и долго. А желтые цветы на берегу уже давно угасли. Оранжевые маки сложили лепестки, и кажется, что за день их оборвал ветер, хотя на утро они опять вспыхнут огнем. На белых камнях вырезными силуэтами поднимаются огромные колючие турки с красно-лиловыми головами. Днем они не так заметны, но вечером становятся неотъемлемой частью берега, белые камни которого тонут и голубеют в наползающих сумерках».

«Бывает и так, что дальние горы делаются все более лиловыми, а ближние вначале приобретают особую рельефность от контраста между густо-фиолетовыми тенями в ложбинах и освещенными косым светом желто-зеленоватыми выпуклостями склонов. Крупными, гладкими складками ниспадают их бархатистые поверхности к озеру. Бледно-зеленоватое небо на западе розово и сиренево. Озеро постепенно делается стальным и медленно гаснет. Дальние горы синеют. Передние тоже теряют рельеф и приобретают самую синюю окраску во всем пейзаже. Ярко-желтые тона запада переходят в лимонные и бледнозолотистые, а остальная ширь неба бледнеет в голубовато-серо-стальных оттенках. Только если в выси стоят облака, их края на западе горят золотом, а на востоке долго хранят розоватые и сиреневые отблески.

«В зависимости от погоды бывает и наоборот. Сначала вода синеет, небо желтеет, а горы сразу превращаются в плоские синие планы. Потом небо вспыхивает красным пожаром, горы делаются лиловыми. Вода золотится и

отливает розовой рябью. Наконец, все гаснет, загоревшееся небо, и зеленая вода, становящаяся холодно-стальной, и синие горы. Все больше окружающее поглощает густой, непроницаемый мрак с отдельными точками огоньков, разбросанных в нерасчлененном земном пространстве под разгорающимся звездами небом. Языки воды чуть лижут берег. Холодно. Пора спать. Пора вздохнуть о том, чтобы мне приснился любимый…»

***

Осенью Ренэ, как обычно, приехала в Ленинград. Мы с ней уже в Кубачах разработали план поездки по Дагестану на будущее лето с расчетом захватить основные «шамилевские места», где мы еще не были. Теперь все это еще раз обсудили и разметили по карте.

Вижу нас с ней в Эрмитаже на выставке французской скульптуры. Ренэ останавливается перед небольшой бронзовой статуей Родена «Старуха». Обнаженная женщина с ослабевшими и обвисшими формами тела, с дряблой его поверхностью, полусидит и делает удивленный жест, разводя рукой, будто хочет сказать: «Куда же все делось? Что же осталось от меня?»

– Татьян, – говорит Ренэ, – неправда ли, это – то, чего мы с вами одинаково безумно боимся? Лучше смерть, чем старость, дряхлость, бессилие. Надо умирать вовремя, не пережив себя.

Я вспоминаю, как Павлуша различает старость и дряхлость, считает, что мы уже подошли к старости, но это не помешает нам еще много взять у жизни, а вот дряхлости боится, не приемлет и ненавидит всем существом.

Стояла золотая, солнечная осень, и мы один раз долго гуляли с Ренэ по Каменному острову, который она в подробностях не знала. Ей очень понравилось. Шуршала густая опавшая листва под ногами и Ренэ собирала для меня букет всяких веточек с красными и белыми ягодками, с разнообразными осенними листиками, а для себя – большие, яркие кленовые листья с тем, чтобы я их высушила для нее в книгах, а потом прислала. Как всегда, она была полна поэтических фантазий, представляя себе, что зимой и она и я живем на этом острове. Себе для жилья она выбрала большую, сказочную, скандинавского типа избу с высокой крышей и трубой, построенную как собственный дом одним из архитекторов перед первой мировой войной. А у меня уже давно был выбран на

острове домик, недалеко от моста и дачи в воронихинском стиле[135], маленький, деревянный, бело-желтый, совсем тургеневский по своему усадебно-ампирному скромному облику. Так и казалось, что из полукруглого окна над полукруглым балконом льются звуки рояля, что там играет Лемм, а внизу под деревом стоит Лаврецкий, упоенный хотя бы на миг обманчивой и пьянящей поэзией счастья… Увы, теперь этого очаровательного образца русского ретроспективизма начала XX больше уж нет, – домик разрушили. А у меня долго стоял букет веточек с ягодами, похожими на слезы, который собрала для меня Ренэ в тот красивый, и кто знал, последний день нашей прогулки.

В марте 1967 года Ренэ умерла. По собственной вине. У нее началась инфекционная желтуха, но она даже не показалась врачам, никак не лечилась, упорно ходила на работу все время. Когда окружающие по ее виду и цвету кожи не сомневались больше в ее болезни, она упрямо отвечала на все уговоры:

– Если бы это было так, я уже давно свалилась бы. А я чувствую себя вполне нормально и нормально работаю, как вы сами видите.

Конечно, во-первых, она не знала, что эта болезнь без лечения смертельна, рассчитывая на свой крепкий организм. Во-вторых, она представляла себе, что если диагноз будет установлен, ее возьмут в больницу, а в ее квартире сделают дезинфекцию, которая погубит ее птиц и кошек. Этого бы она не перенесла. Поэтому она упрямо все отвергала и даже как-то сказала, что никакого насилия над собой никогда не потерпит, – у нее есть мгновенно действующий яд. Ее приятельница – заведующая библиотекой института Нина Ивановна Магалашвили – рассказывала мне, что однажды в ответ на ее уговоры Ренэ пришла буквально в ярость и крикнула:

– Отстаньте все, наконец, от меня! Дайте мне подохнуть, как сама хочу!

Единственный человек, который мог бы на нее, возможно, подействовать, Вера, в это время даже ни о чем не знала. Два месяца после собственной операции, запрещавшей ей всякие тяжелые физические усилья, она сверх сил ухаживала за собственным умиравшим братом, не способным уже ни встать, ни сесть. Когда он умер, и Вера узнала о Ренэ, было уже поздно. За два-три дня до того Ренэ потеряла сознание на работе и теперь лежала дома. Вера повезла ее в больницу, но по дороге машину так тряхнуло, что сама Вера, ударившись головой о ее перекрытие, получила сотрясение мозга и попала в клинику. Между тем Ренэ чуть ли ни на другой день умерла. До последней минуты при ней находился Шура Цибулевский.

Без Ренэ Кавказ так опустел, ее потеря была таким горем, что летом следующего, 67-го года я туда совсем не ездила. Да, Ренэ умерла до дряхлости и бессилия, до того жеста недоумения и отчаянной, горькой растерянности, который так красноречиво передал Роден в своей «Старухе»…

Уезжая из Ленинграда, она оставила мне большой стручок красного перца. Как символ ее я повесила его той же зимой на елку, встречая Новый год. И с тех пор всегда его вешала, черневший, сморщивавшийся все больше и больше год от года, но оставшийся памятью о ней и о «настоящей, яркой, острой» жизни, которую она так любила и так умела создавать вокруг себя. Вскоре и Питер Блёткин прислал мне сочный натюрморт с красными перцами в память о Ренэ и как воплощение ее заветов. Елки у меня уже не было в этом году. Перцы же Блёткина при пробуждении утром и взгляде на них пробуждают только слезы, а не улыбку. Да, все это остается символом. Но бывают символы живые и символы умершие. Пусть живет и горит в них образ Ренэ. Для меня уже все умерло раньше меня самой, и теперь я хочу только одного: чтобы запоздавшая для меня смерть не медлила боле.

1968. Июль.
XVII. По следам Шамиля

И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.
М.Ю. Лермонтов[136]

……

……..

1970, 1976. Июль.
XVIII. Эпилог

Горы! Все минуло и вырастает
Лишь призрак прошлого с песнями спетыми.
И. Эвдошвили[137]

Кто знал, что это была моя последняя поездка в Грузию, когда мы туда вылетали? Вылетали всего на 18 дней, снять на цветные слайды мои любимые памятники вокруг Тбилиси и Телави, показать эти памятники Олегу Неверову и Лидии Никитичне Дударевой, приятельнице по итальянской поездке 1961 года. Посетили и осмотрели все бешеными темпами, живя в Тбилиси у Анны Гавриловны, а в Телави в давно мне привычной гостинице. Здесь мы наняли на неделю инвалида Жору, владельца потрепанного москвича, на котором он возил желающих по памятникам архитектуры, беря не с километра, а с памятника по пятерке. Очень удобно при отсутствии к этим памятникам регулярного пассажирского транспорта.

Из новых для меня мест и впечатлений надо отметить только монастырь Некреси, с его горой и лесом, с его фресками, которые почему-то не были даже заперты в пустых церквах. Когда мы спустились с горы, похожий на Хемингуэя «упрощенного типа» и с лицом, сплошь заросши седой барашковой кудрявой шерстью, крестьянин усадил нас под деревом у ручья и угощал арбузами. Был он навеселе, почему-то ему хотелось поцеловаться со мной, и он придумал повод. Выпросил у меня в знак побратимства сумку, а взамен дал глиняный кувшинчик с надписью по-грузински у горлышка, после чего получил право очень жарко меня расцеловать. Мои спутники, незнакомые с местными обычаями, были в восторге.

В Тбилиси я их водила ко многим своим знакомым, – к Блеткиным, к Эке, к Вере, к Эличке Ахвледиани, к Тариелу. И от этого они тоже были в восторге. Потом я захотела одна пойти к Закро Майсурадзе. Последние годы он не ездил в экспедиции после того, как верхом на лошади чуть не потерял сознание на узкой тропе, над пропастью, и только Вахтанг Долидзе чудом его спас. Закро, конечно, очень страдал от невозможности путешествовать теперь уже не по запрету врачей, а просто физически. Удачно еще, что в это время он получил огромную мастерскую и принялся ее оборудовать, чтобы как-то себя отвлечь. Через год мастерская была ослепительна. Столы, стеллажи, скамьи и скамеечки – все было покрыто его собственной резьбой. Со вкусом была расставлена коллекция народного искусства – дерево, металл, керамика, ткани. Всюду роскошные цветы, за которыми он любовно ухаживал. Отдельное помещение было отгорожено для обжига глины, и тут же стояли газовая плитка и холодильник, всегда полный всякими вкусными вещами и собственными божественными наливками.

Закро любил, когда я к нему приходила, живя в основном в мастерской, а не дома. Я знала, что, если не приду, это будет огромная обида. Встречал он меня братским поцелуем и говорил сначала:

– Посмотрите, Ханум, мои новые работы – поделываю кое-что.

Я все осматривала: рельефы, висевшие на стенах, сосуды и фигурки, стоявшие на полках. Ото всего веяло живой традицией, пронизывающей существо этого неизменного по творческим глубинам кахетинского крестьянина. Только теперь я всегда выражала сожаление, что моя любимая серия его раскрашенных глазурованных рельефов с персонажами-масками кахетинской свадьбы уже была мне недоступна, так как ее купил музей. Потом Закро говорил:

– Теперь, дорогая Ханум, ложитесь на тахту и отдыхайте.

– Лучше я помогу вам.

– Нет, вы же знаете порядки в моей мастерской.

Я послушно ложилась на великолепный палас, а Закро жарил в специальной духовке шашлык, ставил на низенький столик всякую зелень, ароматные травы, фрукты, напитки, и тогда начиналось пиршество вдвоем с поэтическими тостами, на которые он был мастер и которые без конца рождало его воображение.

Теперь я предвкушала то же самое, но Эка сказала мне: «Закро так сильно болел всю зиму гипертонией и стенокардией, что живет сейчас не в мастерской, а дома». Я очень взволновалась и поехала к нему домой. Открыла его жена, но он

тут же вышел ко мне навстречу. Мы сели на диван. Боже, как он осунулся и изменился!

– Татьяна, дорогая, откуда?

– Из Кахетии.

– Где вы там были? Что посетили? – его голос задрожал. Я все перечислила и видела, как глаза его наполнились слезами, а губы подернула дрожь. Будто с них готовы были сорваться слова: «А мне уже никогда не увидеть эти любимые места!».

По виду его и по беспокойству в лице его жены я поняла, что не следует его волновать. Я перешла на безразличные фразы и сказала, что должна очень торопиться, так как завтра улетаю в Ленинград, а потом еду в Прибалтику к мужу. Прощаясь в передней, Закро меня крепко обнял и несколько раз поцеловал, смахивая с глаз слезы. Мы виделись действительно в последний раз. Зимой пришла от Веры открытка с извещением о его смерти.

Самой Вере через пару лет делали вторую операцию, будто бы обнаружив на этот раз кисту. Но через год опухоль опять начала расти. Она приезжала в Ленинград, бодрая, не верящая, что у нее может быть что-то злокачественное, – уж очень она была могучий человек. Велели ей приехать для выяснения через год осенью. Она приехала в 1974 году вместе с Ниной Константиновной. Той прямо сказали, что дело безнадежно, и от операции отказались. Вера, однако, все еще уповала на операцию и была настолько сильна, что посетила на такси две открытые тогда у нас в музеях выставки. Я была у нее, но потом сломала ногу и уже не могла с ней попрощаться. Думала ли я, что даже проводить ее из Ленинграда буду не в состоянии? В Тбилиси нашелся врач, который в ответ на ее настояние, – вероятно, просто, чтобы ее утешить, – взялся за операцию. Она бодро сама дошла до больницы, сама легла на операционный стол, но при первом же анестезирующем уколе сердце ее перестало биться. Вскрытие показало, что весь ее организм изъеден раком, и силы, ее поддерживавшие, были просто изумительны.

Прошлым летом, выпустив до того книжечку стихов, умер от цирроза печени Александр Цибулевский. Этой последней зимой Эка прислала мне письмо с газетными вырезками о смерти Элички Ахведиани. Она вечером выступала с речью на закрытии большой выставки и вдруг потеряла сознание. Случился инсульт, от которого ее к утру не стало.

Бедный Питер в ужасном состоянии, потеряв и всех близких друзей, и свой дом, и чарующие виды из его окон для скучной панорамы новых коробкообразных зданий, которые никак не радуют его глаз. Говорят, он совсем почти не работает. Только Теона благополучно воспитывает немецкую дочку, живя вдвоем с мамой после того, как вышедшая замуж Саломка уехала в Москву. Чудом является 90-летний юбилей Варвары Дмитриевны Бубновой, еще не утратившей ни разума, ни хотя бы относительных творческих возможностей. Осенью 1974 года, после нашего отдыха в Судаке, Павлуша поехал ненадолго в Сухуми, чтобы в последний раз повидать свою слишком престарелую «милую Варварушку». И вот сам он не дожил до ее юбилея. Я уже не могу писать об этом без заливающих глаза слез…

Но что сказать еще? Таков эпилог стольких радостных и прекрасных путешествий по Кавказу. Последние из них я смогла наметить только конспективно. Все иссякло во мне с потерей того, кто был больше для меня, чем жизнь. Маятник моих часов отсчитывает тоже последние сроки. Но да будут благословенны все яркие впечатления, вся красота природы, искусства, дружбы, которыми в моих странствиях так щедро оделил меня Кавказ!

КАВКАЗСКИЕ ТЕТРАДИ

Люблю я Кавказ!..
Лермонтов[138]

В горах Кавказа
1954

…я видел сквозь туман
В снегах, горящих как алмаз.
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Лермонтов[139]

В Пятигорске.

Сгустился сразу мрак. И небосклон был черен.
И густ был ярких звезд рассыпанный песок.
Мне показалось вдруг, что промелькнул Печорин, –
Знакомый силуэт был строен и высок.
Скатился камень вниз… Слегка согнулись ветки…
Он поднялся один на опустевший склон
И там вверху застыл под куполом беседки,
Как сумрачная тень у мраморных колонн.
И я, стремясь к нему до боли, до потери
Рассудка ясного, тропою той же шла,
Хотя и знала я, – ни Верою, ни Мери
Я не была и быть, конечно, не могла.
Для воли рождена, полна упорной думой,
И не податлива, как твердый камень гор…
Но обаяние души своей угрюмой
Он к сердцу моему мучительно простер.
Как в годы юности, я знала в этот вечер,
Что встреча с ним вовек не может счастья дать,
И все ж искала я опасной этой встречи.
Чтобы любить, гореть, бороться и страдать.

Гора Кольцо.

Гора Кольцо… Опять для сердца двери
В мир с юности изученных страниц!
Я в кавалькаде различаю Мери
И взгляд ловлю под бархатом ресниц.

Копыта цокали о камни звонко,
Эльбрус смотрел в гигантское Кольцо,
Когда сюда примчалась амазонка,

И ветер трогал нежное лицо.

И всаднику, склонившемуся рядом,
Она в глаза боялась заглянуть,
Но взор его пьяняще-горьким ядом
Вливался властно в дрогнувшую грудь…

О, сколько раз сама переживала
Над книгой я те чувства и мечты,
Не в силах прочь отбросить покрывало
Поэзией рожденной красоты!

Поэт и Эльбрус

Седой Эльбрус и бронзовый поэт
Над городом царят, как два виденья.
Один сияет на челе их свет
И чудятся одни им сновиденья.

Проходят вереницы пестрых лет,
Сменяются, мелькая, поколенья,
Но, как и встарь, в зеленое селенье
Кавказа царь поэту шлет привет.

Они равны – поэт венчанный славой
И исполин с вершиною двуглавой.
Ничто для них веков тяжелый груз.
И над толпой, сквозь дали, через горы,
Здесь, как друзья, навек скрестили взоры
Певец вершин кавказских и Эльбрус.

Место дуэли поэта

И подо мной как остов великана,
В степи обросший мохом и травой
Лежали горы грудой вековой.
Лермонтов[140]

I
Я проходила поздно, при луне,
Там, где поэт убит был на дуэли.
Деревья вниз склонялись и шумели
О горестном и незабвенном дне.
И каменные горные орлы,
Нахохлившись, уставились куда-то,
Как будто им в отливах синей мглы
Являлась тень их мертвого собрата.
Громады гор в долине залегли,
Как остовы бойцов на поле боя.
И веяло от сумрачной земли

Дыханием великого покоя.

2
Он романтики, смерти, свободы
В царстве гор любимых искал,
В безграничных просторах природы,
Посреди ущелий и скал.
Он бежал от пошлости, гнета,
От обыденных слов и дел,
Чтобы в вольном порыве полета
Гений мог найти свой удел,
Все нашел он, – и вдохновенье,
И мятежной жизни конец.
О, я вижу это мгновенье,
Когда сердце пронзил свинец!
Было крови так странно мало…
Здесь лежал он… Пришла гроза…
Дождевая капля упала
На лицо его, как слеза.
И потоками хлынул ливень, –
То рыдали горы кругом,
И как голос мести призывен
Был из туч грохотавший гром…
Все я знаю и вижу, тоскуя,
Будто, правда, в тот странный час
Я коснулась огнем поцелуя
Губ холодных и мертвых глаз.

Алагирское ущелье

Полосатые голые горы
Из слоящихся рыжих пластов –
Будто тúгровой шкуры узоры
В белых клочьях седых облаков.
Так отвесны высокие стены,
Так ничтожен и мал человек…
Здесь в столетьях нет перемены.
Будто камешек скатится век
Да обвал прогремит над дорогой, –
Не изменятся горы ничуть.
Потому и тоской и тревогой
На мгновенье наполнилась грудь.
Но уже подружилась мечтою
Я с бесстрастием горных высот,
С нерушимою их чистотою,
Вознесенной легко в небосвод.

На Буронском руднике

О, как безжалостно и хищно человек,
Ища даров, с природой слитых щедро,
В наш слишком трезвый и суровый век,
Забыв о красоте, земли взрывает недра!

Уродлив облик скал, исчез зеленый лес…
Практический закон здесь стал железной целью!
Лишь пылью, поднятой столбами до небес,
Дымится склон по голому ущелью.

Кто думает о том, чтобы росли цветы
Вокруг домов, как там, на высях перевалов?
Кто позаботился немного чистоты
Отвоевать у рудничных отвалов?

Необходимость! Да, законы бытия…
И возражать, увы, бесцельно и напрасно.
Но как отчетливо и грустно вижу я, –
В прогрессе и не все и не всегда прекрасно.

Где человек срывать так часто принужден
Покровы красоты с лица природы вечной,
Дар видеть красоту, живой и человечной,
Как радость высшую, утрачивает он.

Цейское ущелье

Потоки камней числят сроки
Когда в горах гремел обвал;
И сосны, стройны и высоки,
Корнями льнут к уступам скал.
В лесах, в сверкающем граните
Ущелья склон суров и крут,
И родников живые нити
На нем узор жемчужный ткут.
И облака легко повисли,
Цепляясь за ребристый скат…
Как недодуманные мысли,
Они обманчиво скользят
И увлекают взгляды выше,
Туда, где в глыбе ледника,
В хрустальной синеватой нише
Родится горная река.

Цейское кладбище

Там, погруженные в могилы,
Спят львиносердые тела.
Важа Пшавела[141]

Я поднялась на голый склон,
Где к скалам прижимались склепы
И камни, тяжелы и слепы,
Тянулись ввысь со всех сторон.
У стен святилища пустого
Один из них меня привлек…
И мир, который был далек,
Передо мною ожил снова.
Гранит, как бледный след зари,
Хранил рисунок неумелый:
Вот крепкий стан с осанкой смелой,
Черкеска, бурка, гозыри,
Кремневка старая… и сжала
Рука упрямая опять
Привычным жестом рукоять
Не изменявшего кинжала.
Все было в строгой тишине
Так цельно, так сурово-просто…
И чей-то голос крикнул мне:
Не нарушай покой погоста!

Аул

I
Внизу на склоне клочья пашен
И каждый, как заплата, мал.
Как в старину, угрюм и страшен
В ауле вид высоких башен,
Глядящих из-за темных скал.
Отары шумные овец
Взбегают вверх по горным склонам…
Но сталь кинжала и свинец
Уже не поразят сердец
В лесов безмолвии зеленом.
И отзвучало пенье стрел,
И кончен счет кровавой мести,
Хоть башни древние на месте
И ряд бойниц грозящих цел,
Как символ доблести и чести.
И мне в кровавый час зари
Ожившим кажется былое.
В нем все, – и доброе, и злое, –
Как песня звучная. Смотри,
В известняков наклонном слое
Как будто вьются письмена,
О древних подвигах вещая;

О них векам шумит волна;
И о любви, вспорхнув от сна,
Щебечет легких птичек стая.
Любовь, и мужество, и честь,
Все в этой гордой песне есть!

2
Мне не страшна убогость диких гнезд,
Где жили горцев боевые роды.
Их строгий быт, патриархально-прост,
Оплотом был для чести и свободы.
Кровавой мести беспощадный счет,
И клич вражды, неистовый и гневный,
И жизнь средь бурь опасности вседневной,
И возмущает ум мой, и влечет.
Влечет отвагой гордою сердец
И вольности романтикой суровой,
Борьбою сил, где равных прав основой
Одушевлен и поднят был боец.
Но женщины! Хотя бы часть свободы
И им досталась в жизненный удел!
Рабы мужчин, обычаев, природы,
Домашних стен и повседневных дел, –
Я вижу их, бездумных и покорных,
Не знавших бунта, живших в полусне…
Следы их ног на этих тропах горных,
Как призраки, тревожат душу мне.

Святилище Реком

Взберись по склону узкою тропою!
Природа здесь сурова и строга.
Здесь складывали с верою слепою
Убитых туров мощные рога.
Сюда несли несложные молитвы,
Чтобы добыча множилась охот,
И чтобы ждал в пылу кровавой битвы
Победою увенчанный исход…
Все это в бездну унеслось с веками.
Заброшено святилище Реком…
Но о былом поет здесь каждый камень
Эпическим, звенящим языком.

Ночь у Цейского ледника

Я не могла уснуть. В глаза луна
Светила мне настойчиво сквозь сосны.
Ее лучи, пленительно-несносны,

Меня манили и лишали сна.
То ранили они меня, как стрелы,
То льнули, будто нежная рука…
В прозрачный сумрак молча я смотрела
Из теплых складок спального мешка.
Что в царстве гор обыденность вопросов,
Ничтожность дел, бессилья жалкий стон?
Ревел внизу неистовый Цейдон,
Зажат в крутой расселине утесов.
Вверху полоска узкая небес
Заглядывала в щель меж стен отвесных,
И надо мной застывший стройный лес
Сменялся ввысь громадой скал безлесных.
А там, вдали, мерцал мне снежный пик
Сиявшего как призрак Адай-коха,
И свежий холод ледяного вздоха
Мне присылал сверкающий ледник.

На Цейском леднике

Горят сияньем синим, точно свечи,
Утесы острые из голубого льда.
Как обожгла мне щеки, лоб и плечи
Из ледяной расселины вода!

О, царство блеска, свежести прозрачной,
Ничем не омраченной чистоты!
Где тень с окраской серой и невзрачной?
Меж светом и тенями нет черты.

Все темное, всю грязь и тяжесть мира
Здесь с плеч своих стряхни и позабудь.
Пусть разряженность легкого эфира
Пьянит твою взволнованную грудь!

Кассарское ущелье

Ревет поток, и бешен, и могуч,
Дробятся брызги об уступы скал,
И нависают глыбы грозных круч,
Пророча нам грохочущий обвал.
Ожелезненных камней рыжий цвет –
Как золотой полуденный загар,
Как солнца догорающего след,
В расщелине утратившего жар.
О, мирозданья хаос вековой!
Ты здесь еще величественно дик.
Здесь, кажется, привычный мир земной

Из тьмы стихий недавно лишь возник.
Но что сравнить с великой красотой
Стихийных сил, таящихся вокруг!
Моя душа крылатою мечтой
Взвивается, не ведая испуг.

Стихи о Грузии
1957-1964 г г.

Посвящаю Э. Г. Яшвили

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели…
М. Ю. Лермонтов[142]

На Крестовом перевале

Быть может, буду много раз
Я на Крестовом перевале, –
Всегда я вспомню тень печали
На дне больших, глубоких глаз.
Все с тем же спутником случайным
Здесь в мыслях буду я опять,
Чтоб вновь и вновь с волненьем тайным
Ключи к душе его искать.

Как странно, как неповторимо
Значенье некоторых встреч!
Они, как тень, проходят мимо,
Но сердцу их навек сберечь.

2
Не странно ль, – встретиться на час,
Не мыслить о такой награде
И вдруг средь сотен скучных глаз
Прочесть поэзию во взгляде.
И что-то близкое найти
В душе, согретой тайным светом,
И знать, что встречен друг в пути,
Хоть он не ведает об этом.

Всадник

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле…
Лермонтов[143]

В суровом ущелье Дарьяла,
Мне чудится, всадник спешит;
Сверкает оправа кинжала
И слышны удары копыт.
Куда он стремительно скачет?
К Тамаре на гибельный пир?

Зачем он под буркою прячет
Свой русский драгунский мундир?
Вторично скрестились дороги
Его и моя среди гор,
И в острой, и в страстной тревоге
Склонила я вспыхнувший взор.
Как будто не бывшее было
И это вовек не забыть,
Как будто его я любила, –
Не только могла бы любить…

Меня ты ревнуешь к поэту, –
К виденью на горном пути?
Средь многих фантазий и эту,
Любимый, пойми и прости!

Нина

Чтоб душа моя изныла,
Скорбь твою перенимая.
Орбелиани[144]

Тень ветвей на серых камней груде
Траурные чертит письмена.
Наконец-то удалились люди
И у старой церкви я одна.
Сердце тает медленно, как льдина…
Вот у склепа горестная тень.
Неужели над могилой Нина,
Как и прежде, плачет каждый день?
Что страшнее твоего удела?
Стать, как ты, в семнадцать лет вдовой!
Прядь волос за прядью поседела,
Страсть осталась юной и живой.
Счастье же любви, коснувшись краем,
Сгинуло, как павшая звезда.
Да, такой, как он, незабываем
Должен был остаться навсегда!
Для других и резок и небрежен, –
Слишком он умен был и колюч.
Лишь с тобой одною был он нежен,
Подарив тебе от сердца ключ.
Для него в грузинке воплотилась
Грузии любимой красота…
Как за то жестоко расплатилась
Ты потом у черного креста!
И навек под тяжким покрывалом
Здесь к кресту припала головой,
Уронив в отчаяньи усталом

Крик души на камень гробовой.

Атени

3
Вся долина в зубчатой рамке, –
К небу тянется горный склон.
На утесах древние замки
И дорога в старый Сион.
Подходите к Сиону тише,
Не нарушьте его покой.
В нем живут летучие мыши,
Сумрак машет черной рукой.
Но глаза привыкнут во мраке,
Смолкнет тонкий мышиный писк,
На стенах появятся знаки
И священного нимба диск.
Развернутся ангелов крылья,
Засияют очи святых,
И под сводом, пахнущим гнилью,
Прозвучит торжественный стих…
А снаружи солнце смеется
Светотени капризной игрой
И доныне со зверем бьется
На рельефе древний герой.

В Сванетии
2
Путь

За облака, к снеговому венцу
Зовет меня трудный путь.
С вершинами встану лицом к лицу,
Ветру открою грудь.
Выпью хрустальную свежесть льдов,
По цветущим лугам пройду
И с новою силой будет готов
Дух мой к борьбе и к труду.

6
Ушгул

Не весельем буйным, не разгулом
Сваны пир закончили тогда…
Нависала долго над Ушгулом
Тучею всеобщая беда.
Заговор разросся незаметно,
Каждый был безмолвен, как гранит,

Каждый дал свинца от пуль заветных,
Чтоб в одну он пулю был отлит.
И когда народ в порыве гнева
Вынес для тирана приговор,
Содрогнулись в страхе даже дэвы,
Жившие в глухих ущельях гор.

Эта быль здесь точно день вчерашний,
Грозен здесь в бойницах ветра гул…
Порохом задымленные башни,
Как и встарь, вздымает ввысь Ушгул.

Ушба

***
В царстве вершин великих
Ушба как черный бес.
Злобно вонзились пики
В ясную высь небес.
В темных расщелинах льдины
Белы, как волчий оскал,
И на хребте щетиной
Вздыбились иглы скал.
Тучи ползут, как змеи,
Грохот обвалов дик…
Сердце мое немеет,
Дух мой в страхе поник.

***
То была Амирана
Колдовская страна,
Из снегов, из тумана
И из скал рождена,
И доступна для дэвов,
Не для смертных людей.
Много сванских напевов
Говорило о ней.
Если с дерзостью тщетной
Кто-то путь к ней искал,
Был насмешкой ответной
Грохот рухнувших скал.

***
Но день наступил и при радостных криках
На башнях зажегся свет.
То был огню на одном из пиков
Сванских селений ответ.
То был огонь, прославивший смелость
И юности гордый задор.

В тот день и мне бы стоять хотелось
На самой грозной из гор!

9
Рябина над Ингури

В верховьях злой Ингури
Отвесный есть утес.
Порыв жестокой бури
С него деревья снес.
Лишь северной рябины
Нарядные кусты
Над страшною стремниной
Повисли с высоты.
Красуются над гневным
Всклокоченным ручьем,
Как будто зной полдневный
И вихрь им ни по чем.

10
Манане

Вы помните тот день, когда Ингури
Была для нас добра,
Лаская глаз осколками лазури
И чернью серебра?
И свод небес, как солнечная чаша,
Вздымался над рекой…
И было грустно мне, что юность Ваша
Окрашена тоской.

У великой абхазской стены

Здесь с гор отдаленных мутные волны
Приносит в морской простор Келасури,
Здесь грозны бывают шквалы и бури
И камни суровых преданий полны.
Руины великой стены абхазской
Подходят к морю громадами башен;
Былое стало занятной сказкой,
Но взгляд бойниц их доныне страшен;
Их очертанья доныне горды,
Хоть плющ увил их седые кручи.
Здесь прорывались арабов орды,
Здесь стрел каленых взвивались тучи.
Трепал здесь ветер бурнусы, бурки,
Концы тюрбанов взметал атласных.
На стены башен бросались турки
И были волны от крови красны…
Закат и ныне кроваво красен

Над темным морем у Келасури,
И средь камней прибой опасен,
Свирепым ревом подобный буре.

У моря

О живительная прохлада
Серебристой морской волны!
Мне уже ничего не надо,
Только моря и тишины,
Чтобы чувств и мыслей волненье,
Впечатлений кипучих рой
Превратились в музыку, в пенье,
Обрели гармоничный строй.

Опять о Вас

2
Порою войдет чужая судьба
В души твоей замкнутый круг,
Как будто коснулся горячего лба
Рукою брат или друг.
И боль его станет болью твоей,
И будешь ты другом его,
Даже если ему не надо друзей
И не даст он взамен ничего.

Сомнение

Сквозь прозрачность волн, в прибрежной сини
Каждый камень – яшма для браслета.
Вынешь, – и погаснет, и остынет,
Потеряет блеск игры и цвета.
Может быть, мое воображенье,
С прозой и обыденностью споря,
Иногда свершает превращенье,
Как и волны голубого моря.
Чей-то взгляд мгновенный, чье-то слово
Мне блеснут узорных яшм чудесней
И за ними видеть я готова
Душу, сходную с звенящей песней,
И душою дружески-приветной
Я тянусь к поэзии нежданной.
Но проходит миг… И все бесцветно,
Только сердцу горестно и странно.

Облака и горы

Клубятся облака, легко меняя формы,
Но в постоянстве гор – бессмертия печать.

И все-таки не можем до сих пор мы
Их друг от друга ясно отличать.

Так увлеченья легкие мечты
Не смешивай в душе своей с любовью.
Одно, как облако, лишь дразнит яркой новью,
Другое – гор сияющих хребты.

При виде рояля

Как часто, войдя в освещенный концертный зал
Иль просто увидев ноты на черном рояле,
Вздрогну и вспомню в невыразимой печали
Все то, что он мне о себе рассказал.

Что могу я сравнить с необычностью этой судьбы?
Что тяжелее, чем этот отказ от искусства,
Эти от всех затаенные муки душевной борьбы
И подчиненного долгу и клятве чувства?

Если ты нежность и грусть во взгляде прочтешь,
Рожденную в сердце не музыкой и не тобою,
Я сознаюсь, – раздумье над этой судьбою
Выдала вновь ресниц невольная дрожь.

Когда нибудь…

Когда-нибудь, быть может, Ваши руки
Коснутся молчаливого рояля,
И, душу вновь врачуя и печаля,
Все легче, все стройней польются звуки.
И превратясь в минорный стон бемолей,
В чистейшую гармонию созвучий,
Все темные оттенки тайной боли
Светлее станут, ярче и певучей.
И, клавиши рукой перебирая,
Себе Вы с грустью улыбнетесь сами…

Так мне на свете легче со стихами,
Хотя пишу их только для себя я.

Почему?

Влюбленного в искусство не заставишь
Из жизни исключить ту светлую любовь.
И все-таки, быть может, звучных клавиш
Вы не коснетесь больше вновь.

Разделят нас глубокою рекою
Теченье времени, молчанье Ваше, даль,
Но помнить буду я по-прежнему с тоскою
Безмолвный Ваш рояль.

Мне кажется, что часть большой печали
Невольно я взяла навек из Ваших рук.
Но почему? – Ведь сами Вы едва ли
Мне хоть немного друг.

Поймите
Вашим молчаньем замкнутый круг –
Для пониманья глухая граница.
Что за безмолвием Вашим таится?
Этот вопрос точно тайный недуг.

Сердца частицу вносит невольно
В каждую строчку стихов карандаш.
Вы понимаете, как это больно,
Если не другу их в руки отдашь?

Так же, как сесть за рояль по ошибке
Там, где с мечтою никто не знаком,
И, обернувшись, увидеть кругом
Только насмешку в каждой улыбке.

О, если б знала я!

О, если б знала я, что стих мой может
Вам грустной радости хоть каплю принести!
А если нет? Решенья не найти
Вопросу тайному, который ум тревожит.
Зачем опять молчите Вы в ответ
Так непонятно, долго и упрямо?
Как я хочу, чтоб Вы сказали прямо,
В чем Вашего молчания секрет!
Слова обидные мне будут не страшны, –
Страшнее, если я не в дружеские руки
С доверьем отдала заветных песен звуки
И Вам они лишь странны и смешны.
Так отвечайте же!.. Или придет такая
Минута трудная и сложная, когда
Задам в лицо вопрос, бледнея от стыда,
Но все-таки глаза не опуская.

На рассвете

Утром за стеною пенью скрипки

Строго вторит сдержанный рояль.
Все сомненья, мысли об ошибке
Уплывают в призрачную даль…

Радио, мечта иль сновиденье?
За моим окном еще темно…
Я одна ли слышу звуков пенье?
В час рассветный это все равно.

Смерти стон и юной дружбы клятвы
В них понятны для меня одной…
Снова для меня и друг и брат Вы,
Без ошибки оцененный мной!

Простите

Простите, если в порыве участья, невольно,
Притронулась я неосторожной рукой
К тому, что трогать было нельзя и больно,
В Вашей душе спугнув непрочный покой.

О, если так, я больше ни грустью взгляда,
Ни горечью слов не выдам мыслей своих.
Поверьте, что в сердце звенящий стих
Может безмолвным стать, если надо.

Но об одном на прощанье прошу и я, –
Если б судьба вновь нам встречу судила,
Встретимся так, будто не было все, что было,
Просто, без лишних слов, но как друзья.

Любимому

Что делать с сердцем? Ведь оно
Всегда отзывчиво и живо,
Всегда мечтания полно
И романтичного порыва.
То в нем безоблачная тишь,
То шум реки, прорвавшей шлюзы…
И ты, любимый, мне простишь
И эти дружеские узы,
И строфы грустного стиха,
Другому отданного мною.
В том не увидишь ты греха, –
Любовь моя всегда с тобою.

Опять в Сухуми

1958 г.
2
Море сегодня цвета нефрита,
Матово, плотно и непрозрачно.
Шумный прибой с угрозою мрачной
Берег грызет и лижет сердито.
Но тучи растаяли, небо чисто
И отзвуки бури утихнут вскоре.
Все более весело, ярко, лучисто
Чешуйками света играет море.
Одна ли это огромная рыба,
Бессчетных ли рыбок легкая стая?
Мила мне моря зеленая глыба,
Таинственно-странная и простая.
Опять, как всегда, с веселой печалью,
В волну погружая смуглые плечи,
Прощаюсь я с этой живою далью
И жадно мечтаю о новой встрече.

3
То малахит, то отблески нефрита,
То бирюза, сапфир иль лунный камень…
Что для меня в оттенках моря скрыто, –
Живящая прохлада, светлый пламень?
Огня не обжигающего вспышки
Иль свежесть, опьяняющая тело?
Кто знает это только понаслышке,
Тот в наслажденьях не достиг предела!

4
Похожа я сейчас в какой-то мере
На легкий челн, застывший на причале…
Окрашен для меня сухумский берег
Все теми же оттенками печали.
Печали светлой и неуловимой,
Примешанной, как полутени, к счастью.
Я наслаждаюсь солнца знойной властью
И радостью тобою быть любимой.
Но, расставаясь вновь надолго с югом,
Грущу, – и в этом нет противоречий, –
О том, что с тем, кому я стала другом,
На этот раз не повторилось встречи.
На голубой волне качаясь снова,
Как год назад, с насмешливой улыбкой,
Мгновеньями я мысль о нем готова
Признать наивной, странною ошибкой.
Но солнце мягко трогает мне плечи,

Моих сомнений прогоняя тени…
И я жалею о не бывшей встрече, –
Она порвала б нить недоумений.

5
Средь скучных лиц, речей, благополучий
Вдруг чей-то взгляд и голос сходны с песней,
И чья-то жизнь покажется чудесней
Цветов и гор, и красок, и созвучий.
И страшно потерять ее из виду,
Расстаться с сердце тронувшим напевом,
И даже невнимания обиду
Встречаешь только болью, а не гневом.

6
Разве не достаточно улыбки,
Чтобы душу, сердце, облик друга
Угадать мгновенно, без ошибки,
Средь ненужных лиц чужого круга?

Для подобной дружбы не преграда
Разница стремлений и судьбы,
Если без смущенья и борьбы
Душу взгляд прочел в глубинах взгляда.

В Пшавии

Анне Каландадзе. 1964 г.

1
Пшав Ило на черном коне,
С винтовкою за плечом,
Та любовь была не во сне…
Иль тебе любовь ни по чем?

Ты повадкой властен и смел,
Ты свободен в своих горах…
Но ответить ли ты сумел
Той любви, что не знала страх?

Той любви, что твои луга
Оросила россыпью слез,
Той любви, что так дорога,
Кроме боли, что́ ты принес?

Пробудил ли певучий стих,
Прокатившийся по горам.
Эти звуки… Ты слышишь их,
Будто эхо, по вечерам?

По мелькнувшей мимо любви
Ты тоскуешь ли иногда?
Или камень губы твои
И глаза холоднее льда?

2
Она прошла здесь, словно королева,
Стихов пригоршни щедро разбросав,
И уронила царственно, без гнева,
К твоим ногам кусочек сердца, пшав.

То золотой обломок в море трав,
То полумесяц, засверкавший слева,
То дар любви, суливший столько прав…
Его ты взял ли с россыпью напева?

Она ушла… Что знаем мы об этом?
Но что если хотелось ей самой
Быть королевой с этих пор зимой
И делаться простой горянкой летом,
Звеня в твоих ущельях, как ручей,
Деля с тобой мерцание ночей?

3
От напевов твоих сама я
Вся в улыбках их и в тоске.
Проползла та, как чиамайя,
Здесь по сильной, большой руке.

Задрожала ль лаской ответной
Иль спугнула она, как плеть?
В даль умчалась ты точкой светлой…
А хотела ли улететь?

Нет, не брошу горам, – немая, –
Я о тайне твоей вопрос.
Чиамайя, о чиамайя,
Огонек над росинками слез!

Армения
1957–1959 гг.

Армения! Твой древний голос –
Как свежий ветер и летний зной
В.Я. Брюсов[145]

Посвящаю Г. А. Стамболцяну

1957 г.
В развалинах из розового туфа

Из туфа розового храм
Среди густой зеленой чащи…
Я вспоминать хотела б чаще
О тишине, звенящей там!
О том, как солнце было ярко
На камнях рухнувших колонн
И лишь одна большая арка
Еще вздымалась в небосклон…
И как, уставшая позорно,
При Вас уснула я, мой друг,
И много ящериц вокруг
Дремало на резьбе узорной.

В минуту одиночества

Мне без Вас сегодня грустно
В этот тихий час.
Не сказала б это устно
С глазу я на глаз.
А в стихах выходит проще, –
Все в них чистота…
Там, на склоне горном, роща
Сделалась пуста.
Где над пропастью глубокой
Помощь крепких рук?
Я сегодня одинока,
Мой нежданный друг.

Порыв

Хотелось мне в сердце его заглянуть
И руку ему положить на грудь,
Чтобы отрадна была и легка
Ему на мгновенье моя рука.
Была то не прихоть, не женский каприз,
Но также и не любовь, –
Глаза мои не склонялись вниз.
Не кипела волненьем кровь.
Я только хотела как верный друг
Коснуться ласково рук
И прочесть с тоскою во мраке глаз
Судьбы суровый рассказ…
Напрасный порыв! Как его ни зови,
Что мог бы он сердцу дать,
Если сердце его настоящей любви
Устало от жизни ждать?

1959 г.

В Зангезуре

Памяти отца.

Не мертвым голосом былины, –
Живым приветствием любви
Окрестно дрогнули долины,
И древний мир. Как зов единый
Мне грянул грозное: «Живи!»
В.Я. Брюсов[146]

2

Мне давит плечи тяжесть рюкзака,
За мной идет тропинкою тоска
И смерть меня касается крылом
В неистовстве безжалостном и злом.

Вопрос томит все тот же, все один, –
Ужели больше не коснусь седин
И не увижу блеска светлых глаз?
Как луч любви, горевшей в них, угас?

Напрасен он, бессмысленный вопрос!
Я выплакала много горьких слез
И более не плачу, не могу…
Лишь груз тоски несу и берегу.

5

Когда же солнца жаркий сплав
На землю сонную пролился,
Я очутилась в царстве лав.
Казалось, черный туф дымился…
Базальта стройные столбы
Слагали стены вековые,
Здесь обнаженные впервые
По грозной прихоти судьбы.
И к небу поднимался хмуро,
Суров, воинственен и дик,
Бессчетный сонм грозящих пик, –
Скалистых стражей Зангезура.

7

Луна над Кафаном – как медная чаша,
Поднятая к небу руками скал.
Сверкает утесов зубчатый оскал, –
Кто видел луну горделивей и краше?
Пусть в медных горах воцарилась ночь
И цепи ее холодны и жестоки,
И бездны черны, и тоске не помочь, –
Из лунного кубка струятся потоки.
Пусть сумрак внизу, но сияет высь,

И небо с землей неразрывно слиты, –
Не снизу ли камня отвесные плиты
Луну над землей поддержать поднялись?

Два леса

1
Живет доныне бог войны
В лесах суровых Зангезура,
Где копья скал вонзились хмуро
В лазурь слепящей вышины.
Здесь в реве бешеной реки,
Взметнувшей к небу горечь пены,
Звенят скрещенные клинки,
Дробясь о каменные стены.
Пещер зловещие глаза,
Цветов кровавые окраски, –
Все полно сдержанной опаски,
Все – затаенная гроза.
И даже древний храм Татева
Над беспощадной крутизной
Вознесся как обитель гнева,
Одушевленная войной.

2
Но светлой чащей лес стоит
На горных склонах Дилижана.
Там в легком золоте тумана
Приют богини Анаит.
Как россыпь темная кудрей,
Густых деревьев пышны кроны,
И слуху чуткому влюбленных
Поток поет – приди скорей!
Цветов душистые ковры
И мягкий мох в зеленой чаще, –
Все дразнит негою манящей
В сияньи солнечной игры.
Мне колокольчиков нарви!
Я брови строгие не сдвигу.
Пойдем беспечно к Агарцину –
В храм дружбы, мира и любви.

Агарцин

1
Прими меня в объятия скорей,
Густого леса голубая влага!
Живое чудо, радостное благо –

Крутые завитки лесных кудрей,
Сбегающих с упрямого чела
Вершин безлесных и крутых утесов.
О, сколько дум извечных и вопросов
В морщинах скал с тоскою я прочла!
Но, бросив их безжалостную высь,
Где обнаженной вечность мне предстала,
Я прячусь боязливо и устало
В лесу, где ветви пышные сплелись,
Где мягкий мох ковра теплей и суше,
И свежестью ласкает знойный день,
И дикие развесистые груши
Зовут прилечь в их солнечную тень;
Где, разбежавшись, мощные дубы
Застыли вдруг толпой по горным склонам,
По доброму велению судьбы
Одев уступы пологом зеленым…
Но час придет, быть может, и горда
Опять я буду силою своею,
И к высям обнаженным я посмею
Подняться вновь бестрепетно тогда!

2
В странствии нашем Вы молчаливы…
Друг мой, рады ль Вы мне?
Что Вы таите, какие порывы,
Скрытые в глубине?
Вы ведь со мною безмолвней и строже,
Чем посреди других.
Но молчаливая сдержанность тоже
Часто звенит, как стих.
И не в словах я ищу награды
Дружбе своей в ответ.
Пусть мне расскажет, правда ль Вы рады,
Скрытый во взгляде свет!

3
За пламень сдержанный привета
Благодарю я снова Вас.
Опять душа моя согрета
Улыбкой Ваших ясных глаз.
Опять доверчиво и просто
Иду за Вами в горы я,
Сажусь у сломанного моста
Под говор шумного ручья.
Поток неверный воды пенит,
О скалы рвутся облака…
Но знаю я, что не изменит
Мне друга твердая рука.

4
Под легкими потоками дождя,
Сквозь облаков осевшую завесу,
Где струи, склон размытый бороздя,
Бегут со звоном по густому лесу,
И вторят им бубенчики – цветы
Вокруг замшелых камней в пышной чаще,
И стряхивают свежие кусты
Со звоном россыпь капелек блестящих;
Там, где понять в дождливый день нельзя,
Чем пахнет зелень, – мятой иль укропом, –
Мы с Вами шли промокшие, скользя
По гладким камням и неровным тропам.
И если путь нас вел по груде скал
Иль повисал над бешеным потоком,
И если взгляд мой помощи искал
Иль дух мрачнел в томленьи одиноком, –
Моей руки неощутимый груз
Поддерживали братски Ваши руки,
И чудилось, что долгий срок разлуки
Лишь укрепил наш дружеский союз.

На Севане

Краса озер, можешь ты
(Пусть ветер бьет с высоты)
В своей глухой глубине
Вдохнуть покой в сердце мне?
П. Дурян[147]

2

Сердце, раненая птица…
Г. Стамболцян[148]

Сердце, раненая птица,
Исцели крыло свое больное.
Пусть в просторы света и покоя
Горделиво твой полет стремится.

И весна и лето миновали,
Не должно и сердце страстью биться.
Пусть утихнут давние печали
И о ранах позабудет птица.

Для любви иной, простой и ясной,
Должен светлый горизонт открыться.
Станет дружным крыльев взмах согласный,
Сердце, раненая птица.

Множество живых оттенков света
В блеске солнца и в любви таится.
Будет не одним лучом согрето
Сердце, раненая птица.

Список иллюстраций

На фронтисписе:
Знамеровская Т. П. Тбилиси. Мтацминда. Конец 1950-х гг.

Армения. 1959 г.

1. Татев. VIII–X вв. Своды. С. 57
2. Татев. VIII–X вв. С. 58.
3. Татев. VIII–X вв. С. 58.
4. Татев VIII–X вв. Качающийся столб. С. 59.
5. Зангезур. Базальты. С. 60.
6. Старый пещерный Горис. С. 61.
7. Севан. Гурген Арташесович Стамболцян С. 65.
8. Агарцин. XIII–XIV вв. С. 69.
9. Севан. Палаточная турбаза. С. 73.

Грузия. 1961, 1963 гг.

10. Грузия. Сухуми. 1963 г. А. М. Гулиа. С. 182.
11. Грузия. Сухуми. 1963 г. Подпись на фотографии: «Я на балконе у А. М. Гулиа». С. 182.
12. Грузия. Сухуми. 1963 г. В. С. Контарев. С. 183.
13. Грузия. 1961 г. Урбниси. В центре Г. Н. Чубинашвили. С. 193.

Хевсуретия. 1962 г.

14. Перевал через Дагвисджвари. Т. П. Знамеровская на лошади. С. 283.
15. Путь Лебайскари – Шатили. Т. П. Знамеровская. С. 284.
16. Путь Лебайскари – Шатили. Т. П. Знамеровская. С. 284.
17. Шатиль. С. 285.
18. Шатиль. С. 286.
19. Шатиль. С. 287.
20. Анаторисцихе. С. 289.
21. Шатиль. Хевсуры в национальных одеждах идут на праздник. С. 290.
22. Село Муцо. С. 291.
23. Путь Апхоты – Хахабо. С. 292.

Пшавия. 1962 г.

24. Первое святилище – Кучеча. С. 298.
25. Мигриаулка. Второе святилище. С. 299.

Сухуми. 1963 г.

26. Подпись на фотографии: «Я и А. Дм. Бубнова (Аля)». С. 310.
27. А.М. Гулиа, В.С. Контарев и его знакомая. День 75-летия В.С. Контарева. С. 311.

Тушетия. 1963 г. Омало

28. Тушетия. Омало. 1963. С. 316.
29. Тушетия. Омало. 1963. С. 316.

Пшавия. 1964 г.

30. Дом Важа Пшавелы. Чаргами. С. 320.
31. Пшавия. Удзелаурта. Лена Кожина. С. 321.
32. Имерткало. Лена Кожина. С. 322.
33. 1964. Пшавия. Хошарский лагерь. Т. П. Знаменовская и Лена Кожина у палатки. С. 325.
34. 1964. Пшавия. Хошарский лагерь. Т. П. Знаменовская и Лена Кожина. С. 325.
35. Лена Кожина. 1964 г. Лагерь в Хошаре. С. 326.

Грузия. 1964 г.

36. Цинандали. 1964. Вера Белецкая и Лена Кожина. С. 327.

Тушетия. 1964 г.

37. Омало. Лена Кожина на лошади.
38. Подпись на фотографии: «Мой побратим – тушин». Омало. С. 330.
39. Омало. Т.П. Знаменовская на пиру кахетинских чабанов. С. 334.
40. Омало. Лена Кожина и Вера Белецкая. На «пиру кахетинских чабанов». С. 335.

Сванетия. 1965 г.

41. Нина Константиновна Белецкая. Ламтхвери. С. 337.
42. Местия. Татьяна Сергеевна Шевякова встречает нас на аэродроме. С. 338.
43. Местия. По дороге идет Татьяна Сергеевна Шевякова. С. 339.
44. Местия. Вид на гору Тетнулт. С. 339.
45. Местия. Старинный дом. С. 340.
46. Местия. Часть старинного дома.

47. Ламтхвери. С. 341.
48. Ламтхвери. Вид на гору Ушба. С. 342.
49. Ламтхвери. Звонница церкви XI в. С. 342.
50. Ламтхвери. Церковь XI в. Роспись на наружной стене. С. 343.
51. Ренэ Оскаровна Шмерлинг и Этери. Ламтхвери. С. 343.
52. По дороге в Ленджери. Р. О. Шмерлинг беседует со сванами. С. 344.
53. Гешдер. Охотник с рогами тура. С. 345.
54. Свин. Церковь XI в. С. 347.
55. Свин. Крест XI в. и сторожа церкви. С. 347.
56. Кала. Церковь Квирика и Евлалии (Лагурка) и ее звонница. С. 349.
57. Ушгул. С. 351.
58. Ушгул, церковь XI в. С. 352.
59. Ушгул, церковь XI в. С. 352
60. Ушгул, церковь XI в. С. 352.
61. Ушгул. Старинный дом-крепость. С. 354.
62. Церковь – последняя постройка перед горой Шхара. С. 354.
63. Ушгул и вид на гору Шхара. С. 355.
64. Местия. Церковь Ламария. С. 358.

Грузия. 1970 г.

65. 1970. Тбилиси. Мтацминда. Тариел Яшвили, Т. П. Знаменовская, Кетино, Олег Неверов. С. 390.

Армения. 1966 г.

66. Амберд. С. 392.
67. Ереван. 1965 г. С. 394.
68. Оганованк. XIII в. С. 395.
69. Оганованк. XIII в. С. 395.
70. Карпи. XIII–XIV вв. С. 396.
71. Карпи. XIII–XIV вв. С. 397.
72. Карпи. Хачкар. С. 397.
73. Мугни. XVII в. С. 398.
74. Ошакян. С. 399.
75. Севан у дер. Чкаловка. С. 401.

Комментарии

При подготовке рукописей к публикации составитель придерживалась следующих текстологических принципов: явные ошибки и описки источника исправляются без оговорок; существенные изменения авторского текста не допускаются; сохраняются авторские стиль и языковые особенности, даже неправильности.

Воспоминания о путешествиях и стихи — сочинения художественные, к ним правила правописания, нормы литературного языка применимы ограниченно. Их автор пользуется любыми средствами языка, необходимыми для выражения мысли, чувства, интонации: разговорными, просторечными, высокими, индивидуально-авторскими и т. д.

Характерные для авторского стиля Т. П. Знамеровской слова и написания, даже если они не совпадают с современными нормами литературного русского языка и правописания, оставлены без изменения. Это, например, последовательное употребление глагола ≪одевать≫ вместо ≪надевать≫ (глагол ≪надевать≫ автор нигде не использует); устаревшие написания: форма творительного падежа на -ьи существительных на -ье (≪в ученьи≫, ≪в смущеньи≫, ≪в селеньи≫, ≪в движеньи≫, «в сопровожденьи», «в волненьи»), предлог ≪в≫ вместо ≪на≫ (≪в автобусе≫, «в турбазе»), написание ≪чорт≫ через ≪о≫ в соответствии с существовавшей в те времена традицией, «придти» вместо «прийти», «церква» вместо «церковь» (хотя и современной формой написания этого слова автор также пользуется) и др.

Автор была человеком сдержанным, умеющим владеть собой. Поэтому она редко пользуется восклицательными и вопросительными знаками, предпочитая им точку, даже в самых патетических местах, при риторических вопросах и восклицаниях. Для нее характерно и широкое использование кавычек в авторском тексте как указания на ≪чужое≫ слово. Фразам автора часто присущи сложный синтаксис, авторская пунктуация, обилие обособленных элементов, выделенных запятыми или — более энергично — тире; так автор акцентирует тот или иной оттенок смысла выражения.

Упоминаемые в комментариях воспоминания ≪Любовь и жизнь. Часть 1≫ опубликованы в книге: *Знамеровская Т. П.* Воспоминания. Лирика (Любовь и жизнь. Стихи) / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., указатели А. В.

Морозовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 43–169 (Научно-популярная серия РФФИ), ≪Страницы из юношеского дневника≫ опубликованы в книге: *Знаменовская Т. П.* Только о личном: Страницы из юношеского дневника. Лирика / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., указатель А. В. Морозовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. С. 11–260 (Научно-популярная серия РФФИ). Часть 1 «Гор и встреч» опубликована в книге: *Знаменовская Т. П.* Горы и встречи. 1957 / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., указатель А. В. Морозовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. С. 38–256.

Список литературы по тематике публикации:

1. *Морозова А. В*. Испанская тема в исследованиях Т. П. Знаменовской и Е. О. Вагановой // Iberica: К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб.: Наука, 2005. С. 226–234**. РИНЦ**

2. *Калитина Н. Н., Морозова А. В*. Традиция изучения истории искусства Испании старого времени на кафедре истории западноевропейского искусства // Университетский историк: Альманах. 2012. Вып. 11. С. 4–7. **РИНЦ**

3. Морозова, А. В. Татьяна Петровна Знаменовская // Морозова А. В. Отечественная искусствоведческая испанистика. Становление и развитие / А. В. Морозова. СПб: Дмитрий Буланин, 2016. С. 189–200. **РИНЦ**

4. Morozova, A. T. P. Znamerovskaya as the Spanish Art Researcher: the influence of the epoch and research objectiveness / A. Morozova // 3rd International Multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts. 6–9 April, 2016. SGEM 2016 : Conference Proceedings. Book 4 : Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Volume 1 : History of Arts. Contemporary Arts. performing and Visual Arts. **Web of Science Core Collection.**

5. Морозова А. В. Домашнее воспитание и обучение в России 1910–1920-х гг. По воспоминаниям Т. П. Знаменовской, хранящимся в Российской национальной библиотеке (Domashnee vospitanie i obuchenie v Rossii 1910–1920-kh gg. Po vospominaniyam T. P. Znamerovskoi, hranyashchimsya v Rossiiskoi natsional’noi biblioteke [Home Education and Schooling in Russia in the 1910s–20s: Memoirs of T. Znamerovskaya Stored in the Fonds of the Russian National Library. In Russ.]). //Вестник архивиста. – 2021. – № 1. – С. 301–312. doi 10.28995/2073-0101- 2021-1-301-312 IN: Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2021, no. 1, pp. 301–312. doi 10.28995/2073- 0101-2021-1-301-312 **Web of Science Core Collection.**

6. Морозова А. В. Ред. и сост. книги Знаменовская Т. П. Только о личном. Лирика. Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2021. Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 21-112-40006. **РИНЦ**

7. Морозова А.В. Предисловие редактора // Знаменовская Т. П. Переводы. Шекспир. СПб.: «Радуга», 2022. С. 5–16. **РИНЦ**

8. Морозова А. В. Кавказ, запечатленный в мемуарах Т. П. Знамеровской, как источник вдохновения для образов ее научных публикаций // Вестник архивиста. 2022. №2. с. 611–622 **Web of Science Core Collection**
9. Морозова А. В. Роль исторических романов в воспитании личности ученого-искусствоведа (на мемориальных архивных материалах доктора искусствоведения Т. П. Знамеровской (1912–1977)) //Вестник Томского гос. Университета. Культурология и искусствоведение. 2023 г., №51, С. 64–73. **Web of Science Core Collection.**
10. Морозова А. В. редактор, автор вступит. статьи, указателей, комментариев: Знамеровская Т. П. Воспоминания и лирика (Любовь и жизнь. Стихи). Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2020. издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 20-19-40009) **РИНЦ**
11. Морозова А. В. редактор, автор вступит. статьи, указателей, комментариев: Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. **РИНЦ**
12. Памяти Т. П. Знамеровской посвящены: Итальянский сборник / под ред. В. В. Селиванова. СПб.: Акционер и Ко, 2007. № 10 (и статья в нем: *Селиванов В. В., Мартыненко В. П., Сонина Т. В*. Памяти Т. П. Знамеровской // Там же. С. 235–246).
13. Жаткин Татьяна Знамеровская – переводчица английских поэтов // Балтийский гуманитарный журнал, 2018, Т.7, №1(22). С. 65–68.

Указатель географический

Абхазия 184, 186, 454,
Агарцин 4, 59, 64, 69, 72, 435, 446
Азербайджан 6, 7, 8, 12, 14, 53, 186, 232, 388, 452, 458
Арагва 39, 137, 266, 274, 277, 279, 281, 282, 295, 296, 297, 319, 324, 326, 378, 453, 454
Арарат 43, 47, 391, 395, 455
Армения 4, 8, 14, 19, 21, 29, 30, 36, 37, 45, 50, 51-53, 57-62, 65, 69-70, 72-73, 137, 142, 253, 260, 392, 394-399, 401, 432, 439, 441, 453, 455, 456, 457, 460
Баку 4, 12-14, 39, 230, 385, 386-387
Балхар, аул 37
Батум 21
Бетания 29, 77-78, 83, 155-157
Венеция 70, 172, 177, 453
Военно-Грузинская дорога 35, 85, 96, 117, 119, 135, 137, 159, 166, 174, 195, 198, 224, 225, 226, 266, 319, 320, 454
Гагры 27, 120, 126
Горис 59-62, 64, 380, 439, 446
Гош 4, 64, 71, 73, 457
Грузия 4, 6-8, 12-14, 20-22, 26, 28, 30, 34-36, 39, 52-53, 56, 81, 85, 87, 89, 97, 99, 100-102, 104-106, 110, 112-117, 119-120, 125-126, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 156-157, 159, 165-166, 170-174, 176, 179, 185, 188, 190-191, 193, 195, 198, 205, 213-214, 218-220, 224-227, 230, 236-239, 244-246, 249, 252-253, 263, 265-268, 270-274, 276-279, 283, 286-288, 292, 294, 296, 301, 305. 313-315, 319-320, 322. 324, 327, 329, 337, 342, 348, 361, 362, 364-366, 368, 370, 372-373, 376-378, 381-384, 386-387, 399-400, 410, 421-422, 439-441, 452-454, 457-460
Дагестан 3, 4, 6-7, 10-11, 16-17, 44, 80, 102, 107, 131-132, 139, 170, 201, 233, 252, 259-260, 275, 318, 338, 407, 459
Девичья башня в Баку 13
Джвари 39, 83, 86, 137, 153, 277-278, 282-283, 294, 439
Европа 7, 9, 51, 136, 183, 190, 252, 255, 308, 366, 400, 457, 459
Зангезур 21, 23, 46-48, 53-56, 60, 67, 434, 435, 439, 453, 455
Звартноц 58
Зедазени 30, 37, 38, 40, 453
Иерусалим 46, 378
Иран 14. 16, 31, 36, 44, 47-48, 53, 101, 151, 198, 267, 291, 295, 324, 328, 330, 333, 348, 351, 371, 386
Кавказ 3, 4, 5, 6-8, 16-19, 21, 45-46, 55-56, 70-71, 78, 80-81, 88, 93, 110, 128, 135, 146-147, 154, 158, 167, 187, 190, 200, 204, 214, 218, 226, 236, 252, 254, 257, 260, 263-264, 267-268, 270-271, 274, 280, 286, 294-296, 314, 318, 325, 332, 336, 350, 357, 362, 365-366, 387, 401, 409, 413-415, 445, 454, 456-458, 460
Каджаран 49, 53, 455
Казбек 35, 90, 135, 199, 257, 314, 329, 457
Каспий 452
Кафан, рудник 47, 49, 53-55, 434, 455
Келасури 32, 425-426, 454
Кисловодск 16, 77
Комсомольская аллея в Тбилиси 34, 159
Куйбышевка 64, 71, 456

Кура, река 33, 39, 146, 147, 148, 149-151, 162, 174, 180, 249, 258, 301, 303-304, 361, 452, 454, 456
Куро, гора 90, 136, 257, 457
Ленинакан 45
Ленинград 4, 5, 6, 25, 28, 30-32, 36, 39, 46, 86, 93, 100, 103, 104, 115-116, 119, 126, 139, 151, 154-155, 166, 168, 170, 173, 179, 181, 191, 227, 234, 235, 244, 254, 258259, 268, 281, 313, 317, 319, 336, 383, 388, 391, 402, 404, 407, 409, 412, 457
Лион 50, 302
Магаро, село 295-297
Масис 47, 455
Махачкала 17, 259
Москва 12, 74, 88, 103, 153, 155, 173, 184, 225-226, 248, 250, 259, 312, 317, 394, 410, 413, 454
Мцхета 38-39, 83, 137, 193, 453, 454
Нарекала 34-35
Нуха 14
Овчала 39
Орджоникидзе 11, 17, 24, 29, 77, 78, 88, 91, 119, 135, 198-201, 222, 224-225, 267
Передний Восток 104
Пицунда 23, 119-123, 125
Рогоберт, крепость 53, 455
Сагурамо 38, 454
Севан, озеро 42, 46, 64-65, 72-75, 78, 137, 400-405, 437, 439, 441
Севанский перевал 42, 64, 75, 78
Севастополь 24
Сибирь 110, 207
СССР 31, 453, 455
Сухуми 4, 18, 19, 32, 120, 182-183, 185-186, 307, 309-311, 413, 430, 439, 440, 454
Сюник 47, 53, 453, 455-456
Татев 44, 45, 54, 56-59, 435, 439, 455-456
Тбилиси 1, 4, 10, 12-13, 17, 20-21, 31-34, 39-41, 52, 54, 64, 76-78, 81, 86, 88, 99, 108, 110, 115-118, 120, 137, 142-143, 145-146, 151, 153, 155-158, 166-168, 170-172, 174, 179, 181, 184, 186, 189, 192-193, 196, 199, 225, 227-228, 232, 244, 247-248, 251, 254, 257-258, 260, 268, 272, 290, 300-301, 303, 313, 319, 320-321, 327, 333, 336, 347, 351, 356, 359-361, 380, 382-384, 387, 389-390, 410-412, 439, 441, 452-454, 457
Тбилисское море 39
Тушетия 4, 23. 100-101, 111, 115, 138, 307, 314-318, 326-327, 329-330, 332, 334-335, 440
Чергали 29, 296, 319
Шаумян, рудник 48

Именной указатель

Ада см. Гулиа А.
Айк, рабочий 49
Акоп, рабочий 50, 56
Ала, племянница Р. О. Шмерлинг 155
Алексей Петрович, хозяин в Чкаловке 402
Алиханов Р. и М. 259, 459
Ани, мадам 50, 51-52, 55
Арбенин 26, 453
Арташ см. Арташес
Арташес (Арташ) 62-64
Аситашвили С. Г. (Саломка) 21, 77, 169, 413
Аситашвили Т. Г. (Теона) 3, 8, 11-12, 14-15, 20-22, 29, 30, 37-38, 163-164, 260, 300, 301, 413, 452
Аситашвили, родители Теоны и Саломки 77, 99-100, 117, 163, 169, 319
Ахвледиани Е. Д. 170, 179, 188-189, 411, 412
Банк А. В. 178, 457
Байрон 70, 82, 457-458
Бараташвили Н. М. 26, 106, 452
Бардавелидзе В. В. 271, 275, 280, 283, 323, 325, 326, 458
Барнавели Т. В. 193, 360, 372, 374-375
Бела 37, 39
Белецкая В. К. 3, 8, 11, 12, 15-16, 20, 30, 37, 100, 105, 139, 143-145, 170, 175, 178, 180, 181, 263-265, 314, 327-329, 331, 335-337, 347, 355, 357, 368, 386, 408, 412, 440, 452
Белецкая Н. К. 30, 337, 440
Беридзе В. В. 86, 187, 190, 457
Бестужев-Марлинский А. А. 223, 458
Блеткин П. М. 3, 8, 108-110, 170, 173-177, 178, 180-181, 260, 300-301, 303-306, 409, 411, 413
Босх И., художник 63
Бретаницкий Л. С. 3, 8, 12, 449
Бубнова В. Д. 183, 184, 307, 309-310, 413, 440
Бугданов Г. Б. 135, 200, 267, 456
Ваган, мастер, турист 49, 52, 55-56
Валентин Семенович см. Контырев В. С.
Валико 90, 360, 369, 373-375, 377, 379-381
Вальтер-Скотт 62
Васенко А. Б. 357, 458
Вачнадзе Н. Г. 255, 457
Вера Варденовна см. Бардавелидзе В. В.
Вишневская Е. Л. 389, 459
Гагарин Г. Г., князь 266, 458
Гамбашидзе, ул. 21, 119
Гомберг Э. П. 8, 386, 459-460
Грегор 42-43, 46-47, 142, 455
Гриша, шофер 40-43
Гулиа А. (Ада) 19, 182, 307, 311, 439, 440, 452

Гурген см. Стамболцян Г. 3, 21, 36-37, 40-43, 45-46, 59, 64-67, 71-75, 142, 260, 394-395, 400, 432, 437, 439, 453, 460
Давид Бек 53, 455
Давид Георгиевич см. Капанадзе Д. Г.
Дерзибашев М. И. 20, 36, 139, 157-158, 166, 196, 254-256, 300, 453
Дударева Л. Н. 410
Дурново Л. А. 43, 45, 391, 455
Евгения Леонардовна см. Вишневская Е. Л.
Жюль Верн 259
Закро см. Майсурадзе З. П.
Зардарян М. Г. 390
Иванова И., художница 360, 373, 375, 378, 380-381, 383-384
Ирина см. Иванова И.
Каджары, шахи 16, 452
Капанадзе Д. Г. 22, 121, 125, 176, 235, 453
Кения Русике 165
Клиберн Х. В. 25, 453
Кожина Е. Ф. 319, 321-322, 325-327, 329, 335, 386, 440, 459
Контарев В. С. см. Контырев В. С.
Контырев В. С. 32, 182, 313, 454
Кос Ю. И. 129, 456
Ламара см. Яшвили Л.
Лансере Е. Е. 11, 174, 452
Лео 20, 26, 453
Леонид Александрович см. Шервашидзе Л. А.
Леонид Семенович см. Бретаницкий Л. С.
Лермонтов М. Ю. 7, 10, 19, 35, 77, 82, 84, 85, 90, 106, 115, 128, 129, 135, 158, 166, 182, 216, 223-224. 229-230, 235, 360, 410, 414-415, 421, 449, 452
Леся Украинка 247, 457
Лидия Александровна, см. Дурново Л.А.
Лидия Николаевна см. Дударева Л. Н.
Лист Ф. 25
Лора 19, 307, 453
Магомед, житель Дагестана 205-206, 260, 459
Майсурадзе З. П. (Закро, Шакро) 3, 8, 11, 23, 30, 37, 39, 100-104, 111, 114-115, 138, 139, 164-165, 168-169, 187, 194-195, 263, 318, 335, 411-412, 452
Маня, тетя 401-403
Марья Григорьевна см. Зардарян М. Г.
Мацулевич Л. А., Мацулевич Ж. А. 86, 456
Минкевич-Мустафаева Н. В. 230-231, 385
Михаил Васильевич, муж Ольги Петровны 16
Михаил Иосифович см. Дерзибашев М.И.
Мурацан 404, 459
Мустафаев Р. М. оглы 230-232, 458
Навои А. 13-14, 387
Неверов О. Я. 390, 410, 441
Нина Владимировна см. Минкевич-Мустафаева Н. В.
Нина Константиновна см. Белецкая Н. К.
Нуну см. Яшвили Н.
Олег, внук Т. С. Шевяковой 337

Олег см. Неверов О. Я.
Ольга Ивановна, теща Бретаницкого Л. С. 12, 14, 16
Оно Анна 183-184
Отелло 26, 453
Очиаури Т. 265, 267, 279, 281, 320-321
Петрос, месье 50-52, 55
Питер см. Блеткин П. М.
Поллок П. Д. 25, 453
Привалова Э. 155, 172, 191, 411-412
Пшавела В. 263, 295, 298, 307, 319, 337, 418
Расул см. Алиханов
Раффи 62, 455
Ренэ см. Шмерлинг Р. О.
Рерих Н. К. 30, 136, 454
Рихтер С. Т. 25, 179, 453
Русике см. Кения Р.
Саломка см. Аситашвили С. Г.
Сильвио 17, 18, 452
Скуй Т. 31, 454
Соня, дочь Грегора 46
Сурен 50, 59
Табидзе Г. 237, 255, 457
Табидзе Т. Ю. 255, 457
Тагиев Г. З. Т. о. 14, 452
Таня, экскурсовод из Еревана 40-42
Таня, внучка хозяйки в Чкаловке 403
Тариэл см. Яшвили Т.
Татьяна Сергеевна см. Шевякова Т. С.
Теймураз Васильевич см. Барнавели Т. В.
Тина см. Очиаури Т.
Ткешелашвили Г. И. 100, 456
Толстой Л. Н. 7, 101
Тото см. Аситашвили Т.
Трике, мосье 50, 455
Туманян О. Т. 70, 456
Ханум 10, 20, 21, 24, 26, 77, 78, 119, 137, 139, 142, 411, 453, 457
Хызыр Неизловимый 200, 206-208, 215-216, 220-222, 224, 227-229
Церетели А. Р. 376, 458
Цибулевский А. см. Цыбулевский А. С.
Цыбулевский А. С. 3, 8, 159, 187, 386, 408, 412, 454, 458
Читая Г. С. 215, 265
Чонкадзе Д. Г. 247, 457
Шакро см. Майсурадзе З. П.
Шамиль 5, 107, 190, 286, 407, 410
Шевякова Т. С. 7, 337-339, 440
Шервашидзе Л. А. 184, 185-186, 307, 348
Ширваншахи 14, 452
Шмерлинг Р. О. 3, 4-5, 7-8, 10-11, 13-15, 20-21, 30, 37, 39, 43-45, 100-101, 108, 121, 153-155, 168-181, 184-187, 189-190, 193, 198, 201-202. 204-206, 209-211, 217, 221-227, 229, 231-233, 257-258, 265-266, 300-301, 306, 312, 314. 319, 337-338,

343, 344, 346-347, 349, 351, 355-356, 358-361, 369, 372, 374-376, 378, 380, 382-383, 385-387, 389-391, 407-409, 441, 452
Шура Цибулевский см. Цибулевский А.
Швейк, персонаж романа Гашека Я. 454
Щвейк кахетинский 38, 164
Эка см. Привалова Э.
Элеонора Петровна см. Гомберг Э. П.
Эличка см. Ахвледиани Е. Д.
Эльвира 213, 215, 218-219, 221, 227
Элгуджа см. Яшвили Э.
Юза, искусствовед 155
Яшвили Л. 237, 319, 389
Яшвили Н. 237-238, 242
Яшвили П. 255, 458
Яшвили Т. 389, 390, 441
Яшвили Э. 10-11, 17, 20-23, 25-26, 36, 40, 77-78, 80-83, 85-86, 89-90, 91-93, 95-99, 119, 184, 255, 421, 452

Примечания

[1] Эпиграфом взяты строки Лермонтова М. Ю. из его поэмы «Мцыри».
[2] Имеется в виду **Шмерлинг** Ренэ Оскаровна (1901–1967) – один из крупнейших грузинских искусствоведов, специалист по искусству Кавказа и, в частности, Грузии.
[3] **Яшвили** Элгуджа – грузинский экскурсовод, знакомый Т.П. Знамеровской по ее поездке на Кавказ 1957 г. См. Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025.
[4] **Белецкая** Вера Константиновна (1914-1974) – художник-график, жила и работала в Грузии.
[5] **Аситашвили** Теона Георгиевна (1933–2012) – грузинский художник-график, создатель школы реставрации станковой живописи в Грузии.
[6] **Майсурадзе** Захарий Петрович – грузинский художник-керамист.
[7] **Лансере́** Евге́ний Алекса́ндрович (1848—1886) — русский скульптор-анималист, почётный вольный общник Императорской Академии художеств (1876).
[8] **Бретаницкий** Леонид Семёнович (1914—1979) — советский искусствовед, исследователь архитектуры и искусства Ближнего и Среднего Востока, старший научный сотрудник Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР, доктор искусствоведения.
[9] **Навои́** Алише́р (1441 — 1501) — тюркский поэт, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана.
[10] **Айва́н** — в исламской архитектуре сводчатое помещение, с трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны. В виде айвана мог быть оформлен портал.
[11] **Ширваншах** – титул правителей государства Ширван, одного из самых крупных государственных образований Кавказа; выделилось из халифата в IX в., было ликвидировано в XVI в.
[12] **Тагие́в** Гаджи́ Зейналабди́н Таги оглы (1823 — 1924) — азербайджанский миллионер и меценат, действительный статский советник, благотворитель.
[13] **Нуха́**, с 1968 г. Шеки́ — город, центр одноимённого района и одноимённой исторической области в Азербайджане. Расположен в южных предгорьях Большого Кавказа. Старая часть города и дворец шекинских ханов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[14] **Каджа́ры** (в России — принцы Персидские) — династия, основанная предводителем тюркского племени каджаров Ага-Мухаммед-хан Каджаром и правившая Ираном с 1795 по 1925 год. Каджары считали себя преемниками Сефевидов.
[15] **Махачкала́** (до 1921 — Петровск-Порт) — город на юге России, на Кавказе, расположенный на берегу Каспийского моря.
[16] **Сильвио** – главный герой повести А. С. Пушкина «Выстрел» из цикла 1830 г. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Сильвио – псевдоним героя, сильного, умного, проницательного, благородного человека с загадочной судьбой.
[17] Эпиграфом взяты строки из Второй части «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова.
[18] **Гулиа**, Ада – супруга Гулиа Георгия Дмитриевича (1913–1989), русского писателя абхазского происхождения. Об Аде Гулиа см. в Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025.

[19] **Лора** – племянница Ады Гулиа.
[20] **Лео** – помощник директора турбазы в Тбилиси. См. Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025.
[21] **Роен** – работник турбазы в Тбилиси.
[22] **Дерзибашев** Михаил Иосифови – экскурсовод турбазы в Тбилиси.
[23] **Ханум** – хозяйка в Тбилиси, у которой Знамеровская в свои предыдущие приезды снимала комнату.
[24] **Стамболцян** Гурген Арташесович (1917–1982) – друг Знамеровской, армянский поэт и переводчик.
[25] **Зангезу́р** — историческая область на юго-востоке Армении, на склонах Зангезурского хребта. Представляет собой южную часть исторической области Сюник. Присоединён к России по Гюлистанскому мирному договору 1813 года.
[26] **Капанадзе** Давид Георгиевич (1898–1971) – грузинский искусствовед, нумизмат, сотрудник Института истории грузинского искусства в Тбилиси.
[27] **Кли́берн**-младший (правильнее Клайберн) Харви Лейвен (Ван) (1934— 2013) — американский пианист, в 1958 году в 23-летнем возрасте Ван Клиберн выиграл Международный конкурс имени Чайковского и стал кумиром в Советском Союзе и в Соединенных Штатах одновременно.
[28] **По́ллок** Пол Дже́ксон (1912 — 1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века.
[29] **Ри́хтер** Святосла́в Теофи́лович (1915 — 1997) — советский российский пианист. Герой Социалистического Труда (1975). Народный артист СССР (1961). Лауреат Ленинской (1961), Сталинской (1950), Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1987) и Государственной премии Российской Федерации (1996). Один из крупнейших пианистов XX века, чья виртуозная техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной интерпретаций.
[30] **Достое́вский** Фёдор Миха́йлович (1821— 1881) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
[31] **Лист** Ференц (Франц) (1811 — 1886) — венгро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, крупный представитель музыкального романтизма.
[32] **Бараташвили** Николай (Николоз) Мелитонович (1817 — 1845) — грузинский поэт-романтик. Человек со сложной судьбой. При его жизни не было издано ни одной строчки стихов. Впервые несколько стихотворений Бараташвили были опубликованы лишь через семь лет после его смерти. Только после издания в 1876 году сборника его стихов на грузинском языке, Бараташвили стал одним из самых популярных поэтов Грузии.
[33] **Отелло** – герой драмы В. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» (1604).
[34] **Арбенин** – герой драмы М.Ю.Лермонтова «Маскарад» (1834–1836; под настоящим названием первая публикация – 1842; в рукописи - «Маскерад»).
[35] **Чаргали** — село в Душетском муниципалитете в Грузии. Расположено на северо-западном склоне Кавказского хребта, в долине левого притока Пшавской Арагви — Чарглулы, на высоте 1200 м.
[36] **Зедазени** – место расположения Зедазенского монастыря (на левом берегу реки Арагви, к востоку от города Мцхета, на Зедазенском хребте), опустевшего в XVII веке после разорения Грузии шахом Аббасом. Монастырь основан в VI веке Иоанном, одним из 13 ассирийских отцов, на месте бывшего здесь ранее капища идола Задена; опустел в XVII веке.

[37] **Ре́рих** Никола́й Константи́нович (1874—1947) — русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Академик Императорской (Российской) академии художеств (1909).

[38] **Цибулевский** Александр (1928–1975) — поэт, фотохудожник, филолог, переводчик, деятель грузинской и русской культуры.

[39] **Скуй** Тамара – возможно, Скуй Тамара Яковлевна, род. 16.06.1928. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Центральный р-н. (См.: Они пережили Блокаду. Под ред. В. Г. Дербина. СПб., 2005. Т. 11).

[40] **Контарев Валентин Семенович** (1888–1966) — живописец. Обучался живописи и скульптуре в Высшем училище живописи, ваяния и зодчества в Москве (1907–1912), окончил отделение истории искусств в Московском археологическом институте, прошел 4 курса медицинского факультета Донского университета и полный курс Донской консерватории по классу скрипки. В 1924 г. в райцентре Серебряково участвовал в конкурсе на памятник Ленину, получил первую премию. С 1925 г. проживал в Сухуме, имел ювелирно-гравернную мастерскую, преподавал в художественной школе историю искусств, анатомию, графику и композицию, один из организаторов Союза художников Абхазии, участвовал во всех его выставках, персональная выставка состоялась в 1934 г. Работы хранятся в Абхазской государственной картинной галерее и в частных коллекциях. У Знамеровской — Контырев.

[41] **Келасури** — село в Абхазии.

[42] **Нарика́ла** (вернее, Нирин-кала; груз. «*нижняя/маленькая крепость*») — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси, на правом скалистом берегу Куры.

[43] **Воéнно-Грузи́нская доро́га** — историческое, с начала XIX века, название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Была известна с древних времён как Дарьяльский проход.

[44] **Казбе́к** — потенциально активный стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, высота в Балтийской системе высот 5033,8 м. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э.

[45] **Швейк** – персонаж романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (1921–1923).

[46] **Сагурамо** — село в Мцхетском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии, на Военно-Грузинской дороге.

[47] **Арагва** – река в Вост. Грузии, левый приток Куры. При впадении в Куру — г. Мцхета. По долине Арагвы проходит часть Военно-Грузинской дороги.

[48] **Джва́ри** — грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина.

[49] **Тбилисское море** – это огромное водохранилище (его размеры составляют 9 на 3 км), созданное в середине XX века для снабжения водой Тбилиси.

[50] **Авчала** — промышленно-жилой район в северной части Тбилиси, на левом берегу Куры. Когда-то эта местность была покрыта болотами и зарослями. В

народе бытовало предание, что в этих местах обосновались злые духи («ави» — злой, «чала» — заросли на берегу реки).

[51] **Грегор** – работник турбазы в Ереване, армянин из Израиля, репатриировавшийся в Армению, знал семь языков, по-русски не говорил. О нем см. Знамеровская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 138.

[52] **Дурново** Лидия Александровна (1885—1963) — искусствовед, исследователь искусства средневековой Армении.

[53] **Татевские фрески** – имеются в виду фрески Татевского монастыря, армянского монастырского комплекса конца IX—начала X веков в Сюникской области Армении, в 20 км от города Горис, который на протяжении столетий был духовным центром Сюника.

[54] **Масис** – одна из вершин Арарата (5165 м). Масис – самая высокая вершина в мире по относительной высоте (4300 м).

[55] **Младший брат Масиса** – вершина Сис (3925м) – вторая вершина Арарата.

[56] **Сюни́к, Сисака́н** — историко-географический регион Армении, расположенный в восточной части Армянского нагорья, в древности 9-я провинция (ашхар) Великой Армении. Южная часть Сюника начиная со Средневековья также известна как Зангезур.

[57] **Медный рудник Кафан** – Меднорудное месторождение расположено на юго-востоке Армении, в окрестностях райцентра Капан (бывш. Кафан). Кафанское месторождение меди имеет общую площадь 25 км ^{2}, оно эксплуатируется уже более 150 лет.

[58] **Каджара́нское медно-молибденовое месторождение** — одно из самых крупных месторождений молибдена в мире; самое крупное по запасам молибдена месторождение на территории Армении и бывшего СССР и одно из самых крупных месторождений меди в Армении. Находится в марзе Сюник на юго-востоке Армении, близ города Каджаран, эксплуатируется Зангезурским медно-молибденовым комбинатом.

[59]**Каджаранская обогатительная фабрика** (в настоящий момент Зангезурский медно-молибденовый комбинат или Каджаранский медно-молибденовый комбинат) — промышленное предприятие в Армении, в городе Каджаран, эксплуатирующее руду Каджаранского медно-молибденового месторождения. Обеспеченность комбината рудой составляет около 150 лет. Комбинат выпускает молибденовый и медный концентраты. Молибденовый концентрат содержит 50 % молибдена, содержание меди в медном концентрате — не ниже 15 %.

[60] **Мосье Трике** – В опере "Евгений Онегин" в сцене "День рождения Татьяны" куплеты, посвящённые имениннице, исполняет тенором комический персонаж, француз в рыжем парике, гувернёр по фамилии Трике. Слова в этих куплетах такие:

Какой прекрасный этот день!
Когда в сей деревенский сень
Просыпался belle Tatiana!
И ми приехали сюда,
Девиц и дам, и господа
Посмотреть, как расцветай она!
Ви роза, ви роза, ви роза, belle Tatiana!
Ви роза, ви роза, ви роза, belle Tatiana!

[61] **Крепость Рогоберт** – видимо, имеется в виду крепость, стоявшая на месте нынешней крепости Алидзора (Алидзорская пустыня Св. Аствацатсин (Св.

Богоматери)) – армянского архитектурного комплекса в Сюникском регионе Армении, на правом берегу реки Вохч. Алидзора была построена в первой половине XVII века. Затем комплекс стал фамильным замком Мелик-Парсаданянов из села Бех. Из семьи Парсаданянов был великий армянский полководец Давид Бек. Комплекс Алидзора окружен мощной защитной стеной, имеет несколько башен; перед замком находилась плавильня меди династии. В XVIII веке Давид Бек перестроил комплекс под крепость. Благодаря своей недоступности она стала административным центром Сюника, где сосредоточилась армянская власть в целом. Название Алидзор возникло от названий поселений Але, Алис.

[62] **Давид Бек** (1669—1728) — армянский полководец, деятель армянского национально-освободительного движения против кызылбашских, иранских и турецких завоевателей Армении.

[63] **Джур** – слово на армянском языке: ջուր. Перевод на русский язык: вода, сок, пот. Транслит на русском языке: джур. Транслитерация на английском языке: dzhur.

[64] **Татев** (Татевский монастырь). См. сноску 53.

[65] **Землетрясение 1925 г.** в Армении – на сайте Википедии указано, что Монастырь сильно пострадал от землетрясения в 1931 году. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C) – дата обращения 21 апреля 2020 г.

[66] **Звартно́ц**, что в переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов», от армянского *звартун* — ангел, храм раннесредневековой армянской архитектуры, расположен близ Еревана и Вагаршапата (Эчмиадзина). В 2000 году руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[67] **Хачка́р** (дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста.

[68] **Гори́с** — город в Армении, на востоке Сюникской области.

[69] **Агарци́н** — армянский монастырь, расположенный в Тавушской области Армении в 18 км от города Дилижан, в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в XI—XIII веках.

[70] **Заготхлеб** – контора по заготовке хлеба.

[71] **Заготскот** – контора по заготовке скота.

[72] **Раффи́** (настоящее имя Ако́п Мели́к-Мирзо́евич Мели́к-Акопя́н, 1835—1888) — армянский писатель и поэт, автор исторических романов, художественно-этнографических очерков.

[73] **Ва́льтер Скотт** (1771 — 1832) — всемирно известный шотландский прозаик, поэт, историк, собиратель древностей, адвокат. Считается основоположником жанра исторического романа.

[74] **Дилижа́н** — город в Республике Армения, горноклиматический и бальнеологический курорт. Расположен на реке Агстев (правый приток Куры). Дилижан окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе.

[75] **Куйбышевка** – видимо, село Куйбышево Степанаванского района Армении, названо в честь советского партийного и государственного деятеля В. В. Куйбышева.

[76] **Ахпа́т** — действующий монастырь в одноимённом селе на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Ахпатский монастырь — значительный памятник

градостроительства средневековой Армении, отличается единством и компактностью асимметричной планировки, красивым силуэтом на гористом рельефе местности. В 1996 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[77] **Ба́йрон** Жордж Го́рдон (1788 — 1824), обычно именуемый просто лорд Байрон — английский поэт-романтик.

[78] **Туманя́н** Ованéс Тадево́сович (1869 — 1923) — армянский поэт и писатель, общественный деятель. Национальный поэт Армении.

[79] **Ива́нов день** (Ива́н Купа́ла, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля). По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

[80] **Гош** — село в Армении в области Тавуш.

[81] **Арага́ц** — изолированный горный массив на западе Армении, четвёртый по высоте в Армянском нагорье и самый высокий в современной Армении.

[82] Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1929–1939).

[83] Амалия – дочь Ханум.

[84] **Беридзе Вахтанг Вуколович** (1914 — 2000) — грузинский советский учёный-искусствовед, доктор искусствоведческих наук, академик Академии наук Грузинской ССР (1974), профессор, директор Института истории грузинского искусства имени Г. Чубинашвили. Почётный гражданин Тбилиси (1986).

[85] **Мацулевич Леонид Антонович** (1886 — 1959) — советский археолог и искусствовед, профессор Ленинградского университета, член-корреспондент АН Грузинской ССР (1946). **Мацулевич Жанетта Андреевна** (1890—1973) — советский историк искусства, доктор искусствоведения, сотрудник (профессор) Государственного Эрмитажа, специалист по истории западноевропейской скульптуры. Супруга Л. А. Мацулевича.

[86] **Ткешелашвили** Георгий Иванович – экскурсовод в Тбилиси. См. Знаменовская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского университета. С. 98.

[87] **Пандури** — грузинский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Наиболее популярный народный музыкальный инструмент в восточной Грузии.

[88] Цитата из стихотворения «Аул Бастунджи» (1833–1834).

[89] Цитата из стихотворения «Тамара» (1841).

[90] **Кос** Юрий Иванович – о нем см. Знаменовская Т.П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. С. 73.

[91] **Бугданов** Георгий Бугданович (1886–1963) — кандидат сельскохозяйственных наук, ученый-энтомолог, профессор. О нем и его супруге см. Знаменовская Т.П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. С. 78, 80–81.

[92] **Куро** – горная вершина в Грузии; находится в северо-западном отроге Главного Кавказского хребта, в междуречье Терека и Кистинки. Перевод восходит к тюркской этимологии и означает «сухая бесснежная вершина». Название объясняется тем, что в противоположность Казбеку, Майли и другим заснеженным и обледенелым вершинам на этом массиве летом почти нет снега.

[93] **Пшаве́ла Ва́жа** (груз. «сын из пшавов», псевдоним Луки Павловича Разикашви́ли (1861— 1915) — грузинский писатель и поэт XIX века, признанный классик грузинской литературы.

[94] Ана – дочь Ханум.

[95] Цитата из произведения А.С. Пушкина «Египетские ночи» (1835).

[96] **Банк** Али́са Влади́мировна (1906— 1984) — советский историк-византинист, востоковед, доктор исторических наук (1974), сотрудница Эрмитажа.
[97] Цитата из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
[98] Исторический роман (1941 г.) об исходе на север остатков племени северных шайеннов из резервации в Оклахоме. Достоверное изложение драматических событий того времени (1878 г.), когда власти США ещё не прекратили уничтожать коренных американцев ради освобождения земель для белых поселенцев, но уже пытались замаскировать подобную политику «заботой об индейцах».
[99] **Бесту́жев**, Алекса́ндр Алекса́ндрович также известный под псевдонимом **Марли́нский** (1797 — 1837) — русский писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист, происходивший из рода Бестужевых. Известен своими повестями из кавказской жизни.
[100] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поэт» (1838).
[101] **Мустафаев** Рустам Мамед оглы (1910—1940) — азербайджанский советский театральный художник, один из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана.
[102] **Цибулевский (Цыбулевский) Александр Семенович** (1928-1975) – филолог, поэт, был репрессирован в 1948 г., освобожден в 1956 г., реабилитирован в 1957 г., закончил Тбилисский университет, работал в Институте востоковедения АН Грузинской ССР, исследовал переводы на русский язык поэм Важи Пшавелы, увлекался фотоискусством, дружил с Т. П. Знаменовской, его первая жена была соученицей Знаменовской по ЛГУ. См.: https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/14653/ (дата обращения 11 января 2021 г.). О нем см. Знаменовская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025».
[103] Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева Silentium! («Молчи, скрывайся и таи…») (1830).
[104] Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кавказ» (1830).
[105] **Таби́дзе** Галактио́н Васи́льевич (1892— 1959) — грузинский поэт. Народный поэт Грузинской ССР (1933). Академик Академии наук Грузинской ССР (1944).
[106] **Чонкадзе** Даниел Георгиевич (1830—1860) — грузинский писатель.
[107] Грузинская **легенда о Сурамской крепости** повествует о том, что народ Грузии, готовясь к защите своей страны от нападения иноземных поработителей, возводил крепость, но каждый раз, когда стена достигала уровня крыши, она обрушивалась. «Стена выстоит, если в нее будет замурован самый прекрасный юноша», — сказала гадалка. И нашелся юноша, который совершил самопожертвование ради спасения Отечества. Благодаря этой жертве крепость была воздвигнута, и никто и ничто уже больше не могло ее разрушить.
[108] **Ле́ся Украи́нка**, настоящее имя Лари́са Петро́вна **Ко́сач-Кви́тка** (1871— 1913) — украинская поэтесса, писательница, переводчица. Яркая представительница украинского революционного романтизма и критического реализма.
[109] **Яшвили** Паоло Джибраэлович (1895—1937) — грузинский советский поэт и общественный деятель.
[110] **Табидзе** Тициан Юстинович (1895—1937) — грузинский и советский поэт, прозаик, переводчик.
[111] **Вачна́дзе** Нато Георгиевна (урождённая Наталья Георгиевна Андроникашвили; 1904—1953) — советская грузинская актриса немого и звукового кино. Народная артистка Грузинской ССР (1941). Заслуженная артистка РСФСР (1935). Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

[112] **Алиха́нов** Расу́л Алиха́нович (1922—2000) — советский дагестанский художник-ювелир, гравёр. Народный художник РСФСР (1976). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина (1971). Манаба – супруга Р. А. Алиханова.
[113] **Магомед** – один из дагестанских знакомых Т.П. Знаменовской.
[114] В 1975 г. умер горячо любимый муж Т. П. Знаменовской – П. С. Чахурский.
[115] Цитата из поэмы Важи Пшавелы «Бахтриони» (1892).
[116] **Бардавелидзе** (Бардавелидзе-Ломиа) Вера Варденовна (1899–1970) – этнограф, грузиновед.
[117] Князь **Гага́рин** Григо́рий Григо́рьевич (1810—1893) — русский рисовальщик и живописец, представитель романтического академизма николаевской эпохи, друг и последователь Карла Брюллова, историк и государственный деятель; мастер жанровой и батальной графики, портретист, также работал как иллюстратор и церковный декоратор, создавал архитектурные проекты в «неовизантийском стиле».
[118] **Брекчия** — горная порода, сложенная из угловатых обломков (размерами более 1 см) и сцементированная. В брекчии, в отличие от конгломерата, почти нет окатанных обломков.
[119] Цитата из поэмы «Бахтриони» (1892).
[120] Цитата из поэмы «Оленья лопатка» (1895).
[121] **Кожина Елена Федоровна** (1933–2013) – советский искусствовед, специалист по западноевропейскому искусству, в частности по французскому искусству XVIII-XIX вв., ученица Т. П. Знаменовской, выпускница ЛГУ, работала в Гос. Эрмитаже, автор ряда монографий и научных статей по искусству, эмигрировала в США в 1985 г., в 2000 г. в США в переводе на английский язык вышли ее воспоминания «Through the burning steppe: a wartime memoir». См.: https://www.librarything.com/author/kozhinaelena (дата обращения 11 января 2021 г.).
[122] Цитата из поэмы «Бахтриони» (1892).
[123] **Васе́нко** Андрей Богданович (1899 — 1934) — советский инженер-аэролог, конструктор стратостатов, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1», занимался репетиторством в ВУЗы. О нем см. Знаменовская Т.П. Воспоминания. Лирика (Любовь и жизнь. Стихи). СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2020. С. 167.
[124] Цитата из поэмы «Демон» (1839).
[125] Имеется в виду влияние московской школы иконописи Симона Федоровича Ушакова (1626–1686).
[126] См. Знаменовская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2025. С. 181–211.
[127] См. Знаменовская Т. П. Горы и встречи. 1957. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2025. С. 148.
[128] **Церете́ли** Ака́кий Росто́мович (1840—1915) — грузинский поэт, прозаик, идейный предводитель национально-освободительного движения Грузии, мыслитель-просветитель и национальная общественная фигура.
[129] Цитата из стихотворения *** («Любил он ночи темные в шатре…») (1901).
[130] Плита с латинской надписью – наскальная надпись на латыни на горе Беюкдаш в Гобустане гласит, что в I в. сюда прибыл XII легион римского императора Диоклетиана.
[131] **Гомберг** Элеонора Петровна (1912-2002) – преподаватель кафедры истории искусства ЛГУ, коллега Т. П. Знаменовской. См.:

https://bioslovhist.spbu.ru/person/938-gomberg-eleonora-petrovna-peysakhovna.html – дата обращения 11 января 2021 г.

[132] Имеется в виду Э. П. Гомберг.

[133] Имеется в виду Е. Л. Вишневская. См. Знамеровская Т. П. Воспоминания. Лирика (Любовь и жизнь. Стихи). СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2020. С. 38, 116–120.

[134] **Мураца́н** (настоящее имя Григо́р Тер-Иоаннися́н) (1854—1908) — классик армянской литературы, автор исторических романов, рассказов и пьес.

[135] Имеется в виду – в стиле архитектора классицизма Воронихина Андрея Никифоровича (1759–1814).

[136] Цитата из поэмы «Хаджи Абрек» (1833–1834).

[137] Цитата из творчества Ирадиона Исакиевича Евдошвили (1873–1916) — грузинского поэта.

[138] Цитата из стихотворения «Кавказ» (1830).

[139] Цитата из поэмы «Мцыри» (1839).

[140] Цитата из поэмы «Аул Бастунджи» (1833–1834).

[141] Цитата из поэмы «Гость и хозяин» (1893).

[142] Цитата из поэмы «Демон» (1839).

[143] Цитата из стихотворения «Тамара» (1841).

[144] Цитата из стихотворения «Плачущей Нине» (1829).

[145] Цитата из стихотворения «К Армении» (1915).

[146] Цитата из стихотворения «Не мертвым голосом былины…» (1905).

[147] Цитата из творчества **Дуря́на** Петро́са Абраами́ (настоящая фамилия **Змбая́н** (1851—1872) — известного армянского поэта.

[148] Цитата из стихотворения **Стамболцяна** Гургена Арташесовича — армянского поэта и переводчика (1917–1982), друга Т. П. Знамеровской.



Подписано в печать 18.08.2025 г. Формат 60x84 1/16 Цифровая печать
Печ. л. 19,1 Тираж 30 экз. Заказ № 12/08

Типография «Фалкон Принт»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, оф. 331.
Тел. 8 (812) 313-26-39, сайт: falconprint.ru



Перевал через Дагвисджвари.
Татьяна Петровна Знамеровская на лошади

Татьяна Петровна Знамеровская (1912–1977) – известный отечественный искусствовед, доктор искусствоведения, доцент кафедры истории искусства исторического факультета Ленинградского университета (ныне Институт истории СПбГУ). Издание продолжает публикацию воспоминаний автора. В настоящей книге представлены путевые очерки и воспоминания Знамеровской о ее поездках на Кавказ в 1958–1970 гг. Эпилог к рукописи был дописан автором в 1970, 1976 гг. В книге красочно описываются горы, природа Кавказа, люди, с которыми знакомилась Знамеровская, как известные ученые, поэты, художники (Р. О. Шмерлинг, Л. С. Бретаницкий, Г. А. Стамболцян, А. С. Цибулевский, Т. Г. Аситашвили, З. П. Майсурадзе, П. М. Блеткин, В. К. Белецкая и др.), так и просто яркие личности, даются художественные зарисовки бытовых сценок, свидетелем и участником которых становилась автор книги, со знанием дела описываются памятники искусства и культуры Кавказа. Книга пропитана любовью и огромным уважением к традициям и обычаям народов Кавказа.

Воспоминания сопровождают стихи Знамеровской, писавшиеся в те же годы, когда она ездила по республикам, городам, селеньям и аулам Кавказа, и посвященные его природе, памятникам и людям. Издание проиллюстрировано фотографиями, сделанными лично автором книги.